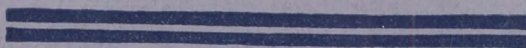


И О В Ы И Т Ы  
М И Р

И О В Ы И Т Ы  
М И Р

7



1954

1954

# НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXX

№ 7

Июль, 1954 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
А. БЕК, Н. ЛОЙКО — Молодые люди, роман	3
НИКОЛАС ГИЛЬЕН — Новые стихи. Перевод с испанского О. Савича	74
БОРИС ГОРБАТОВ — Прощание, из второй книги романа «Донбасс»	76
БОРИС БЕДНЫЙ — Старший возраст, рассказ	96
В. БЕСПАЛОВ — В воскресный день, рассказ	126
В. СЕМЕНОВ — На берегах Оки, стихи	133
В. СЕРГЕЕВ — В этом доме привыкли ко мне.. Стихи	139
МАЙКЛ УИЛСОН — Соль земли, киносценарий. Перевод с английского И. Кулаковской, М. Тарховой	140

### НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

С. МАРШАК — Из латышской народной поэзии	193
--	-----

### ПУБЛИЦИСТИКА

Кандидат биологических наук В. ДОБРОХВАЛОВ — Реальные возможности. Перед Всесоюзной сельскохозяйственной выставкой . . . .	198
--	-----

### ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

М. ДРОЗДОВА — Из воспоминаний об А. П. Чехове	211
---	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Ф. ЕВНИН — «Счастье». (Об одном рассказе А. П. Чехова)	223
МУХТАР АУЭЗОВ — Жизнь и творчество Абая	233

### КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

*Литература и искусство* 246

К. Поздняев. Первая повесть. — М. Щеглов. Перо вальдшнепа. — Н. Муравина. «Её судьба». — М. Козьмин. За научную биографию Фёдора Волкова. — Я. Фрид. Пьер Гамарра и его роман «Розали Брусс».

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

Стр.  
265

### ПОЛИТИКА И НАУКА

Кандидат военных наук **М. Грецов**. Очерк истории Великой Отечественной войны. — **Л. Еремеев**. Энциклопедия современных знаний о Мировом океане. — Кандидат биологических наук **И. Халифман**. Родина картофеля. — Кандидат исторических наук **А. Гулыга**. Уроки прошлого. — **И. Кожевникова**. Путь предательства. — Кандидат исторических наук **А. Султанов**. Разоблачение феодальной реакции в Египте. — Кандидат химических наук **Б. Розен**. Создатель современной физической химии.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

285

---

---

---

А. БЕК, Н. ЛОЙКО

★

## МОЛОДЫЕ ЛЮДИ

*Роман*

### 1. На железном мосту

**В**есна 1949 года... Впрочем, какая же это весна? Сыплет и сыплет мелкий, холодный, словно октябрьский, дождь. И никого из местных жителей это не удивляет. Здесь уже привыкли к невиданным ранее в этом краю оттепелям среди зимы, к обложным дождям весной: огромный, днём и ночью пылающий завод, как бы прикрытый вместе с городом пологом тяжёлого дыма, создал около себя свой климат.

В такой неказистый весенний денёк приехала в Ново-Доменск Александра Поземко, помощник провизора, как значилось в её дипломе, получившая направление в Центральную аптеку города.

Грустно в непогодь подъезжать к незнакомым местам. Всего час или полтора назад, когда Шура доставала с верхней полки зашитые в холст, скатанные дедом валенки, в окна вагона били лучи весеннего утреннего солнца. Бока жёлтого деревянного сундучка словно лоснились от яркого света. Шура радостно перебирала, складывала свои скромные пожитки. Пусть скромные! Главное, тут же, среди её учебников, лежит диплом с большой печатью на толстой хрустящей бумаге. Шура не утерпела: будто невзначай, полюбовалась им. Рядом находилась тусклая, дорогая Шуре фотография. Отец прислал их, две одинаковые, ещё в сорок третьем — за полгода до того, как пришла похоронная. И ещё одна карточка хранилась в чемодане. Взглянув на неё, Шура прекратила на минуту сборы. Смешная карточка! На стуле сидит маленькая женщина (её ноги не касаются пола) в кофте старинного покроя; явно оробев, она уставилась в стёклышко фотоаппарата. Это мама. А рядом девочка лет семи-восьми, стриженная под машинку. Смотрит исподлобья — тоже боится шевельнуться. Это она, Шура Поземко. В тот день она впервые пошла в школу. Мать купила ей две ленты. Вот они: одна повязана, как галстук, другая — вместо пояска. Руки неловко засунуты за ленту-поясок. И как это занесло фотографа туда, в деревню Лисьи Мхи? Таёжные места. Пятьсот километров к северу от Томска.

В сундучок поверх всего, чтобы не измялось, легло синее, ещё не надёванное платье. Если бы не стипендия отличницы, Шуре, пожалуй, такое не купить. В нём она впервые пойдёт на работу. Подумать только, она уже фармацевт! Казалось, всё вокруг сияло; казалось, светились даже самые ничтожные пылинки, плавающие в пронизанном солнцем купе. Таким же сияющим Шуре представлялся Ново-Доменск, её, шурина, город. В последние дни в техникуме так и говорили: шурина Ново-Доменск, — у каждой выпускницы появился свой кружок на географической карте, с которым отныне будет связана судьба.



Вместе с потоком пассажиров Шура поднимается на большой железный мост, переброшенный над станционными путями. Сквозь сетку моросящего дождя виден город. Вдалеке вырисовываются огромные доменные печи. Они господствуют над всем, стоят шеренгой, чёрные, могучие, равнодушные к дождю. Из множества заводских труб валит, расплзается по ветру дым.

Шура с опаской ставит свой сундучок возле мокрых железных перил; секущий мелкий дождик и резкий, порывистый ветер гонят её с моста, а она всё стоит, стоит.

Сколько раз она видела на фотографиях — в газетах, в журналах, на плакатах, в учебниках — эти трубы, эти похожие на башни доменные печи с наклонными мостами, с причудливыми железными сплетениями на самом верху.

Сейчас они кажутся ей мрачными. Да и весь город, затуманенный дождём и дымом, нахмурен, тёмн...

Вот он каков, этот прославленный город новых домен! Что-то сулит он ей?

Серо, смутно вокруг. Смутно и на душе у Шуры. Вспоминается, как почти три года назад, в такой же дождливый день, она, обряженная в ватную стёганку, в старый платок, уезжала или, вернее, уплывала на пароходе от родной пристани Лисьи Мхи в город Обск, в техникум. Но теперь она не станет плакать. Да и тогда, не чувствуя слёз, что смешивались с дождевыми каплями, она храбро смотрела вперёд.

По-мальчишески крепкая, ладная девичья фигурка гордо выпрямляется. Какие тут слёзы! Теперь-то она уже взрослая... Впрочем, в мыслях Шура употребляет другое слово: дошла. Так на севере, в её родных местах, охотники называют белку, которая «поспела», «дошла шерстью», «выкунела».

Родные места... Там она сама была, словно белка. Взобраться на кедр, сбить шишки — дело обычное. Надевала брюки, брала колотушку и — на дерево. Обобьёшь орехи, кричишь сверху: «Берегись, колотушку бросаю!» Осенью у них с мамой всегда мешков шесть орехов.

Родные места... Тут, на этом мокро-железном мосту, Шура далеко-далеко от своей деревни. Мама одна растит младших. Когда-то Шура повидает их всех? И школьных подруг и учительницу Варвару Васильевну, которая первая поведала Шуре о лекарственных растениях, травах, о скрытых в них чудодейственных веществах?

Мимо идут и идут люди, подгоняемые непогодой. Нет-нет кто-нибудь да обернётся, задержится взглядом на нежном смуглом лице, на тёмных больших глазах, устремлённых вдаль. А Шура и не замечает прохожих, прислонилась к железным перилам, на которые, словно сквозь мелкое сито, брызжет дождь. И бегут по её сундучку, скатываются струйки воды.

Удивительный город! Красуются каменные большие дома, а почти рядом темнеют какие-то лачужки, бараки. Вон в стороне целое скопище низеньких, словно вросших в землю, похилившихся домишек.

В каком же доме ей придётся жить? Хорошо бы вон в том, высоченном. Она считает этажи. Ого, шесть! А это что такое? По мокрому асфальту привокзальной площади движется красивый голубой вагон с двумя длинными железными прутьями на крыше. Шура догадывается: это троллейбус. Говорили, что в Ново-Доменске уже провели одну линию. Да, в точности, как на снимке в «Огоньке». В автобусах она поехала в Обске, а на троллейбусе она прокатится первый раз. Непременно поедет сейчас же.

И, позабыв про своё высокое аптекарское звание, девушка, которая в мыслях гордо называла себя «дошлой», схватывает сундучок и, держась

за железные скользкие перила, бежит по лестнице к блестящему голубому вагону. Внезапно её обжигает сомнение: вдруг троллейбус пойдёт не туда, куда нужно Шуре... Нет, на табличке выведено: «Вокзал-Центр». Это и шурин путь. В путёвке сказано: Центральная аптека. Конечно, она должна находиться в центре, на то она и Центральная.

## 2. В память Курако

В эти же дни, весной 1949 года, давний обитатель Ново-Доменска Женя Луньков тоже готовился переступить рубеж, за которым последует новая полоса его жизни.

У входа в аудиторию, где обычно происходит защита дипломных проектов, секретарь факультета прикалывает объявление:

«Ввиду большого количества желающих присутствовать на защите дипломного проекта студента Е. Лунькова защита переносится в актов<sup>ый</sup> зал института».

Поворот ключа в замочной скважине. Распахиваются массивные двойные двери зала. Вносят доски с чертежами. Их больше, чем обычно в таких случаях. Чтобы изобразить невиданную ещё электропечь, Лунькову пришлось показать много добавочных разрезов, узлов и схем.

Женя только что побывал в институтской парикмахерской. Старожил института, парикмахер сумел уговорить Лунькова «принять подобающий вид». Вихры Жени приглажены, одобрены каким-то клейким веществом и составляют одно целое — причёску-монолит. По привычке Женя порой заносит руку, чтобы встрепать, откинуть назад русые волосы, и тотчас стдёргивает её, вспоминая о своём гладком, твёрдом на ощупь зачёсе.

— Прилизал парикмахер, — оправдывается он перед друзьями. — Но ничего, ребята, это ненадолго. Время в данном случае работает на нас.

В зал въезжает классная доска, взятая на вечер из аудитории.

— Ребята, — восклицает кто-то, — а не будет ли она отсвечивать, когда загорится электричество?

Тотчас же щёлкает выключатель, вспыхивает люстра.

Сразу становятся заметнее портреты знаменитых металлургов. Они словно смотрят сверху в зал: седобородый Бессемер; слегка улыбающийся Аносов в генеральском мундире; худощавый, эlegantный Мартен; петербургский металлограф Чернов в форме горного инженера; черноглазый, с выбившейся на лоб прядью волос Курако; отец русской металлургии Павлов; суровый на вид, насупивший взлохмаченные брови Бардин. В Ново-Доменске чтут и Овсянникова, который когда-то впервые повёл здешние доменные печи, ныне прославленного академика, — его широкое, чуть ли не квадратное, седоусое лицо тоже виднеется в ряду портретов.

Жене кажется, что все они с интересом посматривают на его чертежи. Ещё бы! Это же небывалое, неслыханное дело. Он вновь проглядывает заголовки: «Электродомна большой производительности», «Непрерывная загрузка бескоксовой электродомны», «Электронагрев дутья»... Затем, чуть выше всех этих листов, он с помощью товарищей прибавляет длинную узкую бумажную ленту, на которой особым, так называемым плакатным, пером выведено: «Металлургический завод с электропечами системы Сырейщикова».

Не без некоторого тайного смущения Женя поправляет сдвинутую кем-то на край столика пояснительную записку к проекту — записку размером более ста страниц. Вчера он крупно надписал на обложке: «В память великого русского доменщика, революционера-металлурга Михаила Константиновича Курако».

Легендарный доменщик, создатель новых конструкций, привлекал Лунькова не только страстью и талантом техника, но и широтой натуры, дерзновенностью; это был революционер, испытавший ссылку, тюрьму, всякие гонения, всегда близкий к рабочим, первый забастовщик на заводе старой России, где ему доводилось служить. По мысли Лунькова, посвящение должно было сказать: «Мы, электродоменщики, — пусть ещё никем не признанные, — больше, чем кто-либо, храним и продолжаем дерзновенные традиции Курако, мы его внуки, сыны его сынов — Бардина, Овсянникова и многих других, тех, что в годы первых пятилеток строили новые доменные печи, совершили великие дела в металлургии».

Сегодня даже и указка у дипломанта необычная. Длинная, новенькая, некрашенная, до блеска гладкая, она пока прислонена к стене. Эту указку, похожую на пику, которой доменщики «дразнят» шлак, сделал отец Жени. Он, Макар Семёнович Луньков, — старый плотник, из тех искусников, что умеют топором очинить карандаш. И хотя Макар Семёнович не одобряет сына, увлékшегося идеями какого-то Сырейщикова, о котором поговаривают, что он «немного тронувшись», указка сработана на славу.

А где же ещё одна крайне существенная принадлежность проекта?

Лёша Чуваев утром объявил Лунькову, что желает самолично доставить и положить на стол комиссии «исторический металл». Недавно Чуваев и Скирко, институтские сталевары, комсомольцы, провели — Женя сумел их уговорить — в обыкновенной дуговой электросталеплавильной печи плавку чугуна по способу Сырейщикова. Профессор Усышкин, ведущий кафедрой электрометаллургии, правда, с неохотой, но разрешил Сырейщикову воспользоваться для опытной плавки маленькой дуговой печью. Металл был получен, но и печь вышла из строя. Будет не очень приятно, если об аварии заговорят на защите.

А-а, наконец-то... В дверях появляются два друга, сталевары. Лёша, как всегда, впереди. И, конечно, успел пригодиться. Ростом он невелик, неширок в плечах, черты его лица не отличаются правильностью, — что говорить, большеерот, лопоух. Но есть что-то в удалой лёшиной походке, в быстрых, уверенных движениях, в умной усмешке, поминутно оживляющей его лицо, — есть во всём этом что-то заставляющее полюбоваться им, подумать: «С ним не пропадёшь». Сейчас он идёт, ловко перекидывая с ладони на ладонь увесистый обломок чугуна, поблёскивающий свежим изломом. Вошедший вместе с ним Скирко сразу же застенчиво отстаёт, отходит в сторонку, садится. А Чуваев, победоносно оглядывая зал, подаёт дипломанту расколотую чугунную чушку с таким видом, словно преподносит коробку конфет.

Зная сталевара, Луньков понимает, что тот не случайно обставил так своё появление. Если употреблять лёшины словечки, он «создаёт атмосферу». Ведь с печью-то дело плохо. Тем важнее держаться уверенно. Всем должно быть ясно: авария печи сушая ерунда в сравнении с результатом.

— Первый случай в истории, — громко произносит Чуваев, устанавливая чушку на столике. — Эдакая плавка в обыкновенной электропечи.

Кто-то уже трогает, берёт в руки кусок «исторического металла». Лёша шепчет Лунькову:

— Занимайся, Евгений, своими делами. Я сам буду стеречь.

— Что стеречь? Чугун, что ли, украдут?

— Это нам неизвестно... Неприятелей-то у этой чушки много. Ещё припрятут... Где у вас будет доказательство? — Чуваев укоризненно добавляет: — Сам же второй кусок отдал без расписки. А я предупредал.

В жениных глазах вспыхивают искорки смеха, но он тотчас спохватывается: Лёша обидчив. Луньков очень дорожит своей недавно завязавшейся дружбой с обоими сталеварами, которых ему удалось заинтересовать идеями Сырейщикова. Женя мысленно всё ещё называет их «ребятами»; на его памяти они, только что расставшись с формой ремесленников, начинали работать в институтской лаборатории. А ведь они уже далеко не ребята: Лёша Чуваев успел жениться и по слухам скоро даже станет папашей.

Один из сокурсников Лунькова, Самойлов, гордящийся своей репутацией человека со вкусом, в который раз отходит к противоположной стене, выверяет глазом, прямо ли и на своём ли месте висит каждый лист.

— Опять прищурился, Звёздочка? Ну, как? — спрашивает его Луньков.

Уже мало кто помнит, когда и почему Самойлова в насмешку прозвали «Звёздочкой». Впервые попав в доменный цех, он так загляделся на разлетающиеся во все стороны, схожие с искрами бенгальского огня белые звёздочки, которыми стрелял поток жаркого металла, что прозевал почти все объяснения преподавателя. С тех пор он и стал Звёздочкой.

В глубине души Самойлов не совсем уверен, что защита у Лунькова сойдёт сколько-нибудь удачно. Но он решил быть объективным и не пожалеть сил, чтобы материалы проекта были расположены самым выгодным образом. И действительно, проект подан недурно. В этом есть и его, Самойлова, заслуга, а что касается содержания проекта... Ну, за содержание ответит сам Луньков. Войдя в роль благородного человека, доброго товарища, Звёздочка ещё раз ревниво оглядывает стены.

— Знаете, друзья, какого-то последнего мазка, последнего удара кисти всё-таки как будто не хватает.

— Какого же?

— Такие вещи не решаются сразу. Дайте поразмыслить.

Окружающим трудно удержать улыбки — уж очень важен Звёздочка. Тут, в этой юной компании, удивительно легко возникает смех. На минуту-другую затихает и вновь вспыхивает, разносится по гулкому залу.

— А вот и я!

В дверях появляется цветущая, с ярким румянцем, с яркими чёрными глазами девушка. Улыбка Жени становится на миг не столь естественной, как бы застывает на лице.

Зина Иваницкая размашисто, быстро подходит к товарищам. У неё в руках охапка тоненьких веток с нежнозелёными клейкими листьями.

— Откуда такие?

— Слышите, тополем пахнет? — По настоянию девушки все по очереди вдыхают весенний тополиный дух. — Дома у меня распустились, в воде. Женя, куда их?

Луньков понимает: это шаг к примирению. Зина протягивает ему не только тополиные ветки, но и — незримо — руку дружбы. Однако глаза Лунькова холодны. Он сдержанным кивком благодарит Зину.

Было время, когда, придя на любое студенческое сборище, Луньков невольно искал глазами эту весёлую статную девушку, но сейчас он испытывает неловкость, даже досаду из-за того, что и она сегодня здесь.

Но куда же, в самом деле, деть эту охапку? Женя быстро осматривается, потом кричит Самойлову:

— Смотри, сейчас будет наш последний удар кисти!

Не выпуская из рук пахучей зелёной ноши, Луньков вскакивает на стул. Минуту спустя портрет Курако, великого русского доменщика, весь оббит зеленью.

### 3. Дар Шкварикова

— Ребята, Шквариков!

Кто-то влетел из коридора, кто-то бросился поправлять сдвинутые с места ряды стульев.

Фёдор Романович Шквариков, доцент, руководитель кафедры металлургических печей, был первым преподавателем, пришедшим нынче в актовй зал. По своей неизменной привычке он громко и отчётливо здороваётся и не спеша оглядывает, как бы изучает сквозь выпуклые стёкла очков всех присутствующих. Лишь после этого определяется выражение его правильно очерченного бледноватого лица. Сейчас он таинственно улыбается.

— Мой дар дипломанту!

В свои тридцать два года Шквариков отнюдь не утратил подвижности и юношеской стройности. Он живо подходит к Лунькову и, всё так же улыбаясь, разворачивает небольшой, но, видимо, очень тяжёлый серый пакет. Из обёрточной бумаги блеснул отлично отполированный, величинной с кулак, куб чугуна — ещё один образец того самого исторического, по выражению Лёши Чуваева, металла, что Сырейщиков успел выплавить в дуговой печи.

— Как же это вы, Фёдор Романович?..— восклицает Женя.— Не думал я...

— Не думали, что Фёдор Романович выполнит своё обещание?

Шквариков несколько не задет. Он добродушно приподнимает белёдые, почти бесцветные брови и обращается к разглядывающим куб студентам:

— Друзья, кто-нибудь помнит такой случай, когда Шквариков что-либо обещал и не сдержал своего слова?

Недавно приобретённая в Москве светлая оправка для очков делает неяркое, ничем особенно не примечательное лицо доцента ещё более однотонным. Молодёжь не спорит: Фёдор Романович известен как человек обязательный. Если ему и приходилось, может быть, отступить от обещанного, то не по своей воле.

— Для меня это не составило особого труда,—сообщает он.—Я ведь свой человек на заводе. Попросил девушек в лаборатории. Ну, и сделали. Берите... Нечего благодарить. Пусть на защите фигурирует и шлиф, не только излом.

Луньков не выдерживает, бросает на Лёшу выразительный взгляд: «Вот тебе и расписка». Однако втайне и Женя удивлён. Не ожидал он, что Шквариков сегодня сделает ему такой подарок.

— Спасибо, Фёдор Романович... Выручили сырейщиковцев.

В тон Жене Фёдор Романович полушутливо предупреждает:

— Дальше, мой дорогой, мне не придётся быть вашим большим другом. Как человек принципиальный, вы меня поймёте.

Фёдор Романович лёгкой походкой идёт обратно через зал к двери. Всем видно, сколь озабочен этот преподаватель, один из выдающихся молодых деятелей института. На его лице часто лежит это выражение озабоченности. Окружающим в такие минуты даже несколько неловко,—кажется, что среди всех только один Шквариков неустанно печётся об общем благе. Да, он погружён в размышления.

Не все понимают Шкварикова, не все верят в его принципиальность. Что ж, так уж устроен мир. Вчера, например, в деканате Фёдора Романовича публично уязвил профессор теплотехники Свищев, маленький, сутулый человек, известный своим ехидством. И как он дослужился до профессора с таким неприятным характером? Только откроет рот, покажет свои прокуренные зубы, так уж держись! Подмигнул



Шкварикову и вернул к слову: «Нынче не только Луньков будет держать экзамен. Нынче и вам, Фёдор Романович, предстоит проверочка. Сумеете ли блеснуть перед Щуровым?»

Какая недостойная шутка! Разве Шквариков позволит себе отступить хотя бы на самую малость от своих принципов из-за того, что возглавлять экзаменационную комиссию, по давней традиции института, будет Щуров, значительное лицо в городе, директор завода, член бюро горкома, депутат? Ныне Шкварикова впервые ввели в комиссию. Из этого, однако, вовсе не следует, что он собирается как-то подлаживаться к председателю, блистать перед ним. Будьте покойны, товарищ Свищев, Фёдор Романович и без того знаком со Щуровым, встречается с ним в узком кругу, в небольшом однодневном, закрытого типа, доме отдыха, предназначенном для ответственных работников завода. Жена Фёдора Романовича, начальник отдела кадров всего металлургического комбината, имеет право туда ездить. И, разумеется, с мужем. Посадить бы вас, уважаемый товарищ, с вашим язычком за партию в преферанс в комнате Щурова, вряд ли вы сумели бы показать себя славным партнёром!

На какую же всё-таки проверочку намекал жёлчный профессор? Неужто догадывается об одной скромной мечте Шкварикова? Ну нет, это для всех тайна. А впрочем, прятать тут нечего. Имеет же право способный, работающий доцент мечтать о должности, которая ему по плечу, которую он давно заслужил! Да, он, Шквариков, хочет быть заместителем директора института. Мечта вполне пристойная и вполне осуществимая. И, конечно, от Щурова тут кое-что зависит. Если Щуров его не оценит, не поймёт, если после нынешней защиты где-нибудь, ну, скажем, в горкоме партии, поморщится, проедит: «А, этот Шквариков», — то конечно, Шкварикову заместителем директора не быть.

Что ж, пусть даже будет так! Дороже всего принципы! Глаза доцента строго глядят из-под очков. Не думайте, он не станет подлаживаться, подмазываться к Щурову. Нет, Шквариков обязан с начала до конца сохранить достойную позицию. Может быть, даже и поспорить со столь влиятельным человеком. Да, да, быть принципиальным. Проявить принципиальность — это самое важное, самое главное.

Нелегко выдержать линию и в отношении Сырейщикова. Этот сумасброд когда-то обидел Фёдора Романовича. Поступил с ним грубо и совсем не умно. Но Шквариков не позволит себе привносить в дело личные нотки. Он будет судить трезво, объективно. Будет держать себя в руках. Тем более, что на шахматной доске имеется ещё одна фигурка. Да, да, фигура, а не просто пешка: Луньков. Кто знает, кем он может стать впоследствии? Его любит молодёжь. Жаль, конечно, что он попал под влияние Сырейщикова. Но не будем слишком строги к молодому человеку. Шквариков сам ещё молод, ему понятны увлечения юности. Надо ясно различать: одно дело — старый сумасброд Сырейщиков, другое — талантливый юноша Луньков. Эту линию надо последовательно и тонко провести. Провести так, чтобы Луньков её почувствовал. Как кстати пришёлся этот кубик, этот шиф металла! Что же касается сути проекта, то не злитесь... Луньков не на того поставил. Где Сырейщиков, там не жди удачи.

Теперь для Шкварикова главное — не сплеховать на защите. Он и по коридору идёт всё с тем же озабоченным челом, думая, взвешивая разные соображения, предаваясь серьёзной умственной работе для того, чтобы выдержать, как он обычно выражается, принципиальную линию.

В зале осматривают шлиф. Лёша и эту драгоценность безмолвно взял под свою охрану. Полированная поверхность, словно тусклое зеркало, отражает одно за другим студенческие лица, в том числе и румянос чер-

ноглазое лицо крупной, статной девушки, которая время от времени искоса наблюдает за Луньковым.

Поглядевшись в шлиф, Зина Иваницкая садится во втором ряду. Садится так, чтобы Луньков мог её видеть. Сегодня она впервые в летнем — в лёгкой блузке с короткими пышными рукавами. Она то и дело оправляет на шею крупные жёлтые бусы, очень идущие, по общему признанию, к яркому цвету её лица. Но куда же девалось радостное возбуждение, с каким она влетела в зал, улыбаясь, чуть отстраняя от новенькой блузки душистые ветки? Надо пересилить себя. Она и сейчас должна улыбаться. Ей ли унывать? Да ведь любой из этих мальчишек — Зина оглядывает толпу студентов, — всякий, стоит ей захотеть, влюбится в неё, потеряет голову.

И он был влюблён. Она-то знает... Пусть не делает вид, что теперь она безразлична ему!

Вот — побежал к двери, не обернулся... Лучше бы совсем не было этой выдуманной Сырейщиковым электродомны. Противно смотреть, как обрадовался Женька своему дружку, чуть не полез обниматься, потащил поглядеть на проект.

Зина вызывающе смеётся, окликает одного-другого юношу. Ей нетрудно окружить себя поклонниками. Луньков может в этом убедиться. Она звонко кричит Самойлову:

— Звёздочка! Я соскучилась без твоих комплиментов!

Тот, кого Зина мысленно назвала дружком Жени, Иван Кузьмич Завьялов, окончил институт год тому назад. Он преданный помощник Сырейщикова, ассистент на его кафедре. Капитан запаса, участник Отечественной войны, Завьялов всё ещё донашивает воинское обмундирование. Многие из нынешних выпускников до сих пор так и величают его «Капитаном».

— Капитан, гляди: Шквариков-то позаботился о нас...

Луньков подводит Завьялова к столику, на котором лежит шлиф. Блестящая поверхность отражает большой лоб и лысое надлобье ассистента.

— Положим-ка их рядом, шлиф и излом, — говорит Завьялов, наводя порядок на столике. — Сейчас явится Валерий Николаевич.

Вдруг в зале становится тихо.

— Разрешите, разрешите...

По центральному проходу энергично шагает руководитель проекта, преподаватель металлургии чугуна Валерий Николаевич Сырейщиков.

#### 4. Сырейщиков

Высокий, быстрый в движениях, Сырейщиков переходит от одной доски к другой, словно он не знает наизусть того, что содержится в этих материалах.

Самойлов подошёл ближе. Чувствуется, что Звёздочка предвкушает одобрение преподавателя по поводу удачной экспозиции проекта. Но Сырейщиков сейчас никого вокруг не замечает. Стремительно переходя от листа к листу, он иной раз кого-то отстраняет локтем, кому-то заслоняет чертёж.

Лунькову немного не по себе. С Валерием Николаевичем всегда так. Не умеет, не желает считаться с впечатлением, которое он производит на окружающих. Правда, народ должен понимать, что сегодня Сырейщиков вправе поволноваться. Ведь дело не только в отметке, которую получит дипломант. Вопрос куда серьёзнее. Впервые на суд авторитетной, достаточно многочисленной комиссии будет представлена идея новой конструкции электродоменной печи большой производительности, новой технологии

выплавки чёрного металла — идея, которую он, Сырейщиков, вынашивает уже многие годы. И хотя ему более или менее известны суждения о ней каждого члена комиссии, Сырейщиков всё же не теряет надежды — вероятно, наивной — на то, что защита проекта переубедит некоторых его противников, возбудит общий интерес к его делу. Ведь до сих пор лишь три-четыре инженера-металлурга во всём Ново-Доменске (или, говоря точнее, во всей стране, ибо мысли Сырейщикова об электродомне нового типа ещё не перешагнули пределов Ново-Доменска) поддерживают Валерия Николаевича, признают практически осуществимым его предложение.

В институте привыкли подтрунивать над Сырейщиковым. Когда-то и Луньков подшучивал над тем, что у этого долговязого, порывистого, всегда быстро говорящего, словно выпаливающего фразы, резковатого преподавателя есть «пунктик».

Издавна этим «пунктиком» Сырейщикова было введение электричества в работу доменной печи. Сын неудачника-изобретателя, ставшего под конец жизни мастером световых и шумовых эффектов в Рязанском драматическом театре, Валерий окончил Московскую горную академию по доменному отделению.

Он был ещё студентом-третьекурсником, когда Ленин на Восьмом съезде Советов в Москве сказал: «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны».

В те дни в студенческом общежитии на Коровьем броду, где обитал и Сырейщиков, завязался спор о некоей громадной фантастической электродомне, которая в будущем, в пору всеобщей электрификации, придёт на смену существующим доменным печам. Многие, кто тогда участвовал в этом споре, вероятно, позабыли о нём. Однако Сырейщиков не позабыл.

И вот, во время Отечественной войны, когда труженики Ново-Доменска напрягали силы для того, чтобы дать Советской Армии больше металла, заместитель начальника доменного цеха находил ещё время заниматься какой-то печью будущего.

Двести пятьдесят лет доменщики плавил чугун, пользуясь специально изготовленным из особых углей коксом — пористым и очень прочным. Без кокса были бы немыслимы нынешние огромные доменные печи. Сырейщиков заявил, что имеется способ плавить из руды чугун, давая в шихту не кокс, а сырой каменный уголь, плавить посредством электричества. Будущее принадлежит, как он считает, новой электродоменной печи, которая придёт на смену обычным домнам, печи, конструкцию которой он уже продумал, уже вычертил. И чем сильнее это увлечение забирало его душу, тем менее полезным становился он в доменном цехе.

Не ужившись на заводе, Сырейщиков очутился в институте в качестве преподавателя металлургии чугуна. Полагали, что здесь от него будет больше пользы. Институт был ещё очень молод, преподавательских сил в нём не хватало. Сырейщикову сразу поручили кафедру металлургии чугуна. Однако вскоре и здесь, в институте, у Валерия Николаевича объявились противники. Теперь уже и Шквариков и некоторые другие преподаватели поговаривают о том, что увлечения Сырейщикова вредны.

Случилось так, что кое-кто из старшекурсников всерьёз его заслушался, принял умом и сердцем и самого Сырейщикова и его теорию новой большой электродоменной печи, нового способа плавки.

Недрузи Сырейщикова утверждали, что он сбил с толку этих студентов, быть может, даже загубил их будущее.

Обходя щиты, Сырейщиков внезапно останавливается. Его голова запрокинута вверх. Виден острый кадык на жилистой смуглой шее. Валерий Николаевич только теперь заметил, что портрет Курако обвит зелёными ветвями. Несколько секунд вошедший молча смотрит на этот дар молодёжи покойному доменщику-революционеру. Потом резко оборачивается, находит глазами Лунькова, одобрительно кивает, улыбается. Простодушная, открытая улыбка на мгновение освещает тёмное худое лицо, делает его необычайно привлекательным. Не часто пробегает она по лицу Сырейщикова — и всякий раз Жене хочется придумать, сделать что-нибудь такое, чтобы строгий облик преподавателя вновь озарился этой доброй ребячьей улыбкой.

Ровные, хорошо очерченные губы Жени расплываются в ответной улыбке. Он идёт к Сырейщикову. А тот уже снова повернулся к раме с чертежами. Вот он недовольно хмыкнул. Его внимание привлекла надпись-заголовок на ленте ватманской бумаги, прибитой над чертежами: «Металлургический завод с электропечами системы Сырейщикова».

Нервно дёрнулись крылья большого хрящеватого носа. — это верный признак, что Сырейщиков сейчас вспыхнет, наговорит резкостей.

— Это к чему? Кто вас надоумил? — раздражённо обращается Сырейщиков к подошедшему Лунькову.

— Валерий Николаевич, я не понимаю... Я считал долгом...

— Ерунда, — перебивает Сырейщиков. — Вы ставите меня в положение саморекламиста... Могут подумать, что я... Впрочем, если угодно, пускай думают... Мне это безразлично. Но делу это может помешать...

— Валерий Николаевич, я хотел подчеркнуть, что сегодня выступаю как...

Сырейщиков опять не даёт договорить:

— И без того всем известно! А с этой надписью вы сделали глупость. Извольте её снять!

Женя молчит. Не очень-то приятно слышать, как тебя, будто школьника, отчитывают во всеуслышание, да ещё и при Зине. Ох, уж этот Сырейщиков! Не мог, что ли, отвести Лунькова в уголок и там всё ему высказать?!

Сейчас Сырейщикова может успокоить лишь одно. Взглянув на товарищей, Луньков делает еле заметный знак головой, и надпись, разгневавшая преподавателя, исчезает со стены.

— Ну вот, — бурчит Сырейщиков. — А в общем... С этим можно выйти на люди.

Тем, кто его знает, ясно, что это похвала, и весьма щедрая, на взгляд самого Сырейщикова. Подойдя к столику, он замечает шлиф, порывисто схватывает блестящий кубик.

— Это откуда?

— Шквариков принёс, — сообщает Женя.

— Шквариков?

— Да... Но предупредил, что во время защиты не будет нашим другом.

— Вот как... Вот как...

Безотчётно произнося эти слова, Сырейщиков уже больше не думает о Шкварикове. Сейчас Валерию Николаевичу интересен шлиф, он быстро идёт к окну, чтобы рассмотреть кристаллическую решётку чугуна, выплавленного по его способу.

Вдруг его взгляд останавливается на худенькой фигурке мальчика, стоящего в дальнем углу зала. Мальчик прижался к стене, словно стараясь слиться с ней, но его яркий пионерский галстук не мог остаться незамеченным. Сырейщиков круто поворачивает к нему:

— Володя, что это значит?

Мальчик не отвечает. Он до смешного похож на Валерия Николаевича. Это действительно маленький Сырейщиков. У отца, пятидесятилетнего, долговогого, неловкого, сохранились некие черты подростка: порывистые движения, длинные руки, которыми порой он так нелепо взмахивает. Сейчас вот так же нескладно, неведомо зачем, будто защищаясь от отцовского оклика, взмахнул руками и Володя.

— Почему ты здесь? — громко, не стесняясь присутствующих, спрашивает Валерий Николаевич.

Что может ответить сын? Где же и быть Володе в этот вечер, когда некоторым образом решается судьба отца, судьба дела, которому отдал себя Сырейщиков? Ведь они редкие друзья — отец и сын. Все, кто сейчас наблюдает за ними, знают: Володя растёт без матери. Вере Ивановне Сырейщиковой, как поговаривают, стало невмочь жить с «одержимым». Несколько лет назад эта молодая, слышавшая умной и приятной женщина покинула мужа, нашла другую семью. Валерий Николаевич, конечно, ещё не забыл, как Володя в тот тяжёлый день заявил, что останется с отцом. Уже тогда он, худенький десятилетний строптивец, показал себя настоящим Сырейщковым. Где же ему быть сегодня, как не в этом зале?

А возле досок с чертежами студенты вполголоса разговаривают о Валерии Николаевиче.

— Непостижимая личность, — шурится Звёздочка.

— Забавно! — с вызовом восклицает Зина. — Я, кажется, решусь готовить у него диплом. Просто, без всяких иллюзий. (Женя понимает, кого она сейчас хочет задеть.) Такого случая больше не представится. Закончим институт — будем трудиться под командой нормального начальства.

Она осекается под колючим взглядом Лунькова.

— Высказывайся, — говорит он.

Однако девушке не удаётся взять прежний легкомысленный тон. Как бы продолжая давний спор с Луньковым, она находит новый довод:

— Но ведь... Ведь если бы твой проект был, действительно, осуществим, — Зина безжалостно теревит свои жёлтые бусы, — то в этом ряду, — она показывает наверх, на лица знаменитых металлургов, — в этом ряду было бы место и портрету Сырейщикова.

— Вы правы, — произносит обычно сдержанный, немногословный Завьялов. — Может быть, Сырейщкову и найдётся тут место.

## 5. Защита

Во время защиты дипломного проекта Лунькову пришлось выдерживать серьёзный иску́с — куда более серьёзный, нежели тот, какому обычно подвергаются студенты-дипломанты. Несколько членов комиссии считали своим долгом выявить несостоятельность идеи Сырейщикова, вскрыть пороки его преподавательской деятельности.

Да и весь ход защиты был не совсем обычным. Попробуем описать некоторые её моменты, представляющие, думается, интерес для читателя.

Дипломант уже с головы до ног перепачкан мелом. Он ухитрился измазать даже свои взвихрившиеся волосы, — от причёски не осталось и следа. В одной руке Лунькова кусок мела, в другой — длинная деревянная указка. Охваченный боевым пылом, он не ощущает усталости, готов хоть до утра отражать удары.

Фёдор Романович закидывает его вопросами, один другого заковыристее. «Вот подготовился», — думает с сердцем Женя.



Шквариков нынче доволен собой. Да, кажется, он на высоте. Никто из тех, кому выпала задача оценить этот невероятный проект, не разобрался в нём столь досконально. Однако Сырейщикову повезло. Студент зубаст, — другого давно бы распушили.

— Поймите, Фёдор Романович, — заявляет Луньков, — речь идёт вовсе не о каком-то предполагаемом, разработанном лишь теоретически, пригодном только для отдалённого будущего способе плавки. Новый способ существует. Это — то будущее, которое уже родилось в недрах настоящего.

Э, о чём говорить?! Луньков решительно подходит к столу комиссии. На зелёном сукне возле Шкварикова лежит шлифованный куб чугуна. Фёдор Романович по временам останавливает на нём внимательный взгляд: то ли любуется своим подарком, то ли изучает в тусклом зеркале металла собственную, весьма благопристойную физиономию. Луньков не выдерживает, отодвигает, даже отталкивает, шлиф в сторону и берёт с другого края стола неотделанный обломок чугуна, принесённый Лёшей Чуваевым. Не ощущая в эту горячую минуту тяжести металла, Луньков высоко поднимает образец и держит его на весу, поглядывая на Шкварикова. Тот с комическим ужасом укрывается за спину соседа. По залу проносится смех. Фёдор Романович тоже смеётся.

— Можете убедиться, — восклицает Луньков, — новый способ овеществлён в этом металле!

— Сколько же вы дали плавок? — произносит Шквариков.

Ему отлично известно, что Сырейщикову удалось провести всего-навсего две плавки. Но он с удовольствием повторяет:

— Сколько же плавок?

— Две, — кратко отвечает Луньков. — Вот диаграмма плавок...

Шквариков устраивает себе небольшую передышку. Он снимает круглые очки в светлой оправе, не спеша протирает их. Без очков его лицо вдруг становится простоватым, теряет свою интеллигентность.

— Так-с... Две... — протягивает он, всё ещё не надевая очков. Затем, будто невзначай, добавляет: — Причём одна из них завершилась, как известно, тем, что печь приведена в негодность. И часть металла — повидимому, на немалый срок — осталась в печи в виде козла. Я не ошибаюсь, товарищ Луньков?

— Ошибаетесь, — вызывающе отвечает дипломат. — Случайную поломку недолго исправить. И вы сами знаете: она не имеет никакого отношения к существу дела.

— Хорошо, я пощажу собрание, не буду спорить, — кротко говорит Шквариков, довольный, что теперь все в зале знают: Сырейщиков испортил печь, посадил «козла». Очки снова водружены на нос Фёдора Романовича. — Итак, две плавки, — продолжает он. — Отлично... И вы уверены, товарищ Луньков, что двух плавок достаточно, чтобы заявить о рождении нового способа?

— По-моему, — спокойно парирует Луньков, — всякому существу достаточно родиться один раз, чтобы можно было заявить о его рождении.

— Извините, ваша острота не ответ...

— Почему же? — Женя опять произвольно жестикулирует указкой. — Мы празднуем День радио 7 мая. В этот день русский инженер Попов первый раз принял радиосигналы. Первый раз и... И радио возникло! Со временем количество плавок в новых печах системы Сырейщикова будет насчитываться тысячами и десятками тысяч; потом им вообще потеряют счёт, но если понадобится установить дату возникновения нового способа, то мы, конечно, назовём тот день, когда нами был выплавлен первый металл.

Луньков уже несколько раз, невзирая на запрещение своего руководителя, произнёс: «печь Сырейщикова», «способ Сырейщикова».

Сергей Емельянович Щуров, директор здешнего гигантского завода, инженер-доменщик по специальности, восседает в центре стола. У него полное лицо с мешочками под маленькими умными глазами. Когда Шквариков впервые был ему представлен, редковатые седеющие волосы Щурова были коротко, по-солдатски, острижены. А вот прошло три года, и, чтобы не выделялась лысина, пришлось брить голову. Теперь и затылок розовеет, блестит.

В своё время Щуров принял решение распротиться с Сырейщиковым. Видя теперь перед собой продуманный, отлично разработанный, защищаемый с такой убеждённостью проект завода с печами Сырейщикова — печами, одно упоминание о которых несколько лет назад приводило в бешенство начальника доменного цеха, — Щуров ощущает лёгкие уколы совести. Возможно, следовало бы ещё тогда пристальнее приглядеться к Сырейщикову, как-то по-иному обойтись с ним, переместить его куда-нибудь из доменного цеха, к которому у изобретателя электропечи нового типа уже, видимо, не лежала душа. Но куда же? Собственно говоря, Щуров и теперь не видит для Сырейщикова места на заводе. Было бы совсем другое дело, если бы Сырейщиков продолжал заниматься, скажем, проблемой экономии кокса в доменной плавке. Но полный отказ от кокса, ниспровержение домен — нет, этим следует заниматься не на заводе. Институт, конечно, во многих отношениях более подходящее место для Сырейщикова. И совесть директора успокаивается. Правда, Сырейщиков и здесь не нашёл признания. Эка, сколько у него противников! Как кипят сегодня страсти! Ничего, постараемся ему помочь. Конечно, следует привлечь для консультации кого-нибудь из больших, самых авторитетных учёных-металлургов, добиться серьёзной научной оценки идей Сырейщикова. Пожалуй, лучше всего направить вот этот дипломный проект прямо академику Овсянникову. И просить его, чтобы ознакомился с материалами сам. Овсянников — новодоменец, строитель здешнего завода, — он не откажет.

Сырейщиков сидит позади Щурова и отнюдь не пытается привлечь к себе внимание Сергея Емельяновича, повлиять на его мнение. Это нравится Щурову. А приверженец Сырейщикова Луньков, почти никогда не теряющийся, толковый, горячий, уже сумел завоевать расположение председателя. Кстати, Щуров не с нынешнего дня знает его, бывшего секретаря комсомольской организации института. «Острый паренёк, — мысленно определяет Щуров. — Немного задаётся... Ишь, как задран носик».

Действительно, если взглядеться, нос Жени Лунькова на самом кончике как бы несколько стёсан или сточен. Из-за этого нос кажется немного задраным, особенно, когда Женя спорит, что-то отстаивает, вот, как сейчас. Впрочем, это вовсе не портит внешности студента.

Спокойно ведёт заседание солидный, всеми уважаемый грузноватый председатель. Сейчас он обращается к одному из членов комиссии — низенькому, узкоплечему профессору теплотехники Свищеву.

— Аркадий Андреевич, у вас разве нет вопросов к дипломанту?

Все ждут, какую пилюлю приготовил злоязычный Аркадий Андреевич. Он многозначительно улыбается, показывая жёлтые прокуренные зубы.

— Спрашивать, откровенно говоря, не о чем. С точки зрения теплотехники всё изложенное здесь представляет собой полный абсурд.

Среди присутствующих происходит то, что в газетных отчётах обозначается кратко: движение в зале. У Володи Сырейщикова так напрягается лицо, такая боль выражается в чёрных, немного запавших, как и у отца, глазах, что покосившийся на него Завьялов с сокрушением думает: не надо бы пускать мальчика сюда.

И вдруг откуда-то из глубины зала раздаётся зычный голос:

— А по-моему, с точки зрения теплотехники всё решено совершенно правильно.

Это произнёс один из немногих сторонников Сырейщикова, его друг, инженер Кирпичников. Румяный, седой, стриженный бобриком, Кирпичников поднимается, намереваясь ещё что-то добавить. Однако Щуров строго стучит карандашом о графин.

Реплика Свищева доставила истинное удовольствие Фёдору Романовичу. Он готов простить ему вчерашнюю обиду. Ей-ей, номер не хуже «козла». Но уже в следующую минуту Шквариков одёргивает себя. Он видит растерявшегося Лунькова, опустившего указку, не знающего, что сказать. Видит и принимает мгновенное решение. Он дружески глядит прямо в глаза Лунькову и, попросив разрешения у Щурова, громко и отчётливо произносит:

— А не можете ли вы, товарищ Луньков, показать нам, какими формулами теплотехники вы пользовались в своих расчётах?

Женя с удивлением взглядывает на Шкварикова. Вот спасибо! Действительно, это самый простой выход.

— Могу,— отвечает он.— Кстати, все они взяты из курса лекций профессора Аркадия Андреевича Свищева.

Хороший ответ... Зал одобрительно гудит.

Володя Сырейщиков привскакивает, чтобы взглянуть на еле возвышающегося над столом Свищева. А Сырейщиков-отец молчит, держит себя в руках, ни во что не вмешивается. Лишь глаза, то горящие мрачным огнём, то насмешливые, то блистающие радостью, выдают его. Луньков быстро выводит мелом на доске формулу за формулой.

Шквариков откидывается на спинку стула. Вскоре внимательный взгляд Щурова заставляет его скромно опустить свои белёсые ресницы. Он чувствует себя до некоторой степени героем. Да, это именно он, доцент Шквариков, принципиальный противник Сырейщикова, поддался движению души, протянул руку помощи ошеломлённому студенту. Конечно, этот поступок должен прийти по сердцу Щурову. И вообще, Фёдор Романович, вы не сплеховали. Шквариков даже чувствует усталость, словно, действительно, не Луньков, а он сегодня подвергается испытанию, защищает диплом.

Председатель с интересом приглядывается к Шкварикову. Не так-то дпрост! Когда Екатерина Афанасьевна, энергичная, давно овдовевшая дородная женщина, начальник отдела кадров Ново-Доменского металлургического комбината, вышла замуж за этого молодого человека, на заводе было немало улыбок. А он вот какой... шустрый. Такие молоды недолго, этот быстро созреет, — определяет Щуров. Шквариков вновь ощущает на себе взгляд небольших умных глаз председателя, и лицо его принимает привычное озабоченное выражение.

Кажется, дипломант собирается исписать всю доску формулами теплотехники.

— Товарищ Луньков,— останавливает его председатель,— у меня к вам есть такой вопрос. Вы посвятили свой проект памяти Курако. Однако от конструкций Курако, если бы, предположим, удалось применить ваш проект, ничего бы не осталось. Вы, можно сказать, и домны ликвидируете как класс. При чём же тут Курако?

Луньков откидывает голову. Впрочем, она у него почти всегда слегка откинута.

— Потому посвятил... Потому, что в этом проекте живёт дух Курако...

Сказано не очень-то скромно, даже вызывающе. Но с Луньковым иногда это случается. Сырейщиков улыбается одними глазами. Член комис-

сии профессор Кистяковский, чья пышная седеющая шевелюра похожа на львиную гриву, произносит:

— Дух Курако... Не слишком ли много вы берёте на себя, молодой человек?

Кистяковский любит при случае дать понять, что он-то может судить о Курако. Конечно, Кистяковский, начавший свою карьеру с должности переводчика на Юзовском заводе, принадлежавшем англичанам, в своё время и не подозревал, что начальник юзовских доменных печей Курако — великий металлург, и, откровенно говоря (впрочем, на такие темы Кистяковский с некоторых пор откровенничает только дома), он и теперь в этом сомневается.

Иронический тон седовласого профессора лишь подзадоривает Лунькова. Женя мгновенно отвечает:

— Курако — это стремление вперёд, смелость, дерзание, новый день металлургии... Я позволяю себе так думать, хотя в некоторых статьях говорится, что делом его жизни было лишь внедрение в России американских конструкций доменных печей. Вот в этих статьях нет и в помине настоящего Курако!

Щурову трудно сохранить серьёзность. Надо отдать справедливость пареньку: меткий удар! Здесь всем известны статьи Кистяковского по истории металлургии. Порядка ради Щуров всё же останавливает дипломанта. Затем вновь хочет вставить своё слово Шквариков.

— Разрешите, Сергей Емельянович... Этот мой вопрос должен заинтересовать также и вас как директора завода. Я попрошу дипломанта ответить. Дело в том, что в последние годы наши выпускники трудятся над разрешением проблем, которые ставит перед нами практика, то есть наша промышленность... Надо отдать должное товарищу Лунькову. Как представитель нашей институтской комсомолки он помогал нам бороться за эти принципы... («Поехал», — думает Женя.) Но меня интересует, поразмыслил ли в данном случае дипломант, — тут Шквариков оборачивается и строго глядит сквозь стёкла очков отнюдь не на дипломанта, а на Сырейщикова, — поразмыслил ли об основной задаче науки, об её связи с производством, о том, чего требует от всех нас партия, страна? У нашего института есть замечательная производственная база. Мы, можно сказать, дружим с Ново-Доменским заводом (кивок в сторону Щурова). Смею я прямо спросить Лунькова: какую пользу завод сможет извлечь из его работы?

Женя уставился куда-то в зал. Не так-то легко ответить. Профессор Кистяковский не может скрыть удовлетворения, какое доставляет ему замешательство самонадеянного юнца.

И вдруг Луньков, несколько неожиданно для самого себя, выпаливает:

— Я думаю, что все мы дождёмся того времени, когда и тут, в нашем Ново-Доменске, не останется ни одной домны. На их месте мы увидим печи Сырейщикова. В этом, по-моему, и будет практическое значение проекта.

## 6. Пятнадцатиминутный перерыв

Председатель Государственной экзаменационной комиссии попросил публику оставить зал на пятнадцать минут.

— Ну-с, товарищи, как полагаете? — произносит Щуров, когда зал опустел и двери закрылись. — Дадим диплом с отличием?

Некоторое время все молчат. Профессор Кистяковский удивлённо вытягивает сочные губы. Не смущаясь поражением, только что понесённым в зале, маленький профессор Свищев кратко заявляет:

— Что касается меня, то я голосую против.

К Щурову обращается Шквариков:

— Сергей Емельянович, могу ли я?

— Пожалуйста... Прошу...

Вдумчивым, озабоченным взглядом Шкварииков окидывает членов комиссии.

— Прежде всего, товарищи, я считаю необходимым высказать критическое замечание в адрес моего старшего коллеги Аркадия Андреевича Свищева. Во время защиты он назвал проект абсурдным...

— Да-с,— подтверждает Свищев.

— Аркадий Андреевич, поймите,— мягким, увещающим тоном продолжает Шкварииков.— Одно дело выражать своё мнение здесь, на закрытом заседании комиссии. Пожалуйста, в этом никто из нас не ограничен. И совсем другое дело выступать с этим в зале.

Фёдор Романович говорит попрежнему мягко, даже не без почтительности, но в то же время поучающе. В него въелась эта манера: поучать. Его не смущает, что он здесь самый молодой; наоборот, он держится с такой уверенностью, словно молодость даёт ему некие особые права. «Да, да,— будто объявляет он,— я представитель молодого поколения, подлинно современный человек, мне известны истины, которые некоторым из вас вряд ли понятны». Иной раз он умеет и грозно посмотреть, он знает: этот грозный взгляд на некоторых действует магически. Но сейчас Фёдор Романович убеждает:

— Что же вы, Аркадий Андреевич, предлагаете? Совсем забраковать проект? Отклонить дипломную работу? Поставить дипломанту «плохо»? Нет, по отношению к Лунькову, несомненно знающему и способному студенту, это было бы несправедливо. От такой позиции мы должны отмежеваться.

Руководитель проекта, он же «сокрушитель домен», прислушивается к журчащей речи Шквариикова. Было время, когда тот объявлял себя другом Сырейщикова или, во всяком случае, другом его дела. И даже предлагал своё сотрудничество. И Вере Ивановне это показалось счастьем, заглянувшим наконец в дом Сырейщиковых.

Вера Ивановна... С тех пор, как она ушла от него, Сырейщиков даже в мыслях называет её, свою бывшую жену, по имени-отчеству. Он поныне не может отделаться от мысли, что именно после его отказа от предложения Шквариикова, блестящего, по словам жены, предложения, она окончательно потеряла веру в будущее своего мужа, махнула на всё рукой.

Сырейщиков помнит, как он пришёл в тот день домой, как приветливо встретила его Вера Ивановна. Она обычно встречала его восклицанием:

— Ну, как?

При этом её глаза будто спрашивали: «Ну, как? Скоро ли нам начнёт везти? Долго ли ждать удачи?» И Сырейщиков, целуя её, неизменно отвечал:

— Всё хорошо, надо только набраться терпения.

И Вера Ивановна, ещё совсем молодая женщина, вела себя, следует признать, мужественно, стойко. Она весело накрывала на стол, весело хлопотала в своём стареньком голубом платье. Эх, это платьице... Сколько раз Сырейщиков совершенно искренне убеждал её, что в нём она так же хороша, как если бы надела самый дорогой наряд.

В тот день, усевшись обедать, он сказал ей:

— Знаешь, у меня был сегодня разговор со Шкварииковым...

— Ну, ну...

— Сделал мне интересное предложение...

Вера Ивановна даже привстала. Шкварииков был ей хорошо известен, и она нередко шутила говорила, что этот человек знает, как ухватить за хвост жар-птицу.



— Ну, рассказывай,— торопила она.

— Он мне сообщил, что ему отпущены средства на постройку новой опытной печи. И предложил построить мою печь.

— Твою? Шквариков?

— Да... Что ты так удивилась? Он даже предложил вместе работать. Сказал, что ему хотелось бы разделить со мной трудности и честь... А также взять эту тему для диссертации.

— Сырейщиков! — вскричала Вера Ивановна. — Ура! Если Шквариков сам тебе предложил, то... Господи, не напрасно мы с тобой бились столько лет. Милый мой, это победа!

— А я ему сказал...

— Ну, это уже неважно, как и что ты ему сказал... Важно, что он учуял, чем пахнет наша печка!

— Но ведь его участие ни к чему. Он занимается проблемами кислородного дутья, а мой процесс не требует такого дутья... Я ему всё это объяснил...

— И что же?

— Мне кажется, Верочка, что он теперь не будет строить мою печь.

— Правильно сделает! — зло сказала Вера Ивановна и отчуждённо взглянула на мужа. — Зачем помогать человеку, который сам отказывается от своего счастья?!

С тех пор у жены Сырейщикова всё чаще стал появляться этот отчуждённый взгляд; она уже не встречала Валерия Николаевича ласковым возгласом: «Ну, как?» Ей уже было всё равно. А потом... Он не хочет вспоминать, что случилось потом.

Сейчас, поглядывая на Шкварикова, прислушиваясь к его убеждающим мягким интонациям, Сырейщиков думает о том, что за человек этот любезный, деятельный руководитель кафедры металлургических печей. Уже несколько лет — пожалуй, с того самого дня, когда он так рассердил Шкварикова отказом, — они друг с другом наедине не говорили. Фёдор Романович построил на отпущенные ему деньги обыкновенную маленькую опытную печь для изучения кислородного дутья. А Сырейщиков остался без печи.

И всё же он не хочет утверждаться в мысли, что Шквариков из мести стал его противником. Как ни странно, но Сырейщиков — этот резкий, колючий человек, славящийся тем, что в любую минуту способен совершить бестактность, много раз обиженный, непризнанный, — сохранил наивную, юношескую веру в честность, добропорядочность всех окружающих. Он испытал бы настоящую боль, если бы кто-либо доказал ему, что Шквариков — изменная личность. Нет, он не может этому поверить... Ну, построил печь для своей темы, своих опытов... Ну, охладил к делу Сырейщикова... Ну, изменил точку зрения, стал высказываться против того, чем когда-то увлёкся на некоторое время... Разве из-за этого его можно считать недобросовестным, бесчестным? «И ведь не назовёшь его беспринципным», — заключает Валерий Николаевич, прислушиваясь к речи Шкварикова.

— Но и с вашим предложением, Сергей Емельянович, — голос Шкварикова внезапно крепнет, Фёдор Романович будто набирается мужества, — с вашим предложением тоже нельзя согласиться.

Да, Шквариков позволил себе не согласиться с мнением председателя комиссии, директора завода, видного человека в городе.

— Конечно, нынешняя защита продемонстрировала серьёзные познания Лунькова, к которому, как всем известно, я отношусь с большой личной симпатией. Свидетельство тому вот этот кубик. — Шквариков указывает на принесённый им шлиф. — Да простит меня директор завода, мне пришлось, — с милой улыбкой признаётся он, — воспользо-

ваться заводской лабораторией: надо было помочь юноше... Однако личные или, как говорится, приятельские отношения — в сторону!

И хотя у Шкварикова не было и нет приятельских отношений с Луньковым, он делает жест, будто что-то отсекает.

— Мы не сторонники, — продолжает он, — теории искусства для искусства, науки для науки... (Фёдор Романович очень любит пользоваться такого рода фразами.) При оценке работы мы не имеем права ствлечься от вопроса о практическом значении проекта. Этому нас учит партия. И какие бы знания ни обнаружил дипломант — хоть сверхстличные, — нельзя давать диплом с отличием, если работа не имеет практического значения для промышленности.

— За тему проекта разыскивайте с меня, — не выдерживает Сырейщиков. — Тему предложил я... За это Луньков не отвечает.

Профессор Кистяковский морщится от резких звуков его голоса. А Шквариков не без остроумия разбивает «безответственные речи о безответственности дипломанта». И с ним нельзя не согласиться.

Следующим выступает Кистяковский, выражающий полную солидарность с мнением Шкварикова.

— Добавлю ещё, — говорит профессор, поворачивая то к одному, то к другому члену комиссии свою пышноволосую седую голову, — добавлю ещё, что мы обязаны отвергнуть и осудить тезис, гласящий, что доменное дело отжило...

Пока один за другим кратко высказываются остальные члены комиссии, Шквариков сидит, нога на ногу, вольно откинувшись на спинку высокого кожаного кресла. Лица членов комиссии расплываются перед его глазами, так как он снял очки. Итог обсуждения уже ясен: Сырейщиков посрамлён, отличной отметки не будет. Вот только Щуров... Посмотрим, что скажет в заключение Щуров. Сейчас Шкварикова волнует и ещё одна мысль: предложит ли Щуров, который живёт в том же самом корпусе, где и Шквариков с женой, предложит ли Щуров подвезти его домой на своей машине? Фёдору Романовичу уже представляется: вот он входит в свою квартиру, большую, удобную, хорошо обставленную, полученную Екатериной Афанасьевной ещё в те времена, когда он, Шквариков, ютился в комнатухе на Старом посёлке, — входит, подсаживается к своей, как он любит её величать, законной жёнушке и, живописуя подробности сегодняшнего вечера, на котором он, чего скромничать, блеснул, упоминает между прочим и о том, как дружественно разговаривал с ним Сергей Емельянович, пока они вместе ехали в директорском «зисе».

За предложение Шкварикова проголосовали все, кроме Сырейщикова, — тому, как руководителю проекта, полагалось воздержаться. Сергей Емельянович присоединился к общему мнению.

— Что же, — сказал он, — по крайней мере, парнишку не избалуем.

О, Шквариков порасскажет жене об этой минуте своего торжества: ведь он сумел всех объединить, даже и Щуров к нему примкнул.

Однако Сергей Емельянович неожиданно продолжил:

— Дело ведь не столько в отметке... Главное в том, чтобы прояснить вопрос о печи Сырейщикова. Думаю, что мы от лица нашей комиссии должны обратиться в Министерство высшего образования с просьбой отпустить средства для постройки опытной печи, «электродомны», как её величает дипломант.

Шквариков солидно кивает:

— Конечно, надо внести полную ясность. Принципиальных возражений быть не может.

Фёдор Романович знает жизнь, знает цену таким постановлениям. Этому растяпе Сырейщикову постановление не поможет. Шляпа! Отказался от предложения Фёдора Романовича совместно работать над кон-

струкцией печи, чтобы в дальнейшем совместно же выступить в печати. Правда, чертежи этой печи к тому времени у Сырейщикова уже были. Ну и что же? Шквариков никогда не стал бы отрицать этого, никогда не позволил бы себе как-либо затирать Сырейщикова, выдвигать своё имя на первое место. Всем было бы известно, что основной автор — Сырейщиков, а Шквариков — лишь скромный соавтор. В таких вопросах необходима шепетильность. Её у Фёдора Романовича, кажется, достаточно. Да, прекрасное было бы соавторство: Сырейщиков взял бы на себя главным образом теоретическую часть, а Шквариков — практическую. Проталкивать эту музыку — лёгкое ли дело? Занимайтесь этим теперь сами, товарищ Сырейщиков. А Шквариков посмотрит. И, пожалуй, хорошо, что он не влип в эту историю. Дело тяжёлое, малоперспективное. И Шквариков кивает:

— Да, да... Надобно ходатайствовать...

Другие члены комиссии тоже не возражают. И только Сырейщиков, вместо того чтобы поблагодарить директора завода, хмуро бросает:

— Следует строить не печь в лаборатории, а агрегат полупромышленного типа у вас, товарищ Щуров, на заводе...

Ну как тут не пожать плечами! Вот уж поистине бестактный человек... Ему хотят сделать добро, а он огрызается, ворчит, не соображает, что все устали, что пора заканчивать обсуждение.

Вскочив, он глядит на массивного добродушного директора горящими глазами и требовательно спрашивает:

— Почему вы от этого отказываетесь? Почему в данном случае практика отказывается от того, что предлагает ей наука?..

За столом переглядываются, не скрывают улыбок...

Однако Щуров без тени усмешки отвечает:

— А я вовсе не отказываюсь... Несколько подождём, пусть авторитеты скажут своё слово. Я собираюсь послать ваш проект батьке металлургов — академику Овсянникову.

Совещание комиссии приближается к концу. Необходимо совершить ещё несколько формальностей. Между делом Щуров встаёт, подходит к Сырейщикову. Шквариков настораживает уши. С удивлением он ловит фразу, сказанную директором вполголоса:

— Валерий Николаевич, вы разрешите, я вас подкину домой на машине. Поговорим о вашем питомце. Острый паренёк...

## 7. Те же пятнадцать минут

Дипломная комиссия совещается, а товарищи Жени Лунькова разыскивают его. Куда он исчез? Надо поздравить его с удачными, меткими ответами, с блестяще проведённой защитой, ну, и посмеяться над его последней тирадой: грозно это он посулил уничтожить домны.

Но Женю не отыщешь. Лишь Завьялов знает, куда тот ускользнул, — знает, но не скажет. Герой дня укрылся на четвёртом этаже, в неосвещённой пустой аудитории. Смутными прямоугольниками выделяются большие окна. Уходят вверх, во мглу, расположенные амфитеатром ряды столов. Тут всё знакомо Жене. Вон, во втором ряду, почти с самого края, место, которое он всегда занимал. Женья и сейчас пробирается туда. Здесь он подождёт звонка, который известит об окончании перерыва. И тогда... Ему вдруг приходит мысль, что сейчас истекают последние пятнадцать минут его студенческой жизни. Последние пятнадцать минут...

И никогда уже он не войдёт в эту аудиторию студентом. Сколько счастья, настоящего счастья он здесь испытал. Однажды, после особенно увлекательной лекции, раскрывшей ему много неведомого, он сказал вечером матери: «Я плыл, как в сказке...» Сказал и смутился.

Вдруг ему мерещатся насмешливые чёрные глаза Зины Иваницкой. Эту его способность увлекаться, приходиться в восторг Зина считала забавной. Она часто употребляла словечко «забавно». Женя признаётся себе, что сбежал сюда, в тёмную аудиторию, именно тогда, когда заметил, как она, бойко отшучиваясь, пробиралась к нему сквозь толпу, — вероятно, хотела поздравить. Ведь до сих пор убеждена, что вернёт их прежние отношения. Зимой он честно (Зина заявила, что грубо) высказал ей всё. А она усмехнулась: «Всё равно придёшь». Нет, он не пришёл. Случались минуты, когда его опять тянуло к ней. И нелегко было это побороть. И совсем не забавно.

Но хватит об этом. Больше о ней ни слова. Ни одной мысли.

Иные воспоминания пробегают перед ним.

...Эта же аудитория, только не тёмная, а освещённая солнцем, заполненная второкурсниками. Идёт лекция по металлургии чугуна. Читает Сырейщиков. Высокий немолодой преподаватель в изношенном костюме, который свободно болтается на худом теле, порывистыми, резкими движениями чертит схему на доске. Потом быстро, так что студенты едва успевают записать, всё стирает, наносит новый чертёж и неровным угловатым почерком, стуча мелом по доске, приводит формулу. Затем, отложив мел, говорит. Чёрные глаза сверкают, исхудалое тёмное лицо живёт, оно одушевлено мыслью. Преподаватель говорит о применении электричества в металлургии. И вдруг у второкурсника Лунькова вспыхивает догадка. Он окидывает взглядом ряды, где сидят товарищи. Почему все так спокойны? Неужели никто не сообразил? Ведь это же так ясно — будущее металлургии в электричестве! Ведь когда-нибудь и могучие домы, эти печи-великаны, — вот они видны в окно — отойдут в прошлое, уступят своё место грядущим электроплавильным агрегатам... Преподаватель не сказал этого — он, Женя Луньков, сам к этому пришёл, был озарён этой догадкой. После лекции он кинулся с вопросами к преподавателю. Выслушав Лунькова, Сырейщиков неожиданно улыбнулся в ответ — улыбнулся так счастливо, ребячливо, что Женя подумал: да тот ли это человек с тёмным измождённым лицом, который только что читал лекцию? Сырейщиков сказал, что обо всём, что сейчас «осенило» Женю, он собирался говорить в следующий раз...

— Этой вашей будущей электродомне я посвятил немало лет, — доверчиво сообщил он Лунькову, уже считая его своим единомышленником.

...И ещё один момент вспоминается Жене. Год назад, когда старшекурсники выбирали темы для дипломных проектов, Сырейщиков не совсем уверенно спросил:

— Может быть, кто-нибудь попробует разработать проект завода... — он смущённо закончил: — с моими печами...

Прошёл год с того дня... Весь этот год Луньков и впрямь «плыл, словно в сказке». И вычертил то, что станет — в этом он ни минуты не сомневался, — непременно станет былью.

— Не пойму, Женька, кем же ты выйдешь из института, — как-то спросила Зина, когда они под руку возвращались с катка. — Электродомеником? Боюсь, что такой специальности не существует. Ни в одном справочнике не значится.

Она любила поддразнивать его, но у Жени всегда находился ответ. Он и в тот раз лихо воскликнул:

— Буду зачинателем новой профессии! Плохо ли?

Примерно так же он отвечал на воркотню отца. Только в разговорах с Завьяловым он откидывал этот удалой тон. Завьялов трезвей смотрел на вещи, понимал, что перед ними, учениками Сырейщикова, — годы рабочих будней. А удача, признание — когда-то они ещё придут? Завьялов набрался терпения на годы. И заражал Лунькова выдержкой, негасну-

щей, рассчитанной надолго верой. Сейчас Женя словно слышит его слова: «Мы же с тобой деловые романтики».

Звонок... Перерыв окончен.

Луньков идёт в зал, где его сейчас поздравят со званием инженера.

Да, завершены студенческие годы, начинается иная пора.

### 8. Ночной посетитель

По ночам дверь Центральной аптеки заперта, но яркая лампочка освещает надпись: «Звонок». В аптеке ждут трели звонка. Там находится дежурный фармацевт, или, как он ещё именуется, «ночной дежурант».

Тихо... Давно закрылась дверь за последней посетительницей — старушкой, которая приходила просить что-нибудь «от зубов». Кассирша Антонина Ивановна прилегла на приготовленную ей постель, а Шура Поземко всё медлит, не ложится. Редко ей приходится оставаться вот так — одной. В общежитии всегда народ; ещё больше людей здесь, в аптеке, в рабочие часы; и странно — лесной, таёжной кажется тишина, что стоит сейчас в зале, в ассистентской, в мойке. Свет почти во всех комнатах уже погашен. Нет, здесь всё-таки своя, городская, не лесная тишина. Порой за окнами, расписанными первым морозцем, прошестит по снегу автомашина, донесётся гудок паровоза. И опять — ни звука... Даже слышно, как на стене тикают часы.

Бесшумно ступая тёплыми тапочками на мягкой войлочной подошве, Шура Поземко обходит свои владения. В ассистентской висят шкафчики с надписями: «Venena» и «Негоіса», что значит: ядовитые и сильнодействующие... На ночь шкафчики запечатаны сургучом. Шура медленно поворачивает вертушку, на которой размещены большие и малые штангалы, широкогорлые склянки с сыпучими и жидкими веществами разного цвета и вида, способными облегчить страдания человека. Каждое из этих веществ по-особому действует на организм. Но как и почему это происходит? Что совершается в организме человека, принявшего то или другое лекарство? Шура не так-то много знает об этом. А хорошо бы знать! В её памяти всплывают слова учёного, потрудившегося и для фармакологии. Великий Иван Петрович Павлов назвал лекарства «универсальным оружием врача».

«Орудия, — с гордостью думает ассистент Центральной аптеки, — вот они, целая батарея». Взгляд задерживается на одном из этих «орудий». «Купрум сульфурикум» — серноокислая медь. Шура не раз ею пользовалась, изготавливая некоторые растворы, глазные капли. Сейчас девушка может не спеша полюбоваться этим ярким зеленовато-голубым веществом. Таким вот цветом иной раз отливает ледяная глыба где-нибудь у проруби возле деревни Лисьи Мхи... Нет, почему же только там? Шура усмехается. Она снова толкает вертушку. Можно и не читать чёткие, крупные надписи на банках, она помнит место каждой. Хорошему ассистенту стоит только взглянуть на рецепт, как рука сама тянется к нужному сосуду. А Шура уже полгода работает в аптеке. Сегодня она в первый раз осталась одна на ночное дежурство. Можно всего ожидать. Конечно, она вовсе не хочет, чтобы с кем-нибудь из новодоменцев случилась беда. Но если случится... Пусть бы тогда обратились к ней, в её аптеку. Можете положиться на Шуру Поземко. Что от неё требуется? Находчивость, быстрота, хладнокровие. Аптекарь может спасти человеческую жизнь. Это бывает. Ночное дежурство — дело ответственное.

Нахмутив брови, девушка, имеющая звание помощника провизора, подходит к зеркалу возле дверей и оправляет свой белый, слегка накрахмаленный халат. Белую шапочку она сдвигает немного на затылок, от-



крывает лоб — так ей больше к лицу. В глазах — полнейшее хладнокровие. Она готова. Пусть зазвенит звонок.

Но в аптеке тихо... Обычно в комнате, которую сейчас разглядывает Шура, идёт непрерывная спорая работа, только и видишь, как мелькают руки девушек в белых халатах. Но в этот ночной час за столами — никого. Вертушки неподвижны. Мирно дремлют весы, которые привыкли целый день раскачиваться; разновесы, даже самые крошечные, равные сантиграмму (в аптеке говорят попросту «санти»), нашли своё место в ящичках.

На шурином рабочем столе всё под рукой: только принять рецепт — и закипит дело! Рядом — столик новой шуриной подруги Даши. Милая Даша... Трудновато пришлось бы Шуре поначалу, не будь рядом этой доброй толстухи.

В зале аптеки, или, как его чаще называют, первой комнате, Шура тоже включает свет. Без посетителей комната кажется преобразившейся. Чисто, тихо... Пoblёскивают под стеклом хирургические инструменты, красуется прилавок — витрина парфюмерии и гигиены. Шура склоняется над нарядными коробками, флаконами, рассматривает их. «Ну, совсем как возле ритиной кровати», — улыбается она. Фасовщица Рита, её соседка по общежитию, держит на своей тумбочке и этот одеколон «Маскарад», и крем «Снежинка», и крем «Молодость».

Странная Рита... Пожалуй, ни в одной аптеке города не найдётся такой ловкой, быстрой фасовщицы, а кажется, что и на работе она думает о чём-то своём. Шура ещё ни разу не видела Виталия, теперешнего ритиного «молодого человека», но такой же гранёный флакон духов, как вот этот на витрине, Рита недавно с торжеством поставила на вышитую дорожку, украшающую её тумбочку: его подарок. Как-то Шура спросила: «О чём ты мечтаешь больше всего на свете?» Рита ответила: «О красивой любви». А Даша усмехнулась и сказала: «Это бывает только в книгах...»

Шура гасит свет, уходит из зала. Может быть, Даша и права...

Не снимая халата, Шура ложится на свою постель — постель дежуранта. Под изголовье засунут бумажный свёрточек. Шура спешит развернуть его.

Сегодня, идя на дежурство, она заметила на углу Банного переулка мальчишку, — он торговал кедровыми орехами. Платить три рубля за стакан зёрнышек в коричневой скорлупе, которые она сама мешками собирала на зиму, показалось ей невыносимым. Но, пройдя целый квартал, Шура вернулась, и продавец отсыпал ей в фунтик из газеты полный стакан маленьких сибирских орешков.

Ночной дежурant грызёт орехи и хохочет, читая Чехова. Смешной попался рассказ.

Но что это? Кажется, у подъезда аптеки остановилась машина. Да, хлопнула дверца машины... Звонок! Дежурant вскакивает, быстро идёт к входу, отбрасывает тяжёлый крюк...

На снегу перед аптекой, действительно, стоит «Победа» — не разберёшь какого цвета: сейчас, в смутной белизне, все цвета кажутся чёрными. Фары потушены. В машине — никого. Очевидно, человек, подъехавший к аптеке, сам управлял машиной.

Посетитель расстёгивает тёмное драповое пальто, к которому уже успели, пока он стоял на крыльце, пристать сухие снежинки, достаёт из внутреннего кармана рецепт.

— Как у вас жарко! — восклицает он.

В аптеке вовсе не жарко. Посетитель, видимо, волнует. Однако тотчас поправляет себя:

— Или, может быть, просто тепло.

И неловко улыбается, будто говоря, что он не желал обидеть ни Шуру, ни её аптеку. Затем снимает пушистую пыжиковую шапку. Без неё он выглядит гораздо моложе. «Моложе и красивее», — отмечает Шура.

— Этих капель у нас в запасе нет, — произносит она. — Но их можно приготовить.

— Пожалуйста, я буду очень благодарен, — торопливо говорит молодой человек и, опять словно извиняясь, добавляет: — Отец других не признаёт... Можно бы и другие, но он начнёт нервничать.

— Зачем же ему нервничать? Через десять минут вы уже будете в машине с вашими каплями. — Шуре нравится, что этот человек так беспокоится об отце. — Я сделаю, а потом разбудим кассира.

— Пожалуйста... Как найдёте нужным.

Шура заполняет сигнатуру.

— Кистяковский... — произносит она.

Посетитель шутиливо раскланивается:

— Придётся представиться: Алексей Кистяковский.

Шуре остаётся одно — назвать и своё имя. Она смущённо улыбается молодому человеку, и он невольно любит этой сдержанной, свойственной именно Шуре улыбкой, таящейся в уголках губ.

Шура тоже успевает разглядеть Алексея. Каштановые мягкие волосы, встревоженные карие глаза. Видно, что молодой Кистяковский чуточку косит, то есть его глаза немного рознят: один смотрит на неё, другой как будто в сторону. Как ни странно, эта чёрточка даже нравится Шуре. Её младшая сестрёнка тоже чуть косит. Удлиненное бледное лицо посетителя теперь кажется ещё добрее. Такой не обидит, не поступит грубо. И какая-то милая беспомощность проглядывает в нём. Шура даже ощущает лёгкий укол жалости.

Расстегнув пальто, молодой человек просит разрешения присесть на деревянный чёрный диванчик.

— Я только что с работы, — певуче говорит он. — Не побыл дома и десяти минут.

У Шуры мелькает: «Кто же он? Артист? Похоже... Возвращается с работы ночью. И бледный такой, и руки тонкие...» Но молодой Кистяковский оказывается вовсе не артистом. Он недавно сдал смену; он сменный инженер трубопрокатного цеха.

— Metallург? — произносит Шура.

Это слово вызывает доверие, уважение. Особенно здесь, в Ново-Доменске. Вот образованный человек. А с виду совсем молодой...

— Устал... — Он откидывается на спинку дивана. — Сегодня до смены было ещё комсомольское собрание.

Комсомолец? Шура доверчиво взглядывает на посетителя...

Сигнатурка заполнена. Скорей к своему ассистентскому столу! Подтянув рукава халата, Шура снимает с вертушки нужные склянки, берёт капельник. Она старается не оборачиваться, не поднимать головы и всё-таки знает, чувствует, что инженер наблюдает сквозь полуоткрытую дверь за быстрыми точными движениями её по-крестьянски широких, розовато-смуглых рук.

— Разрешите воспользоваться телефоном, — обращается он к ней. — Беспокоюсь за отца.

— Пожалуйста, — говорит Шура и делает над собой усилие, чтобы не поднять головы, не взглянуть на этого человека с таким приятным, певучим голосом.

Через минуту она снова слышит этот голос:

— Мама... Это я, Алёша. Да, из аптеки. Что? Уже нашли?.. Ну, слава богу! Теперь я спокоен. Что?.. Давай отца, давай...

Не опуская трубки, Кистяковский поворачивается к Шура, Шура поднимает уже закупоренную, залитую смолкой бутылочку, словно хочет сказать: готово!

— Срочность отпала,— весело сообщает он.— Дома нашли эти самые капли. И отцу уже лучше.

Затем он разговаривает по телефону с отцом. Нервное напряжение находит разрядку в смехе. Молодой Кистяковский хохочет:

— Спрошу, папа... Сейчас узнаю.

И опять обращается к Шура:

— Больной уже в порядке... Велел справиться у вас, не приносили ли вам ещё один рецепт, не понадобились ли сердечные капли некоему Сырейщикову... Папа и другой преподаватель сегодня на учёном совете такого друг другу наговорили, что и тот должен бы прибегнуть к медицине.

Но Шура не знает никакого Сырейщикова. Она всё же смеётся вместе с молодым инженером, смеётся потому, что и сама молода. А Кистяковский не спешит уходить. Он просит не будить кассира — теперь лекарство не к спеху — и начинает восхищаться аптекой: уютно, красиво, образцовая аптека. Он шутит:

— И часто вы остаётесь в аптеке на ночные дежурства? А то я, знаете, побаиваюсь, что все мои родные теперь начнут нуждаться в срочно изготовленных лекарствах.

Покраснев, девушка становится ещё милее. Неизвестно, как стал бы дальше развиваться разговор, но вдруг трезвонит телефон.

Из дежурной аптеки Старого посёлка обращаются за помощью. Тяжёлый случай, нужен пенициллин. Нет ли его в Центральной аптеке?

Шура просит подождать, сразу отыскивает нужный флакончик и спешит к телефону. Трудно не залюбоваться её уверенными быстрыми движениями. Кажется, именно это и называют грацией. Алексей Кистяковский с грустью думает, что, пожалуй, сам он до сих пор не чувствует себя так по-хозяйски в своём трубопрокатном цехе, как эта девочка тут, в зале аптеки.

Шура кричит в трубку:

— Есть пенициллин! Пусть скорей приезжают. Хотя...

Она вспоминает, что в этот час трамваи и автобусы уже не ходят.

Неподалёку от телефона стоит Кистяковский. Шура исподлобья пытливо взглядывает на него.

— Опасаются заражения крови, надо бы поскорей.

Алексей понимает. Он с готовностью нахлобучивает меховую шапку.

— Конечно, если такая срочность... Я доставлю мигом...

Наконец-то он заслужил эту удивительную, сдержанную и вместе с тем открытую шурина улыбку. Шура весело говорит в трубку:

— Пенициллин к вам сам прибудет... У нас оказалось не только лекарство для вас, но и машина, чтобы его доставить.

Положив трубку, она говорит:

— Вот удивились, что у меня под рукой машина. Говорят, я настоящий провизор. — И поясняет: — Слово «провизор» означает «провидящий вперёд, заботящийся заранее».

Шура протягивает инженеру руку:

— Хочется сказать вам спасибо.

— А я благодарю случай,— тихо отвечает Алексей.

— Какой?

— Я сначала думал поехать в другую аптеку... — Не выпуская шуриной руки, он продолжает: — Возможно, что и я «провидящий».

Шура смущённо высвобождает руку.

— Не забудьте про свои капли.

— Ну нет. Два лекарства моя «Победа» не поднимет... Заеду в другой раз. Скажите, когда вы опять будете работать? Всё равно узнаю. Телефон Центральной аптеки не секрет.

За Кистяковским захлопывается дверь. И снова тихо...

Шура, задумавшись, подходит к своей постели, где на подушке разбросана ореховая скорлупа.

— Шура, а какая у него машина? — сонным голосом окликает её кассирша.

— Кажется, «Победа»...

— Ну, поздравляю с победой...

Улыбнувшись собственной шутке, Антонина Ивановна поворачивается на другой бок и засыпает.

День-другой спустя Шуре пришлось покраснеть.

Черноволосая кудрявая Рита прибежала в аптеку, когда обеденный перерыв уже кончился. Торопливо надела халат, села за свой столик и, подавшись к Шуре, шепнула:

— Поздравляю с победой!

— С какой? — чуть слышно выговорила Шура, не поднимая глаз от фарфоровой ступки.

По ритиному лукавому лицу она догадалась, о чём идёт речь. Ох, уж эта Антонина Ивановна... Но тотчас выяснилось, что кассирша была ни при чём.

— Он профессорский сын, приятель Виталия, — продолжала нащёптывать Рита. Ловко заворачивая порошки, она с увлечением сообщала подробности: — Он у моего тренировался по гребле...

— Кто — он?

Не поднимая головы, продолжая мерно работать пестиком, Шура чувствовала, как горели щёки. Ей вдруг стало неприятно, что Алексей Кистяковский, добрый, неловкий, с такими мило косящими глазами, оказался приятелем Виталия, о котором Рита постоянно трещит в общезнании. Может быть, ритин поклонник и хорош и составит ритино счастье, но... Зачем Алексей рассказал ему?

Весёлая, бойкая фасовщица хотела поболтать ещё: она только что виделась с Виталием... Однако Даша, строгий комсорг аптеки, напомнила девушкам, что в ассистентской разговоры запрещены.

— Он про тебя сказал Виталию, что ты северная Джиоконда, — только и успела шепнуть Рита.

О том, кто такая Джиоконда, о её загадочной улыбке Шура узнала лишь года через два, когда торжественно отмечалось 500-летие со дня рождения Леонардо да Винчи.

Постеснялась она расспросить и Алексея, который вскоре, во время одной из прогулок, с волнением продекламировал строчки Маяковского:

...а я одно видел:  
вы — Джиоконда,  
которую надо украсть!

## 9. Отрез на блузку

Пора спать... Шура откладывает на тумбочку «Робинзона Крузо», принесённого ей Кистяковским. Спасибо ему... Впрочем, сначала Алексей вручил ей совсем другую книгу — томик рассказов Мопассана, «необыкновенно волнующего автора», как он сказал. Мопассан Шуре понравился. Однако, возвращая книгу, она нерешительно спросила: «А «Робинзона Крузо» у вас нет? Мне ещё в детстве хотелось прочесть...» В первую мину-

ту Алексей широко раскрыл глаза — эти немного рознящие, милые глаза. Потом он воскликнул: «Шура, вы чудо! Вы прелестная дика-рочка!..»

— Начиталась? — спрашивает Даша.

Шура вскакивает с постели, бежит босиком к выключателю и гасит свет.

— После ванны по ледяному полу, — ворчит Даша, расправляя простыню под грубошёрстным колючим одеялом.

Пол совсем не холодный, но Шура не спорит: известно, что Даша смертельно боится простуды. Рано располневшая, как говорится, сырая, она нередко прихварывает и считает своим долгом комсорга охранять всех от таких напастей.

Белая ванна с закруглёнными краями, напоминающая фарфоровую ступку, в которой растирают, перемешивают лекарства, пленила Шуру в день её приезда в Ново-Доменск. Это была первая ванна, увиденная ею. Студенческое общежитие в Обске имело лишь две душевые кабины с тёмными облупившимися стенами, и горячую воду пускали там только по субботам.

А тут в ванной комнате всегда было сколько угодно горячей воды. Ново-Доменск, город металлургов, располагал горячей водой в любое время суток. Ведь огромные доменные печи, которые поначалу нагнали на Шуру уныние, а теперь уже кажутся ей куда более добродушными, доменные печи, в которых пылает неугасимый жар, нуждаются в непрерывном охлаждении, требуют непрерывного потока воды, отнимающей, уносящей с собой тепло. Этого жара домен, конечно, хватало на то, чтобы дать городу «квантум сатис» горячей воды. «Квантум сатис» — это аптекарское выражение любили употреблять девушки. Оно означало: сколько надо, по потребности.

Общежитие представляло собой обычную трёхкомнатную квартиру в новом доме, на той же Большой Аптечной. Дежурным, имевшим вдоволь горячей воды, нетрудно было соблюдать и в комнатах и в ванной «легэ артис» — безукоризненную, по всем правилам, чистоту. Это словечко, принятое у фармацевтов, тоже было в ходу у обитательниц квартиры. Однако некоторые из них вдруг забывали о том, что такое «легэ артис», забывали именно тогда, когда наступал их черёд дежурить в общежитии. Надо ли добавлять, что в число этих «некоторых» нередко попадала и Рита?

— За собой следить не забываете, — выговаривала в таких случаях Даша. — Личное-то сильнее общественного.

Сегодня как раз очередь Риты дежурить по общежитию. Но её нет, и явится она поздно. У Виталия, видимо, свободный вечер.

— Рита меня беспокоит, — прерывает молчание Даша. — Откуда такая сумасшедшая любовь?

Поведение Риты неизменно вызывает споры между Дашей и Шурой. Даша давно осудила эту тоненькую черноглазую, с нежным румянцем девушку, а Шура так не может... Когда вечерами, сидя на койке и быстро кладя стежок за стежком, трудясь над искусной вышивкой, Рита поёт о любви, Шура перестаёт читать и слушает. Множество песен, таких, что хватают за сердце, знает Рита.

— Ты ведь не сходишь с ума, — доносится с дашиной койки.

Сквозь затянутое морозным узором окно проникает свет с улицы. Шура едва различает бледноватое полное лицо своей соседки. Читательница «Робинзона Крузо» смущена. Девушки уже успели окрестить «романом» несколько шуриных прогулок в обществе молодого инженера. Большая Аптечная — большая лишь по названию, скромная улица, на которой

стоит Центральная аптека,— единственное место встреч с Алексеем. Рита, конечно, именует эти прогулки «свиданиями».

— Тебе повезло,— не унимается Даша,— человек положительный, культурный...

Шура рада, что деликатная Даша хоть не расспрашивает о её чувствах к Кистяковскому, не то что Рита, эта болтушка, которая всё должна знать, всюду сунуть носик...

А Шура даже самой себе ещё не может дать отчёта... Нет, она не скрывает, ей очень с ним интересно: он столько знает и так хорошо говорит. Он для неё даже слишком образованный; рядом с ним Шура чувствует себя ужасно отсталой. Вспомнилось последнее прощание с Алексеем. Он долго держал её руку, она не спешила отнять... Шура вновь ощущает горячий взгляд Алексея. К счастью, темно: не видно, как вспыхнули шурины щёки.

— Он добрый, понимаешь, стеснительный,— тихо, словно оправдываясь, произносит Шура.

— Кто знает, может, это твоя судьба,— вздыхает о чём-то своём Даша и плотнее укутывается одеялом.

Шура не отвечает. Пора спать... У противоположной стены, где тоже тесно стоит несколько кроватей, сонно дышит Людмила Петровна, рецептар: немолодая, молчаливая, она счастливо умеет засыпать под разговоры.

Медленно, слегка поскрипывая, отворилась дверь. Рита, побаиваясь Даши, старается войти незаметно. Но тут же она не выдерживает:

— Шурка, спишь?

Подойдя ближе, Рита, заглываясь, шепчет:

— Есть новость! Твой сказал Виталию: «Без Шуры не буду встречать Новый год».

Шуре не нравится это словцо «твой», но всё же... Всё же сообщение Риты сразу разогнало сон. Представился большой накрытый стол, оранжевый нарядный абажур. Сама Шура ещё никогда не сидела под таким абажуром, но часто видит их в окнах домов.

Представилось, что за столом — старики Кистяковские, милые, добрые, как о них рассказывал Алексей, и много гостей. Шура улучит минутку и скажет профессору: «Николай Феокистович, а ведь это я вам готовила сердечные капли». И Алексей пошутит: «Это были лучшие в мире капли, они меня вылечили от тоски». Так он однажды сказал Шуре.

И вдруг Рита задаёт вопрос, заставивший Шуру приподняться с подушки:

— А в чём ты пойдёшь на Новый год?

В самом деле, в чём она пойдёт? В тот день, когда Шура Поземко явилась в общежитие Центральной аптеки, девушки, указав ей койку и тумбочку, освободили и место в шкафу. Даша протянула Шуре деревянные плечики: «Пожалуйста, вешайте сюда свои вещи». Шура сдержанно поблагодарила. Вешать в шкаф было нечего. Пальто, что было куплено в Обске взамен зипуна с самодельными деревянными пуговицами, привезённого из деревни, полагалось оставлять в прихожей, а платье... Не так-то легко приодеться на стипендию. Кое-что на последнем курсе техникума Шура всё-таки откладывала, купила туфли и синее платье, чтобы было в чём выйти на работу, но другого платья, праздничного, у неё не было. Здесь, в Ново-Доменске, она успела справиться себе новое зимнее пальто. Синее, с большим серым воротником, оно было предметом давних чаяний Шуры. Ради него пришлось даже подзанять денег. Конечно, ей сейчас не до праздничного платья.

В полутьме Даша укоризненно посмотрела на Риту: нашла о чём спрашивать. А Рита стала соображать вслух:

— Хотя бы блузочку тебе сшить...

Блузку? Тут Шура рассказала подругам одну историю. Вот удивила её тогда мама... Это было в те дни, когда Шура впервые покидала семью, накануне отъезда в Обск. Мать, можно сказать, по ниточке собирала свою старшую в дорогу. Однажды, вернувшись с работы, с птицефермы, Шура поразилась торжественному виду матери. После ужина, отослав ребят на улицу, мать достала из-под подушки завёрнутый в домотканное полотенце кусок невиданной синей материи. «Это тебе, дочка, на блузку. В городе будешь не хуже других...» Шура взяла в руки лёгкую, почти прозрачную ткань с будто наклеенным узором из белых пушистых горошин.

— Вот, наверное, красота! — вздохнула Рита.

Все знали, что Рита больше всего ценит красоту.

Шура продолжала рассказ. Её и тронул и удручил поступок матери. Мать увидела эту ткань у соседей, к которым только что вернулся из армии сын, привёз гостинцы; увидела и так прельстилась, что, отбросив свою робость, уговорила соседку взять сапоги шуриного отца, пролежавшие в сундуке с начала войны, и взамен отдать отрез: дочери на счастье, дочь уезжает в город.

— А дальше? Где же он, отрез? — разволновалась Рита.

— Куда мне такая блузка? Да и с чем её наденешь?

— Действительно, ни к чему, — подтвердила, позёвывая, Даша.

То же самое когда-то сказали Шуре и её обские подруги, перед которыми она однажды развернула отрез. Поступок матери единодушно был назван чудачеством. Но не так думала Рита.

— Где отрез? — только и выдохнула она.

Шура достала из-под кровати свой старый деревянный сундучок. На дне, завёрнутый в газету «Советская Сибирь», лежал кусок тонкой, лёгкой, как пух, материи.

Рита обмерла, схватила отрез и помчалась в ванную. Там висело лучшее или, говоря точнее, единственное в общежитии большое зеркало. Накинув на голые плечи одеяло, сунув ноги в тапочки, Шура побежала вслед. Потом туда же, к зеркалу, зашлёпала войлочными туфлями и Даша в пёстром фланелевом халате.

— Держать такую красоту под замком! — глядя на матерью, возмущалась Рита, хотя на деревянном сундучке Шуры никогда не было никакого замка.

Рита ловко накинула на шурины плечи нарядную ткань, потом с меньшим энтузиазмом украсила ею и свою особу. На дашиных плечах эта материя не побывала: Рита считала Дашу неинтересной.

Наконец Рита решила так: к Новому году шьются два платья. У Риты есть кусок синей вискозы; из этих двух отрезков можно скомбинировать два необыкновенных платья. Шить будет сама Рита, — а шила Рита хорошо. Впрочем, так же хорошо она делала всё, чего касались её руки. Ни в одной аптеке города так быстро и так аккуратно не фасовались лекарства, как в Центральной аптеке, где Рита служила фасовщицей.

## 10. Поездка во Дворец

В далёкой Москве ещё не закончился рабочий день, люди ещё трудятся, большинство ещё не включилось в предпраздничную суету, а в Ново-Доменске эта весёлая суета в самом разгаре.

Шура и Рита уже обрядились в одинаковые, сшитые искусными ритинными руками платья, уже насладились восхищением всего общежития и теперь, как выразилась Рита, ждут своего экипажа, который доставит их во Дворец. Они приглашены на бал во Дворец металлургов, поедут туда на «Победе».

Когда новодоменцы во Дворце металлургов, в больших домах и в незвучных домишках, станут поздравлять друг друга с Новым годом, с новым счастьем, москвичи только начнут облачаться в свои праздничные наряды, столичные хозяйки только примутся расставлять всякую снедь на чистых скатертях. Шура и Рита уже вернутся с бала домой, в общежитие, а жители Москвы будут провозглашать лишь первые новогодние тосты. Кремлёвские часы пробьют двенадцать раз, когда в Ново-Доменске будет три часа ночи. Так уж положено, поскольку земной шар продолжает вертеться.

Шура и Рита, оберегая свои обмены, не принимают участия в хозяйственных хлопотах других девушек, превращающих самую большую комнату в банкетный зал. Командует Даша, она решила организовать в общежитии достойную встречу Нового года. Ведь не у всех же девушек нашлись кавалеры, которые могут увезти своих избранниц в лучший клуб Ново-Доменска. Счастливицы, сидящие на кровати в одинаковых платьях с нарядными вставками и рукавами, на которых будто трепещут пушистые белые горошинки, чувствуют себя сегодня несколько виноватыми перед товарками по общежитию, остающимися дома. Правда, и сюда званы гости; удалось раздобыть патефон, а пластинки обещал принести холостяк Кирюшкин, бывший старший лейтенант, а теперь бухгалтер Центральной аптеки.

— Угостимся не хуже других, — любитесь Даша празднично убранным столом.

С сервировкой у них скудно, кое-что ещё донесут гости. Поправив вилки и ножи, чтобы лежали ровненько, Даша задумывается. Если у неё когда-либо будет своя семья, она соберёт всех, всех девушек из аптеки, пригласит товарищей мужа (товарищи будут завидовать её мужу, так она станет о нём заботиться) и устроит невиданную встречу Нового года. У них, в семейном доме, найдётся большое блюдо для студня, это куда красивей, чем ставить в глубоких тарелках. И всего будет вволю. И хозяин дома — хороший, идейный человек — скажет гостям: «Это моя Дарья постаралась».

Никто не должен знать, о чём сейчас вздохнула Даша.

— Аккуратный стол, правда? — спрашивает она.

Затем, сочувственно покосившись на Шуру и Риту, Даша накладывает две тарелки винегрета, протягивает пирожки:

— Подкрепитесь, девочки... Во Дворце вас накормят весельем, а вот насчёт этого не поручусь...

Трудно отказаться от угощения, и оно быстро исчезает с тарелок. В благодарность Рита достаёт любовно промереженную, своей работы, салфетку и с помощью Шуры покрывает ею чужую, придвинутую к окну тумбочку, где водружена маленькая ёлка, блистающая золотой канителью.

Даша гасит верхний свет — это значит, что приготовления к вечеру закончены. Она будет чувствовать себя спокойней, если её помощницы отправятся в другие комнаты, или к зеркалу в ванную, чтобы здесь ничего не было сдвинуто, стронуту до прихода гостей.

Странно, но крупная белотелая Даша иногда напоминает Шуре мать — маленькую, смуглую, оставшуюся далеко на Севере, на родной Оби. Сейчас, когда Даша взялась рукой за выключатель, Шура ощущает на себе её внимательный, встревоженный взгляд. Старшая среди подруг не только по возрасту, но, если можно так выразиться, и по характеру (кажется, будь она моложе остальных, она всё равно стала бы их опекать). Даша умеет иногда взглянуть вот так, по-матерински.

Шура догоняет её в коридоре.



— О чём ты, Даша? Опять скажешь — личное сильнее общественного?

— Ну, что ты? Обязательно поезжай... Потом и нам расскажешь... Шутка ли: такой вечер во Дворце металлургов.

— Целый доклад сделаю, — веселеет Шура.

Она думает: «Милая Даша. Другая, наверное, осудила бы нас с Ритой за то, что удираем из своей компании...»

Даша полной, в голубых жилках рукой пощипывает пушистые горошины на прозрачном рукаве шуриного платья.

— А насчёт личного... — Голос Даши вдруг дрогнул. — Пусть оно будет у тебя хорошим.

Круто повернувшись, Даша уходит. Шура понятно: вспомнила о своём. У Даши в прошлом какая-то печальная история.

...В полутёмной комнате, на задвинутой в угол кровати, сидят две подружки в одинаковых платьях.

— Неужели ты первый раз поедешь с ним на машине? — спрашивает Рита.

— Да, — роняет Шура.

Ей трудно объяснить, почему она так упорно отказывалась от всяких знаков внимания со стороны Алексея. Пожалуй, боялась спугнуть что-то хорошее, что возникло — или нет, могло возникнуть — между ней и этим мягким, преданно глядящим на неё человеком.

— А ты веришь, что бывает настоящая красивая любовь? Такая красивая, что жутко? — переходит на шёпот Рита.

— Кто знает...

Шура в разговоре с Ритой всегда немногословна. Она привязалась к этой живой, весёлой, отзывчивой, немного бесшабашной девушке, но что-то в ней и отпугивает Шуру. Рита не похожа на всех её прежних подруг.

— Никто так не умеет ухаживать, как Виталий, — снова слышится шёпот Риты.

Возбуждённая предстоящим удовольствием, она поверяет Шуру свои мысли о красоте отношений, сложности чувств, о любви, истинной любви, про которую написано множество книг, сложено столько нежных и печальных песен. Шура невольно любит Ритой, её подвижным личиком, на котором даже в полутьме сверкают живые чёрные глаза. Только кажется странным, что все эти мечты, все разговоры о красивой, особенной любви связаны с Виталием, который стал захаживать к ним в общежитие и к которому Шура никак не может заставить себя ощутить симпатию.

— Любовь — это праздник, — продолжает Рита, — а вот наша Дарья этого не понимает.

Шура помалкивает, но, надо признаться, слушает не без интереса. Ей тоже хочется верить, что на свете существует настоящая прекрасная любовь... Временами в её воображении всплывает доброе бледное лицо Алексея, который совсем, совсем не похож на ритиногo Виталия.

...Инженер Алексей Кистяковский ведёт свою зеленоватую, цвета морской волны «Победу» по Большой Аптечной.

На заднем сиденье, широко, во всю ширину машины раскинув руки, привольно расположился Виталий Крекшин. Презрев крепчайший мороз, он надел серую фетровую шляпу; она сползает чуть ли не на самые брови, на его приметные, тщательно подправленные бритвой, тёмные прямые брови.

Сейчас эти брови недовольно сдвинуты.

— Удивляюсь тебе,— продолжает он начатый спор.— Это же всё чепушина. Любая девчонка была бы рада встретить Новый год у тебя дома.

Крекшин самодовольно добавляет:

— За свою во всяком случае ручаюсь...

Алексей явственно представляет, как выпятилась и словно набрякла тяжёлая нижняя челюсть его рослого, широкоплечего приятеля. Что ему возразишь? Он всё равно не поймёт. Разве милая дикарочка — это любая девчонка? И всё же Кистяковский, как всегда, не может не позавидовать своему грубоватому собеседнику. Для того всё — чепушина. Алексею хорошо известно, что этот молодой человек — здоровый, крепкий, тренер по нескольким видам спорта — убеждён: жизнь принадлежит таким, как он, Виталий Крекшин. А Кистяковского, напротив, часто терзает неуверенность в себе. Он нередко на себя досаждает. Поучиться бы у Крекшина искусству жить!

— Ну-ка, останови вон у той палатки,— командует Крекшин, кладя руку на плечо Алексея.—Я прихвачу бутылочку чего-нибудь снегосшибательного...

— К чему? У нас этого много...

— Поставлю от себя. Раз Новый год, так значит складчина...

— Не надо. Дома всего полно, — отмахивается Кистяковский. — Родители позаботились.

Ярко освещённая палатка, у которой толпятся покупатели, остаётся позади.

— Тебе повезло с предками, — смеётся Виталий, но тотчас опять становится серьёзным. — Точно ли они не вернутся до четырёх?

— Обещано...

— Стало быть, оперативный простор обеспечен... Да ты не смущайся... Девчатам не вредно разогреться вином. А то твоя красотка вконец заморозила тебя. Больше месяца топчешься с ней на этой авеню...

Алексей часто внутренне вздрагивает от словечек Виталия. Да, не получил человек воспитания. Руки Алексея в кожаных мягких перчатках лежат на рулевом колесе, он внимательно смотрит вперёд, на сияющую в свете фар, будто набегающую белую дорогу. Вместе с дорогой уплывают назад тротуары и дома — то большие, порою ещё недостроенные, то маленькие, одноэтажные. Действительно, это место его с Шурой прогулок. Милая Шурочка... Конечно, Виталий здорово придумал — сначала съездить во Дворец, а потом пригласить девушек домой к Алексею... Какой у неё нежный рот... Нет, разве Шура поедет к ним?

Однако, догадываясь о сомнениях Алексея, Виталий уверенно цедит:

— Ритуха получит от меня инструкции. Сумеет твою убедить.

Из глушителя выстреливает газ. Алексей снижает ход машины. Раздаётся ещё несколько громких неприятных выхлопов.

— Вот некстати, — бормочет Кистяковский. — И теперь так часто бывает. Не знаю, что делать с мотором.

— Чепушина, — говорит Виталий. — На автобазе у меня три футболиста. И механик там гиревик. Хочешь, воткнём туда твою «Победу» на ремонт.

— Да, хорошо бы...

— Замётано. Со мной, друг, ни ты, ни твоя машина не пропадёте.

Алексей направляет «Победу» к бровке тротуара. Спортинструктор ухмыляется. Да, кажется, предстоит недурная новогодняя ночь. Сейчас во Дворец, потом к Алексею, ну, а там... Там по ходу пьесы будет видно. Вот и знакомый подъезд. Стоп!

— Ну, поднимайся, — торопит Алексей. — Девушки ждут.

— Девушкам и положено ждать. Иные всю жизнь ждут. Только поднимешься за ними ты.

— Я? Я ведь ни разу ещё в общежитии не был, — смущённо признаётся Алексей.

— Знаю, — усмехается Виталий и сдвигает на затылок свою шляпу. — Знаю, что не допущен. Сегодня лови момент. Ну, ну! Слушайся своего тренера. Раз, два, арш!

...Несколько минут спустя Алексей Кистяковский подсаживает в машину двух сияющих пассажирок. На Рите шляпка, опушённая белым мехом, в руках маленькая белая муфта.

— Поехали! — восклицает она.

Шура, одетая в своё новое, представляющееся ей тоже нарядным пальто с серым кроличьим воротником, садится рядом с Алексеем. От волнения она совсем притихла, и лишь её улыбка говорит: «Поехали».

Машина плавно, легко берёт с места. Виталий привлекает к себе Риту и, не смущаясь присутствием другой пары, громко целует. Шура, которая сама попросила Кистяковского подвезти на вечер и Риту с Виталием, сразу насупилась, смотрит исподлобья. Так же исподлобья она поглядывает на Алексея: неужели и он услышал? Тот склонился над рулём, выбирает дорогу в снежной мути, прорезаемой лучами фар.

Но Рита несколько не смущена. Она счастливо улыбается, прижавшись щекой к ворсистой куртке Виталия. Разве она не вправе считать себя его невестой? Разве плохо, что она полюбила навеки?.. Она закрывает глаза. Немыслимо хорошо... Придёт время, и она постоянно будет ощущать поддержку этой крепкой руки, что сейчас обняла её...

А шурины глаза широко раскрыты. За окном искрится снежный простор. Она впервые в этой части города. Алексей охотно поясняет: шоссе, называемое проспектом Курако, тут пересекает пустырь, соединяя два района города, которые в недалёком будущем сольются. Здесь, на пустыре, пешеходов не так много, можно прибавить ходу. Машина легко обгоняет ярко освещённый, с побелёнными морозом окнами автобус. Держа руль одной рукой, Кистяковский трогает, подправляет подвижное зеркало, укреплённое перед водителем, ловит наконец отражение лица Шуры, видит, как блестят восторгом её тёмные глаза, как приоткрылись губы.

— Шурочка, нравится?

Она кивает.

— Вот... А вы всё отказывались.

Шура не отвечает. Она заметила освещённые круглые часы, вмонтированные рядом с разными приборами под ветровым стеклом. Раздаётся её изумлённый возглас:

— Ой, тут и часы!

Она никак не может разделаться с этой своей непринуждённостью, хотя и наталкивается часто на усмешки. Но Кистяковский не смеётся. Возгласы этой дикарочки, как он всегда называет её про себя, необыкновенно нравятся ему.

— Вы разве впервые в машине? — негромко спрашивает он.

— Нет, на грузовой поездила! А на такой... На такой первый раз...

Теперь уже Рита краснеет за подругу.

— В каждой «Победе» есть часы, — поясняет она.

Шура слышит за своей спиной бесцеремонный смех Виталия. И зачем она только поехала! Со своими ей было лучше... Но недолго девушка сидит нахохлившись. Рука в кожаной перчатке, на минуту оставив рулевое колесо, тянет её за обшлаг. В лицо заглядывают карие глаза, которые чуть-чуть косят, как у её младшей сестрёнки. И Шура не удерживается, улыбается в ответ на подбадривающий влюблённый взгляд.

— Вон там и Дворец, — тихо говорит Алексей.

И Шура вновь с интересом смотрит на приближающуюся, залитую огнями новую часть города.

Невольно она начинает прислушиваться к разговору, который не смолкает за её спиной.

— У тебя железный характер, — восхищается Рита Виталием. — Я бы не смогла поехать на встречу Нового года к людям, которые со мной так поступили...

— Чепушина-чепуховина, — говорит Виталий. — Что значит «к людям»? Это Луньков со мной разделался. И пускай все поглядят, что Крекшин здравствует, пускай узнают, что я получил приглашенный билет в горкоме...

Шура что-то слышала от Риты о неприятностях, которые постигли Виталия Крекшина. С ним, если верить Рите, обошлись несправедливо. К его деятельности спортиструктора на заводе — на том же знаменитом заводе, где работает Алексей Кистяковский, — придрался какой-то Луньков.

— Товарищ считает, что Крекшину нельзя доверить молодёжь, — доносится смешок Виталия.

— Если уж тебе не доверять...

Рита не находит слов. Тонкие пальчики сочувственно гладят рукав ворсистой куртки. Не доверять!.. Зато в клубе пиццевиков мигом нашлось место для её Виталия. Такому классному спортсмену работы в городе хватит. Квантум сатис. Сколько угодно.

Прикрыв глаза, Рита счастливо улыбается. Это судьба, что она в тот вечер пошла на каток и была в пуховой шапочке. Он сразу заметил её, назвал беленькой кошечкой. Подумать только, они могли и не встретиться...

Крекшин обращается к своему приятелю:

— Всё-таки надо подыскать более солидное учреждение. В Ново-Доменске квартирами богаты металлурги.

— Напоминаешь? — смеётся Кистяковский.

— Зачем? Понятно, что наш разговор остаётся в силе.

— Конечно, конечно... Вполне можешь рассчитывать на металлургический институт. Особенно, если Фёдор Романович будет назначен заместителем директора.

— Действуй, друже... — покровительственно цедит Виталий.

В душе он подсмеивается над бесхарактерным, неловким Алексеем, но весьма ценит положение, обширные связи профессорского сына. Тот же Фёдор Романович Шквариков частенько захаживает в дом Кистяковских... Проклятый Луньков! Выпер Виталия с завода осенью, как раз накануне распределения квартир. Такому, как Крекшин, нетрудно подхалтурить или иным способом зашибить лишнюю сотню, но надоело снимать комнаты, зависеть от хозяек. Все они любезны, пока ты ведёшь себя, как дошкольник.

Например, в прошлую субботу вмешалась старая ведьма. Испортила так классно задуманный вечерок... Риточка согласилась прийти. Они прелестно поужинали. Он ей читал стихи, те самые, от которых так мило вспыхивают щёчки. Всё было в точности по программе, и вдруг этот стук в стену. Вызвала его за дверь и начала шипеть, что ей это надоело... Долго ли вспугнуть глупенькую девочку!

Виталий сердито сдвигает на затылок мешающую ему шляпу и со вкусом целует Риту. Сегодня уж никто не помешает его оперативным планам... Только бы этот недотёпа не упустил свою Шурочку. Надо поехать на квартиру четвером, чокнуться четырьмя бокалами в честь Нового года. Тогда всё будет... красиво.

— **Бедный Женя** Луньков! Ему самому не сладко, — говорит Кистьяковский, следуя своим мыслям.

— Точно! — подхватывает Крекшин. — У меня-то имеется моя профессия. А что у Женечки? Как инженер он сошёл с круга.

— Не он один, — оживляется молодой Кистьяковский. — Все они в незавидном положении. Все, кого обработал Сырейщиков. Отец так и предсказывал. Мне их жалко...

На лицах пляшут бледные отсветы уличного фонаря. Потом становится темнее. И снова приближается фонарь, снова сквозь стёкла проникает усиливающееся бледное сияние. Рита приподнимает голову. В этом неверном полусвете можно разглядеть дорогое её лицо.

— Чего жалеть? — жёстко усмехается Виталий.

Какой мужественный, сильный подбородок! Волевое лицо! Настоящий человек! Правда, на мгновение Рите становится не по себе от его злой усмешки... Но нет, нет... Она вновь любит его им. О, как жутко она его любит!

Машина вырывается на площадь. Шура даже зажмурилась — снопы света бьют в глаза со всех сторон. Вот он, Дворец металлургов, главных хозяйв города, — серебристо-белый в лучах прожекторов.

Одно крыло Дворца ещё недостроено. Явственно виден возвышающийся над выведенными наполовину стенами, над пустотами будущих окон чёрный силуэт башенного крана. На его длинной стреле, простёртой в небе, укреплены сильные лампы, льющие свет на площадь. Заиндевевшие тросы, ниспадающие с конца стрелы, тоже кажутся серебряными.

Посреди площади высится скульптура. Объезжая её, Алексей поясняет: доменщик железной ложкой зачерпывает пробу из потока чугуна. Ручей металла подсвечен искусно скрытыми красными лампочками. Красные отсветы легли и на отлитую в бронзе фигуру горнового: он стоит в широкополой шляпе доменщика, в немного встопорщенной брезентовой куртке, видимо, напрягшись всем телом и отвернув лицо от нестерпимого жара.

Доменщик, проба, чугун... Все эти слова стали знакомы Шуре с тех пор, как она поселилась в этом городе металла. Иногда она уже и себя называет «новодоменкой», даже «новодоменщицей».

...Машина поставлена среди других на стоянку близ подъезда. Расторопный Виталий успевает подхватить и маленькую Риту, буквально вынести её из машины и галантно поддержать замешкавшуюся, не сразу сумевшую отворить дверцу, сконфуженную Шуру. Она чувствует, как он значительно, привычным движением пожимает её локоть своей крепкой рукой. Сдерживаясь, чтобы не быть грубой, Шура всё же с силой отнимает свою руку и ждёт Алексея, ещё занятого машиной.

Теперь, стоя на площади, она вновь окидывает всё взглядом. Вдалеке виден завод. Огромные чёрные башни, домны, заметные даже и ночью в смутно озарённом, мерцающем небе, оплетены гирляндами огня. Над одной из печей полыхает газ, словно венчик гигантского примуса. Между двумя домнами красной неоновой нитью вычерчен в небе профиль Сталина.

Шуре хочется запомнить эту площадь, это небо, этот миг. Всей грудью она вбирает морозный, чуть покалывающий воздух.

Кистьяковский подхватывает её под руку. Они вливаются в вереницу людей, которые тоже спешат к подъезду, взбегают по ступеням, входят в вестибюль.

Алексей занимает очередь в раздевалку.

— Девушки, ваши шубки!

Обе снимают пальто.

— Блеск! — восклицает Виталий. — Маргаритка, кругом!

Охватив сильными пальцами запястье Риты, он бесцеремонно заставляет её повернуться, оглядывает со всех сторон. Тоненькая кудрявая Рита покорно улыбаётся.

— Блеск! Два ноль, девочки, в вашу пользу!

Шура, которая ещё недавно была в восторге от первого своего выходного платья, сейчас готова сбежать, затеряться в толпе. Возгласы Виталия привлекли к ним общее внимание. Все видят, как он запросто держится со своей спутницей, и Шуре кажется, что взгляды перебегают с Риты на неё. Конечно, ведь у них одинаковые платья. В эту минуту Шура совсем охладела к своему наряду: наверно, плечи и руки слишком просвечивают сквозь узорную ткань. Скорее бы куда-нибудь сесть, стать незаметной!

— Пошли наверх, — торопит Рита.

Вдруг Виталий толкает Риту.

— Луньков!

С лестницы, прижимаясь к перилам, сбегает светлорусый высокий паренёк в синем костюме с комсомольским значком. Его движения столь стремительны, что кажется: вот-вот он вскочит на эти мраморные блестящие перила и по-мальчишески скатится в широкий вестибюль.

Рита успевает шепнуть Шуре, что это и есть грозный Луньков, который недавно учинил расправу над бедным Виталием. Крекшин не прячется от своего противника. Привычно, по-спортсменски выставив грудь, украшенную полудюжиной значков, он даже делает несколько шагов навстречу Лунькову, но тот никого не замечает, подбегает к билетёршам, настойчиво внушает им:

— Так не забудьте, пожалуйста, как только придёт Сырейщиков... На билете написана его фамилия. Такой длинный, худой... — Луньков произвольно размахивает руками, словно повторяя чьи-то размашистые резкие жесты. — Немного носатый... Возможно, с ним будет и мальчик. Пожалуйста, как только они придут, сейчас же сообщите мне в президиум...

Выслушав заверения билетёрш, Женя летит по лестнице обратно. Некогда, некогда. Вскоре он от имени комсомольской организации завода откроет новогодний вечер.

...Прошло свыше восьми месяцев с тех пор, как Луньков защитил свой дипломный проект. Мы помним, как после защиты, в тёмной пустой аудитории, он мечтал стать начинателем новой профессии, думал о своём будущем — будущем инженера. Как же дальше сложилась его жизнь?

Придётся вернуться на несколько месяцев назад. Ну, хотя бы к июню этого, нынче в полночь истекающего, 1949 года.

## 11. Вопросительный знак

Итак, жаркий июньский день.

В небольшой приёмной, расположенной рядом с кабинетом директора, душно. Оба окна закрыты. Раствори их — и вместе с шумом завода ворвётся заводская пыль. Она и без этого проникает всюду: чёрный лак пишущей машинки, подоконники, графин с водой, уже нагретый на солнце, — всё это, вытертое утром до блеска, успело потускнеть, будто затуманилось.

У стола, быстро обмахиваясь носовым платком, сидит секретарь директора Римма Борисовна. В молодости она умела наслаждаться любой погодой, даже таким пеклом, но те времена прошли. Порой она укоризненно поглядывает на массивную коричневую дверь. Табличка на этой

двери гласит, что директор завода Сергей Емельянович Щуров дважды в неделю принимает по личным вопросам. У Риммы Борисовны тоже есть личный вопрос к дорогому Сергею Емельяновичу, мог бы уважить...

Римма Борисовна заполняет разлинованный белый листок, что сегодня к началу приёма должен лежать на столе директора. Фамилия... Место работы... Должность... И ещё широкая графа, которая пока остаётся чистой. Вечером Римма Борисовна впишет против каждой фамилии распоряжения Сергея Емельяновича и будет следить за их выполнением. Впрочем, надо надеяться — она грозно глядит на дверь кабинета, — что за этими-то распоряжениями проследит Лида, секретарша главного инженера. Римма Борисовна заставит директора подписать приказ об её отпуске. Она уже не в том возрасте, чтобы не интересоваться своим здоровьем. Пора, пора — она устала за зиму.

В приёмной появляется юноша, хорошо знакомый секретарю директора. Этот чересчур быстрый белобрысый комсомолец уже бывал здесь и по вопросам привлечения заочников в металлургический институт и ещё по каким-то делам. Настойчивый молодой человек! Римма Борисовна надела очки, приготовилась к обороне.

— Римма Борисовна, здравствуйте! — звонко восклицает Женя, сдёргивая с головы кепку.

Вчера вечером он вернулся из дома отдыха, с Алтая. На ногах, окрепших от лазания по крутым склонам, чёрные потрёпанные тапочки; запахнутый ворот лёгкой рубашки открывает тонкую юношескую шею; рукава засучены; золотится пушок на загорелых руках. Румянец не такой нежный, каким был весной. Посмуглело лицо. Лишь в верхней части лба кожа осталась белой. Это след от кепки. По привычке новодоменцев, на которых день и ночь сыплются тонны пыли, Женя не расставался с кепкой и в горах.

— Римма Борисовна, я только что из дома отдыха.

— Повезло, — сдержанно отвечает секретарша. — Не всем удаётся отдохнуть, когда хочется.

— Ох, мне хочется скорее за работу!

Признаться, Женя даже немного стесняется своего чудеснейшего настроения. Он не нарадуется возвращению домой, в родной Ново-Доменск. Сегодня всё ему здесь мило. Как ни странно, но ему приятны даже доменные печи, которым он недавно объявил приговор именем истории. Вот они, четыре громады, видны и отсюда, из окна приёмной. Их выстроил Овсянников — ученик Курако, ныне знаменитый академик. Ему тоже не верили разные авторитетные специалисты. И не только специалисты. А он не отступил, дерзнул... И соорудил печи конструкции Курако. Две из них — самые большие в мире.

Шагая сюда, к зданию заводоуправления, Луньков размечтался о том, как по примеру других смельчаков будут рисковать, дерзать и они — инженеры нового профиля, электродоменщики, последователи и друзья безвестного пока Сырейщикова.

Луньков невольно улыбается Римме Борисовне. Но секретарша меряет его холодным взглядом. Женя чувствует неловкость: «Вот дёрнуло, влетел в директорскую приёмную, как на стадион». Он станвится так, чтобы стол заслонил его тапочки, и в душе ругает себя, что не надел пиджак.

— Римма Борисовна, когда мне сегодня прийти, чтобы побеседовать с Сергеем Емельяновичем?

— По-моему, вам известно, товарищ Луньков, — отчеканивает секретарша, — что на приём к директору я записываю заранее. Надо было обратиться вчера.

— Но я приехал поздно вечером...

— Ничего не знаю. Могу записать вас на четверг.

Луньков опускается на стул, не дожидаясь приглашения. Досадно! Целый месяц в доме отдыха он ждал этого дня: прежде всего побежала сюда, в заводоуправление, заглянув лишь на минуту в лабораторию Сырейщикова, чтобы пожать руку ему и Завьялову, пообещать нынче же ещё раз заявиться с новостями. Ведь Щуров сказал: «После отпуска прямо ко мне». Неужели теперь ещё трое суток пробыть в неизвестности?

— У меня очень важное дело, Римма Борисовна... Очень...

— Безусловно важнее, чем у всех других...

Однако следующая саркастическая фраза замирает на устах секретарши Щурова. Ей уже выпадало на долю выслушивать от этого несдержанного юноши разные колкости по поводу её якобы бюрократических наклонностей.

— Правда, тут звонил один товарищ из цеха огнеупоров... Вряд ли сможет прийти, — неуверенно говорит она.

— Вопрос ясен!.. — Женя для чего-то ещё выше закатывает засученные рукава. — На его место мы поставим фамилию Лунькова.

— Придётся, — усмехается Римма Борисовна. — У вас будет третья очередь. Вы, видно, везучий, товарищ Луньков.

«Везучий»? Что же, Женя не возражает. Ох, и хочется ему оказаться везучим! Сегодня в кабинете Щурова это должно проясниться. Щуров не мог позабыть о своём обещании отослать проект в Москву. Возможно, Женя сегодня же принесёт друзьям известие о победе.

— Пишите, — торопит он. — Луньков Е. М.

— Так... А дальше?

— Дальше? Что ещё там?

Над последующими столбцами значится: место работы, должность... Гм... Надо подумать. Кто он? Ассистент Сырейщикова? На эту должность в институте можно оформиться хоть завтра... Но ведь сам Валерий Николаевич твердит: «Нужны опыты в заводском масштабе». Придёт ответ из Москвы — такой, какой должен прийти, — и Женя будет вправе писать: «Сменный инженер электродомны; место работы: Ново-Доменский завод, опытный цех». Пока же он предлагает:

— Оставим другие графы чистыми...

— Не любит этого Сергей Емельянович... Листок пойдёт к нему.

— К Сергею Емельяновичу? Тогда, если позволите...

Секретарша не успевает возразить, как Луньков уже выводит рядом со своей фамилией большой вопросительный знак.

## 12. В кабинете Щурова

В третьем часу дня Луньков, дождавшись своей очереди, открывает тяжёлую коричневую дверь. Он успел побывать дома, надеть костюм, сменить тапочки на жёлтые начищенные ботинки. Пытаясь держаться ссидно, как заправский инженер, он медленно ступает по ковру директорского кабинета.

— А, товарищ Луньков! — приветствует его Щуров. — Давно ли вернулись?

— С Алтая прямо к вам... Как было условлено...

Лунькову не терпится начать разговор, но он, стараясь не обнаружить волнения, прежде всего протягивает привезённое им письмо.

В горах, неподалёку от дома отдыха, находится на излечении Трапезников, комсорг Ново-Доменского завода. Письмо от главного врача санатория. Прочитав его, Щуров вздыхает:

— Да-а... Затягивается лечение. Что же, подержим его там до победного конца.



Евгений несколько раз взбирался в санаторский парк, подолгу сидел возле лежака Трапезникова, с которым он дружил ещё в десятилетке. Сейчас он выкладывает директору всё, что просил передать комсорг.

Небольшие проницательные глазки Сергея Емельяновича с интересом присматриваются к Лунькову. Задирист, боек, а выдержка есть. Ничем не показывает, что ему не терпится разузнать о своей судьбе! Верный своему намерению, Щуров послал запрос в Москву, приложив все материалы дипломного проекта Лунькова, и уже не раз справлялся, не прибыл ли ответ. Сейчас он снова это выяснит. Минуточку... Пухлая, влажная от жары рука директора тянется к металлическому баллону-сатуратору с холодной газированной водой.

— Угощайтесь, — предлагает он Лунькову.

Потом наконец нажимает кнопку звонка. Вошедшей секретарше он задаёт вопрос, заставляющий Женю мгновенно отставить стакан.

— От Овсянникова, Римма Борисовна, нет никаких вестей?

— Ничего нет. Я бы вам тут же доложила...

Щуров, взглянув на притихшего Лунькова, возвращает направившуюся было к дверям секретаршу:

— Римма Борисовна, нельзя ли соединить меня с Овсянниковым?

— Сейчас?

— Да, попытайтесь. — Директор твёрдо решил до конца недели не обращать внимания на утомлённые интонации секретарши. В субботу он подпишет приказ об её уходе в отпуск. — Попробуйте. И подключите прямо к селектору. Кстати, — обращается он к Лунькову, — из министерства ответ уже есть.

— Какой же?

— Неважный... То есть они отвечают, что на этот год кредиты исчерпаны, средства отпустить не из чего. В общем, проекта, по существу, не рассмотрели, уклонились... Но это не страшно. Всё зависит от Овсянникова. Если он поддержит, найдутся и средства, будет у вас опытная печь.

Затем он предлагает Жене набраться терпения и подождать, не удастся ли соединиться с Овсянниковым по телефону. Жене кажется, что он готов ждать хоть до утра. Но едва усевшись в сторонке на широком диване, обтянутом чёрной, прохладной даже в такую жару кожей, он усмехается: «Наверное, это и называется сидеть, как на иголках...» Он тотчас вскакивает и, доверчиво глядя на директора, спрашивает:

— А ваше-то мнение, Сергей Емельянович?

— О чём, собственно говоря? — настораживается Щуров.

Луньков улавливает недовольство в его тоне. Неужели он задал такой уж бестактный вопрос? Неужели и позиция Щурова будет зависеть целиком от суждения академика? Женя не сдаётся. Чувствуя, что директор и без того его понял, он твёрдо продолжает:

— Ваше мнение о проекте?

Щурова выручает появившийся в дверях седоусый рабочий — следующий по очереди посетитель. Евгений уже видел его в приёмной. Приходится отметить, как охотно директор поворачивает бритую розовую голову к вошедшему, оборвав разговор с Луньковым.

Минуты тянутся нестерпимо медленно. А вдруг Овсянников, как и осторожный директор, тоже предпочтёт уклониться от определённого ответа? Нет, нет, Женя слышан о его прямоте. Или просто отвергнет идею Сырейщикова? Тоже нет! Овсянников должен понять глубоко прогрессивную, революционную суть этой идеи. Ведь когда-то он сам вместе с Курако, вместе с Бардиным... Но почему же он до сих пор

не ответил? Нет, Женя не желает и думать о возможности дурного исхода. Мало ли какие причины могли задержать ответ?

Луныков не в силах уловить, о чём так горячо спорит старый рабочий с директором... Всё может совершиться неожиданно. Овсянников доложит о проекте президиуму Академии наук, потом министру чёрной металлургии и... Сейчас Луныков обо всём узнает. Он представляет себе этот острый миг счастья. Вот он идёт, нет, бежит к Сырейщикову...

В кабинет возвращается Римма Борисовна.

— Сергей Емельянович, академик Овсянников в отпуску. Он сейчас на даче. На свежем воздухе, — обиженным голосом добавляет она и быстро обмахивает лицо белым кружевным платочком.

— На даче? У него в Степановке есть телефон, это я точно знаю. Попробуйте соединиться.

### 13. Овсянников пишет мемуары

Тот, кому сейчас пытались из Ново-Доменска позвонить по телефону, сидел за письменным столом у себя на даче.

Михаил Михайлович Овсянников был уже не тем, каким его помнили в Ново-Доменске. Попрежнему густые, лишь немного поседевшие на концах усы поседели; большой угловатый череп был почти вовсе гол, только на затылке белыми иголочками торчали редкие, коротко стриженные волосы; глаза, обычно скрытые лохматыми, жёсткими, едва тронутыми седью бровями, стали дальнозоркими, при работе за столом Овсянников уже пользовался очками.

В распахнутое окно тянулась ветка жасмина. Букет таких же белых душистых цветов в высокой фарфоровой вазе стоял возле Овсянникова.

Будь эта ваза единственным украшением на столе, её соседство, возможно, доставляло бы Михаилу Михайловичу удовольствие. Однако, кроме неё, заботливыми руками жены тут было поставлено множество других вещей, которыми академик никогда не пользовался. Чернильный прибор в виде двух прозрачных башен стоял без чернил: Михаил Михайлович предпочитал автоматическую ручку. Две зелёного стекла пепельницы почти не знавали окурков: Овсянников редко принимал гостей в своём загородном кабинете, а его трубка ещё в годы войны была заперта в ящик — курить ему настрого запретили.

Сегодня те же заботливые руки водрузили на край стола хрустальную чашу с первой садовой земляникой. Чудесен был аромат цветов и только что собранных ягод, но Овсянников с некоторой грустью вспоминал о своём рабочем столе в институте — там он устроил всё по-своему. Просторный, удобный стол; ни одного лишнего предмета; действительно, площадка для работы. Но дома он не мешал жене: пусть порадуетса своим хлопотам. Вот только страшновато иной раз повернуться, двинуть широкими, угловатыми, до сих пор сильными плечами.

Во время отпуска Овсянников отдаёт утренние часы (а сейчас по московскому времени нет ещё полудня) увлечённой работе. Он пишет воспоминания.

...Ранняя осень 1930 года. Посёлок Ново-Доменстроя, зародыш будущего Ново-Доменска...

Золотое перо скользит и скользит по бумаге. Овсянников как бы видит то, о чём повествует своим будущим читателям. Ему в подробностях предстаёт минута, когда в кабинет вошёл Матвеев, новый начальник стройки.

Нет, это совсем не кабинет. Просто клетушка в бараке, поставленном там, где идут самые жаркие работы. Эту клетушку занимает он, Овсянников, главный инженер Ново-Доменстроя. Уже более полугода он

исполняет обязанности управляющего, который выехал в заграничную командировку. В эти месяцы над Овсянниковым не было никакого начальства на площадке, он сам распоряжался кредитами, материалами, рабочей силой. И лишь вчера была получена наконец телеграмма, сообщавшая о приезде Матвеева, вновь назначенного управляющего.

Что скрывать, Овсянников отнюдь не был спокоен, ожидая этой встречи. Легковая машина, единственная в те времена на площадке, уже час назад отправилась на станцию, к поезду. Вот как будто слышится её фырчание. Да, переваливаясь, она прошла мимо окна, остановилась. Вот раздался стук в грубо сколоченную дверь клетушки. Овсянников крикнул: «Да, да!» Вошёл Матвеев.

Рука Овсянникова, уже старческая, с желтоватыми пигментными пятнами, с надувшимися жилами, выводит:

«В комнату вошёл Матвеев. На нём ладно сидела военного покроя шинель».

Подумав, Овсянников вписывает над последней фразой: «не очень». «На нём не очень ладно сидела военного покроя шинель».

Вспоминается Овсянникову и потрёпанный, раздувшийся коричневый портфель Матвеева. Как требовала вежливость, главный инженер встал навстречу новому начальнику строительства. Матвеев коротко приветствовал его и, сразу, с места в карьер, взяв тон хозяина, добавил:

— Садитесь, прошу вас...

Он быстро говорил, быстро поворачивал голову, поглядывая в окно на панораму стройки. Не последовав приглашению, Овсянников выбрался из-за стола.

— Нет уж, — сказал он. — Теперь вы, товарищ Матвеев, занимайте это место.

Он хотел сказать это шутливо, хотел улыбнуться, но, волнуясь, не произнёс, а пробурчал эти слова. И насупился, недовольный собой.

Матвеев снял с головы военного образца фуражку без звезды, открыл портфель, достал и протянул Овсянникову приказ о своём назначении, подписанный Орджоникидзе, тогда только что вступившим в должность председателя Высшего Совета Народного Хозяйства.

Овсянников прочёл бумагу, подал её обратно. Вот и наступила минута, которую он давно ждал, к которой считал себя готовым. Сейчас придётся ответить за всё, что он натворил на площадке.

— Это и есть ваша главная контора? — спросил Матвеев, обедая взглядом дощатые стены.

— Да...

— А где же... — Матвеев посмотрел в окно. — Где здание заводоуправления? Ехал, ехал к вам со станции, так его и не увидел.

— Я там приостановил работы...

Матвеев быстро повернул голову к Овсянникову, как бы пронзил его острыми зрачками, прошёлся рукой по своей небритой щеке и снова устался в окно. Оба видели, как на высоком массивном фундаменте доменной печи монтажники клепали первый ярус металлического кожуха.

— Ничего не понимаю, — прервал молчание новый начальник стройки.

— Это доменная печь номер один, — стараясь держаться возможно спокойнее, ответил Овсянников. — А дальше фундамент второй домны.

— Тем более не понимаю, — резко сказал Матвеев. — По какому проекту вы строите?

Этого вопроса и ожидал Овсянников.

— По чертежам Курако, — сказал он.

Да, Овсянников заложил фундаменты двух доменных печей, руководствуясь чертежами Курако. Самому Михаилу Константиновичу не при-

велось увидеть осуществлённым свой проект, которому он отдал последние годы жизни. Немало сил положил и Овсянников, пробивая путь этому проекту. Назначенный главным инженером Ново-Доменстроя, он упорно домогался разрешения на постройку печей, сконструированных легендарным доменщиком, его учителем. Проект был послан на утверждение в Гипромез, находившийся в те времена в Ленинграде.

Несколько раз Овсянников ездил туда, участвовал там в нескончаемых дискуссиях, однако утверждение проекта всякий раз откладывалось. Особенно настойчивые возражения вызывал размер печей. Домны Курако были рассчитаны на 800 тонн чугуна в сутки. 800 тонн! Нет, это фантастика, скачок... В России, да и во всей Европе не было и нет таких печей. Эти огромные домны не будут работать. Так заявляли многие влиятельные деятели Гипромеза.

В конце концов Овсянников учинил в Ленинграде скандал, пригрозил, что напишет прямо правительству об этом возмутительном случае волокиты, и добился утверждения проекта. Затем, уже вернувшись в Ново-Доменск, он получил телеграмму, что утверждение отменяется.

— Не получал я этой телеграммы, — сказал он себе, ругнувшись по адресу ленинградских «бутербродников», как он окрестил своих противников, неизменно, на каждом заседании, попивавших чай с бутербродами. — Не получал, и крышка!

Он разорвал телеграмму. И издал приказ: рыть котлованы, закладывать фундаменты двух доменных печей по чертежам Курако.

И вот надо дергать ответ.

Правда, недавно на площадке Ново-Доменстроя стало известно, что в Гипромезе произошёл своего рода переворот. Дирекция была, что называется, разогнана, ибо все её дела были отмечены печатью скрытого противодействия социалистическому наступлению — печатью правого уклона, по которому в то время партия наносила удар за ударом. Известие о событиях в Гипромезе, конечно, обрадовало Овсянникова — оно как бы подтверждало его правоту. Но всё-таки... Всё-таки сейчас нужно отвечать.

Матвеев буравил его глазами.

— Кто же утвердил этот проект?

— Гипромез утвердил. Он же и отменил, — буркнул Овсянников. И напрямик добавил: — Строю без утверждения.

— Но эти фундаменты... — В голосе Матвеева впервые прозвучала нотка растерянности. — Эти фундаменты уже не позволят изменить план завода?

— Тем лучше...

— И его мощность?

— Не бойтесь этой мощности... Я сам поведу эти печи. Конечно, если не прогоните. И ручаюсь головой, что каждая даст восемьсот тонн в сутки.

Матвеев сел на табурет возле стола. Пропала быстрота его движений. Опять раскрыв портфель, он разыскал там ещё одну бумагу. Не развёртывая её, спросил:

— Только четыре домны можно разместить здесь на площадке?

— Да, только четыре...

— Прочитайте этот документ... Решение вынесено по предложению товарища Сталина. Четыре домны мощностью по тысяче тонн. Всего на четыре тысячи тонн чугуна в сутки.

Овсянников быстро развернул поданный ему хрустящий твёрдый лист. Да, чёрным по белому. Да, по тысяче тонн в сутки. Он похолодел и от ужаса, — так как он сам, заложив фундаменты, уже сорвал это решение правительства, — и от счастья. Тысяча тонн! Крупнее, чем у Курако!

Золотое перо в старческой руке академика двигалось без устали...  
«Неужели сорвал?! Выход всё же был. Увеличить размеры двух последних домен. Создать конструкцию печи на 1 200 тонн. Таких ещё нигде в мире не строили, не конструировали. Но я решился, я сказал Матвееву:

— Поверьте мне...

— Буду телеграфировать товарищу Орджоникидзе, — ответил он...»

Овсянников перевернул страницу, написал заглавие следующей главы: «Встреча с Орджоникидзе».

В эту минуту раздался телефонный звонок. Овсянников протянул руку, нечаянно задев какой-то мелодично зазвеневший стеклянный предмет. Несколько крупных красных ягод скатилось на письменный стол.

— Слушаю, — сказал академик. — Что? Из Ново-Доменска? Ну, ну, давайте...

#### 14. В жизни не всё просто

В кабинете Щурова тоже раздаётся трезвон. На полированной своеобразного устройства тумбочке, установленной возле директорского кресла, вспыхивает маленький глазок. Затем слышится:

— Москва на проводе.

Женя вскакивает, подходит к селектору, жадно смотрит на покатый щиток с рядами серебристых кнопок. Теперь уже старику-рабочему придётся подождать.

— Михаил Михайлович, это Щуров. Вы слышите меня?

И тотчас отчётливо, как если бы дачный посёлок Академии наук размещался где-то рядом, зазвучал хрипловатый голос Овсянникова:

— Добрый день, Сергей Емельянович!

Выясняется, что Овсянников уже ознакомился с проектом Лунькова. Да, да, лично сам смотрел все чертежи, прочёл пояснительную записку... Да, да, печь системы Сырейщикова, так называемая электродомна большой производительности.

Луньков стоит, высоко подняв голову, все мышцы лица напряглись под загорелой кожей. Щуров серьёзен.

— Ну и как, Михаил Михайлович?

— Как?

Женя еле дышит. Что-то сдавило ему грудь.

— Хорошо... Для студента великолепно. Жаль, что нельзя говорить о практическом применении проекта.

— Почему нельзя? — Это выкрикнул Луньков.

— Потому что это утопия, ничем не оправданный скачок, — невозмутимо отвечает голос из Москвы. — Печь Сырейщикова талантливо задумана, но практического значения для промышленности она не имеет.

Луньков молчит. Академику отвечает Щуров:

— Вы говорите — утопия, Михаил Михайлович, но ведь я вам писал, что мы имеем металл, выплавленный по способу Сырейщикова.

— Да, я не совсем точно выразился. Технически эта идея осуществима. Но экономическое обоснование не выдерживает никакой критики. Поймите, Сергей Емельянович, ведь и из обыкновенной глины можно добывать железо. Если уж на то пошло, его можно выделить и из земляники... Также технически осуществимо. Но какой ценой? Если бы, допустим, мы приняли печь Сырейщикова, поглощающую столько электрической энергии, то тонна чугуна нам обходилась бы не дешевле тонны серебра.

Хотя в аппарате и не видно угловатого, почти квадратного лица Овсянникова, но чувствуется, что он улыбается в свои давно поседевшие, некогда чёрные усы. Затем хрипловатый голос продолжает:

— Напрасно дипломант посвятил Михаилу Константиновичу проект, который практически не нужен, который не может быть осуществлён на обозримом отрезке времени... Когда-нибудь, в эпоху сплошной электрической техники, наши потомки...

Связь внезапно прерывается. На слове «потомки» голос Овсянникова будто отсечён.

— Москва... Москва... — взывает Щуров.

Он нажимает разные кнопки, пытается вновь соединиться с Овсянниковым, но тщетно. Да и к чему? Луньков во всяком случае считает, что он всё уже услышал. Он отвернулся к окну, чтобы не видеть сочувствия в маленьких выразительных глазах директора. А Щуров соображает: что же сказать Лунькову? Пожалуй, сейчас самый подходящий момент, чтобы предложить ему интересную, даже, можно сказать, завидную работу на заводе. Пусть займётся внедрением электричества в доменное производство. Пусть ведёт опыты, исследования — пожалуйста. Отличная должность для способного юноши, прекраснейшая перспектива. И оклад в достаточной мере соблазнительный (разумеется, насчёт оклада Щуров скажет без нажима, как бы вскользь).

— Имейте в виду, Женя, — Щуров впервые называет его Женей, — у меня на заводе найдётся место способному молодому металлургу.

И директор излагает своё предложение.

— Сейчас ничего не отвечайте... Когда подумаете, тогда и приходите.

И Луньков не отвечает. Даже не благодарит директора. Коротко кивнув, он покидает кабинет.

Выйдя или, точнее сказать, выскочив из кабинета Щурова, Луньков прошагал через приёмную и вдруг задержался у двери. Он вспомнил о том, что сейчас в институте Сырейщиков и Завьялов, как условлено, ожидают от него вестей.

Валерию Николаевичу, должно быть, не сидится; он ходит и ходит от стены к стене по выложенному метлахской плиткой полу лаборатории, а Завьялов, наверное, как и утром, занят сборкой вибратора непрерывной загрузки, что-то прилаживает, подшабривает, подгоняет. Ожидаются новостей женины соратники; ждут, наверное, так же напряжённо, как и он сам только что ждал. И вот, дождался...

Луньков круто повёртывается к столику Риммы Борисовны и снимает телефонную трубку.

— Позовите, пожалуйста, Сырейщикова. Он у себя в лаборатории...

Только теперь Женя замечает, что он не один в приёмной, что на поставленных в ряд стульях сидят люди. Ну да, он ведь тоже потомился здесь сегодня в очереди. Кто-то уже узнал Женю, кивает... Придётся при всём народе отвечать на нетерпеливые вопросы Сырейщикова.

— Унывать не приходится, Валерий Николаевич...

Тон Лунькова неестественно весел. Сырейщиков быстро спрашивает:

— Забраковали?

Далеко отсюда, в комнате, куда Сырейщикова вызвали к телефону, тоже есть люди, которые сейчас смотрят на долговязого преподавателя, прислушиваются к его словам. Однако, никого не стесняясь, он ставит вопросы напрямик.

Женя отвечает:

— Не совсем так... Было сказано: блестящая идея. Технически осуществимая...

— Кто забраковал?

— Овсянников...

Молчание. Затем в трубке слышится резкий голос:

— Овсянников сам видел проект?

— Да. Он считает, что на обозримом отрезке времени... В общем, со временем... Понятно, Валерий Николаевич?

— Понятно... Что же, построим печь, тогда будем доказывать.

— Тоже со временем. В министерстве на этот год кредитов нет.

— Понятно. Когда, Женя, придёшь?

— Когда? — Луньков понимает, что надо бы сказать «сейчас», но... Нет, сейчас он никого не в силах видеть. — Завтра утром, Валерий Николаевич.

— Э, дружок, ты, видно, скис.

— Кто? Я? Просто зайду во Дворец металлургов. Там сегодня интересный доклад.

Женя кладёт трубку и идёт, вскинув русую голову, мимо разглядывающих его людей.

«Понятно», — ответил Сырейщиков Лунькову. Который раз Валерию Николаевичу приходится выслушивать такие известия, такие приговоры своему делу. Понятно...

— А мне не очень понятно, — признаётся Завьялов. — Овсянников. Ученик Курако...

— Бывает. Это бывает, Иван Кузьмич. В жизни не всё просто. А Евгений приуныл: не привык к щелчкам.

— Когда же он заявится?

— Завтра. Сказал, что идёт на какой-то доклад. Выдумал, должно быть.

### 15. Критический миг

Про доклад Луньков, действительно, выдумал. Покинув приёмную Щурова, он поплёлся домой.

Из кухни несло знакомым сдобным духом: мать, видно, решила отметить приезд Жени. И хотя не так давно Женя забежал домой, чтобы не только переодеться, но и воздать должное материнской стряпне, сейчас по счастливому раскрасневшемуся лицу Марии Михайловны он понял, что от него требуется прежде всего одно:

— Проголодался, мать!

Она стряхивает следы муки с тёмного сатинового платья, спешит заварить чай. Коричневый в крапинку платок по-старушечьи повязан под подбородком, но глаза синеют, как у сына, нисколько не выцвели.

— Эх, куда половик-то сбил?

Женя не успевает повернуться, как худенькая проворная мать нагибается, расправляет полосатый коврик. Вот так всегда — всегда она находит себе дело.

— Мама, посиди!

Вскоре они сидят друг против друга, разделённые грудой тёплых ватрушек. Мать начинает несмело:

— Людей повидал?

— Да.

О том, что стряслось в кабинете Щурова, Луньков дома пока не скажет. Это вызвало бы целую бурю. Макар Семёнович давно мечтал — ещё с тех времён, как Женя пошёл в школу, — увидеть сына инженером-доменщиком. Старый плотник не допустил, чтобы Евгений и Клавдия в военные годы оставили учение. Когда пришло известие о гибели Николая, отец сказал: «Учись, Евгений, вдвое. Ты теперь за старшего». Увлечение Сырейщиковым, диковинной «электродомной» Макар Семёнович не одобрил. Его не смог переубедить даже Завьялов, пользующийся уважением у жениных родителей. А после защиты дипломного проекта, когда Жене снизили отметку, Макар Семёнович разбушевался

не на шутку. «Хватит, почудил, — говорил он сыну. — Иди инженером к доменным».

Мария Михайловна обычно скупа на ласку, и когда она гладит загорелую сыновью руку, Женья с трудом сдерживается. Выложить бы матери всё: и ответ Овсянникова и заманчивое, лестное предложение Щурова, предложение, которое он не может принять. Но, умолчав обо всём этом, Евгений восклицает:

— Люблю чаёк! Наливай, мама.

Бодрый тон не обманывает материнского сердца. Она наливает Жене и себе ещё по стакану, прихлёбывает и спрашивает:

— Валерий-то Николаевич здоров?

— Несокрушим, — коротко отвечает Женья.

Он понимает: мамаша допытывается, кого он сегодня повидал.

— Из министерства были вести?

Мать решила спросить напрямик, но тут же раскаялась. Разве он сам промолчал бы при хороших вестях? Ишь, отвёл глаза. Лучше бы отпустил сердитое словцо. Воюют с ним родители из-за его резких словечек, а сейчас даже хочется, чтобы он выругался. Ну, сказал бы хоть: «Проклятые волокитчики!» Нет, молчит... Мать быстро меняет тему:

— Ты, видать, хорошо отдохнул.

Однако упоминание об отдыхе кажется Жене новым вопросом: что же он намерен делать дальше?

— Сейчас покажу, как отдыхал, — быстро предлагает он.

И спешит разыскать в своём чемодане пачку фотографий с видами Алтая и многими улыбающимися физиономиями. Вчера запоздно он не успел до конца разобрать свои вещи.

— Вот ещё Клаве привёз...

Со дна чемодана извлекается толстый журнал, между страницами которого заложены засушенная горная незабудка, алтайская фиалка, белые звёздочки эдельвейса. Всё это девушки надарили Жене для гербария его сестры — так, по крайней мере, они уверяли.

— Отдашь, мама, Клаве, как придёт из школы.

— А ты? Уходишь?

— Нет... Посплю. В доме отдыха приучили.

Женья запирается в своём «кабинете». Так называется узкая горенка, вместившая столик и диван; сюда Евгений переселился пять лет назад, когда стал студентом-первокурсником. Макар Семёнович собственноручно ставил перегородку, выделяя сыну часть «залы», — так старый плотник величал единственную комнату в домишке, что давно выстроил сам из разных обрезков, строительных отходов, которые Ново-Доменстрой отпускал в кредит своим рабочим.

Опустившись на узкий потёртый диван, Женья берёт со стола книгу. Но читать он не может, а отдыхать, валяться ему хочется меньше всего. Отправиться в институт? Нет, Сырейщикову он покажется лишь после того, как соберётся с мыслями, придёт в себя. «Вот у нас и ещё один противник», — грустно скажет Валерий Николаевич. Да, Овсянников нанёс им тяжёлый удар.

В памяти всплывают фразы: «экономическое обоснование не выдерживает никакой критики», «неосуществим на обозримом отрезке времени»... Нельзя, чтобы об этом узнал отец. Его ещё в войну согнула гибель Коли. Вчера, увидев Макара Семёновича свежим глазом, Женья вдруг заметил, как тот сдал, ссутулился. Итак, впереди у них невесёлый разговор о будущем Жени. Отец-то, же в пример матери, не станет деликатничать, выскажет всё начистоту.

А будущее Жени туманно. Чем он сможет заниматься в лаборатории Сырейщикова, если на постройку опытной электродомны, пока хотя бы



самой маленькой, не отпущено ни одного рубля? Придётся до конца года томиться, ждать ассигнований... А вдруг никаких средств не дадут и на будущий год? Ведь сказал же Овсянников: «На обозримом отрезке...»

За стеной хохочет, дурачится прибежавшая сестра. Наверное, радуется его подарку, поскачет сегодня же показывать девочкам. Женя с тоской думает, что и она узнает о его неудачах. Нехорошо... Но тише. Не вздыхать. Пусть думают, что он уснул.

Давно Женя не подходил к своему столу, не работал за ним, не рылся в объёмистых ящиках. Когда мать расстроена, она берётся за штюпку, за чинку белья. «Сердцу легче, если руки заняты», — уверяет она. И Жене сейчас кажется: если он чем-нибудь займётся, поработает, ему тоже станет легче.

Он осторожно вытаскивает два ящика, ставит на диван и начинает их разбирать. Это вовсе не лёгкое дело — навести порядок в ящиках, набитых всякой всячиной. Надо просмотреть каждую бумажку, по поводу каждой решить: это в мусор, это понадобится, а это пусть останется на память. Поначалу кажется: всё ценно, всё достойно служить воспоминанием. Многовато этих воспоминаний... Как-то Иван Кузьмич, зайдя к нему, пристыдил: «Смотри, Женя, в голове будет такая же неразбериха». После этого Женя не раз приступал к разбору своих бумажных залежей, да всегда что-либо мешало исполнить это благое намерение. Однажды он добрался уже до второго ящика, но неожиданно его вызвали в горком комсомола. Потом началось дипломное проектирование... А там защита, поездка на Алтай...

Нынче самый подходящий день. И главное, Женя сможет успокоиться, всё обдумать и взвесить.

Стараясь не шушать бумагами, Женя сортирует их. Влево идёт бумажный хлам; вправо — то, что Луньков сохранит от студенческой жизни. Тетради в чёрных клеёнчатых обложках кладутся направо. Это конспекты лекций: «Основы теплотехники», «Электрометаллургия», «Экономика чёрной металлургии»... Всё это понадобится Лунькову-инженеру. Одну тетрадь Женя невольно задерживает в руках: «Металлургические печи». Лекции доцента Шкварикова. Вот кто порадует, узнав об отзыве Овсянникова. И, наверное, не подаст виду, что злорадствует. Даже, пожалуй, выразит сочувствие. И с озабоченным видом прочтёт назидание. К чёрту! Жене хочется отбросить влево конспекты лекций Шкварикова, но, совладав с собой, он кладёт и эту тетрадь направо.

А вот остатки большого блокнота... План жениного выступления на студенческом диспуте «О моральном облике советской молодёжи».

Глаза пробегают по листкам блокнота, доходят до строк:

«Замаскированные носители капиталистической морали внутри нашего общества. Деляги, индивидуалисты, карьеристы, бюрократы — кровные враги нашего дела...»

Жене влетело за эту формулировку относительно «кровных врагов». Товарищ Шквариков, выступивший в прениях, пространно поучал Лунькова. Назвав себя «до известной степени тоже представителем молодёжи», Шквариков строго вопрошал:

— Где вы видели, товарищ Луньков, таких молодых людей, которые, едва успев сформироваться, уже, видите ли, стали врагами? И что за выражение «кровные»? Кровный враг значит заклятый, злейший. У вас, товарищ Луньков, вольно или невольно получается картина борьбы враждебных сил в советском обществе. Такой взгляд опасен. Дружески посоветуем товарищу Лунькову отказаться от некоторых непродуманных пунктов в его тезисах.

Усмехнувшись, Женя кладёт листки направо.

Вдруг из блокнота выскальзывает, падает на пол записка. Вот как, и это сохранилось? Женя хорошо знает крупный уверенный почерк Зины. Она и сама такая — размашистая, крупная. И красивая.

Записка, что сохранилась в блокноте между листками с планом жениного выступления, содержала всего несколько слов: «Снова идеалистика?! А в общем забавно». Подпись состояла из двух букв: «З. И.». Пожалуй, именно эта записка что-то до конца прояснила, стала своего рода рубежом в путаных отношениях, завязавшихся между ним и бойкой черноглазой девушкой. Надо бы смаху, — в который раз терзается Женя, — смаху, как только он разобрался в Зине, задумался о ней и о себе, таких, в общем-то, чужих друг другу людях, оборвать, прекратить всё.

Тополиные веточки, принесённые ею в актальный зал, должны были, как догадывался Женя, напомнить ему о прошлогодней прогулке. В тёплый весенний вечер они, взявшись за руки, вдыхали в роще пьянящий тополиный дух. А после... Она и в тот вечер назвала его забавным. Она сама притянула к себе его голову, уверенно поцеловала в губы.

— Забавный ты, Женька. Другой бы давно сообразил.

Пахло не только тополем, но и сладким ароматом духов. Женя осторожно погладил девичьи пальцы.

— Ты у меня романтик, — покровительственно улыбнулась Зина.

Она завладела его рукой, провела ею по своей белевшей в темноте шее, и Женя с дрожью ощутил эту тёплую шею, тонкую шёлковую блузку, расстегнувшуюся на груди...

Как-то не так должна была прийти настоящая любовь. Может быть, Зина и права. Может быть, он и романтик...

Луньков держит клочок бумаги, подписанный «З. И.». Что-то скажет она, узнав про ответ Овсянникова? Вероятно, пожалеет Женю... Потом сосрит. Увидит в этом ответе подтверждение своих предсказаний, насмешек... «Снова идеалистика?!» Да, Зина, снова! В левую кучу, в мусор падает скомканная записка.

Туда же один за другим летят разные листочки, исписанные жениным разборчивым (немного детским, как не без смущения определяет молодой инженер) почерком. Попадает под руку много пригласительных билетов на вечера, конференции, слёты. Приходится их выкидывать: надо же освободить место для новых дел. Каковы-то они будут, эти новые женины дела?

С улыбкой он вынимает из ящика большое фото. Группа студентов возле домны. Все в спецовках, в войлочных шляпах. Это летняя практика. Лето 1947 года. А тут что? Как сюда затесался электропаяльник? Ему полагается быть вовсе не здесь, а в левом нижнем. Ну-ка, водворим его на место. Требуется некоторое усилие, чтобы вытянуть левый нижний, — это не ящик, а целый склад металла. Ящик набит инструментами, обрезками жести, стальными прутками, проволокой разных сечений. Какого только металлического хлама не натаскал Луньков, когда мастерил модель печи Сырейщикова! Отец даже приревновал. Макару Семёновичу стало обидно, что сын, давно не прикасавшийся к рубанку, утративший былой мальчишеский интерес к благородному плотничьему делу, теперь с пылом принялся слесарить, энергично раздобывал и тисочки, и гаечные ключи, и ручное сверло, и зубила.

Оставив на минуту сортировку бумаг, Луньков снимает с полки миниатюрную металлическую модель электродомны. Ну, и тяжела же! И, откровенно говоря, очень неказиста. Изящества в работе новоявленный слесарь не достиг. Торчат концы разнокалиберного, грубо обрубленного углового железа, вылезают куски толстой проволоки, гнутые листы топорщатся, в одном месте пайка разошлась... Женя тайл мечту принести

эту модель в день защиты дипломного проекта в институт, поставить её на стол экзаменационной комиссии, однако, оглядев со всех сторон своё изделие, решил, что такое страшилище лучше оставить дома. Куда теперь эту штуковину? На слом? Или сохранить на память?

И опять звучат в ушах слова Овсянникова: «Технически осуществимо. Но экономическое обоснование не выдерживает никакой критики». Технически осуществимо... Чёрт возьми, ведь это уже не мало!

Оставив открытым вопрос о судьбе модели, Женя возвращается к бумагам. Вот ещё один истрёпанный, с измятой обложкой блокнот — хранилище планов и заметок комсомольского секретаря. Тезисы к докладу о международном положении, о борьбе за мир. План отчётного доклада на выборном собрании. Сведения о задолженности по членским взносам. План первомайского вечера. План доклада о великом русском доменщике Михаиле Константиновиче Курако.

Курако... Сегодня его лучший ученик, его, можно сказать, наследник, отверг проект Лунькова. Проект, который Женя решил посвятить памяти Курако.

Глаза пробегают по строчкам... Краматорск. 1904 год. Курако строит первую печь своей конструкции. Среди инженеров его проект вызывает недоверие. Догна, выстроенная им, действительно работает плохо. Курако борется за свою конструкцию. Он первый в истории доменного дела проникает, рискуя жизнью, в непотушенную доменную печь, чтобы устранить неполадку. И побеждает... И добивается признания конструкции... Да, так он боролся: пошёл в огонь за своё дело. А в 1905 году пошёл в огонь революции. Потому и стал народным героем.

Ему, Михаилу Курако, принадлежат слова: «В жизни каждого инженера есть свой критический миг».

Луньков закрывает блокнот. Следует его снова просмотреть, кое-что ненужное выдрать, остальное — приберечь. Критический миг... И Женя бы сейчас готов в огонь! Куда угодно! Он вновь обращает взгляд на железную модель. Потом, отодвинув рукой бумажный ворох, опускается на свой старый диван и думает.

Склоняющееся к западу солнце бросает золотые лучи в небольшое окошко. Багряный тревожный свет озаряет и железный каркас маленькой электродомны, и выдвинутый из стола ящик, и содержимое этого ящика, всё ещё разбросанное, неприбранное владельцем.

— «Технически осуществимо», — повторяет Луньков. — «Талантливо задумано». А раз осуществимо, то разрешите, чёрт возьми, осуществить!

Он вскакивает, некоторое время смотрит в окно, на пламенеющее закатное небо, где чётко вырисованы контуры строящегося кирпичного здания и венчающая стройку ажурная стрела башенного крана. Затем, вздохнув, быстро сует в ящик нужные, отложенные вправо бумаги. Когда-нибудь он найдёт время для окончательной разборки. А сейчас... Он только машет рукой. Мусор скидывается на пол. Мать не должна ворчать: дело у Жени спешное. И всё же он несколько медлит, стоит в нерешительности. Нелегко ему отбросить самолюбие, пойти и без утайки сказать о поражении. Нелегко выложить всё одному парню — тому, перед кем Луньков этой весной особенно вдохновенно расписывал блестящие перспективы электродоменщиков.

## 16. Лёшина жена

В комнате, где обитал с женой сталевар электрической дуговой печи Лёша Чуваев, всё блестело так, как и положено блестеть в сталеварской комнате. На это даны точные указания. После предложения руки и сердца, — а это Лёша проделал по всем правилам, с полной торжествен-

ностью, — он растолковал Тамаре, что значит быть женой сталевара. Главное — надо уметь создать атмосферу.

Припомнив энергичный лёшкин жест, Тамара улыбается. И как это иные жёны не понимают? Человек находится всю смену среди скрапа, шлака, руды; там ему не вымоют пол, не застелют малиновую дорожку, вроде той, что Тамара, прищулив глаза, сейчас аккуратно, по раз уставленной линии, укладывает от порога к окну.

Хороша комнатка! Занавеска будто вчера накрахмалена. Никогда и не скажешь, что полуподвал. Днём, конечно, видно, как топают мимо окна чужие ноги, но днём им обоим некогда дома сидеть. А так залюбуешься — розочки на обоях.

Осталось только спустить с кровати откинутый на время уборки кружевной подзор. Тамара вновь деловито щурится: «Атмосфера...» Она с удовольствием повторяет любимое лёшкино словцо.

Ох, чуть не забыла про книжки. На полке их немало, но хозяйка перетирает каждую: не то опозоришься, если Леонид вздумает почитать. Аккуратные книжки; больше всего по электричеству, по электротехнике. Читаны Лёшкой, перечитаны. Тамара щёлкает выключателем. Июньские дни длинные, на улице ещё светло, в стёклах верхних этажей дома на противоположной стороне отражается багряное вечернее солнце, но тут, в полуподвале, уже надо зажечь лампу, а то не вденешь в иглу нитку.

Прежде чем сесть подрубать распашонки, Тамара надевает лёгкий халат с синей оборкой. Нарядный халатик, только в талии стал тесноват. На комод, по обе стороны большого зеркала, купленного Лёшей к Восьмому марта, красуются букеты ромашки. Ромашка немного увяла, начинает сорить лепестками, хозяйке приходится собирать в руку упавшие на комод белые хлопья.

Затем Тамара, как она это нередко проделывает в свободную минуту, начинает озабоченно разглядывать себя: в таком положении лицо может покрыться жёлтыми пятнами. Но нет — на неё в рамке белых венчиков ромашки глядит почти не изменившееся, не подурневшее, розовое лицо. Когда женщина красива (красивее всех на свете, по уверению мужа), ей желательно такой и остаться. Тамара усердно взбивает причёску; такие самые кудряшки она высмотрела у профессорской жены, когда вешала новую люстру в седьмой квартире.

Завидная у Тамары должность: с казённой квартирой! Если бы дожидаться, пока лёшкин институт даст ему комнату, откладывали бы свадьбу и откладывали. Правда, теперь Тамаре работать трудновато, хотя она и здоровая, — даже доктора удивляют. Здоровая, но всё же... Попробуйте-ка в её положении быть электромонтёром на пять корпусов!

— Уже?!

Тамара разглядела в окно шегольские ботинки Лёши и следом огромные сапоги его напарника, Саши Скирко. Что же, у хозяйки всё чинином. Не стыдно и мужа встретить и гостя принять.

Включается плитка. На раскалившиеся мгновенно спиральки ставится кастрюля с борщом. Насчёт борща жена сталевара тоже имеет инструкцию. Побольше томата, лаврового листа, вдосталь стручкового красного перца. Подать отдельно нарезанную колечками сырую луковицу. Человек за день всего нюхнёт — и газку и дыму, надо же дома этот дух перешибить.

Молодой хозяин Леонид Власович Чуваев аккуратно ставит под кровать новые ботинки, надевает тапки. В лаборатории профессора Усышкина оставлены старые лёшины башмаки, его рабочая обувь. Всему у Лёши своё место. Гость, за которым следят строгие глаза Тамары, старательно шаркает ногами по половику.

На чистой скатерти уже стоят тарелки с золотым ободком, поджидают едоков. Не сразу удаётся уговорить стеснительного Сашу, но вот и он медленно, аккуратно прихлёбывает знаменитый чувашский борщ. Ест да похваливает:

— Хорош!

Тщеславный Лёша испытывает особенное удовольствие, когда улавливает в голосе товарища нотку зависти к своему семейному благополучию. Он даже ёрзает на стуле, вертит головой, как бы приглашая гостя полюбоваться комнатой. Добродушный Скирко произносит фразу, которую всегда, как он приходит, ждут от него хозяева:

— Ладно, ребята, живёте...

Отодвинув тарелку, Лёша с деланным равнодушием спрашивает:

— Я тебе ещё ничего не показывал?

— Нет... А что?

Лёшка вытирает руки и подаёт знак жене. Та подходит к выключателю, в люстре вспыхивает вторая лампочка. Молодожёны — оба электрических дел мастера — недавно привели в порядок старую, но шикарную, купленную задёшево, по случаю, люстру в виде трёх колокольчиков. Теперь в наиболее торжественных случаях в комнате могут по воле хозяев сиять три лампы. Однако и двух достаточно, чтобы полюбоваться содержимым распахнутого Лёшей гардероба. Сосновый шкаф, которым хозяева особенно гордятся, хорошо знаком гостю. В эту комнату почти вся мебель въезжала на могучей сашинной спине.

Чуваевы получили на днях в ателье шитое по заказу мужское демисезонное пальто. Сашу заставляют оценить материал, полюбоваться покроем, накладными карманами, широченными ватными плечами. Сам обладатель обнови, худенький, вёрткий, большеротый да ещё без пиджака, по-домашнему, выглядит сейчас неказисто. Но Скирко искренне восклицает:

— Выдающееся пальто! Достойное тебя, Леонид.

Сашу давно покорила удаля товарища, его живость и смётка. Умная быстрая усмешка, непрерывно вспыхивающие искорки в глазах заставляют забывать о том, что физиономия Лёши могла бы считаться и некрасивой. А на работе, у печи, им всякий залобуется.

Подозревает ли Лёша, что в пухлой тетради, спрятанной под сашиным полосатым матрацем, есть стихи, посвящённые и ему, сталевару Чуваеву?

Лёша любил говорить: «Будущее за электричеством» — и выбрал профессию не сталевара-мартеновщика, хотя именно в мартеновских цехах творились в эти годы самые громкие дела, а электросталевара. Однажды Лёшка озорно воскликнул: «И жизнь себе сделаю — во!» Подняв оттопыренный большой палец, он пояснил: «Высоковольтную!» Ему никто не возразил. Даже хвастливая лёшкина фраза: «Жену возьму такую, какой вам никому не видать», тоже не вызвала насмешек. И верно, Тамара, слышавшая в ремесленном самой завлекательной девчонкой, вскоре после выпуска с гордостью объявила себя невестой Чуваева. Такой уж он выдался, Лёшка Чуваев.

Желая доставить ему удовольствие, Скирко просит:

— Ну-ка, примерь.

Застегнув пальто на все пуговицы, сунув руку за борт, Лёша хвалится:

— Скоро и ей справим. Пока нельзя: фигура не та.

Небольшие сильные пальцы Лёши покровительственно треплют тамарины взбитые кудряшки.

В эту идиллическую минуту к Чуваевым постучал Женя Луньков.

## 17. Найдутся ли такие?

Сталевары не видели Лунькова чуть ли не с того самого дня, когда он защищал проект.

— Прошу,— говорит хозяин дома.

Не в его характере выказывать удивление, хотя втайне Лёша удивлён. Первый раз он видит у себя знаменитого в институте Женю Лунькова. Застигнутый врасплох в новом пальто, Леонид так и остаётся стоять в нём. Его движения степенны, если не сказать — величавы. Он держит себя столь уверенно, будто в этот душный вечер так и полагается — в пальто — встречать гостя.

Женя шагает к столу и с размаху, к ужасу Тамары, ставит на скатерть какой-то загремевший громоздкий железный предмет. Потом, отдуваясь, произносит:

— Здравствуйте...

Он намеревается пожать всем руки, но, взглянув на свои ладони, принимается смахивать с них рыжую пыль. На рубашке тоже следы ржавчины.

— Тамара! — командует Лёша. — Товарищу Лунькову требуется умыться.

Пока Лёша аккуратно вешает пальто на плечики, Тамара, зная, чем угодить мужу, достаёт для гостя чистое, хрустящее полотенце. Вымывшись, пригладив мокрый вихор, Луньков значительно говорит сталеварам:

— Хорошо, ребята, что вы оба здесь. С обоими и буду держать совет.

Но, прежде чем держать совет, надо собраться с силами. Перед Женей — сталевары-комсомольцы, добиваясь доверия и помощи которых он весной потратил немало ораторского пыла. Убеждая их, он предсказывал блестящую победу идей Сырейщикова. Когда выяснилось, что именно за эти идеи Лунькову снизили оценку дипломного проекта, Лёшка сказал ему в утешение: «Ничего, лиха беда начало». В общем, ребята тогда не сдались, но что они скажут теперь, когда Луньков передаст им ответ Овсянникова?

Женя медлит. Он со вниманием оглядывает комнату, одобряет житьё-бытьё Чуваевых, расспрашивает ребят о новостях.

— Новости-то, видно, у тебя, — говорит Лёша. — Не томи уж...

Трое металлургов садятся к столу.

— Дело, ребята, вот какое,— начинает Женя. — Только не судите по этому пугалу, это уж мой грех... Перед вами модель электродомны.

Саша Скирко почему-то смущается, бросает быстрый взгляд на Лёшу, но тот невозмутим.

— Это-то мы смекнули, грамотные. Однако зря тащил такую тяжесть.

— Зря? — растерянно переспрашивает Женя. — Никудышная, что ли?

— Зачем никудышная? Нормальная работа...

Не спеша хозяин подходит к шкафу, открывает дверцу, наклоняется к полке. Женя сразу замечает там несколько поблёскивающих изделий из металла, изготовленных, очевидно, искусными руками Лёши. Это модели разных электрических печей — дуговой, индукционной, высокочастотной. Там же виднеется нечто особенно интересное Лунькову. Это нечто и достаёт Чуваев, водружает на стол рядом с тяжёлой, грубой вещью, принесённой Луньковым. Затем хозяин даёт торжественное освещение — в третьем колокольчике люстры тоже вспыхивает лампочка. Залитая ярким светом, на столе красуется серебряная, сделанная из обрезков алюминия, сверкающая свежезачищенными медными контактами модель печи Сырейщикова. Над корпусом возвышается устрой-

ство для непрерывной загрузки, похожее на раскрытый большой клюв фантастической птицы.

— Откуда? — изумляется Луньков.

— Вы же чертежи не прятали, — кратко отвечает Лёша.

Женя не скрывает восхищения. Однако Тамара, которая всегда так гордится успехами мужа, даже не удостоивает вниманием это творение Лёши. Напарники переглядываются.

— Не выдерживают женские нервы, — насмешливо говорит Лёша.

Много было в семье горячих прений, но Тамара до сих пор не желает признавать «исторический макет»; не признаёт она и Сырейщикова, неудачника, от которого сбежала жена, который чем-то приворожил её, тамариного мужа, держал его весной по вечерам в институте и вдобавок довёл до позора, до первого «козла» в лёшиной жизни. Приход Лунькова ничуть её не радует.

Одна стенка печи сделана Лёшей из стекла. Нагнувшись, можно рассмотреть внутри четыре металлических шара, из которых под напряжением засверкают непрерывные разряды, сливающиеся в одно белое электрическое пламя.

— Включить? — спрашивает Саша.

Тотчас в печи загораются крошечные лампочки.

— Ловко! — восхищается Женя. — Действительно, ты малый не промах.

Лёша удовлетворён.

— Ладно, — говорит он. — Пришёл держать совет, так держи.

Тут-то Луньков и выкладывает всё начистоту.

— На строительство опытной печи нет ни рубля. И ждать покуда нечего.

События, скрытые Женей от домашних, подробно излагаются здесь, этим ребятам. Всё. Вплоть до обидной фразы, что железо можно выделить и из земляники. Рассказывая, Луньков замечает, как загорелись лёшины оттопыренные уши. Сталевар потрясён. Можно подумать, будто все его жизненные планы были связаны с судьбой печи Сырейщикова. Озадачен и Скирко. Сильный, большой, он слишком сдержан и застенчив, чтобы так явственно проявлять своё волнение, но лицо его хмуро.

Некоторое время все молчат. Потом Женя заключает:

— Так что пришёл посоветоваться. К вам первым...

Он приготовился к долгому и, возможно, невесёлому разговору. Но Лёша вдруг переходит на деловой тон:

— Выходит, спрашиваешь нашего совета, нельзя ли выстроить печь без единого рубля?

— Ты откуда знаешь?

— Знаю Евгения Лунькова.

Никто не смеётся.

— Угадал, — серьёзно говорит Луньков. — И что ты скажешь? Сможем её смастерить сами?

— Настоящую? — спрашивает Саша.

— Да. Опытную.

— Не получив материалов?

— Да. Не получив.

Женя рассказывает, как вот эта его железная грубая модель, попавшая ему дома на глаза, навела на мысль: нельзя ли самим сварить каркас? Ведь совсем рядом с институтом место выгрузки металлического лома, огромнейшая свалка. Любой профиль можно выискать.

— Любой, — подтверждает Лёша. — Выбирай, как на витрине.

— Значит, возможно? — нетерпеливо допытывается Женя.

— Ты тоже, Луньков, малый не промах, — говорит Лёша.

В его тоне одобрение. Теперь удовлетворён Женя. Он смело приступает:

— Есть ещё одна трудность, ребята...

И излагает суть дела. Сейчас в лаборатории Сырейщикова имеются две незамещённые штатные единицы, две должности рабочих-газовщиков — так именуются эти вакансии. Если вскорости не занять эти места, то в связи с создавшимся положением их могут вычеркнуть, не теперь, так к новому году.

— Свободная вещь! — вставляет Лёша. И лукаво спрашивает: — Стало быть, работы пойдут полным ходом?

— А то как же?!

Сталевары вновь, как и в былые времена, видят перед собой увлечённого Евгения Лунькова, расписывающего блестящие перспективы плавки чугуна по способу Сырейщикова. Большая судьба ожидает тех, кто теперь, когда почти никто не верит в замыслы электродоменщиков, решится последовать за ними. Это будут творцы переворота в металлургии! Зачинатели новой профессии!

Наконец-то Женя обрёл себя. Сейчас он уже не стал бы скрываться от Валерия Николаевича.

— Нам нужны настоящие соратники. Выдержанные, стойкие, верящие, что будущее принадлежит электричеству. Нужны такие, которые не сбегут от неудач, от насмешек, не побоятся трудностей. Особенные ребята. — Луньков пристально смотрит на Чуваева. — Высоковольтные.

Лица сталеваров пока непроницаемы.

— У вас много друзей по ремесленному, — продолжает Луньков. — Давайте подумаем, найдутся ли такие ребята?

В этот самый миг, который Луньков считал критическим для всего разговора, дверь открылась и на пороге появился мальчик. Прищурясь от яркого света, оправив у пояса кремовую шёлковую косоворотку, мальчик сказал:

— Погасло электричество. Третий корпус. Квартира двадцать семь.

Лёша мысленно выругался. Надо итти! В последнее время будущий отец семейства заменял по вечерам штатного монтера Тамару Чуваеву.

— Сиди, сиди, — приказывает он ей и строго спрашивает у мальчика: — В каком ты классе, деточка?

— Перешёл в шестой...

— Эх ты, шестой класс... — Лёшу подмывает чертыхнуться, но вместо этого он только приводит любимую поговорку своего отца, старого каменщика: — Надо, брат, уметь и шляпу носить и глину месить.

Мальчик готов сбежать. Однако Лёша останавливает растерявшегося посетителя:

— А знаешь ты, шестой класс, чему принадлежит будущее?

— Будущее?

— Ну да... — Теперь Лёша значительно глядит на Лунькова. — Электричеству принадлежит. Запомни. И научись сам пробки чинить. Понятно?

Уходя, Лёша наказывает:

— Без меня не разговаривайте. Ничего не решайте.

Словно выполняя волю друга, Скирко упорно молчит. Он не хочет в отсутствие Лёши заслужить одобрение, а может быть, и благодарность Лунькова. И всё же у него вырывается:

— А Усышкин имеет право не отпустить?

— Нет, — горячо отвечает Женя. — Отпустит. На его печь легко найти людей. Не то что на нашу. Тут надобно парней-героев...

Луньков замолкает, встретив насторожённый, неласковый взгляд Тамары. Она явно, хотя и молчаливо, противится его попытке прельстить



Лёшу, увлечь на неверную, опасную дорогу. По её сурово высказанной просьбе гости освобождают стол от обеих моделей. На встряхнутой, перевернутой на свежую сторону скатерти появляются гранёные стаканы. Простые, дешёвого, толстого стекла, они кажутся хозяйке недостойными чуваевского обихода. Она оправдывается:

— К октябрьским будем сервиз покупать.

Луныков вдруг ощущает растерянность. Сервиз... Вспоминается и момент прихода. Лёша, примеряющий новое пальто. Тогда Луныков не обратил на это внимания, а теперь... Теперь он по-новому видит всё первостатейное гнездо Чуваевых. Комод. Скатёрки. Коврик. Кружевная занавеска. Кружевной подзор. Попадает на глаза и недошитая распахонка... Нет, Луныков, пожалуй, зря рассчитывал на Чуваева, Лёша вряд ли рискнёт этим своим благополучием. Тем более, что имеется ещё одно обстоятельство, о котором Луныков не сказал пока ни слова. А ведь оно-то, пожалуй, и есть самое главное. По крайней мере, так сейчас сдаётся Жене.

Дождавшись минутки, когда Тамара отошла к зашумевшему чайнику, Луныков шепчет:

— Только оклад, Саша... Ставки-то у Сырейшикова ниже на сотню.

Скирко молчит. Вдыхает. Не смотрит на Луныкова. Тот думает: «Видно, не хочется сотню терять». Он не знает, что Сашу Скирко сейчас мучит мысль: «Лёше через это не перешагнуть».

Евгений вовсе не собирается осуждать ребят. Ведь и его родители, знай они о заманчивом предложении Щурова, не захотели бы, чтобы он выбрал скромную должность ассистента Сырейшикова. Дело понятное. Он тоже вздыхает, как Скирко.

Возвращается Лёша Чуваев и видит, что гости молча сидят над стаканами с остывающим чаем. Лёша весело заявляет:

— Обдумал я твои речи, Луныков... Нет, не найдём таких ребят.

Что отвечать? Луныков не разжимает губ. Скирко упорно смотрит вверх, на упирающееся в потолок узкое окошко.

— Не найдём таких, — повторяет Лёша, — как ты расписал. Очень уж высок вольтаж. А попроще — найдутся.

— Кто? — У Луныкова даже голос перестал быть звонким.

— Обыкновенные советские парни тебе подойдут?

— Кто же?

— Кто? Ну, например, Власыч...

— Какой Власыч?

— Леонид Власыч Чуваев. Знаешь такого? И ещё этот богатырь, на которого все девушки заглядываются. — Лёша не счёл нужным спросить согласия Саши. — Устраивает такая пара?

Скирко влюблённо глядит на своего напарника. Луныков замечает, как на лице Тамары вдруг выступили желтоватые пятна. Он говорит напрямик:

— Ты, Леонид Власович, ещё одного не знаешь... Зарботки у нас ниже.

— Я-то? Давно разузнал... С бухты-баракты Чуваев не решает.

— Ниже... На сто рублей...

— На сто десять, — уточняет Лёша. Он важно прохаживается по комнате. — Разницу придётся подработать. Нас с Сашей руки не подведут, руки у нас золотые. — Свои золотые руки Лёша торжественно скрещивает на груди. — А рискнуть придётся.

Скирко наконец подаёт голос:

— Так и Некрасов говорил.

— Некрасов? — удивляется Жена. Хотя, если человек пишет стихи, ему пристало упоминать поэтов.

— Он! — Сурово сдвинув брови, что помогает ему одолеть стеснение, Скирко читает:

Да, будем лучше рисковать,  
Чем безопасному безделью  
Остаток жизни отдавать.

Никто не улыбается, хотя Саше ещё рановато произносить с таким пафосом слова об остатке жизни. Читая, он смотрит на Тамару. Не ей ли он адресует эти строки? Все обращают внимание на её подчёркнуто безразличную позу. Тамара склонилась над шитьём, она словно и не слышит.

Подмигнув гостям, за дело берётся супруг.

— Все бы жёны равнялись по Чуваевой. Понимает, что значит быть за сталеваром, рискованым человеком. Нам с ней вместе ничто не страшно. Особенная семья...

Весело похлопав жену по плечу, Лёша пододвигает ей стакан, грубый, дешёвый стакан, который, возможно, и не очень скоро будет заменён нарядной чашкой в цветочках.

— Хозяйка, почему не пьёшь?

Тамара не сразу отрывается от своего шитья, голова всё ещё опущена.

— Я всегда говорил, — не сдаётся Леонид Власыч, — что женюсь на лучшей из девушек... Ну, выпей с нами чайку.

Тамара поднимает милостивый взгляд на товарищей мужа.

— А гости что же не пьют? — спрашивает она.

— Гости? — Осмелев, Лёша объявляет: — Гостям надо бы другое предложить. Стаканы-то нынче не чаю требуют. Такое дело надо обмыть, честь честью. Доставай, жена, припасы...

В припасах Тамары нашлось всё, чего требовал этот торжественный и необыкновенный час.

### 13. Сутки на раздумье

И вот миновало три месяца... Тесно у вешалки в вестибюле городского комитета комсомола. Впрочем, и не назовёшь вестибюлем эту низенькую темноватую прихожую. Всего четыре-пять человек стоят у раздевалки, а уже не повернуться. Дожидаясь своей очереди с калошами в руках, Женя досадует на себя и на мать, заставившую утром надеть калоши и плащ. Он ведь предсказывал, что к вечеру прояснится.

Наконец-то номерок в кармане, в руках расчёска, можно отойти в сторону. Женя знает: через год на площади Победы встанет просторное, самое высокое в городе здание, фундамент которого уже заложен, — там часть этажа предназначена горкому комсомола. А пока — терпи, комсомол! Сколько Женя себя помнит в комсомольском активе, столько же лет он помнит и эту мрачноватую прихожую в большом неуютном бараке, ровеснике первой здешней домны. Менялись лишь плакаты на стенах. Ещё недавно, всего несколько лет назад, тут можно было видеть: «Раздавим фашистского гада!», «Родина-мать зовёт!» Сейчас Женя читает: «Вперёд, к победе коммунизма!», «Комсомолец, марксизм-ленинизм — твоё боевое оружие!», «Силы мира непобедимы!» Над входом в коридор протянута кумачовая, уже немного запылённая полоса с надписью: «Больше металла высокого качества для пятилетки восстановления и нового строительства!»

Женя читает, и у него вновь — уже который раз после того, как ему позвонили из горкома, — загорается надежда. Больше металла! Да, наверное, именно для того Женю и вызвали. Металл высокого качества, такой, как в драгоценном слитке, что демонстрировался во время защиты

дипломного проекта, очень нужен стране. Наверное, им, будущим электроменщикам, собираются помочь. Недели две назад на собрании комсомольского городского актива он подошёл к горкомовцам, своим давним товарищам,— Луньков и сам когда-то был членом пленума горкома,— кое-что выложил им. И наконец, сегодня его вызвали сюда!

Он идёт по коридору вдоль ряда дверей. На нём аккуратно сидит новый, купленный уже на ассистентскую зарплату, синий костюм.

Вот и кабинет, где ожидают Лунькова. Несколько неуклюже приподнявшись со стула, его добродушно приветствует Орловский, второй секретарь горкома комсомола. Арбузов, первый секретарь, как успел ещё утром узнать Женя, отбыл на рудники вместе с приехавшим в Ново-Доменск секретарём обкома комсомола. Накануне, походив по заводу, заглянув и в институт, секретарь обкома провёл здесь, в горкоме, узкое совещание. Все эти обстоятельства кажутся Лунькову знаменательными.

— Ну, старик, садись,— приглашает Орловский.

Он вправе называть Женю «стариком», ибо знает его с незапамятных, то есть ещё довоенных времён. Женя тоже помнит Володю Орловского с самых первых месяцев своей комсомольской жизни. Тот уже и тогда казался Лунькову опытейшим, чуть ли не пожилым комсомольцем. А Орловский, проведя три года на фронте, хромающий, с перебитой осколком ногой, вернулся к комсомольской работе,— его избрали вторым секретарём горкома. Он попрежнему жизнерадостен, только не по возрасту отяжелел, черты лица кажутся мелкими, как это бывает у рано расплывших людей. Но как не расплыться, если хромота отняла его былую подвижность? Обязательной принадлежностью бывшего политрука Орловского стала коротенькая трубочка, которую он и сейчас посасывает.

— Ну как, Луньков, застоялся? — начинает беседу секретарь горкома.— Соскучился по настоящей работе?

— Ещё бы,— признаётся Женя.— Топчемся на месте.

— Нельзя, нельзя... Зарастёшь жирком.

Оба улыбаются. Действительно, в устах такого толстяка, как Орловский, это предостережение звучит юмористически.

— Да, Евгений,— секретарь переходит на серьёзный тон,— знаем, что ты работяга, любишь такие дела, чтобы горы свернуть... Мы с Арбузовым о тебе позаботились...

Женя лихорадочно соображает. Неужели ему впрямь дадут возможность поработать так, чтобы своротить горы? Неужели к сырейщиковцам, действительно, начали относиться по-иному?

— Скажи спасибо, старик.— Орловский даже трубочку отложил в сторону.— Нашлось для тебя настоящее дело. Оказываем тебе доверие. Поработай комсоргом ЦК на заводе.

— Как? — еле выговаривает Женя.

— На заводе у Щурова... Что скажешь? Трапезникову велено ещё полгода жить в горах.— Улыбнувшись, Орловский добавляет:— Считаем, что тебе стоит передохнуть от безделья.

Женя готов вспыхнуть. «Безделье!» На каком основании Орловский колет его этим? И разве Женя рад этому безделью?

Сдержавшись, он молчит. И старается собраться с мыслями.

Понадобилось всего полтора месяца, чтобы соорудить металлический каркас печи Сырейщикова. По счастливой случайности запасная дверь подвала, где, милостью учёного совета, Сырейщиков получил часть площади для своей лаборатории, выходила прямо на свалку — сюда сбрасывали прибывающий на завод железный лом. С лёгкой руки Лунькова любой профиль металла, потребный для невиданной новой печи, рано или поздно отыскивался в этом отвале. Преданные ученики и друзья Валерия Николаевича — и прежде всего два бывших электросталеплави-

щика Чуваев и Скирко, избравшие себе нигде ещё не обозначенную, новую профессию,— чуть ли не каждое утро отправлялись на свалку, с увлечением обследовали там всякие разбитые, отслужившие свой век машины, в том числе и смятые, разодранные корпуса фашистских танков, всё ещё поступающие на переплавку, и по балочке, по листику, по швеллеру, по уголку набирали, стаскивали в подвал материал для остова печи.

После изготовления каркаса предстояла футеровка печи, то есть облицовка её внутренней одеждой из специального, очень стойкого, огнеупора. Где же взять этот огнеупор? Щуров мог бы принять такой заказ от института, однако институту, как известно, не было отпущено ни одного рубля на опыты Сырейщикова. Вот тут-то и началось безделье.

Сырейщикову пытался помочь ещё один его друг — профессор Дратвин, заведующий кафедрой огнеупоров. В его лаборатории, в маленькой обжигальной печи, выдававшей по десять штук кирпича в сутки, началась выделка специального огнеупора для электродомны, пока маленькой, лабораторной. Десять штук в сутки... Из них некоторую часть, конечно, приходилось отбраковывать. А для опытной печи Сырейщикова требовалось около двух тысяч штук огнеупора.

Десять штук в день... И снова ожидай следующего дня. Это было немисливо. Немисливо было глядеть в глаза «особенным ребятам», молодым сталеварам, которых он, Луньков, подбил бросить прежнюю верную профессию, обещал необыкновенные, большие дела... А разве он сам не извёлся от этого томительного ожидания? Ему, действительно, приходилось отыскивать себе хоть какую-нибудь работу, только бы не проводить праздно время. Луньков приналёг на изучение английского языка, стал пропадать в читальне, поглощал книгу за книгой. Свободного времени, всегда так не хватавшего Евгению, теперь было вдосталь. Но он страдал... Неужели для этого он пошёл ассистентом в лабораторию Сырейщикова? Неужели им ещё долго топтаться на месте? И Орловский смеет подтрунивать над этим! Женя сердито цедит:

— Не ждал от тебя этого.

— А чего же ты ждал?

— Помощи, поддержки...

— Слушай, Луньков... Ты на меня не обижайся, но ведь я тоже не могу понять, для чего нужна ваша электродомна. Правда, я не инженер, но старался разобраться...

— Это же научное открытие, — хмуро говорит Луньков. — До сих пор все электродомны были маленькими, а способ Сырейщикова даёт возможность построить громадную электродомну, печь большой производительности.

— Ну, а в чём смысл? Практический смысл? Ведь ваш процесс во много раз дороже доменного. Так? Ну, объясни, в чём же экономическое обоснование.

«Экономическое обоснование». Э, слова Овсянникова. Вот они уже куда дошли. Что же ответить на вопрос Орловского? Может быть, рассказать ему, как Сырейщиков впервые вдохновился идеей мощной электродомны, вдохновился в тот самый год, когда Ленин с трибуны съезда Советов произнёс: «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны». Однако можно ли это назвать «экономическим обоснованием» конкретного проекта?

Он смотрит мимо Орловского на стену. Конечно, если бы он, Женя, знал, что всего через год на этой стене появится плакат о плане сооружения гигантских гидроэлектростанций, он сейчас держался бы иначе.

Он лишь предчувствует, что придёт эра электричества. У него вертятся на языке слова о больших талантах, о больших людях в технике, — а Сы-

рейщикова он считает именно таким,— которые острее других чувствуют потребности своей эпохи, даже предугадывают их, как бы прозревают будущее. Но, конечно, такие аргументы зыбки. Луньков это понимает. И старается найти другие доводы.

— Во-первых, учти, — говорит он, — что для плавки по способу Сырейщикова не нужен кокс. Мы ведём процесс на сыром угле...

Попросив у Орловского листок бумаги, он набрасывает чертёжик, поясняющий его мысль.

— Представляешь, мы вовлечём в оборот металлургии огромные количества некоксуемых углей.

Разойдясь, он пылко высказывает то, о чём не хотел было говорить. Коммунизм и электричество. Великие люди техники, те, кто предвосхищает будущее... Закон вечной борьбы нового и старого. Орловский, глядя на него — жестикулирующего, встрёпанного, раскрасневшегося, — невольно восклицает:

— Лихой вояка! — Смеясь, он добавляет: — Ловко агитируешь.

— Поможете?! — спрашивает Луньков.

Его обнадеживает дружеская улыбка Орловского. А тот снова посапывает трубкой, соображает, как бы направить мысли своего собеседника на правильный путь...

— Я тебя расхолаживать не хочу, — осторожно начинает секретарь горкома. — Увлёкся, веришь, так борись, разрабатывай дальше...

— А сам предложил бросить?

Вот одержимый! Орловский успокаивает Женю:

— Тебе никто не запрещает совмещать... До получения кредитов ты попросту свободен. Опыты развернутся не раньше весны. К тому времени прибудет и старый комсорг. А тебя мы отпустим. Зашагаешь обратно в свою лабораторию.

Насчёт лаборатории Орловский не вполне искренен. Он знает, что Академия наук сказала своё слово, что в Ново-Доменском металлургическом институте попросту смеются над Сырейщиковым, что Щуров воздерживается. Да и сам Луньков, попав на настоящую работу в лучший коллектив города, увлечётся, позабудет о своих горе-фантазиях...

Надо его уговорить! Тем более... Гениальная мысль! Когда Орловский заговаривает в горкоме партии о собственном будущем, просит отпустить его на учёбу, ему отвечают: «Подготовь себе замену». Да, можно будет подготовить...

— У тебя, Евгений, большой вкус к комсомольской работе. Неужели ты останешься равнодушным к теперешнему положению в заводской организации? Народ с весны без комсорга.

Орловский не спеша рассказывает о прорехах в жизни молодёжи металлургического комбината. Кто-то начал выпивать. Кто-то прогулял. А Ильяхин увлёкся греблей, ни разу за лето не созвал комсомольскую группу, и теперь многие ребята с домны № 3 не являются в школу рабочей молодёжи.

Довольный вниманием слушателя, Орловский расписывает размах работы комсорга ЦК на заводе:

— Будет у тебя комсомольская домна... Веди ребят на первенство. Развернёшь самодеятельность — ты на это мастер. Блеснёте к октябрьским... Проведёшь встречу Нового года, весь город позавидует, — получишь в своё распоряжение Дворец металлургов.

По лицу Лунькова видно, что он начинает колебаться, загорается желанием поработать в комсомоле — поработать так, чтобы дух захватило.

— Берись. Советую... — говорит Орловский.

Словно очнувшись, Женя сурово сдвигает брови. Мало ли чего ему захочется? Он не нанесёт такого удара Валерию Николаевичу, не оставит друзей в беде.

Вскинув голову, Луньков твёрдо отвечает:

— Нет, не могу. Не имею права. Останусь в лаборатории.

Орловский хмурится. Хочется высказать Лунькову всё, что он о нём сейчас думает, посвятить несколько «тёплых слов» и Сырейщикову, известному смутьяну и беспочвенному фантазёру, но он лишь сухо произносит:

— Я не считаю, что ты уже ответил. Дело серьёзное. Ты комсомолец, так вот изволь, в порядке комсомольской дисциплины — думай. У тебя сутки на раздумье. Понятно? Завтра придёшь ко мне в это же время...

### 19. На пустынной улице

На следующее утро в доме Луньковых завтрак поспел чуть свет. Накануне под вечер очистилось небо, порозовело на западе. По всем приметам предстоял погожий день, — пожалуй, первый ясный денёк в эту дождливую, скверную осень. Немало жителей Ново-Доменска завело будильники на ранний час: надо было воспользоваться сухой погодой, вырыть картошку. Требовалось это и семье Луньковых. Рачительный Макар Семёнович имел неплохой участок среди огородов, которые ещё с военных лет раскинулись вокруг города.

— Буди ассистента, мать, — приказывает он.

Зайдя в комнатушку Жени, мать видит, что тот уже одет. На нём серые брюки, кое-где чинённые её рукой, свежая голубая рубашка. Залюбавшись на миг сыном, мать говорит:

— Куда ты так? Мы на картошку собрались.

— Я своё отработаю, мать. А сейчас уйду.

— Отцу-то объясни... Поаккуратнее.

Объяснение у Жени простое: ему даны сутки на раздумье. Половину суток он уже думал. Нелёгкое задание. Всяческие мысли будоражат Женю. Конечно, поработать комсоргом ЦК на огромном прославленном Ново-Доменском заводе — это ли не увлекательно? Но как покинуть друзей в трудный час? Не развалится ли из-за его ухода маленький, ещё не окрепший коллектив? И вообще, как сказать такое Валерию Николаевичу? Даже заикнуться страшно. Вспылит, объявит Женю отступником...

Евгений решил прежде всего посоветоваться с Завьяловым. Однако вчера поговорить не удалось: Иван Кузьмич допоздна задержался на заседании партбюро института. А сегодня он, пожалуй, уйдёт утром рыть картошку. Женя должен выйти совсем рано, чтобы захватить друга ещё дома.

Как бы всё это «поаккуратнее» объяснить отцу?

...Они стоят у калитки, Макар Семёнович и Евгений Макарович. Горы затянуты туманом. Солнце ещё не проглянуло. Однако достаточно и зорьки, чтобы заметить, до чего хорош, ухожен дворик Луньковых. Вдоль выкрашенной суриком ограды высажен цветник. Тут же протянулись грядки; на них до сей поры виднеются почерневшие, подгнившие от непогоды остатки некогда пышной зелени, какой требует настоящий борщ. Вон и белая скамейка со странно изогнутой спинкой, очень удобной, по мнению её строителя, с чем не решаются спорить остальные Луньковы. Есть и верстак под навесом возле сарая, в котором хозяин устроил свою мастерскую. Сюда, в этот сарайчик, к Макару Семёновичу приходят с паклоном за столярным инструментом со всей улицы: ни у кого нет такого набора инструментов. Есть и «спортплощадка» — угол, где Женя соорудил турник. В хорошую минуту отец назвал этот завидный малень-

кий, возделанный всей семьёй кусок земли «парком культуры». Слов «и отдыха» он не добавил. Отдыха Макар Семёнович не жаловал.

Отец при случае не прочь пошутить, но сейчас он хмур. На нём старая стёганка, его рабочая роба. Из-под фуражки кудрявятся волосы, почти совсем седые. Он коренастее, плотнее сына. Отцовские длинные руки опущены, пальцы полусогнуты, они привыкли всегда что-нибудь держать.

— Не могу сегодня, батя... Прошу дать увольнительную.

В семье Луньковых не случается отказа от работы без серьёзных на то причин. Отец из-под седых бровей испытующе поглядывает на сына. Тот продолжает:

— Дело у меня... Одно комсомольское поручение...

— Задание, что ли, какое? Надолго?

— Нет... На одни сутки.

— Ну, ступай... Плохо за тобой комсомол смотрит.

И Женя идёт. Он держит путь в ту часть города, что именуется Сосновкой, — туда, где на улице двухэтажных рубленых домов, которую так и окрестили Рубленой, живёт Завьялов.

Ранее, ранее утро... В домах занавешены окна, — ещё часик-полтора могут поспать те, кому выходить на завод в утреннюю смену. С дверей магазинов и ларьков ещё не сняты большие тяжёлые замки, похожие на гири-двухпудовики, которые Луньков-младший по раз установленному обычаю выжимает по утрам.

Навстречу раннему путнику пронеслась машина, груженная внавал огромными арбузами, явное дело, привозными: в Ново-Доменске они пока не вызревают. За ней прошла другая, третья—тоже с арбузами.

Минуту спустя проносится, грохоча, ещё один грузовик — теперь не навстречу, а попутный. Кузов его полон людьми, они весело голосят песню про донских коней, что идут на водопой по берлинской мостовой. Женя еле удерживается, чтобы не подтянуть. Ему хочется сообщая с этой весёлой компанией встретить песней просыпающийся погожий денёк. У кого-то из проехавших он приметил в руках черенок лопаты. Видимо, покатали тоже на картошку.

Да, не так уж пустынно улицы. То одного, то другого пешехода обгоняет Луньков. У многих за спиной мешки, на плечах лопаты. А он нынче как бы удрал с картофельного фронта. Ничего, он наверстает, обрабатает, найдётся ему и завтра и в следующие дни дело в хозяйстве.

Женя шагает и шагает в гору. Гребень ещё заволочён, затянута будто реденьким прозрачным пологом. Сквозь эту завесь скорее угадывается, чем виднеется, чуть светящееся блёклое пятно — солнце, которое вот-вот пробрызнет.

Кто сказал, что он не выспался? Чудесен этот утренний осенний холодок. Пробежаться бы, что ли, для разминки? И с чего ему так хорошо? От молодости ли, от избытка сил? Евгений и сам этого не знает...

Гулко раздаются его шаги, весело взмахивают руки, вскинута голова в серой, под цвет костюма, кепке. Он уже прижал было локти к бокам, чтобы припуститься бегом, но...

Но что такое? Стоп! На улице, впритирку к тротуару, стоит грузовая машина. Собственно говоря, она несколько не мешает пройти, но чья-то грубая брань заставляет Лунькова остановиться.

— Баранья голова! Недотёпа ты рыжая!

От раскрытого капота машины поднялось измазанное, растерянное девичье лицо. Из-под пёстрого платочка выбивались волосы столь при-

метного оттенка, что не приходилось сомневаться, кому было адресовано ругательство.

— Вот связался с бабой!.. Тронемся мы когда-нибудь? Самому, что ли, прикажешь разбираться в каждой чепушине? Вот бестолочь, тебе бы с телегой управляться!.. На машину её потянуло...

Так покрикивал рослый молодой человек, стоявший возле радиатора. Отчитывая водителя, он не забывал со вкусом потягивать папиросу. Многие девушки, вероятно, считали его красивым. Узкие чёрные подбритые брови, свежий большой рот, тяжеловатая нижняя челюсть. Несмотря на осеннюю пору, парень мог похвастаться густым загаром. На нагрудном кармане не слишком чистой лыжной куртки виднелся темно-красный значок комсомола, такой же, какой носил всегда и Женя. Рядом с этим значком было прикреплено ещё несколько спортивных.

— Ты что? — произнёс Женя. — Не приучен к нормальному разговору?

— К чему надо, к тому и приучен, — не сморгнул тот. Рассмотрев неширокое, тонкое лицо Жени, он повысил голос: — Катись!.. Не в своё дело не суйся.

Как ни странно, но в присутствии таких вот молодчиков Женя умел сбuzдать собственную горячность.

— Пожалуй, я суюсь в своё дело, — отдельно произнёс Луньков.

Он улыбнулся девушке, у которой уже перестали дрожать губы. Почувствовав опору, она выпрямилась и с вызовом глядела на своего обидчика.

— Дай-ка путёвку, — обратился к ней Женя.

Молодчику это пришлось не по вкусу. Рослый, с мускулистой, сильной шеей, он подошёл, толкнул плечом Лунькова. Видимо, он не сомневался, что легко припугнёт этого не крепкого с виду паренька. Вновь усмехнувшись, Женя схватил и слегка повернул его запястье. Отчеканил, бледнея:

— Не советую драться.

Несколько мгновений оба стояли, учащённо дыша. Потом противник Евгения рванулся, высвободил свою руку и, словно ничего не произошло, достал из кармана коробку папирос, вновь закурил.

— Проходи, — сказал он, — путёвка тебе ни к чему.

Но рыжеволосая девушка, с торжеством наблюдавшая их стычку, рассудила по-иному:

— Пожалуйста.

В путёвке было сказано, что машина, принадлежащая автобазе завода, направляется на водную станцию для перевозки физкультурных принадлежностей. Прочитав, Женя спросил:

— Как тебя зовут?

— Катя.

— Вот что, Катя... По этой дороге к реке не проедешь.

— За это я не отвечаю, — бойко сказала Катя. — Это всё он.

— Понимаю, — кивнул Женя. — Он с вашего завода?

Молодчик догадался изменить тон.

— Спортинструктор Ново-Доменского завода Крекшин, — представился он. — Виталий Крекшин.

— Спортинструктор?.. — протянул Женя.

— Дело в том, друг... — Спортинструктор перешёл на доверительный тсн. — Дело в том, что мы и на водной побываем. А этот маршрут не в счёт...

Евгений не стал продолжать разговор. Он решительно повернулся к Кате.

— Ну, водитель, из-за чего застряла?



— Нет искры...

— Надо бы помочь тебе, Катя, да времени в обрез.

— Беда не велика. — Девушка улыбнулась, показав белые зубы. — Если наладим, мигом подброшу.

— Нет, ваш путь на водную станцию, товарищ водитель...

И всё же, скинув пиджак, засучив рукава своей голубой рубахи, Женя вместе с Катей устанавливает зажигание.

— Вы тоже шофёр? — почтительно спрашивает Катя.

— Нет. Можно сказать, электрик. Дай-ка отвёртку...

Завёрнут последний винт... Ага, вот и защёлкала голубая искорка... Ещё минута — и застучал мотор.

— Принимай работу! В другой раз не потеряешься? Подучиться, Катя, надо... Как-нибудь приду, проверю, как ты разбираешься в машине.

— Придёте? Вы работаете у нас на заводе?

— Я? Нет... Не знаю... — Покачивая головой, Женя смотрит на свои измазанные руки. — Концы у тебя есть? Нету? Эх, Катя, не запаслива...

Женя натягивает пиджак, даже не оглянувшись на Крекшина, который молча лезет в кабину. Но, усевшись там и осмелев, Виталий говорит через окно:

— Надеюсь, больше не повстречаемся.

— Кто знает, — неопределённо отвечает Луньков.

## 20. Дружеский совет

Иван Кузьмич жил в нижнем этаже четырёхквартирного рубленого дома. Подойдя к этому дому, Луньков с огорчением поглядел на занавешенные окна. Неужели такая рань, что даже Завьяловы спят? Приходится гостю взобраться на цоколь, заглянуть в кухонное окно. Прежде всего в глаза бросается белая, порядком облупленная детская коляска. Затем Луньков замечает чайник, поставленный на плитку, из носика идёт пар. Ага, значит, хозяева встают, можно стучать в дверь.

Евгению отворяет сам хозяин, голый до пояса, не спеша вытирающийся полотенцем. С лысого надлобья, с крепкой шеи, с плеч ещё скатываются капельки.

— Тише, моих разбудишь, — шёпотом говорит Завьялов.

Доставая из шкафчика буханку хлеба, огурцы собственного засола, наливая себе и Жене чай, Иван Кузьмич помалкивает, ни о чём не расспрашивает товарища. Быстро покончив с завтраком, он говорит:

— Проводишь меня на огород?

От крайних домов Рубленой улицы рукой подать до сосновой рощи, взбирающейся на пригорок. Здесь по кряжу растёт так называемая кондовая, или красная, сосна, попадаютя и дубки, и клёны, и берёза.

Сосны стоят, словно и не обращая внимания на осень, а вот другим деревьям прескверно. От частых дождей, от ветров пожухли, побурели листья, те, что ещё не облетели. Но под весёлым сегодняшним солнцем даже эта листва зазолотилась, загорелась оранжевым и розовым пламенем. Запламенели и стволы сосен. Чем ближе к небу, тем ярче, краше они.

По пути Луньков рассказывает о вчерашнем разговоре с Орловским, о положении в комсомольской организации Ново-Доменского завода.

— Дело поправимое, — подытоживает немногословный Завьялов. — Но работы хватит.

— Ещё бы! — И Женя подробно описывает свою сегодняшнюю встречу на пустынной улице. — Представляешь, Завьялыч, молодчик с комсомольским значком. Из тех, у которых одна забота: побольше урвать от жизни.

— Ну и нарвётся,— коротко бросает Иван Кузьмич. И после паузы, искоса посмотрев на Женю, на его взволнованное, решительное лицо, прибавляет: — Уже нарвался.

Женя не возражает.

— С него бы, наверное, и начал, если бы...

— Что, если бы?

Луньков молчит. Завьялов слегка посапывает — тут, на крутом подъёме, ему трудненько поспевать за своим молодым другом. Иван Кузьмич сдвигает на затылок выцветшую пилотку, утирает взмокший лоб. Однако не хочет признаваться, что начал сдавать, быстро шагает, не отстаёт от Жени.

Но вот поредела роща, глазу открылось картофельное поле с тёмной подгнившей ботвой, с неподсохшими кое-где лужицами в бороздах. В узеньких полосках воды поблёскивает, отражается утреннее солнце. Подойдя к своему участку, Иван Кузьмич вонзает лопату в липнущую к железу, неподатливую землю.

Отсюда, с участка Завьяловых, виден весь завод как на ладони. Знакомый во всех очертаниях, строившийся на глазах Жени Лунькова родной ему Ново-Доменский завод. Хорош, могуч завод! Куда ни взглянешь — направо ли, налево ли, — нет ему конца и края... Два металлурга разрешают себе немного передохнуть, полюбоваться заводом. Сейчас, в солнечных лучах, все его краски мягче, теплее. Солнце играет в водяных струях и брызгах множества фонтанов, которые бьют в охлаждающем бассейне. Чудится, что там, над этой водяной завесой, белой, как прибой, то и дело возникают маленькие радуги. Прямо из этого буруна встают серые, геометрически строгие очертания центральной электрической станции с короткими, толстыми, как у парохода, трубами. По ветру стелются клубы тёмного, с коричневым отливом дыма. Рядом, как махты, высятся тонкие, стройные трубы мартеновского цеха. А домны и кауперы кажутся орудийными башнями этого словно несущегося вдаль корабля.

— Я отказался, Капитан, — решительно произносит Женя. — Не думай, не оставлю вас.

— Отказался? Дело поправимое,— таков неожиданный ответ Ивана Кузьмича.

Нажимая сапогом, он вгоняет лопату под картофельный куст, выворачивает влажный чёрный ком.

— Завьялыч... — У Жени вдруг ослабел голос. — Тут, на пеньках, сухо, можно сесть. За картошку свою не беспокойся. У меня до работы времени хватит, вдвоём наверстаем. Присядь...

И он напряжённо ждёт, что скажет Завьялов.

Усевшись на придорожный пенёк, спустив ноги в кювет, Иван Кузьмич усмехается:

— А ты разозлился на Орловского...

— Так ведь обидно... Не верит он нам.

— Захотел, чтобы тебе сразу поверили? Овсянников — и тот не разобрался... А предложение Орловского дельное. Работу на заводе ты подтянешь. Для тебя же лучше школы и не сыскать.

Не спеша Завьялов выкладывает Лунькову свои доводы. По сути, в ближайшее время, до получения кредитов, Евгений не так уж нужен лаборатории. Всё, что было возможно и невозможно, они уже сделали. Пусть Евгений не воображает, что для него, с его горячим нравом, бесследно пройдёт полоса безделья. И разве приверженность к открытию Сырейщикова даёт им право держаться в стороне от всего иного?

Увлёкшись, Завьялов продолжает говорить о том, какую роль в судьбе начинающего инженера может сыграть такой первоклассный заводщик. Работая комсоргом, поневоле изучишь все цехи. А политическая школа?

Кругозор? Вот где научишься крупно, по-государственному ставить и решать любой вопрос. Надо смотреть вперёд, на годы... Они затеяли целый переворот в металлургии. Рано или поздно будет выстроен завод электродомов, там-то понадобится опыт Лунькова...

— Завьялыч... А как же Валерий Николаевич?

— В нём-то и загвоздка... Ладно, вместе пойдём объясняться,— решает Иван Кузьмич.

Он успокаивает Лунькова и насчёт Скирко с Чуваевым. Их следует устроить на вечерние курсы металлургов, загрузить до получения кредитов учёбой. Пусть они так и считают, что нынешняя вынужденная заминка — это им время для повышения квалификации.

Здесь, на Сосновой горке, совсем не пахнет серой, заводским газком. Луньков глубоко вдыхает смолистый свежий воздух. Взглянув на возвышающуюся невдалеке сосну — кондовую, рыжую, — он вдруг разбегаётся, отталкивается от земли и, ухватившись руками, повисает на прочном, протянувшимся над тропкой пружинящем суку.

— И я буду учиться! Комсорг завода и аспирант-заочник! Как думаешь, сумею совместить?

— Потянешь... А кроме того... Комсорг — это, брат, фигура. Пожалуй, теперь уговоришь Щурова подкинуть нам огнеупора.

— Есть, Капитан! — Луньков радостно оглядывает даль. — Гляди, какое солнце. Гляди, так и пляшет в бассейне! Сколько было плохих дней, а вот пробилось солнце, и за одно утро всё стало другим.

## 21. Новогодний вечер

В вестибюле Дворца металлургов весёлая толкотня. Вверху, на самом видном месте, протянуто полотнище ватмана со строчками из Маяковского: «Отечество славлю, которое есть, но трижды — которое будет». Афиши возглашают: «Новогодний вечер молодёжи Ново-Доменского завода. Вечер, посвящённый будущему».

Попросив билетёрш предупредить его о приходе Сырейщикова, быстро оглядев вестибюль в надежде увидеть там знакомую долговязую фигуру, Луньков поднимается по широкой лестнице с мраморными перилами, спешит в зал.

Вслед за Луньковым, поблёскивая медными инструментами, шествуют оркестранты — вальцовщики, сталевары, горновые по профессии, трубачи, валторнисты, барабанщики по совместительству. Скорее... Скорее... Две девушки в одинаковых синих платьях, украшенных пушистыми белыми горошинами, торопят своих спутников. Сейчас заиграет музыка. Скорее наверх!

— Внимание!

Звонкий голос, усиленный радиорупором, заглушает весёлую праздничную суету, гомон толпы.

— Внимание! Вход в большой зал в этом году воспрещён. Двери распахнутся лишь за четверть часа до начала Нового года. Вечер будущего откроется в демонстрационном зале. Одновременно будут включены рупоры в фойе, в читальне, в диванной, в обоих залах техники. Займите места, дорогие гости!

— Внимание! — подражает Виталий голосу из репродуктора. — Придётся организовать четыре местечка.

Самодовольно улыбнувшись, обняв тонкий стан Риты, Виталий вместе с ней исчезает в толпе.

Итак, вход в большой зал воспрещён. Как ни старается Шура вести себя чинно во Дворце, она невольно встаёт на цыпочки, вглядывается в приоткрывшуюся высокую двустворчатую дверь, куда один из рас-

порядителей вечера, с красной повязкой на рукаве, впускает музыкантов. Громкая, изогнутая кольцом медная труба задевает раструбом за косяк. Шура улавливает едва слышный, протяжный, чистый звук меди. Этот звон тоже кажется праздничным. Не выдержав, Шура тянет Алексея ближе к двери. В зале полумрак. Виден край ещё не зажжённой, уходящей макушкой к потолку, разряженной ёлки. Наверное, на ёлке загорятся огоньки тоже за четверть часа до Нового года. Смутно блестит навощённый паркет. Ах, как хорошо! Какие чудесные часы предстоят Шуре...

Здесь, в ярко освещённом фойе, тоже очень интересно. Трудно лавировать в толпе, но Кистяковский послушно направляется туда, сюда, куда только его ни тащит девушка. Вот уж не думал, что скромная Шурочка может так разыграться... На смуглых щеках жаркий румянец. Темнокрасные, тоже будто жаркие губы полуоткрыты, улыбаются. Блестят белые зубки.

Впервые Алексей видит её не в застёгнутом наглухо белом аптечном халате, не укутанную в простенькую шубку с дешёвым серым воротником. Сквозь узорную лёгкую ткань просвечивают милые тёплые руки. Украдкой он вскидывает на прозрачную вставочку свои немного косящие глаза и тут же отводит взгляд. И торопливо заговаривает о всяких, вовсе не значащих для него вещах. Например, о том, как разукрашено фойе.

Они стоят у стены, где размещена галерея карикатур «Поджигатели войны». Шура должна всё рассмотреть. Она даже непроизвольно подталкивает своего спутника локтем.

На другой стене поверху протянута надпись: «Чего мы ждём от Нового года?» Ниже — серия весёлых рисунков. Группка девчат комично раскрыла рты, — из этих ртов вместе с нотными значками вырывается просьба: «Руководителя хора!» На следующем рисунке изображено молодёжное стахановское общежитие, оно требует: «Библиотеку-передвижку!» Ещё на одном листе представлена комсомольская домна. Её обвязанное по-бабьи платочком лицо сердито. Воздев кулаки к небу, домна взывает: «Кислорода!»

Восторженный, бурный интерес Шуры ко всем этим выдумкам заводских ребят, руководимых новым комсоргом, уже несколько утомил Алексея. Он неловко берёт девушку под руку, осторожно тянет её от стены, перед которой замерла его северяночка. До Шуры не доходит смысл этого жеста. Она оборачивается, благодарно улыбается. Это он, инженер, которому всё-всё известно, ввёл её в заманчивый мир металлургов.

— Алексей Николаевич, я немного путаю домну с мартеном, — смущённо признаётся девушка.

Кистяковскому приходится дать ей некоторые разъяснения. И при этом ещё делать вид, что он крайне заинтересован темой. Дома он не скрывает (конечно, если нет посторонних), что все эти печи, прокатные станы, эти так называемые производственные мощности не вдохновляют его. Почему так случилось? Этого он и сам не знает. Ему, сыну профессора Кистяковского, проще всего было пойти в металлурги, он и пошёл... И не обрёл призвания. Порой он завидует тем, кто работает с огоньком, с увлечением. Мог ли бы он увлечься чем-либо иным, проявить себя в другой профессии? Трудно сказать... С детства ему не хватало воли, подлинного интереса к жизни. Такого, какой светится в глазах этой девушки. Ему иногда кажется, что она способна исцелить, омолодить его душу.

Не замечая, что его то и дело толкают, наоборот, радуясь тесноте, склонившись к Шуре, почти касаясь губами тугого тёмного узла волос на затылке, ощущая аромат смугловатой розовой шеи, он терпеливо отвечает на её расспросы.

— Молодчага! — вдруг шепчет ему подошедший сзади Виталий. — Правильно работаешь.

Сам он уже успел выложить Рите некоторую подлежащую оглашению, как он мысленно определил, часть своих планов на нынешнюю ночь. Рита обещала уговорить Шуру поехать на квартиру Кистяковских и теперь старается быть особенно ласковой с ней.

— Шурёнок, какая выставка в конце коридора!

Чего только не навидалась сейчас Рита! В читальне — викторина! А в одной из комнат не выдержали, уже танцуют лезгинку. Шура немедленно порывается туда. Скорее... Успеть всё посмотреть!

Минуту спустя к этой же серии рисунков, над которой чернеет крупная, видимая издали надпись: «Чего мы ждём от Нового года?», приближается, пробираясь в весёлой толкучке, ещё одна пара. Это Фёдор Романович Шквариков с женой. Кому на заводе не известен грубоватый профиль Екатерины Афанасьевны, мужественный постав её головы с зачёсанными назад короткими и пышными седеющими волосами? Фёдор Романович сам недавно привёз её из Москвы отрез голубого шёлка на вечернее длинное платье. Сшито добротно, но вообще-то Екатерине Афанасьевне лучше придерживаться своего обычного чёрного костюма — отлично скрадывает полноту. Говорить ей этого не надо; наоборот, впервые увидев супругу в новом платье, любящий муж не удержался, восхитился тем, как васильковый цвет идёт к её волосам.

Ближе к полуночи супруги отправятся на квартиру главного прокатчика, где соберётся весьма уважаемое общество, где даже старики Кистяковские намереваются пировать чуть ли не до утра. Откровенно говоря, для Фёдора Романовича, вечного работяги, как он о себе любит говорить, не существует праздников. Ведь и нынче, в гостях, в промежутках между новогодними гостями, он должен провести два-три нужных разговора. Да и здесь, во Дворце, время пройдёт у него не без пользы. Безусловно, он встретится тут с некоторыми влиятельными в городе лицами. Например, со Щуровым, с кем-нибудь из секретарей городского комитета партии. От мнения этих лиц до некоторой степени зависит решение одной крайне деликатной, волнующей Фёдора Романовича проблемы. Дело идёт всё о той же должности заместителя директора металлургического института, на которую он давно метит. В январе наконец место освобождается. Назначат ли Фёдора Романовича? Накануне он объявил жене: «Катерина, твоё положение на заводе требует, чтобы ты хоть показалаесь во Дворце». Затем значительно добавил: «А мне-то сам бог велел». Екатерина Афанасьевна не нуждалась в объяснениях, почему сам бог велел её учёному мужу появиться на вечере будущего. По рассказам Фёдора она отлично знала, что вся его деятельность овеяна дыханием будущего. Тема, над которой он так плодотворно работает, «кислородное дутьё», задумана с дальним прицелом.

А вон как раз броская надпись: «Кислорода!» Потрясая кулаками, этого требует рассерженная домна. Гм... Что такое? Кислорода в доменной печи? Уже в новом году?! Признаться, заведующий кафедрой металлургических печей, исследователь проблемы кислородного дутья ошеломлён. Позвольте, это же задача грядущих пятилеток... В самом деле, вопрос недоработан. Ещё нельзя переносить опыты в цех. А вдруг ловушка? Конечно, ловушка. Подвох. Это подстроил Луньков. Да, в отместку за себя и за Сырейщикова. Тонко задумано. Шквариков знает людей, понимает их хитрые ходы.

— Ай да комсомольцы! — звучит низкий густой голос Екатерины Афанасьевны, которая тоже обратила внимание на рисунок. — К тебе, Фёдор, адресуются. Давай-ка в цех своё дутьё...

Белёсые брови доцента, что слегка приподнялись над светлой оправой очков, когда он размышлял, мигом опускаются.

— Молодцы ребята! Смелчаки! — в тон жене восклицает Шквариков. И несколько по-иному добавляет: — Дело-то рискованное...

— А как же? Или грудь в крестах, или голова в кустах...

Шквариков кивает в знак полного согласия. Он даже невольно выпячивает несколько впалую грудь, скромно украшенную ленточками двух медалей. А что касается головы... У Фёдора Романовича давно решено: свою голову он не отдаст, не на того напали.

Супругам приходится посторониться.

— Дорогу технике! — выкрикивает Леонид Власович Чуваев.

Он выступает во главе нескольких парней, несущих на плечах большой макет доменной печи со всеми вспомогательными устройствами, какими они станут в следующей пятилетке. Чуваев не скрывает от товарищей, что предпочёл бы продемонстрировать на вечере будущего нечто совсем иное — свою модель печи Сырейщикова, серебристую электродомну, которой отданы лёшины мечты. Однако эту, как считает Лёша, истинную печь будущего не балуют или, попросту говоря, не признают в настоящем. Что же, сырейщиковцы не отгородились от рабочих ребят других профессий. Луньков привлёк Лёшу к сооружению вот этого макета, которым занялись комсомольцы-доменщики. Лёша не отказался. Верный себе, он вскоре даже возглавил тех, кто мастерил макет. Ведь он, Чуваев, уже был не только электросталеваром, но до некоторой степени и доменщиком — постигал на курсах, куда записался вместе со Скирко, теорию плавки чугуна.

Шквариков благосклонно взирает на макет. Оттеснённый к стене вместе с женой, Фёдор Романович сообщает ей, что и он причастен к сотворению этой вещи. Консультировал разработку модели, сам вызвался помочь комсомольцам. Он всегда с новаторами. Зато никчёмным идеям не потатчик. Екатерине Афанасьевне приходится и сейчас (в который раз!) выслушать, как её Фёдор первый заклеил фантазии Сырейщикова. Первый. Ещё до Овсянникова.

— Дорогу технике!

Лёша твёрдо решил «создать атмосферу». Громоздкий макет проще было доставить через боковой вход, но он предложил пронести его на виду у всех собравшихся. Пусть чувствуют, что не только плясать собрались. На то и вечер будущего!

— Осторожненько!

Лёша оглядывается. Донесут ли без аварии? Саша, на чьём дюжесте плече покоится один из углов модели, что-то чересчур торопится. Лёшка так и предчувствовал — сегодня от напарника толку не жди. Но нельзя же всё время порываться перейти на рысь только из-за того, что тебя в зале поджидает какая-то девчонка. Как бы не задел домной за притолоку. Отличный макет! Гвоздь вечера!

— Осторожненько!

Сам Леонид Власович о развлечениях и не думает. Хотя он и обрядился в лучшую пару и повязал малиновый галстук, оказавшийся, кстаги сказать, под цвет его разгоревшимся ушам, но ещё до одиннадцати Лёша уйдёт с вечера будущего. В полуподвальной комнате его встретит празднично накрытый стол. Тамара не может даже ради Нового года оставить Валерку — крошечного, с маленькими, но уже торчащими ушками.

Наконец макет благополучно препровождён в демонстрационный зал и до поры до времени опущен на низенькие козелки в глубине помоста. Саша Скирко в тот же миг удирает. Боясь, что его остановят, он словно слетает с помоста. После его стремительного исчезновения расставленные у задней стены ёлочки укоризненно покачиваются. Лёша тоже качает головой:

— Пропадёт парень. Свободная вещь.

В демонстрационном зале весёлая суета. Все стулья, кроме первого ряда, уже заняты; кое-где спорят из-за места; в задних рядах затянули песню. Нашим аптекаршам достались завидные места. Виталий «организовал» четыре стула во втором ряду, — есть у него свои дружки-приятели среди местных ребят. Правда, не так давно на пленуме заводского комитета комсомола гремели речи против Крекшина, — Луньков объявил его носителем чуждого духа в спортивной работе, чуть ли не представителем буржуазии, который признаёт только чемпионов, настоящих или будущих, и презирает всех прочих физкультурников. Тогда они, его дружки, струхнули, помалкивали, не заступились. Но при случае они выручат: мало ли покутили вместе. Сегодня Виталию особенно хочется быть на виду.

Полюбуйтесь-ка на него! Широко расставив ноги в пышных штанах «гольф», Виталий стоит на ковровой дорожке главного прохода. Замшевая кофейного цвета куртка должна, по его мнению, вызвать общую зависть. Он небрежно играет золотистым колечком застёжки-молнии. Раздобудьте-ка такую широкую, блестящую, редкостной длины! Молнии-змейки поменьше расположились и на нагрудных карманах, украшенных разными значками.

— Приветствую!

Крекшин зычно окликает знакомых, стремясь показать, как он здесь популярен.

Стайка девчат, действительно, окружает своего бывшего тренера. До Риты доносятся их бойкие шутки. Она сидит с напряжённо безразличным лицом и оживляется только тогда, когда Кистяковский находит нужным дать приятелю сигнал:

— Виталий, обернись!

Посмотрев назад, Крекшин мигом смекает: появился Шквариков! Хватит дурачиться. В дверях, приглядываясь, словно изучая обстановку, стоят будущий заместитель директора металлургического института и его супруга. Виталий предпочёл бы встретиться с Фёдором Романовичем не в присутствии грозной Катериночки из отдела кадров, которая осенью выдала ему справку об увольнении, но он посылает и ей свою приветливую, не всякому предназначенную улыбку.

Когда чета Шквариковых приближается к первым рядам, на её пуги бок о бок с Алёшей Кистяковским вырастает милый, учтивый юноша с волевым подбородком. Как-то летом Крекшин и Шквариков виделись мельком у Кистяковских, но тогда Виталий промазал, не счёл нужным очаровывать доцента; откуда он мог знать, что понадобится ход к этому очкастому?

— Я вам о нём говорил, Фёдор Романович, — напоминает Кистяковский.

Весьма некстати Екатерина Афанасьевна вмешивается своим сочным баском:

— Ну как, Крекшин, не пьёшь больше?

Вот баба! При ней лучше и не начинать нужного разговора. Виталий смиренно улыбается:

— Отучили, Екатерина Афанасьевна! Видите, даже под Новый год, как дошкольник.

Супругам оставлено место в первом ряду, как раз впереди Крекшина и его компании. Шквариков любезно оборачивается к юношам.

— Сергея Емельяновича не видели? — спрашивает он.

— Нет. Разве он должен быть?

— Безусловно. Услышим его выступление о будущем металлургии. Знаете, кого Луньков хотел выпустить на эту тему?

— Кого?

— Сырейщикова!

Шквариков от души смеётся. Вместе с ним хохочут и молодые люди. Фёдор Романович сообщает некоторые скандальные подробности: Луньков надумал сделать чуть ли не гвоздём сегодняшнего вечера выступление сумасшедшего Сырейщикова, но, естественно, все воспротивились. Кистяковский в свою очередь рассказывает, как настойчиво Луньков в вестибюле просил билетёрш сообщить ему в президиум о приходе Сырейщикова. Шквариков пожимает плечами. Он не понимает Лунькова. Казалось бы, неглупый юноша. Чего же он всё-таки возится с этим маляком? Тем более, что Сырейщиков, если верить молве, очень болезненно воспринял уход Лунькова с работы ассистента, рассорился с ним, чуть ли не выгнал не то из дома, не то из лаборатории.

Шуре не интересны разговоры о Сырейщикове. Она смотрит на невысокий помост, где происходят какие-то странные приготовления. Под потолком движется какой-то железный хобот, с него свисает на канатах большой металлический крюк. У задней стены стоят в ряд пушистые ёлочки, на хвое белеют пласты ваты, посыпанные чем-то блестящим. За ёлочками — целая картина. На голубом фоне высится снежная крутая гора. Напряжённо вглядываясь вперёд, наклонив корпус, с горы несётся лыжник. Вот-вот он прыгнет с трамплина. Вверху на голубом написано: «Вперёд, в будущее!» Ух, как взлетит сейчас лыжник!

Посреди помоста стоит улыбающийся Луньков. Запыхавшийся, оживлённый, он просит тишины. Затем оглашает список президиума. Два небольших прожектора устремляют пучки лучей на сцену; в зале теперь полумрак. Алексей придвигается поближе к своей Шурочке.

— Товарищи! — звонко провозглашает комсорг. — Новый год не будет нас дожидаться. Кое-кому даже следует поучиться у него точности. За четверть часа до полуночи зажжётся ёлка, откроется бал. Времени в обрез. Мы предложим каждому оратору занять не более десяти минут. В будущем ни один оратор и не попросит больше десяти, все научатся укладываться в такой срок.

С этой шутки и начинается вечер будущего.

## 22. В демонстрационном зале

Уже несколько представителей заводской молодёжи всходили на помост и, честно укладываясь в назначенные каждому десять минут, рассказывали собравшимся о своих мечтах и планах на будущее.

Шуре не всё понятно в этих грандиозных замыслах, но всякий раз она аплодирует так, что горят ладони. Когда ей кажется, что Алексей хлопает вяло, снисходительно, она строго глядит на него; тотчас же, преданно улыбнувшись ей, инженер начинает энергичнее бить в ладоши.

Внимательно слушая, Шура Поземко не забывает наблюдать за Луньковым. Надо прямо сказать, весёлый, находчивый комсорг ей очень нравится. В нём нет никакой важности. Славный, простой... Только временами у него такой вид, будто он к чему-то прислушивается, чего-то ждёт. Вот и сейчас он быстро обернулся. Наверное, ждёт своего Сырейщикова.

Луньков и впрямь озабочен тем, что два стула в первом ряду, оставленные для Валерия Николаевича и Володьки, до сих пор пусты. До чего Евгению хотелось, чтобы Сырейщиков мог произнести с этой трибуны слово о грядущей металлургии. Однако партком не поддержал в данном случае комсорга. Нельзя превозносить не признанные никем фантазии... Неужели Сырейщиков вовсе не придёт? Неужели и сегодня они будут врозь?



Крюк придвигает по воздуху к демонстрационному столу зачаленный на стальных тросах отрезок огромной, диаметром в человеческий рост, трубы.

— Для землесосных снарядов, — шепчет Алексей. — Имейте в виду, Шурочка, тут и мои труды, в моём цехе сработано.

Далее трос подносит ещё один кусок трубы меньшего диаметра.

— Тоже наше, — поясняет Алексей. — Это мы готовим для новой машины, для шагающего экскаватора...

Шагающая машина? Шура больше не смотрит на Лунькова, она с благоговением поднимает глаза на Кистяковского. Даша права. Серьёзный человек, настоящий человек ищет её дружбы.

По программе вечера одним из последних на трибуну выходит Константин Полухин, горновой комсомольской домны.

Демонстрационный стол свободен, трубы увезены краном. Теперь в воздухе к столу плывёт большой макет будущего хозяйства доменной печи. Лёша Чуваев вместе с другими комсомольцами, мастеровыми макет, бережно принимает, отцепляет от крюка драгоценный груз. Установив макет, Лёша бросает выразительный взгляд на Лунькова. Всё понятно... Чуваев честно выполнил свои обязанности, теперь под ним горит земля: уже половина двенадцатого, пора лететь к себе домой, чтобы встретить Новый год с женой.

Луньков кивком отпускает Лёшу. И, приподняв на миг руку, чуть заметно помахивает ему: мол, передай привет. Луньков оказывает всяческое уважение Тамаре. Неудачи сырейщиковцев снова пробудили в ней опаску, тревогу за своё гнездо. Она не оценила даже принесённого Женей пёстроного целлулоидного попугая и мрачно наблюдала, как оробевший гость водил им перед носом ребёнка. Новорождённого Чуваева Лунькову так и не удалось подержать. Не удостоен доверия...

Что это там? Эх, пожалуй, он поторопился отпустить Лёшку. Весь зал наблюдает, как мучится Полухин, тщетно пытаясь отделить половину домны, — туго откидываются крючки, не желает отодвигаться задвижка. Может быть, поискать в зале кого-нибудь из ребят, делающих макет?..

Должно же было так случиться, что долгожданная билетёрша, низенькая немолодая женщина, именно сейчас подошла к столу президиума. Растерянно заморгав, Луньков медлит. Затем быстро уходит с помоста.

В двух шагах от Полухина, в первом ряду, сидит Фёдор Романович Шквариков с супругой. Обычно Фёдору Романовичу чужда юношеская непосредственность. Он любит сперва оглядеться, оценить обстановку, а уже потом определить линию своего поведения. Однако случаются минуты, когда хладнокровный Шквариков внезапно становится иным: верит вдохновению, действует мгновенно. Степенная Екатерина Афанасьевна только ахнула, увидев, как её муж, будто подброшенный незримой пружиной, вмиг очутился на помосте.

— Тут, товарищ Полухин, наверное, моя вина, — громко произносит он. — Разрешите быть вашим помощником. Вместе делали макет, вместе и покажем.

Под его пальцами доменная печь послушно раскрывается.

— Ну, ну... Не смущайтесь, товарищ Полухин, — терпеливо и ласково говорит Шквариков, как и должен говорить истинный руководитель молодёжи.

Скромно отойдя в сторонку, Шквариков ловит одобрительную улыбку Щурова. Больше Шкварикову ничего не надо. Эта улыбка сказала ему всё. Да, он, Фёдор Романович, близок к назначению. Скоро придёт новое штатное расписание — и нынешний заместитель директора института сможет перейти на заведование новой кафедрой, о чём давно мечтает, — есть ему замена. Щуров приглашающим жестом указывает Фёдо-

ру Романовичу на свободный стул в президиуме. Шквариков даже зарделся. Да, быть ему заместителем директора!

Вдруг словно какое-то дуновение пробегает по залу. От задней двери по широкому проходу между стульями идёт худой, долговязый, резкий в движениях пожилой человек. Все видят, как почтительно комсорг завода поддерживает его под локоть, указывает ему и шагающему вслед мальчику в пионерском галстуке свободные, специально оставленные места в первом ряду. Луньков как бы говорит: я не имею возможности предоставить трибуну на вечере моему учителю, но никто не запретит мне оказывать ему всяческое уважение. Сунув мальчику раскрашенную программку вечера, комсорг, слегка вскинув голову, возвращается в президиум.

Усевшись на своё место, председатель вечера незаметно поглядывает на Щурова. Директор догадывается, о чём беспокоится Луньков. Сергей Емельянович ещё вчера подготовил выступление — несколько веских слов о перспективах металлургии. Но до сих пор не решил: назвать ли в числе других передовых металлургов Сырейщикова? Ну хотя бы мельком, как одного из новаторов, разрабатывающего проблему отдалённого будущего? Луньков пытался подсказать это директору, и тот не возразил. До известной степени было бы справедливо упомянуть об электродоменщике.

Сейчас Щуров, сидя в президиуме, может наблюдать за Сырейщиковым. Вот он сидит в первом ряду, живо рассматривает сцену. Чёрные глаза ярко блестят. Нервно дёрнулись крылья хрящеватого большого носа. Наверное, переживает, слушая, как Полухин рассказывает о печи будущего, не об электродомне, а именно о доменной печи. Директор оживляется, хочет получше разглядеть этого чудака — говорят, он половину своего заработка тратит на опыты. Да, как видно, ему не сладко. У кого на нынешнем вечере такой потрёпанный костюм? И мальчик худенький, прозрачный совсем... И по какой-то ему одному понятной логике директор вдруг решает: в своём слове он не станет упоминать имени Сырейщикова. Ведь даже Овсянников, батька металлургов, предостерегал. А поперёд батьки в пекло не суются.

...Луньков с удивлением отмечает, что возле него в президиуме восседает Шквариков. Тот успел уже продумать, чётко определить свою принципиальную линию. Он склоняется к комсоргу, крепко пожимает ему руку, шепчет:

— Всецело поддерживаю инициативу! Можете рассчитывать на меня.

— Какую инициативу?

— Относительно кислородного дутья! В этом деле я целиком ваш!

Лунькову ничего не остаётся, как в свою очередь пожать худощавую руку доцента. А Шквариков уже всё взвесил: через месяц он станет заместителем директора, покинет свою кафедру, и, значит, рискованные опыты по применению кислородного дутья в доменном цехе будет проводить кто-то другой, новый, ха-ха, заведующий кафедрой металлургических печей. Нет, товарищи, Шкварикова не так легко поймать в ловушку! Конечно, эти тонкие соображения никак не выражаются на лице Фёдора Романовича. Откинувшись на стуле, он снимает очки, и его бледное, с белёсыми бровями лицо становится простоватым, не слишком умным. Нет, такой человек и понятия не имеет о том, как плетутся интриги.

Сырейщиков ловит женин взгляд. Комсорг нерешительно улыбается ему, и тот кивает в ответ. Вот они и пожелали друг другу нового счастья в Новом году.

*(Продолжение следует)*



---

---

НИКОЛАС ГИЛЬЕН

★

## НОВЫЕ СТИХИ

*С испанского*

### ПОЭТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

Я синие знаю заливы  
и небо, водой повторённое.  
Мерцание звёзд потаённое.  
Луны переливы.

То ли кровь, то ль слоновая кость,—  
я знаю живую розу.  
Я знаю мимозу  
и виноградную гроздь.

Соловей мне голос поставил,  
трелям вода обучала.  
Я вылил вино из бокала  
и только хрусталь оставил.

А свинец, что свистит, убивая?  
А большая земная тюрьма?  
Грозно море, и на море — тьма,  
и нет под луною рая.

Тростник, от сока тяжёлый<sup>1</sup>,  
вонзается в тело, как гвозди.  
Пусть же знают высокие звёзды  
про голод и холод!

Ранят бичи, как ножи.  
Не считает надсмотрщик ударов.  
Ступай со своею гитарой  
и розам про боль расскажи!

А ещё расскажи им про то,  
как новое солнце сияет.  
На воздушных качелях качаясь,  
пусть ликует каждый росток!

---

<sup>1</sup> Сахарный тростник — основная сельскохозяйственная культура на Кубе.

**КОЛЫБЕЛЬНАЯ,—  
ЧТОБЫ РАЗБУДИТЬ МАЛЕНЬКОГО НЕГРА**

Воркует голубь,  
присев на крыше:  
— Вставай, чернуша,  
солнце всё выше.  
Уже никто не спит  
и дома не сидит:  
ни крокодилы,  
ни обезьяны,  
ни мотыльки,  
ни пеликаны.  
Солома, кружка,  
паук, оконце...  
Вставай, чернушка,  
навстречу солнцу!

Скорей, чернуша,  
вон из-под крыши!  
Всё жарче воздух,  
а солнце — выше.  
Смотри: народ  
шумит, теснится;  
в толпе сегодня  
не пробиться.  
Уже никто не спит  
и дома не сидит.  
Солома, кружка,  
паук, оконце...  
Вставай, чернушка,  
навстречу солнцу!

Черныш, чернуша,  
глаза, как вишни,  
проснись и выйди,  
солнце всё выше.  
Скажи, проснувшись,  
что сердце жжёт:  
— Долой хозяев!  
Фонарь их ждёт! —  
Уже никто не спит  
и дома не сидит.  
Солома, кружка,  
паук, оконце...  
Вставай, чернушка,  
навстречу солнцу!

*Перевод О. Савича.*



---

БОРИС ГОРБАТОВ

★

## ПРОЩАНИЕ

*В начале 1951 года в нашем журнале была опубликована первая книга романа Бориса Горбатова «Донбасс». До последних дней, несмотря на тяжёлую болезнь, талантливый писатель работал над продолжением романа. Безвременная смерть прервала эту работу.*

*Ниже публикуется отрывок из второй книги «Донбасса».*

1

**Н**а шахте «Кругая Мария» выдавали лошадей на-гора. Лошадей было семь, все с участка «Дальний Запад», — последние кони шахты: Стрепет, Маркиз, Маруся, Барышня, Купчик, Шалун и седая, старая Чайка. Сейчас все они в последний раз стояли в подземной конюшне, а конононы собирали их в путь: чистили, убирали, даже прихорашивали, словно снаряжали их не для конного двора, а для свадебного поезда.

— Ну вот, Чайка, — говорил немолодой рябоватый коногон Никифор Бубнов, по прозвищу «Бобыль», вплетая алую шёлковую ленту в седую гриву своей любимицы, — вот и кончилась твоя подземная служба!.. Совсем кончилась, вот оно как, умница ты моя!.. А поедешь ты теперь, Чайка, на-гора, да под самое красно солнышко, да на чисту волюшку, на зелену травушку... — продолжал он нараспев и шёпотом, так, словно рассказывал Чайке сказку. — Э! Да ты, небось, и не помнишь, бедолага, какое оно и есть-то, это самое красно солнышко. А? Не помнишь, где тебе!.. Вот дела-то какие у нас с тобой, Чайка, милая ты моя!.. — ласково приговаривал он, уже начёсывая на лоб лошади сивую чёлку, которую тоже собирался украсить бантом.

Рядом негромко и согласно пели ребята. Пели коногонскую:

Гудки тревожно прогуде-е-ели,  
Шахтёры с лампочками идут...  
А молодо-о-ого коного-о-она  
С разбитой головой несут...

В конюшню незаметно вошёл Прокоп Максимович Лесняк, начальник участка «Дальний Запад». Задержавшись на пороге и подняв лампу-надзорку, он привычно придирчивым десятничьим взглядом окинул всё перед собою. В подземной конюшне, где раньше стояло до пятидесяти лошадей, сейчас было пустынно и прохладно. Конюшня доживала свой последний час. От неё отлетал уже тёплый, жилой, домовитый дух. Вот уведут коней, выметут сор и гнилую солому, сломают переборки и денники, переделают всё — и будет уже не конюшня, а депо электровозов. Только запах останется, запах старой рудничной конюшни: прелого сена, конского пога, навоза, крысиного помёта и ремённой кожи. Запахи живут неистребимо долго.

Ребята пели:

Прощай, проходка коренна-а-ая!..  
Прощайте, Запад и Восток!..  
И ты, Маруся-лампова-а-ая,  
И ты, буланый мой конёк!..

Песня была старинная, жалостливая, со слезой, но коногоны пели её равнодушно, бесчувственно и даже, как показалось Прокопу Максимовичу, чуть-чуть насмешливо. Старая песня не шла сейчас ни к месту, ни к настроению. Её пели просто потому, что другой, подходящей к случаю, не оказалось. «Вот банты нашлись, а песни нету!» — огорчённо подумал старик.

Он подошёл к лошадям.

— А это вы правильно догадались, хлопцы! — сказал он коногонам вместо приветствия. — И ленты, гляди, припасли?.. Ну и ну!.. Молодцы! Красивая ваша инициатива.

— Так ведь как же, товарищ начальник? — отозвался кучерявый смешливый Вася Плетнёв, водитель Стрепета. — Ведь это ж какие кони? Это ж кони заслуженные. Им хоть сейчас медали давай. Али пенсию... — Он звонко захохотал, и резвый Стрепет тотчас же и охотно ответил ему коротким весёлым ржанием.

— Ишь ты, понимает! — удивился Вася.

— Ну, а ты, Никифор, как с собой порешил? — спросил начальник, подходя к Бубнову.

— Да всё то же... — нехотя отозвался тот.

— Значит, на конный двор?

— Куда ж ещё, Прокоп Максимович?

— Как это — куда? — вдруг рассердился старик. — Что ж, в шахте и делов больше нет без твоей Чайки? Ну, своего ума нет — у молодёжи займи. Эй, хлопцы! — зычно крикнул он, обернувшись. — Определить, что ль, на новую службу?

— Определить, Прокоп Максимович! — опять вперёд всех весело откликнулся Вася. — Сменили соху на трактор.

— Вот видишь? А тоже ваш брат — коногоны...

— Да какие ж они коногоны, Прокоп Максимович? — незлобиво возразил Бубнов. Потом вздохнул и, как бы оправдываясь, прибавил: — Да и Чайка без меня скучать будет.

Прокоп Максимович сердито покосился на Чайку.

— Ну, недолго-то ей и скучать осталось! — проворчал он.

— Я и похороню, — тихо сказал коногон.

А Чайка попрежнему стояла, понурив голову, равнодушная и к лентам, и к бантам, и к своей судьбе, и что-то бесконечно унылое и горькое было в этой заморенной работой кляче, в том, как она стояла, покорно расставив ноги, готовая ко всему, в том, как неподвижно висел её жалкий, обтрёпанный, обкусанный рудничными крысами хвост. Её подслеповатые глаза, много лет не видевшие солнца, слезились; губы чуть слышно двигались — должно быть, жевали. Прокоп Максимович положил ладонь на потную холку Чайки — она и не вздрогнула. Только минуту спустя подняла вверх свою печальную умную морду, тяжело вздохнула или зевнула и опять безучастно понурилась.

— Да-а... — задумчиво произнёс Лесняк. — Лошадиный век — недолгий. А какой конь был, а? Сатана!

— Значит, помните, Прокоп Максимович? — благодарно шепнул Бубнов.

— Как не помнить! — усмехнулся старик. — Сатана!

Он, действительно, помнил Чайку Сатаню, как помнил всех лошадей на «Крутой Марии» — и этих, что стояли сейчас в конюшне, и тех, что были до них, и даже тех, что некогда, лет сорок пять тому назад, когда сам он был мальчишкой-тормозным, ходили в упряжке по коренным и продольным старой шахты; а особенно того чубарого жеребчика, на котором Прошка Лесняк выехал в свой первый самостоятельный рейс. Прокоп прозвал его Земляком: чубарый был орловец.

Земляк погиб той же осенью, на уклоне. Его задавила разорвавшаяся «партия» вагонов. Страшно умирал этот добрый, работающий коняга, умирал, как шахтёр, не крича и не жалуясь, и только белая слеза дрожала в его скорбных, почти человеческих глазах, — а Прокоп ничем не мог помочь товарищу. Он сам лежал полуживой в мрачном, пустынном штреке, среди вздыбившихся и опрокинутых вагонеток.

Земляка пристрелили, а Прошку уволокли на-гора, в больницу, — умирать, как в песне о коногоне поётся. Но он не умер. Выжил. И опять вернулся на шахту, — куда ж ещё было деваться? И опять сел на «партию», и не на второй, а на первый вагончик. Это запрещала инструкция, но этого непременно требовал обычай — закон коногонского молодчества. А когда выехал на знакомый подъём, свистнул, что было духу, — думал, будет, как прежде, лихо и весело, а вышло тоскливо...

Незнакомым, чужим, каким-то скучным голосом отозвался новый конь и подъёма не взял. Прокоп зло вытянул его кнутом, раз, другой, третий... А Земляка он никогда не бил. Земляк слово понимал. И, вспомнив о Земляке, вдруг заплакал пятнадцатилетний Прошка, и плакал долго и сладко, один в глухом штреке. Потом он привык к новому коню. Назвал его Лодырем.

Лодыря сменил Буян, Буяна — Ласточка, Ласточку — Куцый; много коней протрусило по тёмным штрекам шахты под его кнутом, пока не стал Прошка Прокопом Максимовичем и не перешёл в забой. И теперь старику казалось, что это молодость его пронеслась вскачь на перекладных, пронеслась и — растаяла... Пять-семь коней — вот и вся молодость.

Ах, Ваня, Ваня, бедный Ва-а-аня,  
Зачем лошадку шибко гнал?  
Али ты штегеря боя-я-ялся,  
Али в контору задолжал? —

пели ребята, и, как это всегда бывает, песня невольно вела и направляла думы Прокопа Максимовича. Может быть, хлопцы и не зря завели сегодня, на прощание, эту старинную песню?

Нет, не обычай требовал от коногонов ухарства и молодчества, а копейка. Копейка-то и родила обычай. Ради окаянной лишней копейки гнали, что было мочи, лошадей. Нещадно били их батогами и даже на уклоне не останавливались, а, рискуя собственной шкурой, на ходу вставляли ручной тормоз в колёса (для того и сидели на переднем вагончике) и при этом часто калечились сами и калечили лошадей. В те поры штреки были узкие, низкие, «зажатые», как говорят шахтёры; крепление было худое; пути — неисправные, нечищенные, мокрые; разминок — мало; в колёях вечно хлюпала жидкая грязь, и каждый день что-нибудь да случалось на откатке. То вдруг, на полном ходу, забуривался вагончик, сходил с рельсов, корёжа партию; то срывался «орёл», всё давя на своём пути; то приключалась «свадьба на уклоне»: вагонетки налетали одна на другую, всё путалось, ломалось, вздыбливалось; ругались коногоны, проклиная и шахту, и бога, и весь белый свет; на рельсах в судорогах, гремя цепями, бились искалеченные кони; предсмертно хрипели раздавленные люди, — «свадьба» часто кончалась похоронами.

Хоронили тут же, неподалёку от шахты, в Сухой балке. И отпевать не нужно: коногона уже при жизни отпели.

«Ох, и окаянная ж это было время, и должность эта была самая что ни на есть окаянная, отчаянная. Нынешние коногоны об этом только понаслышке и знают».

А теперь уходят кони из шахты. Наконец уходят. В последний раз сегодня простучат лошадиные копыта под сводами квершлага, в последний раз донесётся из тьмы пронзительный коногонский свист и — стихнет. Навсегда. Идёт тысяча девятьсот сороковой год. И в бывшей конюшне на «Крутой Марии» будет депо электровозов. «А важное выйдет депо, богатое!» — вдруг подумал Прокоп Максимович Лесняк.

## 2

Уходят кони из шахты... Навсегда уходят. И что-то неощутимое, невидимое, но живое, сущее и страшное уходит вместе с ними. Навсегда. На веки веков.

— Удивительно, — сказал Прокоп Максимович, ероша рукой шёрстку на костлявой спине Чайки. — Нет, прямо удивления достойно: как же это ты Чайку свою сберёг, Бобыль, а?

Бубнов только застенчиво потупился.

— Ведь она, небось, лет десять в упряжке ходит? — снова спросил Лесняк.

— Ровно десять.

— Вот я и говорю: удивительно! — И старик с любопытством посмотрел на коногона: ему вспомнилась нашумевшая когда-то на шахте история Чайки-Сатаны. В той истории было три главных действующих лица: сама Чайка, коногон Савка Кугут да Бобыль.

Бобылём Никифора прозвали в первый же день его появления на «Крутой Марии», лет пятнадцать тому назад. Вот как это случилось. «Ты кто? — строго спросил десятник Сиромаха, гроза новичков, заприметив на наряде рыжую домотканную свитку и лапти Никифора. — Ты кто-о?..» Бубнов растерялся. «Я-то? — пробормотал он. — А я... я — бобыль». Это было его официальное деревенское звание, он и сказал его. С тех пор иначе, как Бобылём, его уж и не звали.

Он и вправду был бобыль, может быть, самый горький, самый сырый на всей Брянщине. У него никогда не было ни кола, ни двора, ни семьи, ни хаты. Всю молодость свою прожил он в людях, в солдатах, в батраках, всегда подле чужих коней — хозяйских, казённых или обозных. Ничего так не желал Бобыль, как иметь своего коня. Будет конь, мечтал он, будут и хата, и хозяйство, и жена-молодуха, и дети. За безлошадного кто же пойдёт? Чтоб добыть себе коня, он и поехал на шахты: земляк, бывалый человек, присоветовал.

Но на шахте Бобыля определили не в забой, а в конюшню, конюхом: тут много не заработаешь. Бубнов был тихий, боязливый, законопослушный человек, он не возроптал. Что ж, знать, такая судьба — вечно ходить за чужими конями. Всё-таки за зиму он справил себе хороший пиджак и сапоги, но шахту не полюбил и тосковал под землёй. Весной он внезапно, никому слова не сказав, ушёл с «Крутой Марии», а осенью, сконфуженный и ещё более отошавший, вернулся. Мечта о собственном коне не покидала его.

Так и повелось: с тёплым ветром уходил с шахты, с первым снегом возвращался.

На шахте Бобыля узнали и даже полюбили за голубиную кротость его души, за смирный характер, а всего более за то, что он бобыль, человек одинокий и несчастливый. Каждую осень, когда после отлучки



появлялся он на шахте, загорелый, тощий, беспокойный, весь пропахший ветром, лесом и лошадиным потом, шахтёры спрашивали его шутя: «Ну как, Бобыль, женился?» Он научился отшучиваться: «Да нет! Всё невесты достойной не найду, одни щербатые попадаются». «Эх ты, Бобыль, Бобыль!»

Так и текла жизнь Никифора Бубнова между деревней и шахтой, пока не явилась Чайка.

Чайку привезли на «Крутую Марию» в девятьсот тридцатом году. Тогда это была резвая, весёлая трёхлетка, такая весёлая, что все, кто тут был при спуске в шахту, невольно заулыбались, глядя на неё. Она охотно пошла в клеть и, войдя, радостно заржала. «С солнышком прощайтесь!» — жалостливо промолвила рукоятчица, задвигая деревянные щиты, специально припасённые для спуска лошадей. Но Чайка и не подозревала даже, что надолго, может быть навсегда, прощается с дневным светом. Она простодушно ржала, потому что ей было всего три года, ей было весело, хотелось скакать и прыгать, задравши хвост, а никакой беды себе она и не чаяла.

Темень в шахте сначала только удивила её, не испугала. Она знала, что бывает на свете ночь, и терпеливо ждала утра. Но ночь тянулась слишком долго, утро не приходило, и Чайка — бог весть, как её звали тогда, — вдруг встревожилась, заметалась, затосковала. Дикими, обезумевшими глазами глядела она на людей, загнавших её в это мрачное подземелье. Она не понимала, зачем они это сделали. Вытянув свою длинную, журавлиную шею, она беспрестанно ржала, нет, даже не ржала — вопила, и невозможно было спокойно слушать эти вопли — мольбы о воле и солнце...

А когда Чайку попытались поставить в упряжку, она и вовсе взбесилась. Словно догадывалась, что, раз покорившись, уже навсегда останется тут. Она отчаянно рвалась, лягалась, кусалась: одного коногона так ударила в грудь копытом, что тот, только легонько охнув, упал замертво на рельсы, другого — прижала так, что еле оттащили...

— Сатана! Чисто Сатана! — чертыхались коногоны и один за другим стали открещиваться от проклятой кобылы. Тогда-то и приступился к ней Савка Кугут.

Савка поклялся, что или выучит Сатану, или заперет до смерти. «Ты Сатана, — похвалялся он, — ну а я, брат, сам антихрист!»

Тёмная слава гуляла по шахте о Савке Кугуте. Никто толком не знал, кто он и откуда родом. Одни ввали, что он из цыган, другие — что из донских казаков, третьи уверяли, будто он сын каторжанина-конокрада; в былое время много беглых каторжников спасалось на донецких шахтах, благо паспортов тут не спрашивали. Сам Савка Кугут о себе ничего не говорил. Это был темноусый и чернобровый красавец, богатырь и щёголь; причём щегольство его было особого рода — босяцкое. Он гордо, хоть и небрежно, носил всякую пёструю, цветастую рвань — большей частью бабьи подарки, — носил так, словно то были шелка и бархат, но ничем в своём наряде не дорожил: мог и пропить и подарить любое. Он вообще ничем на свете не дорожил.

Его без памяти любили девчата с откатки и сортировки, и он снисходительно позволял им любить себя, сам же не любил никого и под пьяную руку частенько бивал своих подруг, холодно, молча, равнодушно-жестoko, как бил лошадей. Щедр он бывал только с товарищами и для приятеля мог последнюю копейку поставить ребром, но делал это не из дружбы, а из хвастовства. Бахвалиться он был горазд. Хвалился своей богатырской силищей, бесшабашностью, непокорностью начальству, а особенно тем, что он последний, настоящий коногон на шахте, не то, что нынешние: не коногоны — интеллигенты...

Он всегда таскал за собой свой коногонский кнут с коротким кнутовищем и длинной плетью. Кнут этот тоже был щегольской, особенный, весь в насечках и зарубках; пучок тоненьких, узорно нарезанных кожаных ремешков болтался у ручки, словно темляк на офицерской шашке.

Этот кнут и должен был привести Сатану к смирению.

Савка ретиво принялся за дело. Он пришёл в конюшню в рабочую пору, когда лошадей там было мало. Обратив Сатану недоуздом и деловито поплевав на руки, Савка взял кнут и молча, даже не гикнув при этом, хлестнул кобылу. Сатана сначала недоуменно, а потом гневно заржала, рванулась, взвилась на дыбы, но Савка железной рукой держал повод и, не дав лошади опомниться, снова ожёг её кнутом.

Так началось укрощение Сатаны. Савка молча делал своё дело: отхлещет кобылу, потом притянет за повод, станет перед нею и долго смотрит — глаза — своими страшными чёрными цыганскими счами, потом опять нещадно и молча бьёт и, опять притянув к себе, стоит перед Сатаной, чтобы навсегда запомнила дрожащая от ужаса животина лицо, очи и кнут своего хозяина.

Бобыль из своего угла равнодушно следил за тем, как метались в полумраке конюшни человек и лошадь; их длинные, безобразные тени прыгали по стенам и ломались на полу; иногда тени сливались, и тогда казалось, что это гигантский всадник мчится на обезумевшей лошади, яростно размахивает кнутом, а всё остаётся на месте, в конюшне, под землёй... Бобыля несколько не трогали вопли Чайки. Сызмальства привык он к тому, что скотину бьют, и бьют жестоко, вымещая на ней своё мужицкое горе и обиду. Бывало, и сам Бобыль в сердцах колотил худобу и после этого никогда не чувствовал ни раскаяния, ни смущения. Побьёт, а потом покормит — вот и все расчёты.

Любил ли он лошадей? Он и сам не знал, да никогда и не думал об этом. Кони-то ведь были чужие. И он одобрительно наблюдал сейчас за тем, как старается бедняга Савка, и только об одном тревожился, чтобы другие кони в конюшне не смутились воплями Чайки, не стали бы беситься. А когда Савка Кугут вывел Сатану из конюшни и повёл на рудничный двор приучать к упряжке, Бобыль и вовсе забыл о проклятой кобыле.

Часа через два Савка вернулся вместе с Сатаной. С первого взгляда Бобыль понял, что мир между ними не наступил: Савка не победил, Сатана не покорилась. Оба были утомлённые и злые. От Сатаны валил густой пар, вся спина её была иссечена и сочилась кровью.

— Эх ты её! — не то удивлённо, не то укоризненно сказал Никифор, принимая кобылу.

— Убью, — мрачно ответил Савка. Заправил под каску взмокший чуб, сердито сплюнул на пол и вышел из конюшни.

Бобыль повёл Сатану на место.

— А ты сама, голубушка, виновата... — благодушно начал было он, но тотчас же и осекся. Ему почудилось, что в скошенных на него, налитых кровью глазах Сатаны вдруг блеснул огонёк лютой ненависти. Это озадачило Бобыля. — А я ж тут при чём? — словно оправдываясь, пробормотал он. — Не я ведь тебя учил. Ну, да бог с тобой! — И он обиженно отошёл прочь.

Однако в назначенное время он задал ей овса. К его удивлению, Сатана немедленно и с жадностью накинулась на еду. Она торопливо и даже как-то ожесточённо хрупала овёс (другие кони обычно жевали медленно, задумчиво), и Бобылю невольно подумалось, что Сатана стого так ест, что хочет набраться новых сил для завтрашней схватки с Кугутом. Эта мысль удивила и почему-то испугала Бобыля.

— Вот чёртова кобыла! — растерянно пробурчал он. — Ну и ну!

А наутро всё началось сызнова: опять пришёл Савка с кнутом, опять нещадно полосовал непокорную лошадь, потом увёл. На этот раз Бобыль проводил их неспокойным взглядом и затем весь день был не в себе: чёртова кобыла всё не выходила из головы.

В полдень Савка привёл Сатану обратно в конюшню. На кобылу страшно было смотреть: клочья окровавленной шерсти свисали с её спины, боков и даже с бабок. Сатана прерывисто и трудно дышала, но уже не ржала, а только время от времени как-то странно икала. А в глазах её — так, по крайней мере, показалось Бобылю — попрежнему горел жёлтый огонёк ненависти.

— Ну и чёрт! — устало сказал Савка Кугут, размазывая рукавицей грязный пот на лбу. — В первый раз попадается мне такая анафема. — И он вдруг со злостью, изо всей силы ударил Сатану кулаком по морде.

Бобыль и тут ничего не сказал. Торопливо взял Сатану за недоуздок и увёл на место.

В этот вечер он вовсе не выехал на-гора: остался подле Сатаны. Мальчишка-конюх ночной смены потом, смеясь, рассказывал ребятам, что Бобыль всю ночь «беседовал» с Сатаной. «По душам беседовали, уж так-то ладно...»

Это была правда. Как и все одинокие, робкие люди, Бобыль любил разговаривать про себя; он и сам не замечал за собой этой привычки.

— Отчего ж ты работать не хочешь, а, милая ты моя? — говорил он, осторожно, бережно смывая примочками кровь со спины Сатаны. — Так, брат, нельзя!.. Не годится!.. Как же так?.. Работать каждый должен — и человек и скотина. Как же, чтобы, например, не работать? Э, нет, нехорошо!..

Сатана слушала, понурилась.

— Ну и что ж, что шахта? — продолжал возиться подле неё Бобыль. — Шахта, она шахта и есть. Такое заведение... да... подземное... Оно и в шахте, что ж, ничего, можно... Я, брат, тоже сперва сомутился... А привык. Работать, брат, везде можно... Ничего... А ты вот пожуй-ка сахарок, на-ка!.. Бери, бери, ты меня не бойся. Я, брат, сам человек смиренный, я тебя не обижу... Вот и славно!.. Ах ты, умница моя!.. — умилился он, глядя, как Сатана доверчиво слизывает сахар с его чёрной ладони. — Вот и распрекрасно!..

Когда на следующее утро Савка Кугут вновь пришёл за Сатаной в конюшню, Бобыль нерешительно обратился к нему:

— Слушай, Савелий, а?.. А может, того... будет? А?

— Что? — не понял тот.

— Говорю: будет, мол! А? Хватит...

Но Савка, уже не слушая его, направился к Сатане. Та всем телом задрожала, почуввав приближение своего мучителя.

Бобыль торопливо забежал вперёд и снова встал перед Савкой.

— Слышь, Савелий, а? Отступись, прошу я тебя!.. — забормотал он, складывая руки на груди и часто-часто мигая рыжими ресницами. — Ведь насмерть заперешь, что хорошего? Всё-таки живое создание...

— Отойди, — вяло сказал Савка.

— Прощу я тебя... Имей снисхождение...

— Отойди! — вдруг разъярённо закричал Савка и взмахнул кнутом.

Тогда-то и случилось неожиданное, то, о чём долго потом говорили на «Крутой Марии». С криком «Ратуйте!» Бобыль выбежал из конюшни и побежал по рельсам.

На крик сбежались шахтёры. Был среди них и Прокоп Максимович Лесняк — в те поры мастер-забойщик. Бобыль, беспорядочно размахивая руками и ничего не умея толком объяснить, повёл всех в конюшню. Тут всё и выяснилось.

Некоторые сразу же взяли сторону Савки, припомнили коногонов, покусанных Сатаной; кто-то сказал даже: «Да разве ж это лошадь? Это ж Чемберлен! Её не то что кнутом, её штыком надо». Но большинство вступилось за кобылу.

— Нет, не могу я тебя одобрить, Савелий!.. — сказал Прокоп Максимович Лесняк. — Не по-шахтёрски с конём поступаешь. Конь шахтёру — первый друг.

— Ты бей, да с понятием бей, с сожалением... — подхватили шахтёры.

— Совсем замордовал кобылу. Живого места на ней нет. И где только совесть у человека!

— Да это ж вредительство, ребята, чистое вредительство! — запальчиво крикнул кто-то из молодых шахтёров-комсомольцев.

Савка не принимал участия в общем оре, словно это его и не касалось. Он не защищался, не оправдывался, даже не огрызался — молчал да небрежно играл кнутом. Но словцо «вредительство», видно, задело его. Он презрительно усмехнулся. Потом медленно обмотал плетёнку вокруг кнута, сунул кнут за пояс и сказал:

— Ладно! Конец базару! Отрекаюсь я от вашей проклятой кобылы. Эх вы, интеллигенция! — Он двинулся к двери и, уже на ходу, насмешливо прибавил: — А конягу татарам продайте. Лошадь из неё не получится. — И вышел.

Пошумев ещё немного, разошлись и остальные. Последним ушёл десятник движения Сиромеха.

— Эх, Бобыль, — сказал он с досадой, — заварил ты кашу, кому теперь только расхлёбывать? Уж если Савка с этой тварью не совладал, куда ж её теперь? — и горестно махнул рукой. — Ну ладно, опосля разберёмся!

Так Сатана очутилась на полном попечении Бобыля. Он стал, как нянька, ходить за нею, лечил её раны, баловал сахарком да морковкой и часто ради неё оставался на всю ночь в конюшне. Незаметно для самого себя он всей душой прилепился к этой забитой и гордой лошади. Тут уж была не только жалость, как прежде; явилось совсем новое, смутное, самому Бобылю ещё не ясное чувство — странное чувство собственника, что ли... Сатана — его лошадь. Он отвоевал её у Савки, у десятника, у коногонов. От неё все отказались. Она была бы ничья, её продали бы на мясо татарам, кабы не Бобыль. И теперь это был его, по праву его, Бобыля, конь, давно желанный, вымечтанный, пусть ещё не вполне свой, не собственный, но и не чужой, ведь не такой, как иные кони...

— Эх, милая ты моя, — говаривал он, бывало, между делом, — нам бы с тобой в деревню. Вот куда. В деревню, на чисто полюшко... А? И стали бы мы с тобой землю пахать... Да. Хозяйничать! Вот здесь морковка купленная, дорогая... А у нас была бы своя! И овёс свой. Хорошо-о!..

Он всё чаще возвращался к этой мечте.

— Ты погоди, умница ты моя, потерпи! Вот разживусь деньжатами — и выкуплю тебя. Да... А как же? И уедем мы с тобой в деревню, да на чисто полюшко, на зелену травушку.

Он и сам толком не знал, как всё это делается; да и можно ли покупать у шахты лошадей? Но что это непременно делается, в том он был крепко уверен. Только бы деньжатами разжиться. А другого коня себе Бобыль теперь и не желал.

Наконец Сатана поправилась, успокоилась, повеселела. Бобыль решил, что настало время попробовать её в упряжке. «Сомневаюсь!» — покачал головой десятник Сиромеха, к которому несмело обратился Бобыль, но

возражать не стал. Весть о новом испытании Сатаны тотчас же разнеслась по штрекам. У рудничного двора собрались коногоны. Всем было любопытно поглядеть, как теперь поведёт себя проклятая кобыла. Савка не пришёл.

Ко всеобщему изумлению, Сатана послушно стала в упряжку. Бобыль что-то ласково шепнул ей на ухо, она раздумчиво помахала хвостом, постом стронула «партию» с крепёжным лесом и пошла, сопровождаемая весёлыми криками шахтёров...

В тот же день навсегда исчез с «Крутой Марии» Савка Кугут, последний «настоящий» коногон старого закала. Куда он ушёл — никто не знал. На соседних шахтах он не объявился.

А на «Крутой Марии» родился новый коногон — Никифор Бубнов. И его лошадь называлась по-новому — Чайкой.

## 3

С давних пор утвердился на «Крутой Марии» неписанный обычай: коногоны сами крестили своих коней. Иногда имя давалось сразу, на первой же проводке, чаще же являлось на второй-третий день, когда коногону становился ясным характер его четвероногого товарища. Да и меткие же бывали клички! Этот гнедой Купчик действительно напоминал загулявшего, вихлястого купеческого сынка, Маркиз был лодырем и симулянтом, а Барышня — жеманницей...

Отчего лесной человек, мужик с Брянщины, Бобыль назвал свою любимицу Чайкой, он и сам бы не сумел объяснить. Но это ласковое имя нравилось ему, он настоял на нём, и скоро на шахте все стали звать строптивую кобылу Чайкой. История Сатаны мало-помалу забывалась...

Между тем незаметно пришла весна. Под землёй её приметы чужались слабо, и Чайка оставалась спокойной в своей тёмной конюшне. Забеспокоился Бобыль. Пришло его время. Дул тёплый азовский ветер, манил домой, на Брянщину... «А Чайка?» Побежали по бадкам вешние ручьи. Открылись холмы, зазеленела ольха в буераках... Бобыль помаялся-помаялся и — остался на шахте.

А на следующую весну азовский ветер даже не потревожил его. Большие перемены произошли в жизни Бобыля за этот год: Бобыль женился.

Он взял себе в жёны не бобылку, не артельнуюстряпку, не вдову, как можно было ожидать, а голосистую красавицу-откатчицу Зинку, огонь-девку, из хорошей, коренной шахтёрской семьи. Встретил он её ранней осенью в парке, куда сам пришёл в первый раз с приятелями. До той поры жил Бобыль на шахте уединённо и неприкаянно, как живёт всякий временный человек на нелюбимом месте; ни с кем компании не водил, берёт каждый рубль и всё мечтал о том счастливом часе, когда, выкупив Чайку, уведёт её прочь отсюда, в свои брянские леса, и там заживёт хозяином на всей своей воле. Про него в те поры можно было смело сказать, что и живёт-то он вовсе не здесь, не на «Крутой Марии», а где-то там, на Брянщине, в угодьях, созданных его мечтой.

Коногоны знали за ним эту слабость.

— Ну что, Бобыль, — пошучивали они, — много денег скопил? На кобылий хвост уже есть?

Но Бобыль никому не сказывал, сколько скопил, и не из жадности, а от растерянности. Он сам удивлялся и даже пугался тех заработков, которые вдруг достались ему: никогда дотоле не получал он столько денег сразу. А всё Чайка! Она оказалась на редкость выносливой и работающей конягой. Её не надо было понукать кнутом — Бобыль так кнутом и не обзавёлся! — она сама тянула изо всех сил. Она словно

угадывала, что надо делать. «Примись!» — только скажет, бывало, Бобыль, а она уже вышла из упряжки. «Грудьё!» — промолвит коногон, и Чайка уж двигает грудью вагонетку... Никакой груз не был тяжёлым для неё, никакой рейс не был долгим; она трудилась радостно-ожесточённо, охотно, ревностно, только б её хозяин был подле неё. Она следила за движениями Бобыля осмысленно-любящими, по-собачьи преданными глазами и тосковала, когда он выезжал на-гора...

Да и Бобыль был работник старательный, от дела не бегал. При этом он, разумеется, думал только о лишнем рубле, не больше, но жизнь оказалась мудрее его: она припасла Бобылю куда более ценные подарки.

В прежние годы старательного коногона вряд ли приметили бы рудничное начальство, разве только артельщик да десятник. В этом случае десятник потребовал бы магарыча, а артельщик стал бы ещё искуснее обсчитывать коногона... Теперь же отлично работающий шахтёр не мог долго оставаться в тени. Его заметили. Объявили ударником. Стали называть в докладах и рапортах. Повесили портрет на Доске почёта. Упомянули в районной газете.

Всё это делалось само собой, как всегда делается у нас, когда человек отличается в труде. Незаметно для Бобыля он вдруг оказался втянутым в самый круговорот жизни шахты. Теперь у всех были дела к нему. Пришёл комсомольский секретарь, попросил взять двух ребят в ученики. Явился Несчетный, председатель шахткома, стал, как невесту, сватать Бобыля в разные профсоюзные комиссии; поладили на комиссии по охране труда. Приглашали Бобыля и в партийный комитет, посоветоваться о порядках на откатке. А однажды посетил Бобыля специальный корреспондент областной газеты, парень расторопный и, видать, запасливый; во всяком случае, в карманах у него нашёлся кусок сахара для Чайки. Корреспондент долго расспрашивал коногона, и всё о том, что, как Бобылю казалось, не шло к делу: о том, откуда он родом, да почему прозван Бобылём, да отчего не женится, о чём мечтает, чего ищет на шахте... Бобыль, разумеется, своих заветных мечтаний корреспонденту не открыл. Но вдруг, неожиданно для себя, подумал в самый разгар беседы: «А может, никуда и не надо ехать?» Эта мысль, впервые пришедшая к нему, смутила Бобыля. Он поспешно отбросил её и вечером, на свободе, стал особенно ожесточённо мечтать о деревне, о том, как купит Чайку и уведёт к себе, в Клетню, и там поставит хату да распашет свой надел, да... Но почему-то на этот раз припомнилось не деревенское богатство и раздолье, а все кочки, невыкорчеванные пни да лесные болота Брянщины...

В эту-то беспокойную для Бобыля пору он и увидел Зинаиду в парке, среди рудничных девчат. Он заметил и выделил именно её, одну из всех, не только потому, что Зинаида была девка красивая и голосистая, а и потому, что это вообще была первая девушка на руднике, на которую он посмотрел внимательнее, чем на дерево у дороги. До этого он на всё рудничное глядел равнодушным, пустым взглядом: меня это не касается, мне тут не жить! Шахтёрок он сторонился: они казались ему слишком бойкими, даже охальными, а ему нужна была девушка тихая, смиренная, работающая, словом, деревенская.

Зинаида всё смешала. Эта сероглазая, кругобокая откатчица властно вошла в душу Бобыля и поселилась там хозяйкой. Бобыль стал искать встреч с нею. Он ухаживал робко, неумело, не по правилам: не писал, как то делали молодые коногоны, нежных приветов мелом на вагонетке, не ходил под окнами с гармошкой, не тащил девку в степь гулять... Зато он часто бывал у Зины дома, пил со стариком чай и водку, степенно беседовал о делах на шахте. Впрочем, несколько раз он ходил с Зиной в клуб и там терпеливо наблюдал, как она танцует с ребятами; сам он танцевать не решался.

Зинаида охотно пошла за Бобыля.

— Что ж, девоньки, — объясняла она подружкам, — я не танцора себе ищу, а мужа. Ухажёр, как мотылёк, один только день и живёт. А с мужем жизнь прожить надо.

Да и на шахте не очень удивились, когда дело сладилось.

— Бобыль Сатану укротил, а уж с бедовой-то девкой справится! — смеясь, говорили шахтёры.

Женитьба спугала все планы и мечты Бобыля и, кроме того, расшатала его сбережения. Но он не жалел об этом. Он знал теперь, что в деревню ему дороги нет. Зинаиду в деревню не увезёшь, не для деревенской жизни эта молодуха!.. Да и самого Бобыля что-то перестало вдруг тянуть к земле. Он привык к шахте; здесь стал он уважаемым человеком, здесь нашёл свою Зинаиду, свою судьбу. Чего ж ещё ему? Только мысль о Чайке сперва смущала его. Ему всё казалось, будто он обманул её, предал. «Вот, Чайка, женился я. Такое дело!» — признался он, придя в конюшню в понедельник, на другое утро после свадьбы. Но Чайка только радостно заржала в ответ: она была рада, что её хозяин снова с нею. Так всё и уладилось. Деньги, которые копил Бобыль на покупку коня, пошли теперь на постройку дома.

Только года через два, как-то летом, в отпускное время, поехал Бобыль вместе с женой в родные клетнянские леса. Просто захотелось ему погордиться перед односельчанами, показать им красавицу-жену; пусть все увидят, что Бобыль теперь не бобыль, а семейный, богатый шахтёр и к тому же — ударник.

Ни своей хаты, ни родни не было у Бобыля в деревне. Остановился он у соседа, у того самого, что некогда присоветовал ему ехать на шахты, зарабатывать на коня. Сосед был рад гостю, но за ужином всё-таки не утерпел, сказал:

— Что ж, Никифор, жену-то привёз. Видим. Одобряем. А что ж конь-то? А? Конём-то, видать, не разжился?

— Нет, — спокойно ответил Бобыль, — есть у меня и конь.

— Да ну?! Свой?

— Свой.

— Собственный?

— Больше, чем собственный. Закреплённый.

— Это как же такое? — недоверчиво удивился сосед. — Не слыхивали...

— А такое! — и глазом не моргнув, отвечивал Бобыль. — Закреплённый. Сам товарищ Сталин за мной коня закрепил. А имя тому коню — Чайка.

Ошеломлённый сосед только глаза выпучил.

— Пояснение требуется... — наконец пробормотал он.

И Бобыль пояснил: товарищ Сталин приказал искоренить «обезличку» на шахтах, и по его слову за Бобылём теперь закреплён конь, Чайка; никакой другой коногон к нему касаться не смеет.

— А-а! — обрадованно засмеялся сосед и даже головой покрутил в восторге. — Ишь, как подвёл!.. Есть, есть и у нас такое! Как же? Чать, и мы тоже теперь не по-старому живём!.. — И он стал рассказывать гостю о деревенских делах.

Из этих рассказов Бобыль понял, что не только у него перемены в жизни: большие перемены произошли за эти годы и у односельчан; и тут всё сдвинулось со старой межи, всё тронулось в новую дорогу. Маленькие, заскорузлые крестьянские мечтания о собственном клочке земли, о своей лошадёнке, о хороших семенах по весне и добром урожае к осени теперь слились и превратились в одну большую и всеобщую мечту о богатом и сильном коллективном хозяйстве.

Бобыль радостно слушал эти вести. «Значит, и я не отстал, не просчитался, — думал он. — Всё, вишь, на земле к одному идёт — к социализму». С этим он и вернулся из отпуска домой, на шахту.

А когда в сентябрьскую ночь тысяча девятьсот тридцать пятого года забойщики Виктор Абросимов и Андрей Воронько пошли на свой знаменитый рекорд — вывозить небывалую добычу из-под лавы, — был наряжен именно Бобыль со своей Чайкой, как лучший и самый надёжный коногон на «Крутой Марии». В те дни имя Никифора Бубнова прошумело на всю страну в ряду славных имён первых стахановцев. Правда, в Москву, на стахановское совещание, Бобылю не довелось поехать, но коногона не забыли — вместе с другими был награждён орденом и он.

Перед ночной сменой, в нарядной, на летучем митинге, зачитали указ правительства. Виктор Абросимов и Андрей Воронько награждались орденами Ленина, Прокоп Максимович Лесняк, начальник участка, и Митя Закорко, забойщик, — орденами Трудового Красного Знамени, Никифор Бубнов — орденом «Знак Почёта».

Героям пришлось взойти на помост. Прокоп Максимович, Андрей и Виктор сказали краткие речи. Бобыль молчал и только низко кланялся на все стороны, как на деревенском сходе. Вид у него был смущённый и виноватый.

— Ну, поздравляю тебя, Никифор Алексеевич! — сказал ему присутствовавший на митинге секретарь горкома партии Василий Сергеевич Журавлёв. — С высокой наградой!

— А я отслужу, отслужу... — торопливо пробормотал Бобыль, зачем-то прижимая шахтёрскую лампочку к груди. — Не сомневайтесь... Я отслужу...

Он и Чайке поведал радостную весть, как-то этак смущённо, нерешительно, словно сам ещё не верил в награду:

— Вот, Чайка, вишь, какое дело случилось: наградили нас... — Потом вдруг обнял шею верного своего друга и — заплакал...

Награда, однако, не сделала больших перемен в жизни Бобыля; да он никаких перемен и не желал. Он был вполне доволен своей долей. По-прежнему работал он коногоном, хотя парторг шахты Андрей Воронько не раз предлагал ему пойти «на выдвижение» или на курсы десятников, поучиться. Бобыль всякий раз вежливо отнекивался. Советовали Бобылю, по крайней мере, хоть лошадь переменить, взять другую, — не гоже, мол, первому коногону на шахте ездить на такой старой кляче, как Чайка, — но он и тут заупрямился.

— Нет, — отвечал он тихо, но твёрдо. — Чайку я не оставлю! — А когда уж особенно сильно докучали ему, прибавлял: — Вы то поймите, как же я могу от Чайки-то отступить? Ведь я ж из этой кобылы настоящую шахтёрскую лошадь сделал. Да и сам я, если правду сказать, при ней человеком стал.

В конце концов от Бобыля отстали, и он спокойно дожил со своей Чайкой до того часа, когда последних коней на «Крутой Марии» стали выдавать на-гора, на волю...

## 4

— Ну пошли, что ли? — нетерпеливо вскричал Вася Плетнёв, с досадой оглядываясь на Прокопа Максимовича и Бобыля, которые, увлечшись своей тихой, стариковской беседой, казалось, совсем забыли, что пора уж вести лошадей к стволу. А Вася спокойным быть не мог: слишком долго ждал он этой счастливой минуты. Сегодня Василий Плетнёв, наконец-то, навсегда развязывался с конём.

Когда-то отчаянная профессия коногона казалась Васе венцом мечтаний. Был коногоном отец, коногоном и дед. Каждый, кто хотел стать



заправским шахтёром, должен был сызмальства пройти все ступени лестницы: сперва — выборщик породы на сортировке, потом — дверовой или лампонос, затем — тормозной, наконец — коногон и уж после всего — забойщик или проходчик. Впрочем, для рудничной детворы вершиной этой лестницы всё равно оставался коногон — молодец, первый в шахте, в драке и на гулянке. И Вася, прежде чем выучиться писать, научился лихо свистать по-коногонски, пугая соседских девчонок и старух.

Но вот исполнилось Васе Плетнёву восемнадцать лет, он достиг высокой должности коногона, а на шахте всё и вдруг переменялось. Сперва Вася даже не заметил этого. Ему достался весёлый, дурашливый конь Стрепет, с ним было много забавы да потехи, и Вася, по-своему, этим очень гордился: такого утешного коня ни у кого не было!

А на главных магистральных дорогах шахты меж тем появились мощные электровозы: с каждым днём их становилось всё больше и больше. Скоро они вовсе отгеснили Васю и его Стрепета на самые глухие участки.

Теперь почётное место в шахтёрской среде заняли не коногоны, не органчики, даже не крепильщики, а механики, машинисты, забойщики на отбойных молотках, электрослесари, ремонтные слесари, смазчики... Среди этих людей, вооружённых отбойными и бурильными молотками, перфораторами, электросвёрлами, гаечными ключами, пассатижами, кожаными сумками с металлическим инструментом, Вася со своим кнутом был словно ямщик на аэродроме. И он скоро почувствовал это. Теперь он уже не гордился, а стыдился того, что он при коне, а не при машине, что от него пахнет конским по́том и навозом, а не машинным маслом.

То были дни Хасана, Халхин-Гола и Карельского перешейка. Танкисты — вот кто стал теперь идеалом шахтёрской молодёжи; самой популярной песенкой на рудничной улице теперь была песня «Три танкиста, три весёлых друга, экипаж машины боевой...» Ребята пели её с таким же восторгом и с такой же завистью, с какими детвора двадцатых годов распевала: «Мы — красные кавалеристы, и про нас...»

Вася много раз слёзно умолял Прокопа Максимовича освободить его от коня, перевести наконец из «кавалерии» на электровоз, но начальник участка только кивал сочувственно головой да просил потерпеть ещё немного.

— Ты потерпи, хлопец, потерпи! — говорил он. — Скоро конной откатке конец! Где ж я теперь коногона-то найду? Ты, брат, можно сказать, последний извозчик на шахте.

Но каково-то парню в двадцать лет быть последним извозчиком?! Только надежда на скорое вызволение да вечерние занятия на курсах машинистов и удерживали Васю от бунта или даже от бегства с «Крутой Марии». Он учился, нетерпеливо ждал своего часа — и вот дождался и больше уж ни одной лишней минуты ждать не желал.

— Прокоп Максимович! — умоляюще повторил он. — Да что же это такое? Ведь пора! — И, взяв за повод Стрепета, решительно двинулся к выходу.

Но в эту минуту в дверях конюшни появились новые люди. Их было много. От света их лампочек в конюшне сразу стало светлее и праздничнее. Вася узнал гостей: то было начальство. Большой, грузный, тяжело опирающийся на палку старик был заведующий шахтой Глеб Игнатьевич Дедок, Дед, в своём знаменитом ватнике, который он надевал и зимой, когда в шахте было тепло, и летом, когда под землёй было прохладно; человек с весёлыми мальчишескими глазами и реденькой бородкой был Пётр Фомич Глушков, инженер из треста; а с лампочкой на каске, молодцеватый, юный, в своём комбинезоне с многочисленными карманами более похожий на дежурного слесаря по ремонту, чем на начальство, — парторг шахты Сергей Пастушенко. Вместе с ними был ещё тут старичок

из редакции местной газеты, которого Вася тоже знал, как знали его все на «Крутой Марии» от мала и до велика.

Старичок этот сразу же кинулся к лошадям.

— Гляди-ка, гляди! — восхищённо воскликнул он, немедленно заметив алые, голубые и синие ленты и банты в конских гривах. — Да это что ж? Это же свадьба, настоящая свадьба! — И, торопливо вытащив откуда-то из-за пазухи свой блокнот, весь измазанный угольной пылью, стал, не глядя в него, что-то быстро записывать: он давно научился писать в шахте, вслепую, в темноте. Вася понял, что все эти дорогие гости пришли сегодня в конюшню единственно для того, чтобы с честью проводить к стволу последних конононов. Это было лестно.

— Ну, свадьба не свадьба, — сказал тоже очень довольный Прокоп Максимович, — а всё ж таки торжество!

— И какое! — подхватил Пастушенко. — Знаменитое торжество! Что, не правда разве? — Он весело потрепал Стрепета ладонью по холке, потом почесал у него за ушами и таки добился того, что жеребчик громко и радостно заржал. — А-а! Ну вот! — засмеялся Пастушенко. — Чуешь волю-то?..

— Он всё чувствует, — сказал Вася. — Такой жулик-конь, даже удивительно!

— А ты, небось, больше всех рад?

— Само собою! — скромно признался Вася, и все засмеялись.

Только один Дед не улыбнулся. Он стоял, грузно опираясь на палку, и с каким-то непонятно угрюмым видом смотрел на всё. На его широкой груди чуть колыхалась шахтёрская лампочка, зацепленная крючком за верхнюю пуговицу ватника, и ярко освещала большой живот Деда и его ноги, обутые в короткие резиновые, похожие на старушечьи боты, сапоги.

— А что, Прокоп, — вдруг громко сказал он, — а помнишь ли ты газожогов? Газожогов, говорю, помнишь ли?

— А как же! — охотно откликнулся старик. — Меня потому и Прокопом зовут, что много я в шахте ходов прокопал, всё тут знаю...

— Это что же такое — газожог? — спросил Пастушенко. — Не помню, не слыхивал...

— И помнить не можешь. Не при тебе дело было.

— Видите ли, Сергей Петрович, — вмешался Глушков. — Газожог — это... это... нет, это даже не профессия! Это — как бы точнее сказать? — это подвиг.

— Одначе за подвиг этот деньги платили, — насмешливо перебил инженера Дед. — Ради денег только и шли.

— Э, нет! Не только ради денег! — горячо возразил Прокоп Максимович и даже обиделся. — Зачем зря говорить!

— А даром на смерть никто не пойдёт!..

— Да что ж это за газожог такой? — нетерпеливо вскричал Пастушенко. — Расскажите толком, что ли...

— Придётся уж, видно, мне... — посмеиваясь, вступился старичок из редакции. — Тем более, что единожды довелось и мне сойти за газожога. Что страху натерпелся, боже ж ты мой!

— Так вы были газожогом, Иван Терентьевич? — изумился Глушков.

— А что ж? Был. Я ведь шахтёр! — не без гордости сказал маленький старичок и выпрямился.

А Вася удивился не тому, что старичок из редакции был шахтёром, а тому, что зовут его, оказывается, Иваном Терентьевичем: на «Крутой Марии» все звали его не иначе, как Тарасом Занозой, — так с давних времён подписывал свои заметки, райки, фельетоны старый рабкор.

— Газожог... Ишь ты, какую старину колыхнул! — усмехнувшись, проговорил Иван Терентьевич. — А суть дела в том, Сергей Петро-

вич, что в те времена не умели ещё по-научному бороться с газом. Да и дорого! Капиталисту невыгодно было тратиться на хорошую вентиляцию или там иное-прочее. А мужик тогда дешёв был! Чертовски дешёв был тогда голодный орловский или там курский мужик! Ну, и... вот и ползился газожог. Бывало, кончится работа, все люди из шахты выедут, а газожог один и пойдёт на своё страшное дело...

— Овчинный тулуп надевали шерстью вверх. И водой шерсть густо смачивали... — глухо сказал Дед, и всем стало ясно, что и он некогда ходил газожогом.

— Да... И тулуп, — продолжал Тарас Заноза. — А в руке — зажжённый факел. Ползёшь с этим факелом по выработкам, ищешь газ, а факел, факел-то вперёд вытягиваешь... Жутко!.. Словно сам добровольно смерти в хайло лезешь! Да ещё дразнишься... Ну, найдёшь газ — и сразу взрыв, гром, глыбы летят... Ух! Вспомнить — и то страшно. Зато утром в шахте чисто. И людям уж не так опасно работать.

— Ради товарищества шёл человек на такое дело, — строго и даже как-то сумрачно-торжественно проговорил Прокоп Максимович. — Исключительно ради други своя...

— Да. И ради товарищества.

— И случалось — погибали? — спросил Вася, весь захваченный рассказом.

— И погибали. Обыкновенное дело! — ответил Иван Терентьевич. — Вот о севастопольском солдате Кошке, который бомбу руками отшвырнул, сколько прекрасного написано! А тут сотни таких героев были... А погибали — и креста не оставалось.

Все помолчали.

Потом Пастушенко с сожалением сказал:

— Нет, газожога я не помню. А саночника застал. Самому ещё довелось санки потягать на пологом падении. Тоже не сахар была работа.

— Каторжная.

— Даже не в том дело, что тяжёлая, — сказал Пастушенко. — А какая-то она... обидная. Слово тебя, че-ло-ве-ка, вдруг в собаку превратили и на четвереньки поставили.

— Да-а... — постукивая палкой оземь сказал Дед. — Газожоги, санки, обушок... А теперь вот — коногоны... А там, глядишь, скоро и нам на покой.

— Ну, начальники-то всегда на шахтах будут! Даже при коммунизме, — засмеялся парторг.

— Только, видать, другие тогда будут начальники... — хмуро пробурчал Дед, но тотчас же спохватился, словно сам устыдившись своей слабости, закричал властно и по-хозяйски: — Ну чего, чего стоим? А ну, давай, веди коней к стволу! — и, сердито махнув рукой, пошёл к выходу.

## 5

В конюшне всё сразу пришло в движение. Радостно рванулся с места Вася — «ну, наконец-то!» — схватил своего жеребца за повод и повёл к дверям. Встрепенулись застоявшиеся кони, задвигались, заржали на разные голоса: жеребцы — трубно, молодо, как в былые годы, старые клячи — хрипло, с дребезгом, похожим на кашель, но все одинаково весело и нетерпеливо, словно вдруг догадались и они, зачем убирали их лентами и бантами коногоны, зачем с утра щедро кормили овсом и о чём шептали на прощание... Вслед за Васей и его Стрепетом тронулись в дорогу коногон Семён Нечитайло с гнедым Маркизом, за ними пошла тихая, кроткая, полуслепая Маруся, затем каурый Шалун и хромая, трясущаяся от старости Барышня. Как всегда, забаловал у двери Купчик, встал на дыбки, но

его водитель, молчаливый, хмурый Загоруйко, на этот раз не огрел его, как обычно, ладонью по шее, а только досадливо потянул повод, и Купчик сразу успокоился. Пошёл, наконец, и Бобыль с Чайкой. Бобылю не требовалось вести в поводу свою лошадь; он просто сказал ей чуть слышно и почему-то грустно: «Пошли, что ль, Чайка!» — и лошадь послушно потянулась за ним, пошла, как всегда, низко опустив морду, словно что-то разыскивая или вынюхивая на мокрой земле.

Последними вышли из конюшни Прокоп Максимович Лесняк и Сергей Пастушенко. Они как бы замыкали это необыкновенное шествие.

А оно и в самом деле было похоже на шествие. И кони и люди шли гуськом, как всегда ходят в шахте, небыстрым, сторожким, каким-то напряженным шагом, который теперь выглядел торжественным, почти церемониальным. И, может быть, потому, что очень уж необычной была эта процессия, и всё в ней было необычно, не буднично; даже простые шахтёрские лампочки казались сейчас лампадами, нарочито зажжёнными для этого случая; они колыхались как-то особенно таинственно и величаво. И по-особенному звонко падала капель со свода; и по-особенному цокали о рельсы кованые копыта... Люди шли молча, и в тишине штрека было слышно, как они дышат, как посапывают кони, как журчит в канавках подземная вода и где-то далеко впереди, во тьме, ржёт неугомонный Стрепет...

— А Дед наш совсем плох стал... — вдруг негромко сказал Прокопу Максимовичу Пастушенко. — Совсем, совсем плох.

— Старое старится... — уклончиво отозвался Прокоп Максимович; он Деда не любил.

— Ты-то вот не стареешь, дядя Прокоп!

— Старею и я. Только виду не показываю.

— Вот то-то и есть. Я так заметил: одинокий человек и стареет рано.

Молодеют на людях...

— Что ж? Это верно...

— А не любит меня Дед... Ох, не любит!..

— Он никого не любит.

— А Андрея Павловича уважал. Даже боялся...

— Тоже не сразу, не вдруг...

— Эх, жалко.— Андрея Павловича нет!.. — вздохнул Пастушенко. — Вот бы посмотрел, порадовался. Давно он об этом часе мечтал...

— Что-то ты больно часто Андрюшу-то вспоминаешь, — усмехнулся старик.

— Да как же не вспоминать, Прокоп Максимович?! — пылко воскликнул Пастушенко. — Ведь он мой «крёстный» — он меня в партию рекомендовал. Разве это забудешь?

— Он тебя, а я его в партию рекомендовал. Значит, выходит, ты мне внуком доводишься...

— Я это признаю, Прокоп Максимович!..

— Да? Это хорошо, что ты родством не гнушаешься...

Некоторое время шли молча.

— Я ведь так понимаю, Прокоп Максимович, — снова начал парторг. — Я на этом месте временно сижу, пока Андрея Павловича нет. — Он всегда называл своего «крёстного» по имени-отчеству, хотя и был лет на пять старше его. — А вот Андрей Павлович вернётся...

— А вернётся ли?

— Да отчего ж нет?

— Оттуда не все возвращаются...

— Ну, а наш Андрей Павлович непременно вернётся!

— Туг слух прошёл... нехороший... — вдруг шёпотом сказал старик. — Будто уж и в живых Андрея нету...

— А ты не верь, не верь слухам! Я от Андрея Павловича письмецо получил.

— Да-а? Ишь ты! — ревниво протянул Прокоп Максимович. — А мне не пишет...

— Не до писем ему сейчас, ты тó пойми, Прокоп Максимович. Он и мне всего три строчки написал...

— Ну и что ж пишет он? — ворчливо спросил Лесняк. — Как он там? Вояка!..

Пастушенко с охотой стал рассказывать о письме Андрея. Прокоп Максимович слушал его, не перебивая, но вспоминался ему сейчас не товарищ Воронько, не Андрей Павлович, бывший парторг «Крутой Марии», а тихий сероглазый мальчуган Андрушка, хлопчик из неведомых Чибиряк, вот такой, каким он десять лет назад впервые пришёл с товарищем в дом Лесняка: в отцовском пиджаке и, видно, в отцовских же брюках, заправленных с напуском в хромовые сапоги, в косоворотке, вышитой голубыми васильками и подпоясанной кручёным пояском с кистями, в старенькой клетчатой кепке. Каким робким, пугливым хлопчиком был он тогда! Как конфузился за столом! А потом вдруг отважился, храбро встал, попросил всех выпить за здоровье шахтёрской бабушки и — смутился. А Прокоп тогда бросился к нему, схватил его в свои лапы, жарко обнял, прижал к сердцу и крикнул дрогнувшим голосом: «А что, мамо, берёте этого шахтарчёнка себе во внуки?» Всем показалось тогда, что это застольная шутка гораздо на шутки старого Прокопа, не больше, — а вот поди ж ты!.. Десятки шахтарчат прошли через крутые руки мастера, наставника, но только эти двое — Андрей и Виктор — так прочно вошли в его душу и чуть не вошли в его семью. Что греха таить, он хотел Андрея, но дочка, Даша, выбрала Виктора. А сейчас нет ни Виктора, ни Андрея. Нет их в семье Лесняка. Нет их в Донбассе. И Даша вернулась домой одна...

Между тем нетерпеливый Вася со своим Стрепетом уже вышли на рудничный двор. Было десять часов вечера — самое людное время у ствола. Менялись смены. Подъёмник то и дело выбрасывал в шахту новые партии рабочих. Шахтёры проворно выпрыгивали из клетки, попадали под ливень, отряхивались и спешили дальше.

Обычно люди тут не задерживались. Но сейчас, заметив подходивших к стволу коней с алыми лентами в гривах и разузнав, в чём дело, они не стали расходиться по своим забоям и штрекам, столпились на рудничном дворе. Рабочие дневной смены тоже не торопились на-гора. Всем было любопытно посмотреть, как будут выдавать последних лошадей из шахты. Захотелось проводить их. Явилось чувство праздника.

Так часто бывает в шахте. Тяжек труд под землёй, но есть и у горняка свои радости, свои часы торжества. Так бывает у проходчиков на сбойке штреков, когда после долгих месяцев войны с каменной громадой, которую они взрывали, долбили, ломали, откалывали по куску, наконец пробиваются они навстречу друг другу; наступает чудесный миг: руки, одни только руки протискиваются в узкую щель и ищут во тьме другую пару рук, чтоб схватиться с нею в жарком, шахтёрском рукопожатии. Так бывает у забойщиков, когда выдают они на-гора первую вагонетку угля из новой проходки или последнюю вагонетку в счёт годового плана — последний сноп на дожинках. Так бывает, когда спускают в шахту первый образец новой горной машины; волнуется конструктор, суетятся механики и слесари, а шахтёры молча и почтительно расступаются, дают дорогу умной машине, которая никого из них не лишит заработка и всем облегчит труд. Так было и сейчас, когда провожали шахтёры последних коней из шахты...

Старому рабкору Тарасу Занозе были знакомы и дороги эти минуты шахтёрского торжества. Присев на опрокинутую вагонетку, он стал жадно приглядываться к тому, что происходило у ствола, стараясь не пропустить ни одной подробности и всё записать в свой блокнот: зачем — он и сам не знал. Заметка всё равно должна быть короткой.

На рудничном дворе в ожидании порожняка стыли два электровоза: один — мощный, тяжёлый, другой — маленький, марки «Лилипут», бегающий в промежуточных штреках. Эта юркая, пронырливая машина и доконала конную откатку на «Крутой Марии». Подле «Лилипута», сложив по-бабьи руки на животе, стояла его молодая хозяйка, которую все, однако, уважительно называли Катериной Афанасьевной, — худенькая женщина в замасленном комбинезоне; её легко можно было бы принять за мальчугана, если бы не большой шерстяной платок, которым она, как и все женщины в шахте, плотно закутывала голову, чтобы угольная пыль не набилась в волосы.

Вася Плетнёв немедленно направился к ней: завтра Катерина Афанасьевна уходила в отпуск, и Вася заступал на её место. Вслед за Васей потянулся и верный Стрепет; подошёл, ткнулся мордой в железное брюхо машины, понюхал, полизал шершавым языком железо и недовольно, обиженно заржал.

— Что? — сказала Катерина Афанасьевна. — Силён конкурент? Не укусишь?

Все засмеялись. Улыбнулся и Иван Терентьевич и записал в блокнот и этот эпизод.

Появились Бобыль с Чайкой. Их тотчас же окружили шахтёры. Чайку все знали. Старики ещё помнили её историю. Теперь каждому захотелось проститься с Чайкой, погладить, потрепать ласковой рукой её холку, сказать доброе слово на прощание. Некоторые знали, что вместе с лошадьёю уходит на конный двор и Бобыль.

— А и много ж ты, Чайка, моего уголька из-под лавы повиытаскала!.. — сказал сильно постаревший за последние годы Матвей Закорлюка — старший забойщик с «Дальнего Запада». — Ну, спасибо тебе, работница, спасибо тебе, труженица!

— Вам спасибо, добрые люди! — ответил за Чайку растроганный Бобыль. — Не поминайте лихом! — прибавил он, словно уходил не на конный двор, а куда-то прочь с шахты.

Только сама Чайка равнодушно принимала все эти ласки и приветы: она уж давно и навсегда притихла и угомонилась, давно погас свет в её очах, давно пропала резвость; Чайка даже хвостом отучилась помахать: в шахте ни мух, ни слепней нету.

Прокоп Максимович добродушно похлопал её ладонью по спине, словно товарища по плечу.

— Ничего, ничего, Чайка! Теперь отдохнёшь на воле, поправишься!

— Глаза-то не воротись! — тихо сказал кто-то.

— Эх, молодость бы воротить! — проговорил Матвей Закорлюка. — Теперь в шахте только и работать! — Он произнёс эти слова не с грустью, а с завистью, и Тарас Заноза понял его. Он сам порой чувствовал похожее. Вся молодость, вся шахтёрская силушка ушли на обушок, на санки, на «лимонадку», а теперь шахта иная, теперь — машины, теперь только бы и работать, а уж молодости нет, и её не воротить...

Несмотря на свой язвительный псевдоним, взятый ещё в двадцатых годах, по моде, существовавшей тогда у рабкоров, Тарас Заноза был человек добрый и сентиментальный. С годами он стал даже слезливым. Со словами умиления наблюдал он перемены, совершавшиеся вокруг него; немолодой человек, он знал им настоящую цену. У него появилась стариковская привычка по каждому случаю припоминать былое. Но таково

уж свойство современных стариков — былое припоминалось не со вздохом сожаления, а с горькой укоризной; оно и вспоминалось-то только для того, чтобы прославить век нынешний и проклясть век минувший.

«Молодёжь этого не понимает, не чувствует. Молодёжь всё берёт как должное: ей сравнивать не с чем. Она даже ворчит порой на «неполадки». И права!» Но даже воздух, которым она дышит в шахте, сейчас уж не тот, каким дышали Тарас Заноза и его товарищи. Теперь не скупятся на вентиляцию.

Много раз втайне от всех, даже от товарищей по редакции, принимался Тарас Заноза за повесть из шахтёрской жизни. Запирался в своей одинокой, холостяцкой келье, раскладывал блокноты на столе, истово чинил карандаши — по стародавней рабковской привычке он любил писать карандашом и в блокнотах, — закуривал трубочку.

И тотчас же знакомый холодок пробежал по его спине, словно Тарас выходил на «свежую струю». Он слышал шорохи, давно забытые голоса, потрескивание крепёжных стоек. Лава играла, пела на все лады. Он узнавал эту песню. Пахло углем, пылью, гниющей сосной, ржавой подземной водой, плесенью, пороховым дымом... Возникла в памяти старая шахта: её мрачные галереи, её узкие ходки, крутые уклоны, все её глухие, слепые и далёкие закоулки... Здесь, в старых выработках, бродил, пугая людей, шахтёрский леший Шубин. Здесь «глазоедка» ела глаза. Здесь полз в вывороченном овчинном тулупе газожог и зажжённым факелом дразнил саму смерть... Картины, одна другой ярче, теснясь, толпились в памяти старого рабкора, набегали, заслоняя друг дружку, — а слова не являлись, слов не было!

Напрасно выкуривал Тарас трубку за трубкой, напрасно до боли тёр виски и шагал по комнате, тычась в углы, — картины приходили, а слова — нет. Он мучительно искал, призывал их, ему нужны были слова задушевные, верные, точные, но он не находил их и злился на себя: «Я — как та лошадь: всё чувствую, а высказать не могу». У старика была широкая, большая душа, а таланта не было. Но он не знал этого.

Между тем коногони уже завязали лошадям глаза. Делалось это затем, чтобы кони не ослепли, вдруг попав на свет, на дневную поверхность. Для того же и выдавали их из шахты ночью. Только Чайка да Барышня не нуждались в шорах — бедняги были слепые.

И опять горько посетовал на себя, на своё косноязычие старый Тарас Заноза: «Нет у меня, нет настоящих слов, чтобы всё это описать! А какая картина! Рудничный двор весь залит ярким электрическим светом... Красные, зелёные, жёлтые сигнальные огни... Светофоры... Электровозы... Подземные поезда... Ну, чем не столичный вокзал? И тут же — кони. А? Слепые, последние кони... Обломки империи... А? Ведь это что ж? Ведь это — символ! Ведь это у меня на глазах, вот тут, у ствола, кончается один век и сразу же начинается другой, новый... И всё это — глубоко под землёй. В недрах!.. А наверху сейчас — зима. Снег. Много в эту лютую зиму выпало снега... Снег, снег... И где-то далеко-далеко отсюда, в снегах Карельского перешейка, кипит война... И в Европе — война. Где-то — Гитлер... Где-то — Чемберлен... И всё это прямо относится к тому, что происходит сейчас здесь, на рудничном дворе. А я не могу, не умею описать это человеческими словами!» — И он морщился от сознания своего косноязычия, как от зубной боли.

Наконец выдача лошадей на-гора началась. Первым повёл коня в клеть Вася Плетнёв. Стрепет шёл послушно, не шалил, не дурачился, словно тряпка на глазах сразу укротила и даже припугнула его. Шахтёры следили за ним и его движениями с той доброй улыбкой умиления и жалости, с какой взрослый человек всегда смотрит на слабое, бессловесное существо — на ребёнка, птицу или комнатную собачонку.

Вася ввёл коня в клеть. Всё! Теперь как раз время прощаться. Дальше, на-гора, Стрепет уже поедет один.

— Ну, бывай здоров, Стрепет! Гуляй! — чуть дрогнувшим голосом сказал Вася. Потрепал в последний раз лохматую гриву коня, погладил, а потом вдруг обнял и поцеловал Стрепета прямо в мокрые губы. И, сам смутившись, поспешно выпрыгнул из клетки.

Однако никто не засмеялся.

Молоденькая ствольная, похожая в своём мокром, блестящем от воды резиновом плаще с капюшоном на моряка в шторм, стала устанавливать деревянные щиты в клетки. К ней подошёл Дед.

— Ты вот что, Фрося! — негромко сказал он. — Просигналь-ка в машинное отделение: пусть осторожно качают. Поняла? Как людей... — прибавил он и невольно подумал при этом: «Вот так и меня скоро... как старую лошадь...» Но тут же испугался: не вслух ли подумал? В последнее время с ним это случалось. Он оглянулся: рядом никого не было. Неподалёку, в группе шахтёров, стоял Бобыль. Тяжко опираясь на свою суковатую палку, Дед пошёл к нему.

— Слыхал я, на конный двор уходишь? — спросил он, чтобы спросить что-нибудь.

— Да, выходит так... — виновато отозвался Бобыль.

— А может, в шахте останешься? Работу найдём.

— Нет, Глеб Игнатьевич. Не приходится...

— Заработки на конном дворе не те, что в шахте.

— За этим я не постою.

— Вот как? — покосился на него Дед. — Ну-ну! Так я скажу, чтоб тебя с Чайкой поставили на подвозку крепёжного леса. Там — ничего, там — заработаешь...

— За это спасибо вам, Глеб Игнатьевич!..

Фрося отбила сигналы в машинное отделение: четыре удара — люди! Двухэтажная клеть вздрогнула, дёрнулась, сначала опустилась вниз, а потом плавно пошла вверх. В последний раз мелькнула морда Стрепета и исчезла. Стрепет уехал на-гора..

— Гуляй, Стрепет! — тихо проговорил Вася вслед.

Больше никто ничего не сказал, — молчание лучше и полнее всего выражает чувства мужчин.

Через несколько минут клеть вернулась. Теперь была очередь Чайки. Бобыль ехал на-гора вместе с нею. Ему это было разрешено в виде исключения: Чайка — лошадь смиренная, послушная коногону, она в клетях не за-скандалит.





БОРИС БЕДНЫЙ

★

## СТАРШИЙ ВОЗРАСТ

*Рассказ*

1

**ШШШ** умно и весело было раньше у Федуновых. Дети характером удались в отца, Семёна Григорьевича, росли общительными и компанейскими. У каждого из них было по несколько неразлучных друзей, и с незапамятных времён повелось почему-то так, что не они ходили в гости к своим приятелям, а те — к ним. В целом году дня не выпадало спокойного, всё гвалт, топот, игры да песни. Весной и осенью дородная Екатерина Захаровна жаловалась, что гости много грязи наносят в комнаты, и предлагала отвадить для начала хотя бы тех, кто ходит без калош. Но Семён Григорьевич, любивший общество, уверял жену, что гости красят жизнь, а калоши — вещь наживная, и всё продолжалось попрежнему.

А потом дети выросли, выучились на инженеров и агрономов, обзавелись своими семьями и разъехались кто куда. В родном городе остался лишь старший сын Пётр, работавший в коммунхозе начальником городского водопровода. Уже и после женитьбы Пётр долгое время жил в отчем доме, но года два назад ему дали в центре города хорошую квартиру — близко от места работы, все удобства, солнечная сторона, — и он переехал. Наиболее осведомлённые из соседок поговаривали, будто истинной причиной переезда были не преимущества новой квартиры, а то, что петрова жена стала не ладить со свекровью. Одни соседки винули во всём Екатерину Захаровну, другие — молодую невестку. Кто из них был прав, кто виноват, решить трудно, — недаром в китайской письменности иероглиф «ссора» рисуют в виде двух женщин под одной крышей.

После переезда сына Семён Григорьевич и Екатерина Захаровна снова остались одни-одинёшеньки, как тридцать семь лет назад, когда соединили свои судьбы. И просторной же показалась им теперь их старая, ещё недавно тесноватая квартира!

Пётр навещал родителей не часто, ссылаясь на занятость срочными водопроводными делами. Ещё реже писали письма другие дети, и письма эти выходили у них почему-то обидно куцыми, по схеме: здравствуйте, милые, — как поживаете? — у меня всё в порядке — целую...

Дочь Вера, бывшая замужем за директором крупного сибирского завода, каждый месяц присылала по двести рублей, забывая, однако, черкнуть хотя бы строчку на обороте почтового перевода. Семён Григорьевич пристыдил как-то директоршу, и после этого Вера стала посылать деньги телеграфными переводами, в которых, как известно, министерство связи не догадалось ещё отвести место для письма.

Екатерина Захаровна говорила Семёну Григорьевичу, будто кладёт верочкины деньги в сберкассу, а сама тайком переправляла их Васе, младшему сыну-студенту, — вдобавок к тем деньгам, что отец уделял ему

из каждой полочки. Семён Григорьевич нашёл как-то разоблачительные квитанции в укромном месте, на комодке за зеркалом, всё понял, но жене ничего не сказал и только иногда, посмеиваясь, заводил вдруг речь о том, как привольно заживут они с Екатериной Захаровной, когда проценты с отложенных капиталов достигнут солидной суммы.

Письма короче воробьиного носа, редкие приходы Петра, неудачная семейная фотография, где Семён Григорьевич вышел почему-то сердитым, а Екатерина Захаровна неестественно улыбающейся, да ещё закапанная чернилами клеёнка на столе, за которым дети готовили когда-то школьные уроки, — вот и всё, пожалуй, что напоминало старикам об их сыновьях и дочерях.

С недавнего времени Семён Григорьевич стал замечать, что хитрая Екатерина Захаровна особенно внимательно слушает сводки погоды по радио. Её радовало, что в сводках часто упоминают те города и области, где живут их дети. Когда писем не было очень уж долго, Семён Григорьевич, приходя с работы, спрашивал обычно:

— Ну как там... погода?

И Екатерина Захаровна незамедлительно сообщала:

— У Веры двадцать градусов мороза, — должно быть, валенки уже надела. У Васи — ветер умеренный, без существенных осадков. Про Гришу сегодня ничего не передавали. У Фени — дождь, наверно, опять насморк схватит. А Саша до сих пор в летнем костюмчике разгуливает: семнадцать тепла, умней всех устроился!..

— Большая, однако, у нас страна! — каждый раз наново удивлялся Семён Григорьевич и, успокоенный, садился обедать с таким чувством, будто от всех детей получил весточки.

При всём том Семён Григорьевич особенно на детей не обижался и считал, что, в общем, всё идёт правильно, как оно давно уже в мире заведено: были дети малыми — нуждались в его помощи, а теперь оперились, взвалили на плечи нелёгкий житейский груз, сами детей воспитывают — где уж тут много о стариках думать: в сутках ведь только двадцать четыре часа.

Лишь несколько человек навещали теперь Федуновых.

По воскресным дням приходил старый врач, Кондрат Иванович, уже лет тридцать живший в соседнем доме. Суетясь гораздо больше, чем надо для одного гостя, Екатерина Захаровна подавала на стол чай. Семён Григорьевич пил чай крепкой заварки и вприкуску, а Кондрат Иванович — внакладку и слабый. Они пили чай и неторопливо беседовали о погоде, международных событиях и озеленении родной улицы. Выпив две чашки, Семён Григорьевич долго и тщательно вытирал усы и потом предлагал небрежно:

— Что ж, сразимся?

Кондрат Иванович доставал из жилетного кармана массивные серебряные часы фирмы «Павел Буре, поставщик двора его императорского величества» и говорил нерешительно:

— Неплохо бы, да вот беда, спешить мне надо...

— Одну-то партию можно сыграть! — убеждал Семён Григорьевич и, соблазняя врача, рассыпал по столу звонкие шашки.

— Разве что одну? — соглашался Кондрат Иванович, прятал «Павла Буре» и играл пять, а то и десять партий, совершенно позабыв, что ему надо спешить.

Сначала трудно было определить, кто играет лучше: то врач одолевал мастера, то мастер — врача. Но со временем Семён Григорьевич как-то приловчился и стал выигрывать раз за разом. Несмотря на их старинное знакомство, Кондрату Ивановичу, как человеку с высшим образованием, стыдно было проигрывать малообразованному соседу. Утешая себя, он

говорил, что шашки — игра примитивная, и всё норовил подбить Семёна Григорьевича обучаться благородным и высокоумным шахматам. Однако Семён Григорьевич на старости лет не хотел рисковать своим чемпионством и резонно возражал, что на шахматной доске тесно от фигур, а он простор любит. То ли дело разлюбозные шашки — тут вся доска насквозь просматривается, все пешки на виду и никакого тебе обману...

По большим праздникам являлся мастер Зыков — дружок и одноклассник Семёна Григорьевича, работавший на одном с ним заводе. Озеленением улиц и международными вопросами молчаливый Зыков не интересовался, в шашки тоже не играл, и с ним Семён Григорьевич коротал время совершенно иным образом.

Каждый раз Зыков приносил пол-литра водки и молча ставил на стол. Екатерине Захаровне по долгу гостеприимства приходилось ухаживать за гостем, подавать закуску и говорить разные любезные слова, вроде: «Капустки попробуйте! Неужели вам наша селедка не нравится?» — и прочее в том же духе, а если б её вольная воля, она бы Зыкова с водкой и на порог не пустила. Дело в том, что четверть века назад у Екатерины Захаровны спился двоюродный брат, и по этой причине она всех мужчин, без исключения, считала алкоголиками (дай им поблажку — мигом сопьются!) и, оберегая семейный очаг, везде, где только могла, непроницаемой стеной становилась между мужем и водкой.

Сперва Зыков приходил лишь Седьмого ноября и Первого мая, а потом стал навещать и на рождество с пасхой. Никакого стариковского поворота к религии у него не произошло — просто ему нужен был повод, чтобы выпить. Выпивку без достаточного основания строгий мастер не признавал, считая её признаком душевной слабости и самым обыкновенным пьянством.

С годами зыковский круг праздников расширился. После войны дружки стали отмечать День Победы — в отдельности разгром Германии и капитуляцию Японии. А в самые последние годы, когда дети Зыкова тоже разлетелись из-под родной крыши, он стал заглядывать к Семёну Григорьевичу, вдобавок ко всем прежним праздникам, ещё Восьмого марта и на троицу.

Иногда Семёна Григорьевича навещали и молодые рабочие, его ученики. Они входили к мастеру с торжествующим сиянием глаз и с тем беспорядком в причёске и одежде, которые за версту выдавали счастливых изобретателей, только что обогативших отечественную технику открытием невероятной важности. Ребята доставали из карманов мятые крошечные листки чертежей, размеры которых были обратно пропорциональны гениальности замысла, или приносили модели резцов, бережно завёрнутые в носовые платки холостяцкой чистоты и вырезанные за неимением под рукой другого материала из обыкновенной сырой картошки, — и тогда Екатерина Захаровна ворчала, что теперь ей понятно, почему на рынке подорожали фрукты-овощи. Чаще всего молодые изобретатели уходили восвояси, опустив головы, и пешком тащились в общежитие через весь город, из презрения к себе отказываясь от услуг легко доступного по вечерам городского транспорта. Но попадались среди них и такие, кого Семён Григорьевич хлопал по плечу своей небольшой тяжёлой рукой, говоря растроганно:

— Порадовал старика, комсомол!.. Варит котелок, варит!

Случалось, что «комсомол» являлся и без всяких чертежей и моделей. В беседе тогда какой-нибудь парнишка долго бродил вокруг да около, пока Семён Григорьевич не спрашивал, потеряв терпение:

— В чём неувязка? Выкладывай!

И в ответ слышал робкое:

— По личному я...

Ребята знали, что Семён Григорьевич не разболтает их секретов, и охотно советовались с ним в затруднительных случаях, доверяясь житейскому опыту и природному такту старого мастера, к великому удивлению Екатерины Захаровны, которая с незапамятных времён придерживалась того мнения, что муженёк её, может быть, и понимает кое-что в своём производстве, но зато ни бельмеса не смыслит в тонких сердечных делах.

Из молодых рабочих к Семёну Григорьевичу чаще других приходили скромный токарь Коля Савин и весёлый фрезеровщик Кириюшка.

## 2

В глубине души Екатерина Захаровна считала, что жить ей на свете гораздо труднее, чем мужу. У Семёна Григорьевича был завод, который не только каждодневно доставлял ему постоянное восьмичасовое занятие, но и определял весь режим остального дня, придавая всему, что делал муж, завидный смысл: утром он озабоченно спешил на работу, а вечером заслуженно отдыхал. У Екатерины же Захаровны никакого завода не было, а заботы её по хозяйству после отъезда детей сильно уменьшились.

Как только Семён Григорьевич уходил на свой завод, в доме устанавливалась такая тишина — котёнок прокрадётся на мягких лапках, и то слышно. От этой гнетущей тишины, от надвигающейся старости или от того, что у Екатерины Захаровны оказалось вдруг много свободного времени, которое нечем было занять, она стала часто прихварывать. Раньше, когда семья была большая и Екатерине Захаровне надо было всех обшить, обстирать и накормить, у неё просто не хватало времени на болезни — и она всегда была здорова. А теперь её стали вдруг одолевать всевозможные недуги, один другого мудрёнее.

Впрочем, довольно быстро находчивая Екатерина Захаровна вполне освоилась с новым своим положением и даже стала извлекать из него кое-какие выгоды. Почувствовав самое лёгкое недомогание или, что было одно и то же, вообразив его у себя, она немедленно ложилась в постель и ставила у изголовья жестяную коробку из-под печенья, служившую в семье Федуновых аптечкой. Екатерине Захаровне было приятно наблюдать, как сильно беспокоится Семён Григорьевич во время её болезни и лезет из кожи вон, чтобы угодить ей и исполнить любой каприз. Как все жёны на свете, Екатерина Захаровна была убеждена, что вообще-то муж недостаточно о ней заботится, и теперь радовалась, видя его смятение. Высоко взбив подушки, она целыми днями лежала в постели, без нужды тяжело вздыхала и пугала доверчивого Семёна Григорьевича разговорами о своей близкой смерти.

Домашний курс лечения вскоре Екатерине Захаровне наскучил, советы Кондрата Ивановича казались ей слишком простыми, и она чуть ли не впервые в своей жизни пошла в поликлинику. И там-то неожиданно-негаданно Екатерине Захаровне открылся новый, заманчивый мир. Строгая больничная чистота внушала невольное уважение. Народ в очереди был не в пример вежливее, чем в продуктовых магазинах, никто не лез нахрапом вперёд, всё чинно, благородно. И разговор вокруг шёл совсем иной. Никто не упоминал про обвес, растрату и другие низменные вещи. Под стать месту, беседа велась тонкая и учёная, порхали неизвестные Екатерине Захаровне слова: гипертония, терапевт, глюкоза.

Одно лишь омрачило радость открытия. В очереди впереди себя Екатерина Захаровна увидела жену диспетчера, жившую в том же доме, что и она, этажом ниже. Над диспетчершей этой давно уже смеялись все соседки: у неё вечно убегало на кухне молоко, пригорали котлеты, а муж её, диспетчер, сам пришивал себе пуговицы. Дома она, сознавая свою непол-

ноценность, была тише воды, ниже травы, а здесь громким, уверенным голосом завсегда хвалила одних докторов и поругивала других — и всё это со знанием дела, солидно и авторитетно. Екатерина Захаровна почувствовала, что самолюбие её задето, наглядно увидела, как много она потеряла, сидя дома, и стала с того дня частенько наведываться в поликлинику.

На старости лет её вдруг обуял самый беспокойный из всех видов азарта — лечебный. Семён Григорьевич только диву давался: навёрстывая всё упущенное за прежние годы, его благоверная лечилась водой и электричеством, добивалась приёма у профессора, шла на рентген, капитально ремонтировала зубы.

Длинные амбулаторные очереди стали для Екатерины Захаровны и клубом, в котором она нескучно проводила своё время, и медицинским институтом, где она узнавала о всех существующих на свете недугах и способах их лечения. Врачи, даже не находя у Екатерины Захаровны никакой болезни, всегда прописывали ей какое-нибудь лекарство, которое хотя и не приносило особой пользы, но не причиняло и вреда.

Сначала она по неопытности робела и стыдилась отнимать у медицинских работников их драгоценное время. Но врачи были с ней отменно вежливы, внимательно выслушивали, на что она жалуется, и постепенно Екатерина Захаровна прониклась уверенностью, что эти образованные и воспитанные люди для того и приставлены к ней государством, чтобы обслуживать её, и стесняться тут нечего. Каждый делает своё дело: она болеет, а они её лечат.

Екатерина Захаровна так старательно посещала поликлинику, что в самом скором времени все завсегда стали считать её своим человеком. При случае она уже могла указать новичку, как найти тот или иной кабинет, и посоветовать, в какой аптеке всего лучше заказать лекарство. А потом она так поднаторела, что однажды вступила с диспетчершей в спор и о самой гипертонии. Память у Екатерины Захаровны была цепкая, не засоренная учением и книгами; она хорошо помнила всё, что сведущие люди говорили в очереди о гипертонии, и хотя толком не понимала, что это такое, но повторила чужие слова правильнее соседки, и та с позором должна была признать её правоту.

У Екатерины Захаровны объявилось такое великое множество новых знакомых, что с ней стало просто невозможно ходить по городу: она раскланивалась на каждом шагу и в эти минуты сильно напоминала Семёну Григорьевичу директора завода, когда тот в обеденный перерыв шёл по заводскому двору. Любопытно, что Семён Григорьевич спрашивал иногда, с кем это она здороваются, и слышал в ответ небрежно: «Вместе просвечивались...» или: «Стояли в очереди к врачу ухо-горло-нос...»

Сперва он лишь посмеивался над лечебными причудами супруги, но вскоре они коснулись и его. Екатерина Захаровна вдруг уверовала в пользу вегетарианства и стала донимать мужа обедами из овощей и разными киселями. Семён Григорьевич не мог долго вытерпеть подобных измывательств и пригрозил, что станет ходить в столовую или даже в ресторан. Екатерина Захаровна, всю жизнь как огня боявшая ресторанов-искусителей, испугалась, срочно пересмотрела своё отношение к вегетарианству и на столе опять появились мясные блюда.

Благоговение перед новейшими достижениями медицинской науки прочно уживалось у Екатерины Захаровны со слепой верой в чудодейственную силу передающихся из поколения в поколение народных средств, неизвестных врачам. Семён Григорьевич часто заставал дома ветхих старушек со слезящимися глазами и бойких молодух цыганистого вида в длинных цветастых шалях. Они приносили Екатерине Захаровне какие-то травы, корни и таинственные снадобья. Семён Григорьевич не шутил

опасался, что жена его как-нибудь ненароком отравится. Обширная жестянка из-под печенья уже не вмещала всех медикаментов, и Екатерина Захаровна в подмогу ей раздобыла где-то круглую картонную коробку из-под шляпы, которую Семён Григорьевич ехидно именовал «филиалом».

У Екатерины Захаровны появилась заветная мечта — съездить на Кавказ, покупаться в тёплых водах Чёрного моря и полечить в Пятигорске грязевыми ваннами свой застарелый ревматизм, которого, как думал Семён Григорьевич, у неё никогда и в помине не было. Она уже справлялась на железнодорожной станции, сколько стоит билет, заказала слесарю приделать к старому баулу замок покрепче, и Семён Григорьевич стал склоняться к мысли, что супруга его осуществит свой грандиозный замысел.

Справедливости ради следует, однако, отметить, что Екатерина Захаровна отдавала лечебным процедурам лишь своё свободное время, на первом же месте для неё попрежнему оставался дорогой муженёк. Случалось, она бросала свою очередь в поликлинике перед самой дверью в кабинет и сломя голову мчалась домой, чтобы поспеть с обедом к приходу Семёна Григорьевича с завода. И в думах о предполагаемой поездке на юг её больше всего беспокоило, как будет жить в одиночестве Семён Григорьевич, кто его накормит-напоит. Тайком от мужа Екатерина Захаровна вынашивала план — поехать в дальнее путешествие вместе с ним, чтобы душа её была спокойна, что он не терпит никаких лишений, пока она разъезжает по кавказам...

Примерно в то же самое время, когда Екатерина Захаровна увлеклась медициной, Семён Григорьевич пристрастился к чтению художественной литературы. Раньше ему не довелось много читать: то на работе был занят, то дома, в семье. Всех детей надо было одеть-обуть, вывести в люди, где уж тут было думать о чтении. К тому же в цехе всё время совершенствовались техника, и, чтобы не опозориться перед «комсомолом», приходилось на старости лет, спрятав самолюбие в карман, вечера напролёт просиживать над техническими брошюрами и наставлениями — не до романов тут было!

Теперь же Семён Григорьевич добрался и до романов. Своих книг в доме было не густо, и скоро страсть к чтению привела мастера в библиотеку. Там он увидел, что книг написано превеликое множество — всех не перечесть, если даже начать читать с грудного возраста. Возраст Семёна Григорьевича был уже далеко не грудной, и, как человек осмотрительный, он побоялся наломать дров в новом для него занятии и взяться совсем не за те книги, которые ему надо бы прочесть. Сам специалист своего дела, Семён Григорьевич привык во всех случаях жизни доверять специалистам. Он обратился за помощью к библиотечкарше — и не пожалел. Библиотечкарша была молодая и даже без очков, но в многоярусном книжном хозяйстве разбиралась не хуже, чем Семён Григорьевич в своём цехе.

Семён Григорьевич полюбил чтение серьёзное и толстые книги предпочитал тонким. Более всего он уважал книги о давно минувших временах, прочитав которые можно было узнать, что радовало тогда людей и что печалило, в каких жилищах они жили и какие носили одежды, сколько зарабатывали своим немеханизированным трудом и какие тогда держались цены на хлеб, мясо, сапоги и другие товары, необходимые для жизни во все времена и для всех народов. Когда Семён Григорьевич не находил в книге ответа на эти простые и важные вопросы, он сердился на автора и считал его человеком легкомысленным.

Желая порадовать супругу, Семён Григорьевич пытался приохотить к чтению и её, но из этой затеи ничего путного не вышло. Книги на Екатерину Захаровну действовали как-то странно: принимаясь читать, она

сначала всё понимала, но уже на второй или третьей странице незаметно для неё самой неизбежно наступал такой момент, когда глаза её попрежнему старательно скользили по строчкам, не пропуская ни одного слова, а мысли текли своим чередом и, как правило, возвращались к насущным житейским заботам, не имеющим ничего общего с тем, о чём она читала. Случалось, глаза Екатерины Захаровны пробегали какое-нибудь пылкое объяснение в любви, а сама она в это время думала о том, хватит ли в примусе керосина приготовить утром завтрак Семёну Григорьевичу, сможет ли унять боль в пояснице новое средство, о котором она вчера услышала в амбулаторной очереди, не поломает ли соседка взятую у неё швейную машинку... Прочитав от корки до корки книгу, Екатерина Захаровна помнила лишь какие-то случайные обрывки, а о главном не имела ни малейшего представления.

Семён Григорьевич сердился на жену и считал, что она просто ленилась. Но Екатерина Захаровна не была виновата в том, что переживания книжных героев не могли заслонить её собственных нужд. Она бы ещё могла заинтересоваться жизнью и делами своих родственников или хотя бы знакомых, но решительно была неспособна принимать близко к сердцу судьбы каких-то вымышленных, никогда не живших на свете людей. Ей и своих-то забот хватало, чтобы выдумывать себе ещё новые. Всё дело было, видимо, в том, что Екатерина Захаровна слишком долго вращалась в тесном кругу семейных интересов. Она так плотно стояла на земле, что всё отвлечённое, не имеющее самого прямого, непосредственного отношения к ней, Семёну Григорьевичу и их детям, уже никак не могло приковать к себе её внимания.

Так они и жили, коротая свои предзакатные дни: Семён Григорьевич работал на заводе, а по вечерам читал толстые книги; Екатерина же Захаровна вела всё домашнее хозяйство, а в свободное время лечила свои действительные и мнимые недуги.

### 3

Как-то в середине зимы Семёну Григорьевичу пришла в цехе удачная мысль. Штука была не бог весть какая, но выгоду обещала явную. Дело касалось трудоёмких валиков. После обработки на фрезерном станке валики поступали на обточку к токарям. Семён Григорьевич с часами в руках проверил свои предположения и убедился, что один умелый рабочий успеет и фрезеровать валики и обтачивать их, если токарный станок поставить рядом с фрезерным.

Надо было решить, кому поручить это дело, и тут Семён Григорьевич заколебался. Как назло, обработкой валиков были заняты лучшие его рабочие — Коля Савин и Кирюшка. На доске показателей они давно уже «играла в чехарду»: то один выходил на первое место, то другой. Оба парня одинаково хорошо знали и токарный и фрезерный станки. В довершение всех бед ребята приударяли за одной и той же девицей, сверловщицей Клавой, и выбрать одного из них — значило смертельно обидеть другого. Учитывая их соперничество, правильнее всего было бы поручить испробовать новинку обоим: работа от этого только бы выиграла. Но начальник цеха, с самого начала недоверчиво смотревший на затею Семёна Григорьевича, не захотел рисковать и лишь из уважения к старому мастеру разрешил сдвоить станки для одного рабочего.

Семён Григорьевич уже склонял свой выбор в пользу Коли Савина, как вдруг заметил, что между Кирюшкой и остальными ребятами творится что-то неладное. На заводе Кирюшка появился не так давно, но за короткое время своей смекалкой и усердием в работе добился признания со стороны начальства. Ребята же, пришедшие в цех несколько

лет назад всем выпуском из ремесленного училища, не очень-то благоволили к новичку. Зато балагур Кирюшка стал любимцем всех девчат. На вечеринках они охотнее танцевали с ним, чем с другими ребятами, занимали для него место в столовой и сами, без просьбы Кирюшки, покупали ему в кассе предварительной продажи билеты в кино на восьмичасовой, труднодоступный сеанс. Все эти кирюшкины успехи, понятное дело, кое-кому сильно не нравились. Семён Григорьевич уже давно видел это, но только посмеивался, считая, что так оно в жизни и должно быть: не зевай, а то останешься с носом.

А теперь ребята совсем рассорились с Кирюшкой. Лишь два-три человека постарше ещё разговаривали с ним, а остальные упорно его не замечали, будто и не было вовсе в цехе танцора Кирюшки.

Сам Кирюшка ещё пробовал бодриться и насвистывал по старой памяти «Ой ты, радость молодая, невозможная...», но Семёна Григорьевича не так-то просто было провести, и он безошибочно определил, что на сердце у парня кошки скребут. С лица фрезеровщик осунулся, и во всей его фигуре появилось что-то жалкое, затравленное. Семён Григорьевич посмотрел туда-сюда, раскинул умом и решил, что всему причиной — Клава-сверловщица, которая, видимо, не избежала кирюшкиных чар и предпочла его Коле Савину.

Семён Григорьевич не шутя рассердился на свой «комсомол». И хотя Коля Савина мастер всегда уважал больше, чем его удачливого соперника, но, чтобы восстановить справедливость и показать ребятам, что осуждает все их интриги против товарища по работе, он поручил новое дело не ему, а Кирюшке.

Рядом с кирюшкиным шлицефрезерным станком установили токарный, и парень стал работать на двух станках. Он сразу повеселел, почувствовав поддержку мастера. А другие ребята надулись, обидевшись на Семёна Григорьевича. Первый же успех окрылил Кирюшку, и он попробовал увеличить подачу фрезы. Высокие скорости сначала парню не давались, но Семён Григорьевич помог ему улучшить закалку фрезы, и дело пошло на лад.

Коля Савин и другие ребята совсем забыли дорогу к дому мастера, а благодарный Кирюшка стал частым гостем. По воскресеньям они даже ходили вместе в баню, и Семён Григорьевич учил молодого фрезеровщика сложному парильному искусству. При всём том Семён Григорьевич ни разу не заговаривал с Кирюшкой о его ссоре с товарищами и из дипломатических соображений держался в цехе так, словно решительно ничего не случилось, хотя и страдал, видя, что «комсомол» оттолкнулся от него. Он всё ждал, что ребята в конце концов поймут свою промашку и прежняя дружба восстановится.

Екатерина Захаровна заприметила, что с мужем творится что-то неладное. Но на вопрос её, почему их перестал навещать Коля Савин, Семён Григорьевич ответил самым правдивым своим голосом, что Коля держит сейчас трудные экзамены в вечерней школе, и Екатерина Захаровна совершенно успокоилась.

Непоседа Кирюшка поведal Семёну Григорьевичу новый свой замысел: поставить возле себя ещё один фрезерный станок. Кирюшка уверял, что он успешно справится с работой и на трёх станках. Семён Григорьевич видел: парень хочет своей отличной работой пристыдить других ребят и заставить их поскорее мириться. И, конечно же, он стремился выйти победителем в затянувшейся ссоре. По человечеству всё это было понятно, а учитывая зелёную кирюшкину молодость, даже и простительно, но мастер привык заботиться о процветании всего своего участка и посоветовал Кирюшке повременить, пока и Коля Савин освоит работу на двух станках.



Однако о горячем желании Кирюшки каким-то образом узнал начальник цеха, любивший, чтобы у него в цехе происходили такие громкие дела, которые могли бы попасть на газетные страницы и принести ему славу. До этого, казалось, он совсем не замечал всей затеи Семёна Григорьевича, а тут сразу оживился и настоял на том, чтобы новатору дали третий станок.

Накануне того дня, когда Кирюшка должен был начать работу на трёх станках, Семён Григорьевич неожиданно заболел.

## 4

То ли сквозняком его продуло, то ли глубже, чем надо, глотнул он морозного воздуха, то ли микроб какой подлый его укусил, — но Семён Григорьевич вдруг занемог посреди рабочего дня. Он переборол себя и выстоял до конца смены, но дома стало ещё хуже. Его знобило, в костях поселилась сладкая и томительная ломота, так что всё время хотелось потянуться, а во рту стоял противный металлический вкус, будто за щёку сунули медную монету.

Встревоженная Екатерина Захаровна послала соседскую девочку за Кондратом Ивановичем. Врач вскоре явился с потёртым кожаным саквояжем, серьёзный и деловой, очень не похожий сейчас на того Кондрата Ивановича, который приходил по воскресеньям играть в шашки.

Хмурясь, Кондрат Иванович осмотрел язык Семёна Григорьевича, щупал пульс холодной с мороза рукой, выстукивал больного костлявым звонким пальцем. Всё это он проделал строго, немного даже официально, чтобы Семён Григорьевич проникся уважением к его профессии и понял наконец: Кондрат Иванович потому, может быть, и в шашки-то играет плохо, что знает слишком много других, гораздо более полезных для человечества вещей. Семён Григорьевич запоздало пожалел, что так безбожно обыгрывал Кондрата Ивановича, и, чувствуя угрызения совести, дал себе слово после выздоровления проиграть врачу первую же партию.

— Что ж, старина, поболеем! — окончив осмотр, с напускной докторской бодростью сказал Кондрат Иванович, словно сообщая Семёну Григорьевичу приятную новость или приглашал его на увеселительную прогулку. — Ничего серьёзного нет, а с недельку придётся полежать дома...

Екатерина Захаровна, узнав, что супруг болен неопасно, перестала волноваться. Она считала, что Семён Григорьевич, будучи здоровым, несколько притесняет её, и теперь, пожалуй, была даже довольна, что беспомощный муженёк находится в полной её власти и она может командовать им, сколь её душевныке будет угодно.

Для Семёна Григорьевича настало тяжёлое время. Его пичкали таблетками и микстурами по рецепту Кондрата Ивановича. Екатерина Захаровна тоже не сидела без дела и норовила проявить все свои врачебные знания, почерпнутые в амбулаторных очередях. Семён Григорьевич видел, что для супруги болезнь его является чем-то вроде зачётного экзамена по курсу медицинских наук.

Знаменитая жестянка из-под печени и картонный «филиал» переселились на стол, поблизости от кровати больного. Они всё время стояли открытыми, готовые в любую минуту потчевать Семёна Григорьевича всевозможными лекарствами. Екатерина Захаровна натирала мужа на ночь бараньим салом, ставила банки, поила чаем с малиной и ещё какой-то пахучей противной жидкостью, которую она почтительно именовала бальзамом. Видом своим бальзам напоминал дёготь, а по вкусу сильно смахивал на чернила, настоенные на перце.

Утром Семёну Григорьевичу стало лучше. Помогло ли совместное лечение Кондрата Ивановича с Екатериной Захаровной, или здоровый орга-

низм брал своё, но так или иначе озноб уже почти прошёл, и лишь ломота в костях стала ещё слаще и томительнее. Не привыкшему к безделью Семёну Григорьевичу нудно было день-деньской лежать в постели. Одолевали разные невесёлые мысли: о своей старости, о затянувшейся размовке в цехе, о равнодушии детей.

Ему вдруг очень захотелось именно сегодня получить письмо от родного человека, который уважает и любит его не только за труд на заводе, а просто так — не рассуждая и не прикидывая по-бухгалтерски его достоинств и недостатков. Он с нетерпением ожидал прихода почтальона, но тот принёс лишь газету. Семён Григорьевич прочитал газету всю целиком — от передовой до объявлений о разводе. И хотя в нынешнем номере было несколько дельных статей, и острый фельетон, и удачная карикатура, но даже такая интересная газета не смогла заменить Семёну Григорьевичу коротенького письма, написанного родной рукой.

Время ползло на самой тихой больничной скорости. И чего только не передумал он за день!

Многое воспринималось сейчас совсем не так, как вчера и позавчера, когда Семён Григорьевич был здоров. У него появилось такое чувство, будто привычный и давно обжитый им самокат, который месяцы и годы мчал его всё вперёд и вперёд сквозь житейскую сутолоку, вдруг остановился на полном ходу, и вот теперь он озирается в незнакомой местности, не зная, что предпринять. Иные заводские заботы, которые ещё так недавно казались Семёну Григорьевичу очень важными, теперь как-то померкли, отодвинулись в сторону. Изредка он прихварывал и раньше, да и с заводом расставался каждый год на время отпуска, но такого с ним ещё никогда не приключалось. «Совсем дряхлый стал!..» — тоскливо подумал Семён Григорьевич.

Вспоминалось всё больше печальное. Как живой, вдруг встал в памяти сын Павлик, не вернувшийся с войны. При жизни Павлик был таким же, как и другие сыновья и дочери, но сейчас он казался Семёну Григорьевичу лучше, добрее, сердечнее. Отец невольно наделял его всеми теми качествами, каких так не хватало ему в других детях. Он был уверен, что уж Павлик-то не покинул бы родителей на старости лет, жил бы с ними под одной крышей, а если б и уезжал иногда по делам службы в командировки, то, конечно же, писал бы часто письма — и каждое не меньше, чем на четырёх страницах...

К вечеру Семён Григорьевич приободрился, ожидая, что после работы его обязательно навестит кто-нибудь из заводских знакомых. На приход Коли Савина и других ребят он, признаться, не очень-то рассчитывал, но Кирюшку-новатора ждал с минуты на минуту.

«Эх, не во-время я свалился...» — пожалел мастер и тут же припомнил, что он всю свою жизнь всегда болел почему-то удивительно не во-время. Уже давно вернулся с работы сосед-счетовод, а Кирюшки всё не было. «Или собрание срочное, — решил Семён Григорьевич, — или не осилил Кирюшка трёх станков — вот и не хочет меня огорчать: парень он деликатный...»

Поздно вечером Семёна Григорьевича посетил сын Пётр. Он вошёл в комнату, где лежал отец, встревоженным, но увидел его — и сразу успокоился. Семён Григорьевич полулежал в постели и скорее был похож на отдыхающего после работы человека, чем на больного. Пётр присел у изголовья и спросил у отца о самочувствии, машинально взглянув при этом на ручные часы. «Засек время!» — подумал Семён Григорьевич, и ему что-то расхотелось распространяться о своём здоровье. Пётр заговорил о больших выгодах, которые сулит городу новая водонапорная башня, а с башни перекинулся на школьные успехи своего сына Вити. На прощание

он попросил Семёна Григорьевича беречь себя. У родителей Пётр пробыл всего минут двадцать и за это время трижды взглянул на часы — такой занятой был он человек.

На другой день Семён Григорьевич заскучал. Екатерина Захаровна и слушать не хотела о том, чтобы он встал с постели раньше, чем она испробует на нём все свои лекарства. Плотно позавтракав жареной картошкой с маринованными грибами (Семён Григорьевич был человек простой и, болея, никогда не терял аппетита), он стал думать, как бы убить время. Читать было нечего: как назло, взятую в библиотеке книгу — «Записки охотника» Ивана Сергеевича Тургенева — он прочитал перед самой болезнью, а обменять не успел. От нечего делать Семён Григорьевич стал слушать подряд все детские радиопередачи.

На самом интересном месте нанайской сказки на всю квартиру запел-залился звонок, заглушая рёв тигра в репродукторе. Кирюшка в рабочее время прийти не мог, да и звонки были настойчивые, властные, — чувствовалось, что на кнопку нажимал человек не рядовой, а какое-нибудь начальство. «Кого ещё нелёгкая принесла? — подумал Семён Григорьевич. — Не дадут спокойно поболеть!»

Екатерина Захаровна вышла открыть дверь и вернулась с председателем завкома, которого Семён Григорьевич недавно ругал на профсоюзном собрании за бездеятельность. Нельзя сказать, чтобы председатель был ленив и отлынивал от работы. Дело обстояло сложнее. Председатель завкома принадлежал к той категории работников, которые главным в любом занятии считают отчётность. Он так боялся пропустить и не учесть самое малое дельце, совершённое под его руководством завкомом, что учёт этот пожирал всё его время и недюжинную энергию, и у него уже решительно не оставалось ни времени, ни сил для самой профсоюзной работы. Вот примерно за это Семён Григорьевич и критиковал его на последнем собрании.

Председатель расспросил Семёна Григорьевича, вполне ли обеспечен он квалифицированной медицинской помощью и нет ли у него каких претензий к профсоюзной организации, например, по вопросу питания. И хотя он ни разу не заикнулся о критическом выступлении Семёна Григорьевича на собрании, мастер хорошо видел, что председатель ни на секунду не забывает о том выступлении. Ему доставляла истинное удовольствие мысль, что он такой великодушный: Семён Григорьевич его критиковал, а он, как ни в чём не бывало, пришёл к нему на дом, на деле доказывает сварливому мастеру, что завком не бездействует и внимателен к нуждам рабочих. Семён Григорьевич вдруг заподозрил, что на ближайшем же отчётном собрании председатель не позабудет упомянуть и про это своё посещение.

— Спасибо, что пришёл, а только помощи мне никакой не надо, — твёрдо сказал он. — Зарплаты на харчишки хватает, а медициной обеспечен даже в избытке!..

Председатель завкома удалился, несолоно хлебавши и решив, что Семёна Григорьевича на старости лет обуяла несусветная гордыня.

Только после его ухода Семён Григорьевич спохватился, что упустил возможность обменять книгу в библиотеке. Но, подумав хорошенько, он пришёл к выводу, что если б председатель, не дай бог, принёс ему книгу, то в его отчёте, в графе «наименование мероприятий, проведённых завкомом за отчётный период», обязательно появилась бы строчка: «Снабжение книгами большого мастера С. Г. Федунова», а рядом, в графе «количество», стояло бы: «Книг принесено столько-то, всего страниц столько-то...»

«А ну его к лешему со всеми его мероприятиями!» — решил Семён Григорьевич и окончательно перестал жалеть, что не попросил председателя завкома обменять ему книгу.

## 5

В полдень забежал внук Витя — любимец Екатерины Захаровны. Его школа была неподалёку, и он часто навещал деда с бабушкой, зная, что всегда будет желанным гостем. Когда Витюк был помоложе, Семён Григорьевич охотно возился с ним и отвечал на его бесконечные пытливые расспросы: из чего сделаны конфета, оконное стекло, снег, солнце. А потом как-то незаметно их дружба расклеилась, разговоры стали осторожные, натянутые. Витюк уже ходил в шестой класс, изучал разные физико-химии, и неучёный, но самолюбивый Семён Григорьевич боялся в разговоре с ним нечаянно проявить своё невежество и навеки потерять уважение внука.

Витюк покрутился возле больного, рассказал о своих занятиях в кружке «Умелые руки» при Доме пионеров и улизнул на кухню, к бабушке. Екатерина Захаровна баловала внука, и у неё всегда хранился для него гостинец про запас. Семён Григорьевич с горечью отметил, что теперь Витюк стал говорить с ним лишь на бытовые и ремесленные темы, признавая здесь покамест его авторитет, а научные вопросы приберегает для беседы с другими, более грамотными людьми.

— Не скучай без нас, — сказала Екатерина Захаровна, заглядывая в комнату. — Я к зубному пошла, а Витенька меня проводит.

Семён Григорьевич остался в квартире один. По радио передавали музыку — какую-то нестройную, унылую, ничего не говорящую ни уму, ни сердцу. «Увертюра, должно быть...» — умудрённо предположил Семён Григорьевич и выключил радио. Он встал с постели, чтобы взять «Записки охотника» и приняться за них по второму кругу, как вдруг увидел на комодике незнакомую толстую книгу с надорванным корешком. Книга эта была раза в два толще «Записок», и Семён Григорьевич сразу проникся к ней уважением.

«Наверно, Витюк свой учебник забыл, — подумал Семён Григорьевич, направляясь к комоду. — Интересно, чему их в этом году в школе учат?..» Но книга оказалась совсем не учебником. На заглавном листе стояло: Жюль Верн, «Дети капитана Гранта», роман.

«Не рано ли внук за романы берётся? — обеспокоился Семён Григорьевич. — Давно ли на четвереньках ползал!»

Как постоянный читатель библиотеки, Семён Григорьевич наловчился по внешнему виду книги безошибочно определять, интересная она или так себе. Наружность витюкова романа была самая заманчивая: голубая некогда обложка, захватанная многими руками, давно уже приобрела прочный серый цвет, а уголки листов имели ту округлую форму, которая сказала читательскому сердцу Семёна Григорьевича, что калгой этой насладились уже не одна сотня человек.

Стоя в нижнем белье посреди комнаты, Семён Григорьевич раскрыл книгу наугад и прочитал страницу для проверки. Описано было извержение вулкана, но ничего такого, что могло бы развратить внука, придиричий Семён Григорьевич не нашёл. Он раскрыл в другом месте и прямо-таки угодил в морскую бурю. Ураган чудовищной силы нёс корабль к береговым отмелям. У самого берега раскинулась тихая заводь, но корабль никак не мог пройти туда из-за огромных волн, которые неминуемо должны были разбить его об отмели. «Вот положение!» — обескураженно подумал Семён Григорьевич, принимая вдруг близко к сердцу чужую беду. Он поспешно перевернул страницу, чтобы узнать, что дальше будет. Всё обошлось благополучно: капитан велел вылить за борт несколько бочек тюленьего жира, море на миг успокоилось и хотя сейчас же разбушевалось с новой силой, но корабль уже успел проскользнуть в заводь.

— Не знал я, что таким способом можно бурю утихомирить!.. — заинтересованно пробормотал Семён Григорьевич, будто был он не мастером машиностроительного завода, а по меньшей мере боцманом дальнего плавания.

В третьем месте Семён Григорьевич прочитал о нападении на путешественников красных волков — агуаров. До этой минуты Семён Григорьевич и слыхом не слыхал об агуарах: он как-то обходился без них, разминулся с ними в жизни, а теперь подумал философически: «Сколько разной твари живёт на свете!..»

Он решил, что книга эта совсем не вредная, а даже полезная. Спросят Витюка на экзамене, какие бывают волки, — он всех наших серых перечислит, да и добавит: есть, мол, ещё красные волки, прозываются — агуары. Молодец, скажет учитель, получай пятёрку! «Хитро, бесёнок, придумал, — одобрил внука Семён Григорьевич, — вроде роман читает, а сам разные диковинки узнаёт. Сочетает, курицын сын, приятное с полезным!»

Семён Григорьевич захлопнул книгу и прищуренным недоверчивым глазом посмотрел на профиль автора, нарисованный на обложке, выпытывая у него, не присочинил ли он насчёт бури и красных волков. Профиль Жюль Верна с окладистой бородой, энергичным лицом и устремлённым вдаль взглядом внушил Семёну Григорьевичу полное доверие. Ему особенно понравилось, что автор — не мальчишка какой-нибудь, который недорого возьмёт и соврать, а человек, проживший на свете, и, может быть, даже его одноклассник. У Жюль Верна было простое, мужиковатое лицо, и Семёну Григорьевичу он вдруг показался похожим на мастера Зыкова.

Подивившись неожиданному сходству, Семён Григорьевич лёг на кровать, открыл книгу на первой странице и стал читать подряд, не пропуская ни единой строчки. Читалось легко, свободно; печать была не мелкая, как раз по стариковским глазам Семёна Григорьевича. Текст часто перемежался картинками, и мастер имел счастливую возможность на каждом шагу проверить, правильно ли он представляет себе всё то, о чём пишется в книге.

Но совсем не в картинках тут было дело! Не успел Семён Григорьевич опомниться, как оказался в самом центре неожиданных, невероятных событий. Приключений было так много, что он едва успевал успокоиться после одного, удачно окончившегося, как сейчас же наступало новое, ещё более чудесное. Ещё ни разу в жизни Семён Григорьевич не читал таких книг и даже не подозревал об их существовании.

Вместе с героями романа он легкомысленно плыл по океану и запросто ловил на крюк с салом огромных акул. Когда дело дошло до расшифровки полустёртых водой записок, мастер от всей души пожалел, что не обучен иностранным языкам и ничем не может помочь пассажирам яхты «Дункан».

К возвращению Екатерины Захаровны от зубного врача Семён Григорьевич узнал кучу интереснейших и преполнейших вещей, которые очень даже могли ему пригодиться, если б он на старости лет задумал вдруг совершить кругосветное путешествие. Екатерина Захаровна не учла всего этого, и ей сильно не понравилось, что муженёк благодушествует за книгой: раз больной, так должен болеть, а не развлекаться книжками — тут тебе не читальня! Она неодобрительно косилась на Семёна Григорьевича, укоризненно гремела на кухне посудой, но, зная упрямый нрав своего благоверного, отнять у него книгу и не пробовала.

Семён Григорьевич читал до самого обеда и отхватил без малого сотню страниц. Он отложил книгу лишь тогда, когда Екатерина Захаровна поставила перед ним налитую вровень с краями тарелку с борщом.

— Постыдился бы в свои годы такую ерунду читать! — сказала супруга, рассматривая картинки в книге.

— Много ты в книгах понимаешь! — обиделся за роман Семён Григорьевич и ткнул пальцем в надпись на обратной стороне заглавного листа, где чёрным по белому было пропечатано: «Для старшего возраста».

— Так это же для детей старшего возраста! — догадалась Екатерина Захаровна.

— А где тут написано — для детей? — хитро спросил Семён Григорьевич. — Где? Прочитала бы сама, так увидела...

Екатерина Захаровна презрительно усмехнулась.

— Есть у меня время твои глупые книжки читать! А в магазин кто будет ходить, полы мыть, обед для тебя, читателя, готовить? Кто? Может, этот твой... Жулик Верный?

Семён Григорьевич открыл уже рот, собираясь вполне резонно заметить, что тот же обед она готовит не только для него, а и для себя, но решил, что спор тогда разгорится пуще прежнего, и благоразумно промолчал.

— То-то! — торжествующе сказала Екатерина Захаровна и положила мужу в тарелку большой кусок мяса, чтобы он видел, что никакой обиды на него она не держит и великодушно прощает ему все его заблуждения.

После обеда Семён Григорьевич снова взялся за книгу, а Екатерина Захаровна уселась шить ему тёплую фланелевую рубашку, чтобы он больше не простужался, раз не умеет болеть по-настоящему. По простоте душевной она думала, что муж лежит в трёх шагах от неё, и совсем не предполагала, что он в поисках капитана Гранта рыщет сейчас за тридевять земель от своего дома.

Семён Григорьевич быстренько пересек Атлантический океан, узким Магеллановым проливом проплыл в Тихий и высадился на далёком чилийском берегу. Путеводная тридцать седьмая параллель привела его вскоре на вершину Кордильеров. Тут, по воле Жюль Верна, который всё время заботился о том, чтобы Семёну Григорьевичу не скучно было путешествовать, его потрянуло маленько землетрясением, не причинившим, впрочем, никому никакого вреда.

На спутников Семёна Григорьевича обрушивалось одно несчастье за другим. На равнине их настигло наводнение, они потеряли лошадей и чудом спаслись на гигантском дереве омбу — мокрые и голодные среди бушующей стихии. Но Жюль Верну и этого показалось мало: он зажёт дерево молнией, а воду вокруг наполнил крокодилами. На миг Семён Григорьевич испугался, что теперь-то героям не выкрутиться из беды: одни сгорят, другие утонут, третьих съедят прожорливые крокодилы. Но тут, вполне своевременно, ему пришла в голову мысль: что же тогда будет в оставшейся части книги, если все герои погибнут? Семён Григорьевич прикинул на глаз, что не прочитано ещё добрых две трети, и сразу успокоился.

И он не ошибся. Подхваченное налетевшим смерчем, дерево рухнуло в воду, распугало крокодилов и, погасив огонь, прямым ходом поплыло к сухой земле, куда в самом скором времени доставило всех путешественников в полной целости и сохранности.

— Чтoб тебя! — сказал Семён Григорьевич с восхищением и укором автору за только что испытанные волнения.

На минуту он даже прикрыл книгу, чтобы полюбоваться профилем на обложке. Профиль попрежнему, как ни в чём не бывало, спокойно смотрел вдаль, как бы обещая Семёну Григорьевичу впереди ещё и не такие приключения. И мастер одними губами, чтобы не подслушала любопытная Екатерина Захаровна, прошептал признательно:

— Хитрован ты!..

## 6

Кирюшка не явился к Семёну Григорьевичу и в этот день. Зато под вечер неожиданно-негаданно пришёл навестить больного мастер Зыков. Боясь насмешек, Семён Григорьевич проворно сунул книгу под подушку.

Как всегда неторопливый и неразговорчивый, Зыков молча снял в передней полушубок, причесал сбившиеся под шапкой наполовину седые волосы, расправил окладистую бороду и вошёл к больному. Он молча и с преувеличенной осторожностью пожал Семёну Григорьевичу руку и сел на заскрипевший под ним стул. Зыков и не подумал утешать больного друга и говорить ему разные ободряющие слова, предсказывая скорое выздоровление. Всем этим, может быть, и следовало бы заниматься каким-нибудь новоиспечённым друзьям, но Зыков знал Семёна Григорьевича уже свыше сорока лет, и дружба их не нуждалась во внешних проявлениях. Иные, глубинные источники питали её.

Они без слов понимали друг друга и ценили это понимание. Случалось, работая в разных сменах, они не виделись месяцами, но это не расхоложивало их дружбы. Каждому из них достаточно было знать, что в одно время с ним живёт верный дружок, чтобы чувствовать его в трудную минуту рядом. Если дружок не даёт о себе знать — значит у него всё в порядке, а стряётся с ним какая беда, так он первый придёт за советом и помощью.

Оба мастера никогда не говорили о своей дружбе, не клялись друг другу в верности, и со стороны могло даже показаться, что ничто прочное их не связывает. Дружба их выглядела холодноватой, но под этим наружным холодком было скрыто больше внутреннего жара, чем у иных вспышкопускателей. Не слишком зоркий посторонний глаз замечал меж ними одну лишь долголетнюю привычку друг к другу, и многие из молодых рабочих Семёна Григорьевича очень удивились бы, узнав, что их мастер крепко дружит с мастером соседнего участка.

Взаимное уважение не мешало им подшучивать друг над другом. Зыков боялся, что Семён Григорьевич вскоре ослепнет, читая свои толстенные книги, и, зная банные страсти дружка, страшал его тем, что когда-нибудь он запарит себя до смерти. В свою очередь, Семён Григорьевич опасался, что несчастная жена Зыкова в конце концов онемеет, живя так долго с молчаливым супругом, и предсказывал приятелю, что когда тот исчерпает все праздники в календаре, то начнёт пить по будничным дням и на старости лет сопьётся самым жалким образом. Но шутки эти они позволяли себе лишь наедине друг с другом, и каждый из них горой встал бы на защиту дружка, если бы кто-нибудь посторонний осмелился сказать про него нечто подобное.

Всё меньше и меньше оставалось в живых их одногодков, и они оба понимали, что для них теперь самое пустяковое недомогание — звонок от т у д а. Зыков видел, что на этот раз Семён Григорьевич выкрутился, надеялся, что они с ним выкрутятся и ещё не раз, но стоило ли говорить обо всём этом, ежели оно и так было ясно?..

— Как там завод: всё ещё вверх трубами? — спросил Семён Григорьевич, издаലെка подводя разговор к Кирюшке.

— Дымит...

Ну, а комсомол мой как?

— Гремит!

Семён Григорьевич нетерпеливо приподнялся на локте.

— Да что ты заладил!.. У Кирюшки дела как? Сильно опозорился со своими тремя станками или стерпеть можно?

На невозмутимом лице Зыкова отразилось некоторое удивление. Он открыл было рот, собираясь что-то сказать, но раздумал и молчком вы-

ташил из кармана свёрнутую заводскую многотиражку. На первой странице газеты красовался снимок: Кирюшка в гордой позе стоял у своего шлицефрезерного станка, а начальник цеха добрым дядей выглядывал из-за его плеча и покровительственно улыбался. Семён Григорьевич понял: никакого провала у Кирюшки не было, на трёх станках он работает успешно.

— Вчера Кирюха по радио выступал, делился опытом, а сегодня его прямо в цехе кинохроника снимала... — Зыков передохнул после необычно длинной для него фразы и добавил: — Для потомства... — Подумал и ещё сказал, чтобы порадовать Семёна Григорьевича: — В гору пошёл твой выученик, Сеня!

Семён Григорьевич сердито засопел, но промолчал: ему стыдно было признаться старому дружку, что знаменитый Кирюшка за два дня не выбрал минуты забежать проведать больного мастера. Он догадывался, что начальник цеха кинохроникой да газетной славой сбивает парня с толку. На своём веку Семён Григорьевич не один раз видел, как внезапно пришедшая слава кружит голову хорошим ребятам. Но Кирюшка-весельчак, Кирюшка — открытая душа, как легко он клюнул на эту удочку!..

Меж тем Зыков осмотрел лекарства на столе, насмешливо хмыкнул и спросил презрительно:

— Лечат?

Семён Григорьевич махнул рукой.

— Я тоже для тебя лекарство прихватил... — многозначительно сказал Зыков и приоткрыл борт своего широкого пиджака. Во внутреннем кармане белоголовым птенцом в гнезде уютно сидела небольшая аккуратная бутылочка, известная в народе под ласкательными именами: косушка, четвертинка, чекушка и просто — маленькая. — Раздавим за твоё выздоровление?

— Придётся... — кротко ответил Семён Григорьевич, тронутый тем, что его выздоровление Зыков относит к большим праздникам, которые достойны быть отмеченными водкой.

Не откладывая дела в долгий ящик, Семён Григорьевич тихонько встал с постели, ополоснул стакан из-под бальзама и вылил воду в фикус, от всей души надеясь, что бальзам, целебный для человека, не повредит и бессловесному растению. Но друзья совсем забыли о Екатерине Захаровне, бывшей всё время начеку после прихода ненавистного ей пьянчужки Зыкова. Она незаметно вошла в комнату и схватила со стола заветную бутылочку.

— Тётя Катя, всего-навсего маленькая! — взмолился Зыков, но Екатерина Захаровна была непоколебима, на все уговоры «не лютовать» и «поймать совесть» лишь качала головой, как заведённая, и удалилась на кухню с добычей в руке.

Зыков почесал в затылке и сказал с уважением:

— Серьёзная у тебя жена!

Потом он на цыпочках подкрался к кухонной двери, закрыл её на крючок и для верности подпёр шваброй. После этого Зыков молча вынул из другого кармана вторую «маленькую», быстро, без лишней канители, распечатал её точным ударом ладони в доньшко и стал осторожно лить холодно булькающую водку в стакан, смотря прищуренным глазом на свет, чтобы разделить драгоценную влагу поровну.

— Пей ты первый, — предложил Семён Григорьевич, — может, у меня что-нибудь заразное.

— Через водку никакая зараза не передаётся! — убеждённо сказал Зыков, протягивая стакан приятелю.



Почувяв недоброе, Екатерина Захаровна забарабанила в закрытую дверь.

— Не ломай дверь, тётя Катя: выпьем — сами откроем, — беззлобно посоветовал Зыков.

И позже, когда дверь была открыта и разгневанная Екатерина Захаровна, ворвавшись в комнату, усердно ругала мужское племя, обзывая поголовно всех его представителей горькими пьяницами и подзаборными забулдыгами, Зыков с Семёном Григорьевичем преданно смотрели друг на друга подобревшими после водки глазами и особенно сильно, как во всякую минуту испытаний, чувствовали всю красоту и прочность своей дружбы. Екатерина Захаровна разошлась не на шутку и честила их на чём свет стоит, но приятели скромно и величественно молчали, считая ниже своего достоинства отвечать на её ругань.

Провожая угонявшуюся в конце концов Екатерину Захаровну глазами, Зыков повернулся в профиль к Семёну Григорьевичу, и тот вздрогнул: так сильно был похож его дружок на Жюль Верна. Подумалось: вот живёт на свете человек и даже не подозревает о своём чудесном сходстве. Спеша доставить приятелю удовольствие, Семён Григорьевич сказал:

— Есть один заграничный писатель, книжки про заморские путешествия пишет, а обличьем сильно на тебя смахивает!

— Всё может быть... — ничуть не удивившись, ответил Зыков, словно всю жизнь подозревал нечто подобное, и стал прощаться.

Уже облачившись в полушубок, он вдруг спросил:

— Помнишь, мы когда-то праздновали низвержение самодержавия?

— Это Февральскую-то революцию?

— Должно, её... Не знаешь, на какое число она приходится? Я что-то запомнил.

— Раз Февральская — так, значит, в феврале, — резонно рассудил Семён Григорьевич.

— Уточнить это дело надо... — сказал Зыков, и Семён Григорьевич понял, что приятелю тесным кажется нынешний круг отмечаемых им праздников и он снова хочет расширить его.

После ухода Зыкова чёрная кирюшкина неблагодарность во весь свой рост представилась Семёну Григорьевичу. Закрутили парня! Семён Григорьевич уже предвидел, как стыдно станет Кирюшке, когда пройдёт первый угар славы и он поймёт всю подлость своего поведения. Интересно, что он тогда сделает? Упрётся на содеянном или, вспомнив старое добро, которое видел от мастера, сам явится к нему с повинной головой?..

Чтобы пронырливая Екатерина Захаровна не догадалась, как сильно обидел его Кирюшка, Семён Григорьевич снова взялся за книгу. Читать ему сейчас не очень-то хотелось, но не любил он ничего бросать на полпути и всегда доводил начатое дело до конца. Сначала читал он рассеянно, но вскоре удивительные приключения захватили его, и Семён Григорьевич с пробудившимся интересом стал следить за разворотом событий, хотя и не испытывал больше прежней безоблачной радости.

Весь день Екатерина Захаровна скрепя сердце терпела самоуправство больного. Зато вечером она взяла реванш: так сильно натирала на сон грядущий несчастного Семёна Григорьевича бараньим салом, будто хотела живьём содрать с него кожу. Ей не терпелось доказать несознательному мужу: он больной, а она его лечит и может сделать с ним всё, что ей заблагорассудится в гибких пределах медицинской науки, в которой он ничего не понимает, несмотря на всю свою деловитость и чтение толстых книг — и взрослых и детских.

Она нарочно легла пораньше спать, чтобы положить конец затянувшемуся чтению. Семён Григорьевич попробовал было запротестовать, но Екатерина Захаровна деспотически погасила свет, и ему пришлось подчиниться.

Семён Григорьевич долго не мог заснуть. В темноте он остался наедине со своими мыслями и думал сразу обо всём: о пропавшем капитане Гранте, о верном дружке Зыкове, о Кирюшке-ветрогоне. Мысли были ночные, длинные. Екатерина Захаровна неподвижно лежала рядом, но Семён Григорьевич, хорошо изучивший жену за годы семейной жизни, в точности знал, что она тоже не спит и, по своему жестокому обыкновению, ждёт, когда он покается во всех дневных грехах.

Видит бог, каяться Семёну Григорьевичу было не в чем. Но и на супругу он не сердился, признавая, что по-своему она тоже права. Он от всей души пожалел, что Екатерина Захаровна не спит из-за него, мается, а годочки у неё не маленькие. Ему вдруг захотелось порадовать не читающую книг, погрязшую в будничных делах подругу жизни какой-нибудь возвышенной, поучительной историей. За примером не надо было далеко ходить.

— Слышь, Захаровна, — вкрадчиво начал Семён Григорьевич, предвкушая, как сильно удивится жена, когда дослушает его до конца, — есть такая хищная рыба — акула. Вроде шуки, только в сто раз больше... А может, и в двести! Так вот, поймали раз акулу, распоролы ей брюхо, а там — бутылка...

— Тебе бы всё про бутылку! — злопамятно сказала подруга жизни. Семён Григорьевич смущённо крякнул и отвернулся к стене.

7

Ещё не переступив порога, Витюк крикнул встревоженно:

— Дедушка, я у вас вчера книгу не забывал?

Увидев свою книгу в руках Семёна Григорьевича, внук успокоился за целость и сохранность библиотечного имущества и в то же время поразился, что его книгу читает престарелый дед.

— Да разве вам интересно? — любопытствовал он. — Это же вовсе молодёжная книга. Её все в детстве читают! Разве вы не читали?

— Не читал, — признался Семён Григорьевич. — Не пришлось как-то.

Витюк вдруг вспомнил рассказы отца о том, что в его возрасте дедушка уже работал на заводе и даже участвовал в забастовке, а позже, в семнадцатом славном году, был красногвардейцем. У него же вышло так неуклюже, будто он упрекнул деда, почему тот не прочитал в своё время какую-то книжку! Витюк виновато прикусил язык и с почтительным интересом посмотрел на Семёна Григорьевича, видя в нём сейчас не дедушку, а живого представителя героического российского пролетариата, который завоевал для него счастливую жизнь.

Семёну Григорьевичу не в новинку были подобные взгляды: молодые рабочие на заводе не раз глазели на него таким образом, выводя из терпения мастера. Он считал чистым безобразием, когда человека при жизни производят вдруг в какие-то музейные экспонаты. Вот помрёт — тогда делайте, что хотите, а пока оставьте старика в покое!..

Витюк клялся, что должен сегодня же вернуть книгу в библиотеку, но ему как-то неловко было огорчать бывшего красногвардейца, и действовал он нерешительно. Семён Григорьевич, похвалив читательский вкус внука, без особого труда выговорил себе право держать книгу до завтрашнего вечера.

Интерес к одной и той же книге перебрасывал между старым и молодым читателями невидимый мостик, и Витюк, как равный равному, спросил деда:

— А на самых интересных местах вы вперёд не заглядываете, чтобы поскорее узнать, чем кончится?

— Что ты? Как можно! — решительно запротестовал Семён Григорьевич, но глаза свои почему-то отвёл в сторону...

Вечером Екатерина Захаровна пожаловалась Кондрату Ивановичу, что супруг её совсем отбился от рук и целыми днями напролёт читает глупую книжку. И ещё она добавила тем тонким, как бы сдавленным от почтения голосом, который сам собой появлялся у неё, стоило лишь ей заговорить о медицине, что, по её мнению, это неразумное чтение сводит на нет всё благодатное действие лекарств и может привести ослабленный болезнью организм Семёна Григорьевича к хроническому малокровию.

Кондрат Иванович засмеялся своим скрипучим смехом и сказал легкомысленно:

— Пусть читает, сколько хочет, лишь бы раньше срока не выходил из дому!

Екатерина Захаровна надулась от обиды и усомнилась в медицинских познаниях Кондрата Ивановича, а Семён Григорьевич в благодарности предложил врачу сыграть в шашки.

Он всё время помнил о своём недавнем решении проиграть Кондрату Ивановичу, но осуществить этот хитрый замысел не оказалось никакой возможности. Когда Семён Григорьевич видел, что очень даже просто можно уничтожить две-три пешки противника или пробраться в дамки, он не в силах был удержаться, чтобы не совершить этого. Не его вина, что всё в своей жизни он привык делать добросовестно, в полную меру сил, и играть хуже, чем умел, был прямо-таки не в состоянии. Ему легче было на словах признать, что Кондрат Иванович играет в сто раз лучше его, чем на деле проиграть ему хоть одну партию.

Презируя себя за жадность, Семён Григорьевич первую партию закончил вничью, а вторую выиграл и даже запер Кондрата Ивановича в «нужничек» — вместе с его «Павлом Буре» и высшим образованием.

— Пошёл на поправку! — весело сказал Кондрат Иванович, довольно удачно делая вид, что самолюбие врача, вылечившего больного, пересиливает в нём обиду побеждённого игрока.

Не успела Екатерина Захаровна закрыть за Кондратом Ивановичем дверь, как снова позвонили. Звонок был тихий, неуверенный. Сердце Семёна Григорьевича сдвоило удар: Кирюшка! Щёлкнул дверной замок — и Семён Григорьевич услышал в передней глуховатый голос Коли Савина.

Уж кого-кого, а Колю Савина он никак не ждал. Пришёл парень, не посмотрел на обиду... Семён Григорьевич смахнул слезу-горошину, подумал: «Слаб стал!»

Екатерина Захаровна встретила Колю ласково: она любила, когда их навещали молодые рабочие, не только потому, что после отъезда своих детей скучала по юным лицам, но ещё и потому, что бессознательно видела в этих посещениях признание особых заслуг Семёна Григорьевича, подтверждение того, что они с мужем недаром прожили свой век на земле, есть кому помянуть их добрым словом.

— Как экзамены, Коля? — спросила она токаря, помогая ему пристроить на вешалке пальто.

— Какие экзамены? — опешил Коля Савин.

— Как какие? В вечерней школе.

Коля Савин догадался, что Семён Григорьевич экзаменами объяснил его отсутствие во время размолвки, и, выручая мастера, сказал:

— Ах, в школе... На будущей неделе начнутся, день и ночь зубрю, боюсь срезаться!

— А ты не бойся, — сердобольно посоветовала Екатерина Захаровна. — Учи всё, что положено, и ничего не бойся!

— Так и придётся... — согласился Коля Савин, стыдясь, что обманывает добрую Екатерину Захаровну.

Семён Григорьевич, слышавший весь разговор, с облегчением перевёл дух. Он подумал признательно, что мужчины, настоящие мужчины, даже не сговариваясь меж собой, всегда поймут друг друга — поймут и вызволят из беды.

Коля Савин долго откашливался и наконец вошёл к больному. Семён Григорьевич сидел на кровати, смотрел на своего любимого ученика снизу вверх, и, может быть поэтому взгляд его казался виноватым. Коля поздоровался с мастером, неловко положил на стол плоскую коробку, перевязанную нарядной голубой лентой, и присел на кончик стула. Долгую минуту они стеснённо молчали.

Выручила их коробка, принесённая Колей. Она покоилась на столе серым скучным дном кверху и, судя по некоторым признакам, содержала в себе нечто кондитерское. Лента на коробке была такой праздничной голубизны, что неволью притягивала взгляды. Семён Григорьевич покоился на ленту, и Коля Савин обрадовался законному поводу начать разговор.

— Вам от всех наших ребят, — стыдливой скороговоркой сказал он, протягивая коробку мастеру.

Семён Григорьевич строго посмотрел на пёструю картинку на крышке и спросил шёпотом:

— Что там?

— Конфеты, — так же шёпотом ответил Коля Савин. — Шоколадные...

— А вот это зря! — рассердился Семён Григорьевич. — Эх ты, а ещё токарь: кто же больным старикам конфеты носит? Да у меня от этого шоколада всегда изжога приключается. Как поем — так изжога!

Семён Григорьевич презрительно щёлкнул по крышке пальцем, будто всю свою жизнь только и питался фигурным шоколадом.

— Мы сначала цветов хотели купить, да нигде не нашли: не сезон...

— Цветы! — фыркнул мастер. — Что я, барышня какая, чтобы цветочки нюхать?! Вижу, недобираешь ты в этом вопросе, Коля!

— Недобираю... — признался Коля Савин. — Никто нас этому делу не учил. В ремесленном много наук проходили — и математику и технологию металлов, а какой подарок больному мастеру принести — этому нас никто не учил... — Коля помолчал и спросил на будущее: — Семён Григорьевич, а что в таких случаях лучше всего приносить?

— А я почём знаю? — отмахнулся мастер. — Если б я дарил, так знал бы, а сейчас и голову ломать не стану!

— Как же теперь быть? — подумал вслух Коля Савин. — Не нести же конфеты назад: меня ребята засмеют!

— Назад нести негоже, — согласился Семён Григорьевич и добавил доверительно: — А мы вот как сделаем: попросим Захаровну вскипятить чайку, да все втроём и навалимся на шоколадные. Авось, изжога тогда оробеет!

На кухне басом загудел работающий примус. Семён Григорьевич любующимися отцовскими глазами оглядел ладную фигуру Коли Савина и сказал растроганно:

— Молодец, что пришёл, молодец!

— Мы с ребятами собирались ещё позавчера проведать вас, да побоялись...

— Уж не меня ли? — удивился Семён Григорьевич и невесело пошутил: — Неужто я для вас такой страшный стал?

— Что вы, Семён Григорьич! И не стыдно вам? Все ребята вас любят... как и раньше. Мы потому не шли, думали застать здесь...

Коля Савин запнулся, не желая произносить ненавистное кирюшкино имя. Семён Григорьевич понял его и сочувственно кашлянул.

— Та-ак... — раздумчиво сказал он. — А нынче что ж не побоялся ты с ним встретиться?

— Прояснилось кое-что. Попытались мы сегодня узнать у него про ваше здоровье, а он и говорит... В общем, все мы догадались, что он к вам и носа не кажет.

— Что же Кирюшка молвил? Что?

Семён Григорьевич даже с кровати вскочил — так не терпелось ему поскорее узнать, почему Кирюшка отплатил ему чёрной неблагодарностью за все его заботы о нём.

Коля Савин замялся. Он давно уже чувствовал себя не в своей тарелке, а теперь совсем запутался. Говорить о Кирюшке хорошее Коля не мог, так как знал о нём одно лишь плохое; ругать же его при Семёне Григорьевиче не хотелось, чтобы мастер не подумал, будто он сводит с Кирюшкой счёты.

— Руби с плеча, Николай! — приказал Семён Григорьевич. — Узнавать — так уж всю правду-матку.

— Мне его слова и повторять-то неохота... В общем, распространялся он в том плане, что болезнь у вас дипломатическая, чтобы не отвечать за его работу, если он провалится...

Семён Григорьевич даже охнул, заслышав такое.

— И язык у него не отсох?

— Не отсох... — виновато ответил Коля Савин.

Мастер опустил голову и закручинился.

— Да вы не огорчайтесь, Семён Григорьич, — поспешно заговорил Коля. — Он и раньше такие штучки отчебучивал. Мы ведь с ним в одном общежитии живём, пригляделся я к нему...

Коля Савин спохватился, что поругивает-таки Кирюшку, несмотря на данное самому себе слово не осуждать его в присутствии Семёна Григорьевича и вообще отзываться о сопернике со студёной вежливостью. «Ну и чёрт с ним! — непоследовательно решил он. — Мне бы только деда нашего успокоить».

Семён Григорьевич рывком поднял голову.

— Слышь, Никола, а не завидуешь ли ты кирюшкиной славе?

— Нечему завидовать, — твёрдо сказал Коля Савин. — Будут такую славу мне даром давать — и то не возьму!

— Что так? Не пойму я что-то тебя. Мне, например, было бы любопытно на самого себя в кино поглазеть: по частям видел себя в зеркале, а целиком не привелось. Чем же кирюшкина слава плоха?

— Нечистая она... Вы по радио его выступления не слышали? Жаль! Ведь он всё себе приписал, будто он сам предложил работать на двух станках и закалку фрезы для скоростного резания придумал. Всё сам! Мы с ребятами слушали — и ушам своим не верили! Про вас он лишь в конце упомянул: «Кроме того, оказывал помощь мастер Федунов».

— Оказывал всё-таки? — усмехнувшись, спросил Семён Григорьевич.

«Спокойный дед! — с уважением подумал Коля Савин. — Другой бы на его месте взвыл от обиды, а у него только глаза колючие стали».

— А может, не успел он всего по радио высказать? — заступился за Кирюшку мастер. — Поторопили его, или растерялся с непривычки, не видя, кому говорит, а то и речь ему подсократили, чтоб не засорять приёмники разными ненужными стариками. Мало ли что могло быть?

— Всё руководство цеха отблагодарил, начиная с начальника и кончая профгруппоргом, который для него и пальцем не шевельнул, а про

вас забыл? Нет, здесь тактика! — убеждённо сказал Коля Савин. — Вас он больше всех опасался, не хотел славой поделиться — вот и зачеркнул. Очень уж кстати болезнь ваша тут ему подвернулась.

Семён Григорьевич обескураженно покрутил головой, всё ещё не в силах свыкнуться с обидной новостью.

— А какой обходительный да ласковый был! — вспомнил он. — Встретит меня в проходной — так и засияет, будто я не мастер, а артистка фартовенькая из гортетра. В трамвае всегда норовил билет для меня купить, а в бане сам, без спросу, спину мне мочалкой тёр, — ах, проныра!

Только сейчас Семён Григорьевич понял, как ловко Кирюшка-пройдоха обвёл его вокруг пальца. Непонятно было только одно: почему теперь он перестал юлить, пошёл на разрыв. Семён Григорьевич задумался. Как ни крути, выходило одно: после своих головокружительных успехов Кирюшка считает, что мастер ему больше не нужен и он свободно теперь обойдётся без него. Использовал, как ступеньку, — и дальше!

Семён Григорьевич тяжело засопел, ибо не привык он оставаться в дураках. То, что Кирюшка посчитал его бесполезным, обидело мастера больше, чем все бессовестные кирюшкины выхваления по радио.

— Из молодых Кирюшка, да ранний! И откуда такие берутся? — вслух подумал Семён Григорьевич. — Всё ведь у него шито-крыто. Пойди теперь докажи, кто и что советовал ему в работе, да и знает ведь, ржавая душа, что не стану я с ним, поганцем, спорить. И судить его не за что: чистая работа!

— Ничего, найдём мы на него управу, — пообещал Коля Савин. — Ребята хотят на комсомольском комитете всё его поведение обсудить, соскоблить ржавчину с души!

— Ах, дурень я, дурень! — с запоздалым сожалением сказал Семён Григорьевич. — Мне надо было тебя на два станка поставить, а я Кирюшку-гадёньюша пожалел. Кроме всего прочего, я ведь почему тогда в тебе, Коля, усомнился? Он у тебя Клаву раскосенькую отбил, а ты...

— Какая же она раскосая? — обиделся Коля Савин. — Просто глаза у неё очень чёрные, вот и кажется...

— Пускай чёрные, — покладисто согласился Семён Григорьевич. — Не в том дело. Он у тебя девку отбил, а ты — хоть бы хны! Ведь даже выработка у тебя не снизилась. До того спокойный — ни рыба ни мясо. Не люблю я таких!

— Много для неё чести — волноваться, раз она меня на такого вертуна променяла! — уверенно, как о давно решённом деле, сказал Коля Савин. — Он с ней поиграет и бросит. А у меня серьёзное было, на всю жизнь... — На миг Коля помрачнел, вспомнив Клаву-сверловщицу, но тут же встрепенулся и гордо добавил: — В общем, недостойна она моего волнения!

Семён Григорьевич с интересом посмотрел на молодого токаря.

— Утешаешь себя этим? — понимающе спросил он.

Коля Савин устало потёр виски и признался:

— Утешаю...

— Ну и как? — полюбопытствовал Семён Григорьевич. — Действует?

— Когда действует, а когда и... не так, чтоб очень. В общем, раз на раз не приходится.

Семён Григорьевич прикинул в уме, что бы могла означать подобная разногласия, и авторитетно заключил:

— Значит, любил ты её.

— Значит, любил...

Помолчали.

— Как она теперь-то? — спросил Семён Григорьевич.

— Кирилл с нею вроде рассорился: она ему уже не подходит, он теперь под нормировщицу клинья подбивает. Но и в мою сторону Клава что-то не смотрит... Она ведь гордая, долго теперь переживать будет!

Колин голос дрогнул, и какие-то новые нотки, тёплые и признательные, зазвучали в нём. Спохватившись, что расхваливает «недостойную», Коля Савин закашлялся и осторожно покосился на мастера. Семён Григорьевич был занят: он отвязывал с конфетной коробки срочно понадобившуюся ему голубую ленту и, кажется, ничего не заметил.

— Признайся, обиделся ты на меня, когда я Кирюшку на два станка поставил? — спросил он вдруг, старательно бинтуя свой большой палец красивой голубой лентой. — Только правду говори!

Коля Савин задумался, вспоминая тогдашнее своё состояние, и сказал с некоторым даже вызовом:

— Обиделся!

— Ну и правильно! — одобрил Семён Григорьевич. — Нечего на старых хрычей богу молиться. Ведь вы, молодняк, как думаете? Раз, мол, дядя волосы седые вырастил на своей голове — так, значит, ото всех ошибок предохранён. Чёрта лысого! Вот доживёшь до моих лет — увидишь... А насчёт того, как Кирюшке укорот дать, мы ещё потолкуем. Поторопился он маленько списывать меня в утильсырьё! Эх, ребята, ребята... Может, доживём и до такого денька, когда Кирюшка и в ножки поклонится.

— И вы ему всё простите тогда? — поинтересовался Коля Савин.

— Там видно будет, — уклончиво ответил Семён Григорьевич. — Двудличных людей я всю жизнь недолюбливал...

Екатерина Захаровна принесла чайник, чашки, ложки и прочий свой гремучий инвентарь. Сели пить чай с конфетами. Опасаясь изжоги, Семён Григорьевич выбрал какую-то маленькую шоколадную рыбку вроде кильки, экономно сосал её и расспрашивал Колю о заводских делах. Екатерина Захаровна изжоги ничуть не боялась и с азартом грызла конфеты своими капитально отреставрированными зубами. Коля Савин обстоятельно отвечал на вопросы мастера и сначала придерживал руку, а потом в пылу разговора стал всё чаще нырять в коробку с конфетами.

Выяснилось, что, за исключением кирюшкиных громких рекордов, никаких особых событий за время болезни Семёна Григорьевича в цехе не произошло. Литейщики и инструментальщики не вставляли палки в колёса, и участок Семёна Григорьевича, как и при нём, все эти дни перевыполнял план. «Поднаторели, ребята, привыкли к самостоятельной работе!» — одобрительно подумал мастер, но радости не почувствовал.

Умом Семён Григорьевич понимал — не останавливать же из-за его болезни завод. Но всё-таки ему стало как-то не по себе, когда он убедился, что так незамеченно прошла его болезнь, что такое малое место в жизни завода занимает он. Подумалось: «Вот так помрёшь ненароком — никто и не почешется...» И завод будет всё так же стоять — вверх трубами, — будто и не было на свете никакого Семёна Григорьевича со всеми его невеликими достижениями и позорными, непростительными на старости лет ошибками, вроде последней истории с Кирюшкой.

Слушая уверенную речь Коли Савина, Семён Григорьевич вдруг вспомнил, каким робким желторотым птенцом пришёл Коля в цех четыре года назад из ремесленного училища: в теории — чуть ли не профессор, а с живым шпинделем отношения натянутые... И тут сам собой возник вопрос: кто научил ребят ремеслу, благодаря какому дяде они работают теперь самостоятельно? Семён Григорьевич строго, без всякой поблажки, допросил свою совесть и, из скромности думая о себе в третьем лице, ответил: «Мастер Федунов их научил! Мастер Федунов тот дядя и есть!...»

За разговорами Коля Савин и не заметил, как вместе со сладкоежкой Екатериной Захаровной уничтожил все конфеты, пока Семён Григорьевич

сосал свою шоколадную кильку. Увидев чистое дно коробки, Коля крикнул со стыда, но было уже поздно.

— Поправляйтесь поскорее! — пожелал Коля на прощание и тихо добавил: — Вы хоть ребятам не рассказывайте, что я весь шоколад съел. Засмеют: пришёл, скажут, проведать больного да сам гостинец и слопал!

— Ладно уж, не выдам! — пообещал Семён Григорьевич.

Коля Савин ушёл, ругая себя за легкомыслие и удивляясь, как ловко мастер скормил ему его же подарок.

8

На другой день, в пятнадцать часов сорок минут по местному времени, Семён Григорьевич благополучно завершил своё кругосветное путешествие. Екатерины Захаровны дома не было: на ночь глядя она ушла в продовольственный магазин и стояла сейчас, наверно, в очереди за чем-нибудь повкуснее для своего выздоравливающего мужа.

Семёну Григорьевичу надоело валяться в постели, и, пользуясь отсутствием супруги, он разгуливал по комнате, с интересом, как чужие, рассматривал свои побелевшие от безделья руки и размышлял о том, что прочитанной книге, о Коле Савине, о том, что, выйдя на работу, мстить Кирюшке не будет, а предоставит его собственной совести — если она ещё у него есть... И потому ли, что мужественный капитан Грант был в конце концов спасён, а дружба с Колей Савиным обещала впереди много радостных минут и, по всем признакам, должна была с лихвой перекрыть все обиды, нанесённые Кирюшкой, или оттого, что хворь покидала Семёна Григорьевича, но мысли у него были какие-то широкие, весенние, несмотря на трескучий мороз за окном.

Пришёл Витюк за книгой — свежий, румяный, очень похожий сейчас на молодую Екатерину Захаровну.

— А я вас выдал, дедушка! — объявил он, снимая шапку-ушанку.

— Как это выдал? — не понял Семён Григорьевич.

— Вчера наша пионервожатая сказала, что мы уже не маленькие, чтобы читать Жюль Верна, и посоветовала нам братья за серьёзные книги. А я встал и говорю: моему дедушке скоро шестьдесят, а он «Капитана Гранта» читает!

Семён Григорьевич засомневался, хорошо это или плохо, что теперь всем пионерам известно, какие книги читает он во время болезни. На всякий случай он нахмурился и строго спросил:

— Ну, а водительница твоя что?

— Вожатая... — поправил Витюк. — Сначала она запнулась, а потом всё нам до тонкости разъяснила. У нас сейчас для детей — и санатории и дворцы пионеров, а у дедов-прадедов ничего этого не было, потому что при капитализме жили. Они даже детских книг не успели прочесть, когда были маленькими. И ещё она сказала: случай с вами — это... иллюстрация того, что предки наши не имели детства...

— Это я-то иллюстрация? — обиделся Семён Григорьевич. — Эх, хватила! Мало ещё каши ела твоя вожатая-проводжата!

— Она в десятом классе учится, — почтительно сказал Витюк.

— Плохо учится! — отрезал Семён Григорьевич. — Нахваталась разных слов, а сути не понимает. У неё выходит: раз до революции родился — так уж и не человек!.. Ты тоже хорош: родного деда в обезьяны зачисляют, а ты поддакиваешь!

— Да вы не так поняли, дедушка! Она в том смысле...

— Негу у неё никакого смысла, по верхам стреляет. Дворцов и санаториев мы, конечно дело, не видывали, а детство всё-таки у нас было. Было!.. Как же без этого? Ведь не на ветке выросли?..



Семёну Григорьевичу вдруг живо припомнилось одно давнее весеннее утро. Ему было тогда лет шесть-семь. Проводив отца на завод, мать дошивала ему в то утро новую кумачовую рубашку, а он торопил её, нетерпеливо выглядывая из окна на лужайку перед баракom, где играли его сверстники. Ещё вчера лужайка лежала бурая и скучная, а ночью выпал первый тёплый дождь, и сейчас вся лужайка заманчиво зазеленела, залитая молодым низким солнцем. В то пригожее утро небо над лужайкой было синее-пресинее, каким оно бывает лишь в самом раннем детстве, когда хочется дойти до того места, где небо смыкается с землёй, и потрогать его руками.

Наконец мать обметала последнюю петельку на вороте, и он мигom облачился в холодящую тело, ни разу не стиранную рубаху, остро ипряно пахнущую фабричной краской. Мать строго-настрого наказала ему не дразнить соседского быка кумачовой обновкой. Язык его обещал не дразнить, а сам он в это время думал: «Там видно будет!» Выбежав из барака, он скинул в укромном месте тяжёлые от многих заплат опорки, чтобы они своим захудалым видом не портили его праздничного наряда.

Он не захотел стеснять свою радость никакими правилами и не стал играть ни в чижики, ни в казака-разбойника, а свободно и вольно носился по лужайке. Тёплый ветер свистел в ушах, упругим парусом надувалась за спиной новая рубаха. Не смотря на своё окошко, он знал, что мать следит за ним и любит его ловкостью. Ещё приятнее было чувствовать на себе длинные завистливые взгляды ребятишек: ведь ни у кого в целом мире не было такой яркой — глаз не оторвать! — рубашки, как у него. А как нежно и щекотно в то далёкое утро ласкала его босые подошвы молоденькая, бледнозелёная, колючая, как ёжик, травка! Даже сейчас, полвека спустя, старые ноги Семёна Григорьевича припомнили то щекотное прикосновение и сами собой заньли, просясь на свободу из шерстяных носков и тёплых войлочных туфель, сшитых заботливой Екатериной Захаровной...

— Было детство! — упрямо повторил Семён Григорьевич, всё ещё споря с пионерским начальством внука. — И свои радости были: сперва обыкновенные, ребячьи, а затем и посерьёзнее... Мальцами изобрели мы себе забаву — в сад к управляющему-бельгийцу лазить. Не так груши-яблоки добывали, как друг перед дружкой выхвалялись своей храбростью. Сад был большущий, десятины на три, и примыкал к заводскому двору. Бердан свой сторож заряжал крупной солью, но это было ещё не самое страшное. Бегали по саду два барбоса ненашенской породы, ростом с доброго телёнка. И прозвища у них были чужеземные: одного Маас кликали, другого — Шельда, — управляющий не любил ничего русского... Маас — тот подобнее был: штанишки обдерёт и отпустит с миром. А Шельда всё норовила кусок мяса послаще вырвать и подкрадывалась без лая; мы её за это в Шельму перекрестили. Одному нашему пареньку она жилы нужные перегрызла, на всю жизнь охромел... Робкие в тот сад стеснялись лазить: через забор собак подразнят — тем и утешатся!

— А вы, дедушка... не стеснялись? — с загоревшимися глазами спросил Витюк.

— Три раза слазил, а больше не был, врать не стану.

— Как это вы до сих пор ничего не забыли? — удивился Витюк. — Ведь столько лет прошло!

— Есть что помнить — потому и не забыл... Ученье моё посреди второго класса закончилось: таблицу умножения на шестёрку вызубрил, а отвечать не довелось — отец помер. Отвела меня мать на завод, годков набавила да и определила в токарные ученики...

— Тяжело вам было? Били? — жалеючи деда, спросил Витюк.

Ему казалось, что, несмотря на родственные чувства, дед в глубине души всё же несколько презирает его за то, что вырос он дылда-дылдой, а до сих пор и рубля не заработал собственным трудом и на заводе побывал лишь с экскурсией — как какой-нибудь интурист.

Семён Григорьевич насупился — и совсем не от горечи воспоминаний, как думалось внуку. Слишком уж однобоко понимал Витюк его детство-отрочество! Похоже было на то, что внук прочитал на днях какую-то книжку о горемычном житье-бытье стародавних учеников и подмастерьев и видит теперь в деде ожившую картинку из этой печальной и, по всей вероятности, очень уж тонкой книжки.

Витюк смотрел на него, ожидая утвердительного ответа на свой вопрос. Семён Григорьевич хорошо понимал сейчас внука. Идя проторённой дорожкой, Витюк втиснул все долгие годы его ученичества в нехитрую хрестоматийную форму, второпях сколоченную из худосочных знаний своих о старине. «Уложил деда в опоку — и любитесь!» — неодобрительно подумал Семён Григорьевич и даже плечи расправил, словно и в самом деле хотел вырваться из тесной витюковой «опоки».

Да что Витюк! Он лишь бессознательно повторил ошибку многих знакомцев Семёна Григорьевича, давно уже и вполне благополучно достигших совершеннолетия и даже снабжённых солидными дипломами. Мерить привычными мерками всегда легче. Всевозможные любители облегчённого подхода к жизни уже не раз укладывали Семёна Григорьевича в готовые формы-опоки, удобные карманные размеры которых и повсеместная распространённость казались им наилучшей гарантией от просчёта.

Семён Григорьевич со своей стороны, несмотря на всю его покладистость, был убеждён, что он — такой, как есть, — не влезет без остатка и в самую хитроумную опоку. И совсем не потому, что он такой громоздкий и сложный. Просто: он не экспонат и никакой тебе не представитель, а обыкновенный живой человек. И как ни укладывай его в опоку, а наружу сам собой высунется хоть махонький кончик уха, а то, как сегодня в витюковой неумелой опоке, за бортом останется главная суть всего ученичества Семёна Григорьевича, или — случалось и так — никак не найдёт себе места какая-нибудь самодельная мысль мастера о коловращении людей, не претендующая на учёность, но, как всякая самодеятельность в преклонном возрасте, вполне устраивающая своего хозяина, — мысль, очень уж забирающая в сторону, сучковатая, требующая для своей невидимой укладки такого расхода материала на опоку, какого, как полагали укладыватели, не стоил и весь Семён Григорьевич, со всеми своими потрохами.

— Сильно вас били? — переспросил Витюк, не дождавшись ответа.

Семён Григорьевич задумчиво посмотрел на внука. Ему хотелось предостеречь Витюка, как опасно втискивать людей в опоки, но он побоялся, что внук по молодости лет его не поймёт.

— Тумака, бывало, отхватывали, а ещё больше страдали мы, малолетки, от недосыпания. К концу смены у всех у нас глаза слипались, будто мёдом смазанные. Горький был тот мёд, и многие ребятишки из-за него у станков покалечились. Уже со вторника начинали мы ждать воскресенья, чтобы выспаться досыта... Да не в этом суть! Хоть и работали мы на хозяина-толстосума, а были и у нас свои светлые деньки. Помню до сих пор, как я впервой сам, своими руками, зубья на шестерёнке нарезал. И немудрящая, кажись, была шестерёночка, а по сей день перед глазами стоит!

Учёная вожатая твоя, небось, скажет: никакой настоящей радости тут нету, ещё один подневольный рабочий прибавился, чтобы хозяйский барыш умножаться... Так всё это, да и не так! И не потому даже, что тогда уже оставались считанные годки на хозяина работать и вскорости мастер-

ство наше всему народу пригодилось. Это сейчас, с нынешней горки, все прошлые годы насквозь просматриваются, а в ту пору, у первой неказистой шестерёночки, мы просто делу рук своих радовались, народившимся уменьем своим гордились. И, заметь себе, никакого самообману тут не было! Никудышный тот человек, который сам ничего сработать на совесть не умеет. Чем сильнее руки свои умелые уважать начнёшь, тем быстрее и расковать их захочется. И никаким борцом со старыми хозяевами мира нельзя стать, пока мастера своего дела в себе не почувствуешь. Задаваться мастерством никогда не надо, а уважать свои руки каждый рабочий человек обязан всегда и везде, ибо всё, в конце концов, от этих рук пошло и ими держится... Не темно я говорю?

Витюк закивал головой, показывая, что вполне понимает деда.

— Да и дружба меж учениками у нас на заводе завязалась уже не ребячья. Раньше, когда мы по домам сидели, у нас редкий день без драки обходился: один конец слободки с другим воевал, увидишь где-нибудь чужого парнишку и lupишь его за то лишь, что он рыжий! А теперь и рука как-то не поднималась на такого же, как и ты, бедолагу, а если, случилось, кого и били, так уж за дело: не выслуживайся перед мастером, на товарищey не ябедничай... Завод сплотил нас всех, нацелил, и хоть слова «коллектив» мы тогда ещё, по своей малограмотности, не знали, а выковался он у нас самый настоящий... После первой же получки мы сразу и повзрослели, полноправными рабочими себя почувствовали...

Первый заработок!.. Всю дорогу с завода домой он не вынимал руки из кармана, чтобы как-нибудь ненароком не обронить денежек. На пути его подстерегала рыночная площадь со своими ирисами-тянучками и сладкими тыквенными семечками. Он пересек площадь, глядя себе под ноги, чтобы не поддаться соблазну, и всю получку, до последнего грошика, принёс домой. Мать стирала чужое кружевное бельё. Он молча подошёл к ней, вытащил её руку из корыта, высыпал в мокрую, обезображенную стиркой ладонь всё своё медь-серебро и сказал, подражая отцу:

— На вот...

Младшие братишка с сестрёнкой смотрели на него, затаив дыхание, а мать долго держала на весу полусогнутую руку с деньгами, и в глазах её стояли, не проливаясь, слёзы. Она хотела обнять его, но вдруг застеснялась чего-то и лишь прошептала:

— Добытчик ты наш...

Потом мать засуетилась, собирая ему обед. Но деньги она не прятала, а так и держала в руке: видно, не слишком много принёс он их тогда, если все они, даже в мелкой разменной монете, вместились в зажатый материн кулак...

— Да, великая это вещь — первый заработок... — тихо сказал Семён Григорьевич. — А кое-кому преждевременная зрелость боком вышла. Чтобы уж во всём со взрослыми сравняться, стали ребятки курить, ругаться позаковыристей, а самые забубённые — и в кабак тропку топтать. Ему, пичуге, леденца пососать охота, а тянет пиво, а то и ерша-горлодёра смастерит, чтобы все видели: парень солидный! Ну, да такие меж нами наперечёт были. Большинство заработок домой несло, поильно семье помогало.

А тут и жизнь другим боком стала к нам поворачиваться, помаленьку-полегоньку толкать нас от ребячьих забав на крутую дорожку. На сходках и маёвках без нас никак не обходилось. Соберутся рабочие на поляне в лесу, а мы на всёх подходах дозор несём. Нам такое доверие и лестно, всю стараемся! Сами вроде цветы-ягоды собираем или играем в прятки, а как завидим кого подозрительного — сразу начинаем аукать, будто потеряли меньшого братика. Бывало, такой гвалт подыдем — не только на

поляне, а и в самой слободке слышно! Чаще всего кликали мы Мишутку Борщёва: был такой бестолковый парнишка в нашем бараке, пойдёт нужду справиться, и то заблудится. Как наша дозорная служба потребует, взрослые рабочие и зовут нас: «Приходите завтра к поляне Мишутку Борщёва кликать!» Через нас малец этот непутёвый на весь завод прославился!..

Семён Григорьевич усмехнулся, вспомнив былое своё молодечество.

— Вот так и росли. Ремеслом овладевали, людьми-человеками становились и постепенно в самую гущу борьбы втягивались. По нашему возрасту и разумению было это для нас, как игра: чем опаснее — тем заманчивее. Не скажу, чтоб мы всё тогда до тонкости понимали, но место своё знали точно и под ногами не пугались... Так что мы не только страдали под тяжким ярмом самодержавия, как твоя вожатая думает, но, как умели, помогали свалить его с копыт, готовили себя к семнадцатому годку. Ведь если б мы только скулили от побоев да свою несчастную жизнь оплакивали, так некому было бы и советскую власть ставить, санатории и дворцы для вас сооружать... Так-то вот, а ты — иллюстрация!..

## 9

Витюк уже давно ушёл с книгой, а Семён Григорьевич всё ещё сидел на кровати и остановившимися, невидящими глазами смотрел на носик никелированного чайника, забытого Екатериной Захаровной на столе. На самом кончике носика примостился зеркальный блик, и Семёну Григорьевичу почему-то сподручнее было вспоминать давние годы, глядя на это блескучее пятнышко.

Потревоженная память подсовывала всё новые и новые воспоминания — станции и верстовые столбы на пройденном житейском пути. Путь этот ничем особым не выделялся среди других путей, и не так уж высоко поднял он Семёна Григорьевича, но пройден был честно, без попытки проехать в обозе, шаг за шагом, от самого начала до нынешней вынужденной остановки где-то уж не так далеко от неминуемого шлагбаума, которым кончаются все наши житейские пути-дороги.

Сумерки напозлали на Семёна Григорьевича от углов и простенков и скоро заволокли всю комнату. Только окна смутно белели отражённым снеговым отсветом.

Вспоминались почему-то всё больше молодые годы. Начальные события его жизни, проступая сквозь наслоения последующих лет, казались сейчас Семёну Григорьевичу не совсем правдоподобными. Было такое чувство, будто всё это происходило не с ним, а он лишь вычитал об этом в первых главах какой-то очень толстой и задушевной книги.

В книге этой страницы весёлые перемежались с мрачными, и сразу трудно было даже сказать, каких страниц перепадало больше. Но таково уж свойство человеческой памяти: минувшие годы просеяли воспоминания, и всё мрачное и тяжёлое расплылось, потеряло чёткие очертания и как бы даже пригнулось, чтобы не мешать выступившему наперёд светлему и хорошему...

В передней вкрадчиво щёлкнул замок входной двери — будто чихнул кто-то негромко в кулак. Закутанная шалью, в комнату вошла Екатерина Захаровна с покупками, и от неё повеяло холодом, как от Деда-Мороза. Она удивилась темноте и решила, что муженёк заснул, её поджидаючи. Но Семён Григорьевич пошевелился на кровати, и она спросала неодобрительно:

— Что это ты, как сыч, во тьме сидишь?

— Да так, задумался что-то... — виновато ответил Семён Григорьевич, будто жена захватила его на месте преступления.

Как все старые и верные жёны, Екатерина Захаровна очень не любила, когда супруг ни с того ни с сего вдруг задумывался. Сама она никогда не позволяла себе такой роскоши и считала, что Семён Григорьевич, беспричинно задумываясь, как бы пытается улизнуть из-под её контроля, чего Екатерина Захаровна, уважая свои права, допустить никак не могла.

— Не зажигай свет,— попросил Семён Григорьевич.— Давай посумерничаем.

«Час от часу не легче! И что это с ним?» Встревоженная Екатерина Захаровна повесила сетку с продуктами на спинку стула и сняла с себя тяжёлое пальто с воротником из непонятого меха — подарок дочери-директорши.

От продуктовой сетки шёл тонкий и сильный запах прихваченных морозом яблок.

Екатерина Захаровна села на кровать и притихла в темноте, а Семёну Григорьевичу вдруг припомнилось, как на том стуле, где висит сейчас сетка с яблоками, неделю назад сидел Кирюшка, внимательно слушал его наставления и смотрел на него преданными глазами. Обида на Кирюшку потеряла уже свою остроту, и Семён Григорьевич мог теперь хладнокровно думать о нём. В размягчённой от воспоминаний душе мастера шевельнулось даже такое чувство, будто была и его доля вины во всём случившемся: парень заблудился по недомыслию или слабости характера, а он во-время его не одёрнул.

Много часов провёл он наедине с Кирюшкой, а толком его не разглядел. Ошибся он потому, что прикрасил парня, подогнал его под известные образцы. Как ни крути, а выходит: он тоже уложил живого человека в опоку! Что из того, что опоку он выбрал отменную, сделанную по мерке с лучших ребят — вроде Коли Савина и тех молодых рабочих, с кем довелось ему работать в стужу и бесхлебицу первой военной зимы.

Его обманули кирюшкина молодость, задор и... комсомольский значок на груди — всё то честное и хорошее, что привык он видеть за этим значком. Упустил он из виду, что легче значок отштамповать из жести, чем выковать настоящий характер.

По доброте душевной Семёну Григорьевичу хотелось сейчас думать, что дело ещё поправимо. Надо лишь поскорее разобраться: глубоко внутри парня сидит вредная раковина или только с поверхности он маленько запаршивел, а снять наружную стружку — и дальше пойдёт добротный материал.

Он уже невольно прикидывал, как надо спасти Кирюшку. Перво-наперво необходимо оторвать парня от начальника цеха и оставить его вариться в собственном соку. Потом ребята должны на него поднажать — без злобы, но крепенько, чтобы почувствовал Кирюшка силу коллектива. Само собой, тут уж разыграет кирюшкино самолюбие, подогретое скороспелой славой! И выйдет одно из двух: либо Кирюшка ожесточится и закостенеет в своей ранней подлости, либо переболеет и станет человеком. Полезно будет в это время показать парню понагляднее, куда ведёт-заворачивает та скользкая дорожка, на которую ступил он неосторожной ногой. Сделать это следует как бы мимоходом, исподволь, чтобы не отпугнуть. В общем, повозиться придётся немало. Поскорее надо выходить ему на работу, а то ребятки сгоряча наломают дров в этом тонком деле.

А там не худо бы и Колю Савина с Клавой-сверловщицей помирить. Дело это будет ещё потоньше, неизвестно даже, с какого конца и начинать.

Семён Григорьевич покрутил головой, удивляясь, какие трудные и щекотливые занятия подсовывает ему жизнь-жистянка. Уж не выдумывает ли он сам себе работу, чтобы чувствовать себя нужным людям? Нет, помнится, он и прежде никогда мимо таких дел не проходил — такой уж, видно, уродился...

## СТАРШИЙ ВОЗРАСТ

Затхлый душок бальзама, хозяйничавший в комнате все эти дни, попробовал было потягаться с молодым свежим запахом яблок, но не выдержал поединка и стал отступать. А Семёну Григорьевичу казалось, будто от него, выздоравливающего, всё дальше и дальше отодвигают отслужившую своё бутылку с бальзамом, а заодно уж и скучную аптечку с «филиалом».

В темноте, скрадывающей нелюбезные приметы возраста, Семёну Григорьевичу на миг почудилось, что ему сейчас всего-навсего двадцать лет, а рядом с ним сидит восемнадцатилетняя Катя-певунья. Екатерина Захаровна, которую долгое пребывание во тьме всегда бросало в сон, шумно и аппетитно зевнула — и сразу разрушила весь его самообман.

«Вот всегда она так!» — рассердился Семён Григорьевич.

— Надо Васе посылку послать, — сказала Екатерина Захаровна тягучим своим будничным говорком. — Как бы не отощал на студенческих харчах...

И совестливому Семёну Григорьевичу стало стыдно, что он размечтался о несбыточном, в то время как Екатерина Захаровна занята насущным делом. И какая муха его укусила, что ему вздумалось променять практичную Екатерину Захаровну на девчонку Катю? Ведь состарилась Екатерина Захаровна и потолстела бок о бок с ним, рожая его детей и всячески украшая жизнь семьи. Все эти долгие сорок лет, не щадя себя, она заботилась о нём и детях, а если, случалось, иногда и докучала ему, то совсем не по злему умыслу, а просто от излишнего усердия.

Больше он уже не обманывал себя и всё время помнил, что рядом с ним сидит не тоненькая и зелёная Катя, а дородная Екатерина Захаровна — мать и хозяйка. Чтобы загладить свою невольную вину перед женой, Семён Григорьевич положил руку на её мягкое плечо, и Екатерина Захаровна, отзывчивая на ласку, придвинулась к нему.

Они сидели щека к щеке и молчали. В тёмной комнате пахло яблоками.



---

В. БЕСПАЛОВ

★

## В ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ

Рассказ

**Ж**аркий сентябрьский день на исходе. Солнце клонится к закату. Наклевавшиеся за день куры тихо бродят по пыльной площадке вдоль бревенчатой стены скотного двора, лишь изредка склоняя к земле свои пёстрые шейки.

Председатель колхоза «Живые ручьи» Матвей Ильич Хворостинка, грузный усатый мужчина в поношенной офицерской форме, молча стоит, прислонившись к одному из брёвен треноги, которая возвышается над свежей артезианской скважиной, и время от времени тоскливо поглядывает на горизонт. На дощатом помосте, укреплённом метрах в двух от земли, у плохонького насоса, деловито позванивая ключами, возится его четырнадцатилетний племянник Тимофей.

— Ну как? — с надеждой спрашивает председатель, сияясь заглянуть на помост.

— Сейчас пойдёт. Вот только контакты переключу как следует... — напряжённым баском отвечает Тимофей.

Матвей Ильич пытливо глядит на племянника: лицо Тимофея выражает усталость. Председатель хмурится и начинает отбивать сапогом бесформенные комья грязи, накрепко присохшие к толстому гофрированному шлангу, который свисает с помоста и, полуутонув в пыли, тянется к свежеструганному лотку поилки.

«Чёрт бы побрал этого кольцовского механика! — раздражённо думает председатель. — Таковую дрянь всучил. Мощностъ, видите ли, велика: энергии много берёт... Эх, Матвей-простота! Будто не вывелись дурни, которые за гроши хорошую машину продавать станут. И дёрнула же меня нелёгкая клюнуть на эту удочку, да ещё без правления...» Матвей Ильич гневно сплёвывает.

Наверху что-то щёлкнуло, глухо урча, мотор набирает обороты.

— Пошла? — восклицает председатель.

— Да нет ещё, — уныло отзывается Тимофей. — Знать, меж лопаток что-нибудь затесалось...

— Затесалось! — гневно передразнивает председатель. — Ты, Тимошка, лучше не крути. Зря я, что ли, тебя в разгар уборочной до города гонял? Было тебе говорено: разузнай, запиши, что нужно. Небось, на стадион успел!

— Да в ту пору уж из библиотеки-то всех повыгнали, — оправдывается Тимофей. — Не пропадать же времени. И так целый день корпел, как перед экзаменом... — С минуту он возмущённо орудует ключом, но не выдерживает и ядовито добавляет: — Только ведь там всё по высшей технике, о такой рухляди, поди, уж и книги-то давно мыши съели.

Лицо председателя багровеет.

— Как ты сказал? Повтори!

Но тут он замечает, что рыжий телёнок, мирно гревшийся у изгороди, подобрался к бревенчатой стене коровника и осторожно тянется к чахлой траве, пробившейся из-под камней фундамента.

— Куда?! Куда, дурья твоя башка? — свирепо кричит Матвей Ильич, схватив прут.

Удивлённо покосившись на председателя, телёнок не спеша бежит в кусты.

— И чего только глядят, нерадивые? — сорвав на телёнке свою злость, ворчит Матвей Ильич.

— Улитку уже прочистил, дядя Матвей! — громко докладывает Тимофей. — Сию минуту даю ток.

— То-то! Нет чтобы загодя прочистить! — откликается председатель.

Мотор снова тревожно гудит, но в деревянном лотке поилки сухо. Выждав немного, председатель тревожно спрашивает:

— Что же делать-то будем?

Не отвечая на вопрос, Тимофей косится на аккуратно связанные белым шнурком новенькие бутсы, небрежно брошенные у края помоста.

— Ну, куда... куда глядишь? — ревниво прикрикивает председатель. — О футболе сегодня забудь.

— Да я так... Смотрю, не стянул бы кто... — нехотя отвечает Тимофей, почёсывая замасленной рукой стриженный затылок. — Разве ещё высоту всасывания окоротить?

— Давай, давай, брат, соображай резвее — скоро уж темнеть начнёт!

— Чего тут соображать-то? — со слезой в голосе огрызается Тимофей. — С десяти часов без роздыху соображаю... Вон третьего дня кольцовские ребята новый насосец купили, прямо в ящике привезли... Все детали — в тавоте, и инструкция тут же в конвертик вложена. А этот рыдван...

— Молчи, говорю! — снова вскипает председатель. — С инструкцией-то любой дурак разберёт... Того не разумеешь, что не с руки нам на мелочь тысячами сорить, пока за станцию пай не внесён. Финансы — это тебе не мяч гонять!

— А я что — против разве? Я безраздельно за. Только с Запольем же игра...

— Какая такая игра?

— Зачётная, вот какая! — поясняет Тимофей. — Не будь игры — сидел бы здесь хоть до завтрашних петухов.

Председатель чувствует, что инициатива ускользает из его рук. Он меняет тон и просит:

— Не режь ты меня, Тимоша, без ножа! Ну, что я, по твоему комсомольскому разумению, комиссии сдавать буду? Или тебе на мою личную учётную карточку наплевать? Фамилию-то ведь одну носим...

Тимофей тяжело вздыхает и, заботливо укрыв бутсы поношенной суконной курткой, молча берётся за ключи.

На узкой тропе, скрытой от глаз за пыльной щетиной придорожной растительности, начинают появляться парни и девушки. Парочками и в одиночку они бредут мимо скотного двора к центральной усадьбе, откуда уже слышны пробные аккорды баяна. Парни в тщательно отутюженных костюмах шагают, не разбирая дороги, девушки в цветистых праздничных нарядах осторожно ступают высокими каблуками по траве. Некоторые проходят мимо площадки, увлечённые беседой, даже не взглянув на председателя, но большинство считает своим долгом раскланяться.

— Наше вам, Матвей Ильич!



— Здорово, дядя Матвей!

— Привет, Тимоша! — то и дело слышится со стороны дорожки.

— Иди, иди, танцуй! — неодобрительно отзывается председатель, испытующе поглядывая на Тимофея.

По свойственному молодости духу противоречия несколько пар тотчас же останавливаются. Девушки и парни начинают молча созерцать ход работы, изредка обмениваясь замечаниями.

— Куда ему взять? — глубокомысленно, ни к кому не обращаясь, цедит сквозь зубы чернявый паренёк в лихо сдвинутой на затылок серой шляпе. — Тут, поди, до грунтовых вод метра три с половиной...

— Ну, уж и три с половиной! — задорно возражает совсем ещё молоденькая девушка.

Завязывается спор.

В это время Тимофей опять включает рубильник, слышится громкое, но быстро стихающее бульканье.

— Упустил воду! — вслух досадует председатель, стараясь не глядеть в глаза присутствующим. — И в кого только такой парень уродился: никакого чутья к технике.

— Понимаете, резковато врубил... — торопливо оправдывается Тимофей, которому становится явно не по себе от общего внимания. — Вот только перекурить бы — обязательно пойдёт. Кто угостит, братцы?

Председатель быстро достаёт кисет, но на помост уже летят разноцветные коробки.

— Попробуй наших!

— Московские, Тимоша!

С минуту Тимофей критически рассматривает коробки, затем вынимает из самой внушительной две папиросы, небрежно суёт одну из них в рот, а другую закладывает за ухо.

Коробки летят назад.

Толпа нехотя расступается: к плетню протискивается бабка Агафья в тёмном платье до пят и серой шерстяной шали.

— Ах ты, милостивец наш, Матвей Ильич! Всё возишься, голубчик, дай те господи здоровья! — считая бесполезным пояснить свою тираду, бабка строго обращается к собравшимся: — С десяти часов трудится — и воскресенью ему нипочём... Умаялся, сердешный, смотреть страшно!

В толпе слышен смех. Председатель с досадой отворачивается к Тимофею:

— Ну, будет, что ли? Перекурил, давай и за дело.

Тимофей с натугой снимает шланг, для чего-то заглядывает в зияющее отверстие трубы и боязливо нажимает на рубильник. Толпа замирает — из трубы вылетает сноп брызг.

— Пошла, пошла!

Энтузиасты одним махом форсируют плетень, но насос уже захлебнулся: мотор гудит вхолостую. Председатель мрачно смотрит на притихшего племянника.

Внезапно на дороге появляется возбуждённый паренёк лет тринадцати.

— Тимка! Ваши продувают: два ноль уже...

Оцепенение мигом слетает с Тимофея.

— Видно, уж завтра наладится! — скороговоркой выпаливает он и решительно тянется за бутсами.

— Лети, лети, соколик! — покорно соглашается председатель. — На бюро райкома встретимся, там тебе Елена пропишет авангардную роль...

Тимофей отдёргивает руку от свёртка и, взяв ключи, начинает энергично ходить по помосту.

— Дя... Матвей! — раздаётся из толпы сердитый девичий голос. — Ты что, Тимошу-то до ночи мариновать собрался?

— А я разве держу? — пожимает плечами председатель. — Вольному воля...

В толпе опять смеются.

— Цыцте вы, цыплячье племя! — неожиданно сердится старая Агафья. — И чего я тебе скажу, Матвюшка! — задушевым голосом обращается она к председателю. — Е... есть человек. Такой ли уж мастер! Ходики мои в один присест наладил: колёсики повыбрал и цепку надел...

— Какой такой мастер? — недоверчиво осведомляется председатель.

— Вот я и говорю: у домниной Маринки, которую летось в ветеринарный техникум пустили, жених городской из мастеровых — такой видный и одет-то, как следовало быть...

— Ты бы, Агафья, поближе к делу, — нетерпеливо перебивает председатель.

Заинтересованные девушки протискиваются поближе к старухе. Парни молча глядят на Тимофея, всем своим видом показывая, что жених их вовсе не интересует.

— Я и так у дела! — строго говорит Агафья, но, боясь потерять слушателей, тотчас же смягчается. — Сама-то Маринка вечер к маменьке погостить наехала и жениха привезла. Уж такой ладный парень! Маринка скazujeает — почётный человек на заводе. Эти самые строит... в газетах-то всё печатают... Ну, турбины для великой-то станции, дай бог память...

— Цимлянской?

— Каховской?

— Сталинградской? — хором несётся со всех сторон.

— Вот, вот... для этой самой, — поддакивает глуховатая Агафья. — Такой уж мастер, такой мастак! А за Маринкой-то как ухаживает!

Но председатель уже не слушает Агафью, он размышляет: «Шесть часов, а дело ни с места... С одной стороны, вроде неудобно: умаялся человек за неделю — воскресный-то день на отдых даётся... С другой стороны, ситуация особая — завтра комиссия нагрянет, а может, и сам предисполкома...»

— Ты-то как, Агафья, считаешь: удобно? — негромко спрашивает он, чтобы подкрепить свои действия хоть видимостью общественного мнения.

— Голубь мой, неудобно, чай, хлеба из печи сквозь трубу таскать... — уклончиво отвечает Агафья.

Но председатель уже испытующе вглядывается в толпу молодёжи. Из толпы выступает чернобровая девица с модной причёской. На ней ситцевое платье в белых тюльпанах и, несмотря на сухую погоду, высокие, потускневшие от пыли боты. В руках — большая кожаная сумка, из которой торчит тонкий лакированный каблук в растрёпанной газетной обёртке.

— Дозвольте, Матвей Ильич, я к Маринке мигом слетаю! — с готовностью выпаливает она.

Председатель морщит лоб.

— Дело бы не испортить, Фаина... Ты ведь вроде с ней в контрах...

— Было, да быльём поросло! — презрительно дёргает плечом девица. — И вообще, самокритика на деловые отношения не влияет.

— Ну беги, беги резвее! — отмахивается председатель.

Девица быстро исчезает из виду.

Недовольно насупившись, Тимофей берётся за злосчастный рубильник.

В это время приезжий ленинградский токарь-карусельщик Вася Рассадин, ничего не подозревая, нежится на непривычно мягкой для город-

ского человека хозяйской постели в доме будущей тещи. Час назад Вася съел целую сковороду яичницы и несколько яблок, запил всё это кринкой варенца.

Сильно приглушённый приёмник наигрывает какую-то томную мелодию. Уютно тикают часы. За окном чирикают птицы. Шевелиться настолько лень, что не хочется даже перевёртывать страницы журнала, который заботливые хозяева положили под руку.

Вася рассеянно скользит взглядом по опрятной горнице, время от времени поглядывая на невесту. Марина сидит на подоконнике, выставив в окно едва прикрытую сарафаном загорелую спину. Нога в тонком чулке стоит на крашеном табурете. Склонившись всем корпусом вперёд, отчего её тёмные косы почти касаются пола, не дыша, едва приметными движениями проворных рук Марина пытается поднять спущенную петлю. Солидная Домна Исаевна, мать Марины, снуёт из кухни в горницу. В комнате царит та блаженная атмосфера покоя, когда душой безраздельно овладевает единственное желание, чтобы всё это продолжалось как можно дольше: и шелест листьев, и чириканье, и даже монотонное жужжанье мирно настроенной осы.

«Ну и пусть не даёт отпуска,— беззлобно размышляет Василий, припоминая осунувшееся лицо начальника участка.— Разка четыре сюда надеваюсь — тот же отпуск.— Он переводит взгляд на окно.— Эх, и до чего же везёт в этом году! Кто бы подумал месяца три назад, что на турбинном участке бригаду доверят? И с Мариной всё так славно налаживается... Даже немецкий — и тот на четвёрку сдал».

Он лениво раскидывает сильные руки, но, спохватившись, быстро подымает их и внимательно оглядывает, не помялись ли шёлковые рукава рубашки, аккуратно подхваченные у локтя цветными резинками.

— Вы бы брючки-то сняли, Василий Прохорыч,— радушно предлагает хозяйка, придерживая передник, в котором алеет несколько больших помидоров.— Я бы живёхонько подутюжила.

— Что вы, Домна Исаевна! — смущённо отмахивается Василий.— Сойдёт и так!

— Да вы не стесняйтесь. Давайте, мигом утюжком пройдуся, чтобы люди-то не судачили, будто мы с Мариночкой и обгладить вас поленились. Вон вчера уже Файка Ковалёва...

— Мама!.. — с упрёком перебивает Марина.

— Да я что? Я так, к слову... — отмахивается Домна Исаевна и начинает деловито перекладывать помидоры на расписное деревянное блюдо.

Марина несколько раз поворачивает ногу на табурете, оглядывая чулок со всех сторон.

— Что, Василёк, очень заметно? — спрашивает наконец она.

Василий критически осматривает штопку.

— Сойдёт! — лениво говорит он.— Кто приглядываться-то будет?

Марина ловко спрыгивает на пол и начинает обуваться.

— Там, знаете, механик один из Кольцовской МТС, Сверчков такой, всё на Мариночку поглядывает,— не выдерживает Домна Исаевна.— Прямо так и сверлит глазами, будто, простите уж мне, старухе, сглазить собирается...

— Мама! — обиженно перебивает Марина.— Ну зачем вы это говорите?

— А потому говорю, что с самостоятельным человеком и поговорить приятно! — строго обрывает её Домна Исаевна.— Тебе-то какая забота: не про тебя речь, а про Сверчкова. Я же не рассказываю, как ты грамоту...

— Ну, мама! Я же прошу!

— Разве можно, Мариночка, на мамашу нападать? — вступается Василий.

— Прoberите, проберите её хорошенько, Василий Прохорыч! — скрывая удовольствие, ворчит Домна Исаевна. — Хоть и хорошая она у меня девица: уважительная и к хозяйству приучена...

Без стука растворяется дверь, и на пороге вырастает раскрасневшаяся Фаина.

Василий быстро садится в постели, оправляет рубаху и торопливо шарит по полу босыми ногами.

— Я, кажется, помешала, Мариночка? — с деланным раскаянием проносит гостя, бесцеремонно оглядывая Василия. — Тётя Домна, я на одну только минуточку.

— Дверь-то закрой, ретивая! — с сердцем отзывается Домна Исаевна. Марина вежливо пододвигает стул.

— Заходи, Фая! Мы ещё не готовы.

— Вы, конечно, потанцевать собрались?

— А ты разве — нет? — удивлённо поднимает брови Марина.

— Собиралась... Только вот оказия приключилась... Председатель прямо к вам прислал: беги, говорит, Фаина, сейчас от них одних всё зависит...

Домна Исаевна подозрительно глядит на гостью.

— Что, опять прививки делать некому? — упавшим голосом говорит Марина.

— Да нет же! — с готовностью отвечает Фаина. — Можешь себе танцевать до упаду: не о тебе речь...

— Что же ему от меня-то сегодня понадобилось? — властно спрашивает Домна Исаевна, наступая на гостью.

— И не от вас, тётюшка Домна! — сладким голосом возражает Фаина, пятась к двери. — Дело касается... вот их! — Она кокетливо кивает в сторону Василия.

Марина резко отворачивается к окну.

— Да ты толком говори, сорока! — грозно перебивает Домна Исаевна. — Или может, дело такое сурьёзное, что нам с Мариной из своей горницы выйти?

— И что вы сердитесь, тётюшка Домна? — деланно изумляется Фаина. — Сама я, что ли, к вам напросилась?

— Кто тебя знает! — ядовито отзывается Домна Исаевна.

— Ну, уж это вы зря! — протестует Фаина. — Очень надо мне к вам лезть. Меня к вашей Марине после прошлых танцев и палкой не загощишь. Спросите кого хотите — еле упросил председатель...

— Простите, так вы ко мне, что ли? — осторожно перебивает Василий.

— Ну да. Я и хочу... — Гостя приветливо улыбается.

Марина быстро поворачивается и жалобно смотрит на смущённого жениха.

— А вы откуда это, барышня, знаете нашего Василия Прохорыча? — напряжённо спрашивает Домна Исаевна.

— Как не знать? — ухмыляется Фаина. — Небось, его Агафья Сидорова всему честному народу так расписала...

Василий хмурится.

— Ну, вот что, дорогуша! — решительно обрывает Домна Исаевна. — Выкладывай-ка дело, а то молодым людям на гулянье пора.

— Вот я и хочу выложить, да вы меня всё перебиваете... Так вот, значит, доложу всё по порядочку, — заговорщицки начинает Фаина. — Там, у нового коровника, ладит наш председатель, ну, это самое... воду качать электричеством.

— Помпа?

— Вот, вот! И, понимаете, ничегошеньки-то у них не выходит. С самого утра не прикладая рук орудуют, а вода всё нейдёт да нейдёт... Конечно, Тимошка-то Ильин совсем ещё сопляк — один футбол на уме. Я таких к машинам на версту бы не подпускала! И вот... — Лицо Фаины делается умильным. — Очень просил Матвей Ильич... Прямо в ножки велел кланяться... Упроси, говорит, Василь Прохорыча, пусть заглянет на минутку, даст свою техническую консультацию... А то народ сомневается — не зря ли, мол, деньги брошены.

На лице Василия отражается смесь досады, лени и неудовольствия, но он быстро овладевает собой и решительно тянется за пиджаком.

— Ну что ж, — невесело шутит он. — Веди нас, Сусанин!

Фаина немедленно направляется к двери.

— В первый раз приехал... — растерянно говорит Марина. — Куда же ты пойдёшь копаться во всём хорошем? Дорвёшься домой отдохнуть, так обязательно какую-нибудь работу выдумают!

— Ну, уж сразу и выдумают! — принимает боевую позу Фаина. — Сделала две прививки телятам, так уж и хвост на спину. Мы же не тебя просим, а товарища... Танцуй себе на здоровье!

— То есть как это — танцуй? — возмущённо спрашивает Марина. — Вы там моего гостя эксплуатировать будете, а я — танцуй? — Голос её дрожит, щёки пылают, а в глазах наготове слёзы.

— У нас в колхозе — эксплуатировать?! — страшным шёпотом переспрашивает Фаина. — Ну, знаешь...

— Вот что, касатка! — вступает в спор Домна Исаевна. — Меня-то учить ты зелена будешь. Я в колхоз тогда подалась, когда твой папаня к мамане за околицу на свиданья хаживал... Нечего рабочего человека мучить. И так он без отпуска умаялся... Турбины-те, думаешь, легко каждый день строить?

— Ох, умора! — всплескивает руками Фаина, оглядывая Василия. — Такой-то парень умаялся... Скажете тоже, тётя Домнушка!

— И скажу! И не тебе, перепёлке бесхвостой, меня уму-разуму учить! — свирепеет Домна Исаевна.

— К чему, мамаша, шуметь? — мрачно произносит Василий. — Схожу, взгляну, что там такое...

Плечи Марины начинают дёргаться. Сняв отглаженную юбку, она неуклюже плюхается на табурет и неловко утыкается лицом в оконную занавеску.

— Первый выходной, пригласи-и-ла!

От окна несутся прерывистые вздохи и всхлипывания.

Лицо Фаины принимает надменное выражение.

— Ладно уж... Не разводи сырость! — назидательно начинает она, но в глазах у неё мелькают озорные огоньки. — Счастливо вам наслаждаться семейным уютом, молодой человек!

Дверь негромко хлопает. По крыльцу дробно стучат быстрые шаги.

— Ядовитая девица, — смущённо говорит Василий, всё ещё сидя в постели.

— Ирод непутёвый, а не председатель! Никогда толком ничего не сделает... Гляди-ко, уж и за гостей принялся! — сокрушается Домна Исаевна. — Ну полно, доченька, полно, ясынька моя ненаглядная...

— Да разве я про-о-отив? — горько всхлипывает Марина. — Так приди же по-хорошему, без ехидства...

Марина и Василий под руку в чинном молчании идут по сухому просёлку. Бледное лицо Марины постепенно обретает естественную свежесть, под глазами уже не заметно и следов красноты. В новом костюме Василий по-настоящему хорош: светлые, чуть примоченные волосы пока ещё

лежат так, как распорядился ими хозяин, гладкая кожа на подбородке чуть порозовела от бритвы, в петлице — значок с изображением снежных гор и каких-то инструментов. Глядя на него, Марина почти совсем успокоилась и теперь лишь искоса поглядывает по сторонам, чтобы во-время увидеть знакомых прохожих и, приняв нужный вид, избежать их молчаливого суда.

«Пусть дуются! — храбро размышляет она. — Я и так всегда помогаю. Ну, пришли бы хоть перед обедом — Вася мигом бы справился и переодеться ещё успел... Нет, до чего же эта Файка вредная! Всюду сунется, куда не прошено».

Василий крупно шагает рядом, сосредоточенно глядя перед собой. «Неладно получилось, — мрачно думает он. — В цехе бы за такое дело — живо на комитет. Или ещё в многотиражку: «Бригадир Рассадин веселится...» Уж Амелин-то такой случай не пропустит. Главное, что теперь про девушку скажут? Опять же и Домна Исаевна в этом колхозе состоит...» Он досадливо морщится и убыстряет шаги.

Вдали, за густым валом кустарника, показывается тесовая крыша скотного двора. Слышится сдержанный говор толпы, прохладный вечерний воздух чётко разносит весёлые голоса:

— Да наплюй ты, Тимоша, на этот мотор. Крутани-ка свой агрегат вручную — ей-ей, пойдёт!

— Не горюй, дядя Матвей! Качать не будет — в лом сдадим: всё рупь десять килограмм.

— Ты ручником, ручником вдарь, садовая голова!

— Василёк, — робко шепчет Марина, — идём здесь, лощинкой... По пылице-то топтать какое удовольствие?

Василий молча сворачивает в кусты. Марина облегчённо вздыхает.

— Гляди-ка! Танцоры-то наши кустами свернули! — хлёстко доносится до ушей озорной девичий голос.

Издали слышен смех. Марина опускает голову. Минут пять идут молча. Крыша давно уже исчезла из глаз, звуки баяна становятся громче.

— Вредная какая! — внезапно произносит Марина.

— Слушай-ка, — замедляя шаг, отзывается Василий, — давай вернёмся... Неловко получается: ну, какое веселье, если они там потеют? Машинка-то, верно, пустячная... За полчаса направим, и потанцевать успеется.

Марина молча сворачивает с дороги и, осторожно ступая по траве, начинает карабкаться вверх по косогору. Она зябко поёживается, заранее предчувствуя неприятную встречу.

Задние ряды первыми примечают запоздалую парочку, раздаётся сдержанный шёпот. Девушки толкают друг друга в бока, мужская половина насторожённо молчит.

«Сапог ты!» — ругает себя Василий, но делать нечего, надо брать быка за рога.

— Кто тут у вас командует, товарищи? — громко спрашивает он.

— Уже натапцевались? — раздаётся ехидный голосок Фаины.

Кто-то громко цыкает на неё.

— А ты? — с вызовом откликается Марина.

— Э... так вы того... Сюда залазьте! — радушно приглашает председатель, мгновенно запамятавав обиду.

«Ну, кажется, пронесло! — с облегчением думает Василий. — Теперь бы только не в грязь лицом...» Он беспокойно смотрит на вспотевшего Тимофея, затем аккуратно подвёртывает праздничные брюки и не торопясь скидывает пиджак.

— Подержи-ка, дорогуша!

Марина по-хозяйски вывёртывает пиджак шёлком наружу и перегибает его на руке. Какая-то смуглая девушка дружелюбно всыпает ей в руку щедрую горсть подсолнухов.

Под перекрёстным огнём любопытных взглядов Василий лезет на помост. Сначала он деловито осматривает насос, заходя к нему с разных сторон и явно стараясь продлить время.

Сложив на груди руки и прислонившись к одному из стропил, Тимофей скептически наблюдает за его действиями.

— И где это вы, папаша, откопали такой агрегат? — упавшим голосом спрашивает Василий.

— По случаю приобрёл... за наличный, — нехотя отвечает председатель, косясь на молчаливую толпу.

— Ну что ж, попробуем... — с деланной бодростью говорит Василий и нажимает рубильник.

Мотор ревёт, но воды нет.

— Может, шланги у вас засорены? — с сомнением осведомляется Василий, выключая мотор. — Ну-ка, малый, пособи маленько...

Он берёт ключи и начинает отвёртывать стальной хомутик, присоединяющий сцепку шлангов к отливному патрубку.

— Будто я не пробовал! — презрительно цедит Тимофей, снисходительно поддерживая на весу тяжёлый шланг.

Сцепка шлангов с грохотом летит вниз, чуть не стащив за собой щуплого Тимофея.

— Осторожнее, браток! — строго говорит Василий. — Сейчас ему полегчало, он и возьмёт... — не очень уверенно добавляет он, глядя на застывшего в немом ожидании председателя.

Тимофей включает рубильник. Внутри насоса что-то клокочет и хлопает, из трубы летят брызги, но воды нет. Василий озабоченно вытирает вспотевший лоб, оставляя на нём заметную чёрную полосу. Тимофей лениво тянется к рубильнику.

— Постой-ка! — Василий насторожённо прислушивается к гудению мотора: ровный звук нарушают едва различимые биения. — Слышишь?

— Да у меня все разы хлопало, — хмуро отзывается Тимофей.

— Не то! — отмахивается Василий. — Ты мотор слушай. Вот, слышишь? Вот ещё...

— Что такое?

— Бьёт! Центровка плохая...

По толпе проходит шепоток. Василий останавливает насос и внимательно осматривает муфту.

— Э, да тут кто-то уже ковырял, — говорит он, косясь на Тимофея.

— Ну, я, как водится, укрепил, раз его на место доставили в расхлябанном состоянии... — нехотя поясняет Тимофей.

— Укрепил-то укрепил... — качает головой Василий. — Только фланчики-то у тебя разошлись почти на полпальца.

— Ах ты, дикое племя! — восклицает председатель. — Как есть спортил машину. И в кого тебя, такого, мать уродила?

— Ну, зачем же, папаша, ругаться? — дипломатически урезонивает его Василий. — И так парень еле на ногах стоит...

— А ему что? — сплёвывает Тимофей. — Он сам-то за технику ответа не несёт, только спрашивает с нас: подай, мол, то да подай это...

Но Василий уже не слушает пререканий, он опускается перед насосом на корточки, зубами оттягивает повыше манжеты, на которых уже желтеет несколько жирных пятен, и начинает деловито отвёртывать фланцы соединительной муфты. Тимофей без приглашения присоединяется к нему. Работа идёт споро.

— Мастера-то сразу видать! — хрипло произносит нивесть откуда появившийся сторож Емеля, седобородый старик в новеньком синем ватнике и смазных сапогах. — Вот когда в первую германскую служил я в пулемётном полку...

— Слыхивали уже эту новость! — сердито гаркает высокий парень в выцветшей гимнастёрке с колодкой поблёкших орденских ленточек. Дед затихает.

Между тем солнце уже садится, быстро сгущаются сумерки. Василий и Тимофей звенят ключами, торопясь кончить дело до темноты.

— Руби! — командует Василий, убирая инструменты.

Раздаётся ровное гудение, биений не слышно, но и воды тоже нет. Сосредоточенно вслушиваясь в звук мотора, Василий лихорадочно соображает, что делать дальше.

— Да ты правильно ли подключил? — натянуто осведомляется он.

— Спрашиваешь! — угрюмо отзывается Тимофей. — Я, чай, полюса-то нитками пометил.

— Ну, тогда, значит, герметичность где-то нарушена, — с отчаянием в голосе констатирует Василий. — Делать нечего. Придётся проверять соединения...

Толпа терпеливо ждёт, пока поочерёдно разбираются все соединения, плотность которых взята на подозрение. Проходит полчаса, прежде чем Василий поднимает над головой изъеденную ржавчиной резиновую прокладку.

— Разве такие лохмотья уберут от подсоса? — вопрошает он.

— Где уж... — сочувственно отзывается дед Емеля.

Под грозным взглядом председателя Тимофей смущённо приседает к насосу.

— Граждане, — обращается к толпе Василий, — нет ли у кого дома прорезиненной материи?

— Неужто нету? — Председатель обводит притихшую толпу умоляющим взглядом.

— Надежда! А, Надежда! — вновь раздаётся старческий голос деда Емели. — Волочи-ка капашон от мишкиной плащ-палатки.

— Ишь, чего вздумал! Новую-то вещь... — отзывается сварливый женский голос.

— Тащи, говорю! — не унимается дед.

Тёмная фигура отделяется от толпы и исчезает в кустах; через некоторое время на помост падает большая резиновая перчатка без двух пальцев. Тимофей достаёт ножницы и аккуратно вырезает кольцо.

— Готово? — нетерпеливо спрашивает Василий. — Ну, взяли...

Фланец плотно садится на место.

— Включаю! — предостерегает Тимофей.

Слышен сдержанный хрип, хлюпанье, однако подставленная к отверстию насоса рука Тимофея остаётся сухой. Василий энергично распрямляется и цепляет плечом за ржавую шляпку гвоздя, торчащего из бревна треноги. На спине повисает аккуратный клин шёлка. Размазывая кровь и тавот, Василий крепко трёт ссадину.

— Такая рубашечка! — насмешливо восклицает Фаина.

Марина молча кусает губы.

— Чёрт с ней! — злобно бросает Василий. — Чего застыл! А отливной кто проверять будет?

Тимофей проворно приседает над шлангом. Сырая тяжёлая труба вывёртывается из рук. Несколько добровольцев вскакивают на помост и осторожно, стараясь не испачкать праздничной одежды, поддерживают шланг на вытянутых руках. Окончательно втянувшийся в работу Василий, пыхтя, сбивает железный хомут.



Тимофей сопит где-то рядом.

— Огоньку-бы... — подаёт голос старая Агафья. — Эги не видать! Втравили, сердешных, в воскресный-то день. Ни стыда, ни совести...

— Петро! — хрипло командует председатель. — Беги до правления — неси «Летучую мышь».

Какой-то парень в толпе срывается с места и исчезает в темноте.

— И так обойдёмся, — отмахивается Василий, — два стыка уже уплотнили — должна бы пойти...

— Теперь пойдёт! — уверенно поддакивает Тимофей, опуская рубильник.

Мотор ровно набирает обороты. Слышится сочное чавканье, затем что-то гулко бурчит. Проходит минута напряжённого молчания.

— Ах ты, собачья шарманка! — в отчаянии кричит Тимофей и добавляет словцо покрепче.

Председатель выразительно стучит кулаком по темени. Девушки отворачиваются, среди парней кто-то громко смеётся.

— Спокойствие, братец, тут женщины, — обрывает его Василий, стараясь сообразить, что делать дальше.

— Подождут, небось, бурёнки до комиссии! — раздаётся озорной голос Фанны.

— Над чем смеётесь? — с упрёком говорит председатель. — Или хребты зудят — по сорок вёдер в день таскать охота?

— Идея! — настаивается Василий. — Давай-ка попробуем залить раковину.

— Далековато колодец-то! — с сомнением поясняет председатель. — Какая же это механизация, раз её вручную заливать?

— Только на первый случай, — уговаривает Василий. — Может, там, в раковине, — местный вакуум.

— А-а... вакуум! — понимающе кивает председатель. — Алёна! Тащи-ка вёдра.

Из коровника выносят пару вместительных вёдер и большую воронку. Василий отвинчивает латунную пробку и суёт рожок воронки в образовавшееся отверстие. Тимофей бежит к колодцу и минут через пять, запыхавшись, ставит на помост первое ведро воды. Василий осторожно вливает воду в конус воронки.

— Емкий какой! — качает головой Василий. — Придётся ещё бежать.

— Дай-ка нам! — кричат из толпы.

После долгого вынужденного безделья все рады как-то проявить себя. С минуту парни, шумно переругиваясь, вырывают вёдра друг у друга, затем как-то стихийно возникает живая цепь. Тяжёлые вёдра, путешествуя из рук в руки, поочерёдно опорожняются в ненасытную утробу насоса.

— Стоп! — внезапно кричит Василий. — Включай, пока не ушла.

Белый фонтан воды на секунду с плеском подымается над площадкой. Василий, отряхиваясь, соскакивает с помоста. Тимофей выжимает кепку. Стайка девушек с громким визгом жмётся к стене коровника. Мотор ещё продолжает работать, но струя уже поникла, и при свете фонаря видно лишь, как из насоса вылетают редкие брызги.

— Ох, и влепят же они мне! — вздыхает председатель, утирая пёстрым платком мускулистую шею.

В глубине перелеска раздаются тоскующие вздохи баяна. В толпе оживлённо шепчутся. Василий молча лезет на помост. Тимофей молча следует за ним.

— Не выключай, — сумрачно говорит Василий.

— Как так? — удивлённо переспрашивает Тимофей.

— Не выключай, говорю! — сердится Василий.

Председатель с угасающей надеждой следит за его действиями. Василий становится на колени и, смахнув на помост латунную пробку, прижимается ухом к сальной кромке зияющего отверстия. На его измазанном лице, освещённом тусклым фонарным светом, отражается удивление и затаённая надежда. Он быстро встаёт и достаёт спички. Вспыхивает жёлтый огонёк. Торжественно, стараясь уберечь огонь от малейшего дуновения, Василий подносит спичку к отверстию. Работающий вхолостую насос мерно дрожит. Толпа наблюдает за действиями Василия так, как зрители в цирке глядят на фокусника. И действительно, с огоньком происходит что-то необычайное: едва Василий подносит его к отверстию, как остренький язычок пламени сбивается, секунду беспорядочно мечется вокруг обугленного стебелька спички и вдруг начинает гореть остриём вниз.

Спичка гаснет, воцаряется недоуменное молчание.

И тут в тишине слышится какой-то сдержанный стон. Тимофей поднимает фонарь. Даваясь от беззвучного смеха, Василий сидит на мокром помосте.

— Я же тебя... Я же тебя спрашивал: подключено правильно? Ой, умру на месте!

— Что такое? — подвигается к помосту председатель.

— Вы же его... Ведь вы же его целый день в обратную сторону крутили... Умора!

Толпа дружно хохочет в ответ.

— Ну, уж это ты, брат, шалишь! — грозно начинает Тимофей.

— Молчи уж! — свирепо обрывает его председатель.

Не переставая смеяться, Василий принимается перевинчивать медные шайбы контактов.

— Кусается! — радостно сообщает он, отдёргивая палец. — Включайка, шеф-электрик.

Недоверчиво косясь на насос, Тимофей опускает рубильник. Завывая, как сирена, мотор набирает обороты. Толстая струя воды фонтаном вырывается из узкого отверстия и высоко взлетает над головами. Толпа дружно шарахается под навес.

— Пошла-а-а!

— Водопадом хлещет!

— Наша взяла!

Вымокший до костей Василий торжественно выключает рубильник. Председатель с неожиданной резвостью бросается на помост.

— Спасибо! От имени правления колхоза, а также...

— Прости, папаша, — стуча зубами, не даёт ему закончить Василий, — сушиться бегу. Завтра в шесть вставать.

Он прыгает вниз, Марина заботливо накидывает на его плечи сухой пиджак. Баян вздыхает где-то у самого уха.

Толпа с шумом окружает баяниста. Раздаются первые аккорды, и какие-то смутные тени уже плавно движутся по площадке.

— Ох, и на кого же ты похож! — вздыхает Марина. — Хоть бы до утра успеть привести тебя в божеский вид.

Она обнимает Василия за талию и осторожно ведёт его через почтительно расступающуюся толпу.

Позади плетётся вконец измученный Тимофей.



---

В. СЕМЕНОВ

★

## НА БЕРЕГАХ ОКИ

Горячий к полудню песок,  
Слепящих бликов трепетанье...

Здесь жизни прожитой кусок —  
Дни детства, годы возмужанья.

Мой городок, где я рождён,  
Пусть был он маленьким и скромным,  
Когда-то мне казался он  
Необычайным и огромным.  
И рядом —  
Тихая вода.  
Гуляют шуки на просторе.  
Казалась мне Ока тогда  
Большой, широкой, словно море.

Всё шло обычным чередом:  
Бежал к реке, сидел над книжкой...

Свой отчий край,  
Свой отчий дом  
Покинул я почти мальчишкой.  
Клубилась пыль на большаке,  
И солнце золотило гречу.  
С друзьями, на грузовике,  
Я уезжал войне навстречу...

Вернулся я издалека  
Уже не мальчиком — мужчиной,  
И словно сузилась Ока,  
Стал меньше городок старинный.  
Но в сердце, в сердце у меня  
Они в чужой, нерусской дали  
Из боя в бой,  
День ото дня  
Всё больше места занимали.

---

---


В. СЕРГЕЕВ

\* \*  
\*

В этом доме привыкли ко мне:  
Лишь войду — подбежит мальчуган  
На своём деревянном коне  
И покажет мне новый наган.

Крепко руку пожмёт мне отец.  
«Здравствуй, здравствуй, орёл!» — пробасит.  
Мать навстречу: «Пришёл наконец?  
Заждались!» — И к столу пригласит.

Лишь одна в этом доме, о ком  
Часто думаю наедине,  
Снова встретит холодным кивком.  
В этом доме привыкли ко мне...



МАЙКЛ УИЛСОН

★

## СОЛЬ ЗЕМЛИ

*Киносценарий*

*14 марта 1954 года в маленьком нью-йоркском театре «Гранд» состоялась премьера фильма «Соль земли», первого в истории американского кино правдивого фильма из жизни рабочего класса, созданного изгнанниками из Голливуда прогрессивными художниками.*

*История этого фильма не менее драматична, чем события героической пятнадцатимесячной стачки американских горняков мексиканского происхождения, о которых он повествует. Американская реакция сделала всё, чтобы сорвать съёмки фильма. Провокации следовали одна за другой. Съёмки были закончены благодаря мужеству и боевой сплочённости горняков и кинематографистов.*

*Мы печатаем помещённый в прогрессивном американском журнале «Калифорния куотерли» сценарий фильма, написанный известным американским сценаристом Майклом Уилсоном.*

Двор домика Кинтеро. День. Женщина колет дрова. Её спина и понурые плечи говорят об усталости. Женщине помогает пятилетняя девочка — она собирает щепки. Звучит музыка; в ней выделяются звуки гитары. Мелодия тоскливая, суровая.

На экране сменяются надписи. Женщина продолжает работать. Она ни разу не поворачивается к зрителю лицом, но постепенно становится заметным, что она беременна. Женщина несёт охапку дров к небольшому костру, разложенному во дворе. Ей тяжело, и она слегка пошатывается. Девочка несёт за нею ящик со щепками.

Женщина подбрасывает дрова в огонь, на котором подогревается таз с водой... Склонившись над тазом, она стирает бельё. Девочка наблюдает за всем, что делает мать... Женщина выжимает бельё и начинает развешивать его на верёвке. Девочка деловито помогает ей.

Женщина продолжает развешивать бельё. Теперь мы видим её лицо: точёное, но уже поплёкшее, похожее на маску, за которой привычно скрыты все чувства; в глазах, полуприкрытых тяжёлыми веками, тлеет огонь, и, хотя губы неподвижны, мы слышим её голос: глубокий, полный тоски, как мелодия, которую играют на гитаре, певучий голос мексиканки

**Голос женщины.** С чего мне начать мой рассказ, у которого нет начала? Как рассказать о том, что ещё только случится?

Бельё, которое развешивает женщина, ветер надувает, словно паруса.  
**Голос женщины.** Меня зовут Эсперанса. Эсперанса Кинтеро. Я жена рудокопа.

Ф а с а д д о м и к а К и н т е р о. Небольшой дощатый дом, окружённый изгородью. За нею растут цветы. Вдоль немощёной улицы стоит ряд таких же домов.

**Голос Эсперансы.** Вот наш дом. Но он нам не принадлежит. А вот цветы, цветы наши.

Ц и н к т а у н. Несколько небольших лавчонок, заправочная станция, беспорядочно разбросанные каркасные домики и глинобитные хижинки. Вдали — католическая церковь.

**Голос Эсперансы.** Это деревня, где я родилась. Когда я была ребёнком, она называлась Сан Маркос.

Рудник на холме. На вершине холма — террикон. Он возвышается над городом, словно вулкан. Почти всю растительность на холме задушила пустая порода с рудника, и кажется, что она вот-вот обрушится на город.

**Голос Эсперансы.** Янки<sup>1</sup> переименовали её в Цинктаун. Цинктаун, штат Нью-Мексико, США.

Коппер Кэньон. Карьер медного рудника.

**Голос Эсперансы.** А соседняя деревня Санта Паула стала называться Коппер Кэньон<sup>2</sup>.

Смелтерсити. Высоко вздымается труба медеплавильного завода.

**Голос Эсперансы.** А там, где раньше была католическая миссия, вырос Смелтер-сити<sup>3</sup>.

Старинное кладбище возле католической церкви.

**Голос Эсперансы.** Мы уходим корнями вглубь этой земли, глубже, чем сосны, глубже, чем шахты рудника.

Быстро несутся большие облака. На горизонте — зубчатый силуэт горного хребта. Склон горы изрезан, изрешечен старыми карьерами. Чуть пониже расстилается пояс пустой породы, остатки брошенного рудника.

**Голос Эсперансы.** Здесь пас скот мой прадед. задолго до того, как сюда пришли янки.

Забор. На заборе надпись «Собственность Делавар цинк инкорпорейтед».

**Голос Эсперансы.** А теперь эти склоны принадлежат компании. Ей принадлежит всё...

Ряд домов. Их нельзя назвать роскошными, но они аккуратно выкрашены и выглядят довольно уютными.

**Голос Эсперансы.** ...даже дома, где живут янки, дома, где есть водопровод и канализация.

Вдали виднеется цинковый рудник.

**Голос Эсперансы.** Земля, на которой находится рудник, принадлежала деду моего мужа.

Рудничные постройки, шахтный копёр, электростанция, контора рудоуправления.

**Голос Эсперансы.** Теперь она принадлежит компании. Мой муж отдал этому руднику восемнадцать лет своей жизни.

Рудник. Рамон Кинтеро за работой. Он поджигает шнуры динамитных патронов, заложенных в скалистую стену узкого штрека. Таких патронов — около дюжины. Штрек освещён лишь лампочкой, укреплённой на каске Рамона.

**Голос Эсперансы.** Полжизни он провёл во тьме, с динамитом...

На экране — бикфордов шнур. По нему бежит огонь.

Штрек. Напряжённое лицо Рамона. Он поворачивается и бежит. На экране виден подпрыгивающий огонёк лампы и длинная тень бегущего человека. Затем — вспышка огня, глухой грохот.

Двор Кинтеро. Эсперанса на минуту прервала работу и тревожно смотрит в сторону рудника. Поднимает тяжёлую корзину с бельём и идёт к дому. Её дочери Эстеллы не видно.

**Голос Эсперансы.** С чего же начать мой рассказ? Не знаю. Этот день запомнился мне как начало конца старой жизни.

<sup>1</sup> В местности, где происходит действие, белых американцев называют «англо», что соответствует значению слова «янки». (Примеч. перев.)

<sup>2</sup> Коппер Кэньон (англ.) — Медная долина. (Примеч. перев.)

<sup>3</sup> Смелтер (англ.) — плавильщик, плавильный завод. (Примеч. перев.)

Кухня в домике Кинтеро. Кухня представляет собой узкий коридорчик; большую часть её занимает старая печь, которую топят дровами. Эсперанса ставит корзину с бельём около гладильной доски, снимает с печи утюг и, посплюнув палец, пробует, нагрелся ли он.

**Голос Эсперансы.** Был день моего рождения. День, который следовало бы отпраздновать. Мне исполнилось тридцать пять лет. И я была на седьмом месяце беременности, ожидая третьего ребёнка.

Вбегают Эстелла и торжественно подаёт матери розу. Эсперанса, тихонько улыбаясь, прикалывает розу к волосам девочки и продолжает гладить. Лицо её становится всё более печальным.

**Голос Эсперансы.** И в этот день, я помню, у меня возникло желание... мысль, такая греховная...

Она конвульсивным жестом подносит пальцы к губам, быстро ставит утюг и выбегает из кухни.

Угол маленькой, тесной столовой. Эсперанса, склонив голову и сжав руки, стоит перед изображением девы Марии.

**Голос Эсперансы.** ...мысль, такая греховная, что я молила бога простить меня за неё. Я подумала... я пожелала, чтобы мой ребёнок никогда не родился. Я не хотела, чтобы он вступил в тот мир, в котором жили мы.

Эсперанса закрывает лицо руками. В комнату входит девочка, серьёзно смотрит на мать.

**Эстелла.** Мама, ты больна?

**Эсперанса.** Нет, Эстеллита.

**Эстелла.** Ты плачешь? (Эсперанса не отвечает.) Мы пойдём в церковь на исповедь?

**Эсперанса.** Потом, когда я кончу гладить. (Выходит.)

Кухня. Эсперанса снова гладит. Через заднюю дверь входит её сын, Луис, красивый мальчик лет тринадцати. Он весь в грязи и тяжело дышит. Наливает себе стакан воды и жадно пьёт. Эсперанса искоса наблюдает за ним.

**Эсперанса.** Опять дрался? (Луис молчит.) С ребятами янки?

**Луис.** Ага. Они думают, что сильнее всех.

**Эсперанса.** Но ты обещал больше с ними не драться.

**Луис** (без тени раскаяния). Папа говорит: если янки смеётся над тобой, всыпь ему хорошенько.

Эсперанса вдруг хватается мальчика за плечо, резко повёртывает его к себе, как будто собираясь ударить, и кричит.

**Эсперанса.** Не слушай, что говорит твой папа...

Она вдруг видит, что у мальчика изо рта идёт кровь. Её гнев как рукой сняло. Она встревожена. Берёт тряпочку и вытирает кровь.

**Эсперанса.** Не вертись... Больно?

**Луис** (вырывается). Нет...

Он замечает на полке торт и суёт палец в крем.

**Луис.** Откуда торт?

Эсперанса хватается торт и хочет спрятать его в шкаф.

**Эсперанса.** Это тебя не касается. Поймай отца, как только кончится смена. Пусть идёт прямо домой.

Мальчик рад, что его отпустили, и стремительно убегает.

Рудник компании «Делавар цинк». Вдалеке виднеется шахтный копёр. Слышен резкий гудок. По мере того, как звук гудка замирает, доносится грохот подъёмника и транспортёра, который время от времени прерывается стуком руды, падающей из ковшей в дробилку. Справа — длинный деревянный барак. Это — здание конторы.

Группа возбуждённых рудокопов решительно направляется к конторе. Впереди — Рамон Кинтеро. Он, как и остальные рудокопы — Анто-

нио Моралес, Альфредо Диас, Себастиан Приэто, Дженкинс и Калининский, — в металлической каске и грязной спецовке.

Помещение конторы. Из кабинета управляющего выходит старший мастер Бартон. Он в костюме цвета хаки и ковбойской шляпе. Увидев рудокопов, идёт им навстречу.

Бартон и рудокопы. Бартон, засунув руки в карманы, загораживает рудокопам дорогу. Рудокопы останавливаются. Бартон — крепкий техасец, на лице его всегда усмешка. Вожак рудокопов Рамон — широкоплечий, красивый мексиканец. Хотя Рамон на год старше Эсперансы, выглядит он моложе её. Его речь и манеры полны сдержанного огня. Во время последующей сцены позади отца появляется Луис. Рудокопы его не замечают.

**Бартон.** Я слышал у тебя что-то случилось, Кинтеро. Плохой шнур? (Рамон кивает.) Но ведь ты целёхонек. Так в чём же дело? К чему поднимать шум?

**Рамон.** Вы сами знаете, в чём дело, — в вашем новом правиле. Как это каждый должен работать один, без помощника?! Мы хотим поговорить с управляющим.

**Бартон.** Управляющий занят — у него ваши представители.

**Рамон.** Тем лучше.

Он собирается итти, но Бартон снова загораживает ему дорогу.

**Бартон.** Погоди-ка. Управляющий сам ввёл это правило. Чёрта с два он даст тебе помощника.

**Рамон.** Даст, если хочет, чтобы мы продолжали работать.

**Бартон.** Почитай-ка свой контракт. А если сам не можешь, пусть тебе его кто-нибудь прочтёт. В нём ничего не сказано о помощнике. Если мы одно время и разрешали тебе иметь помощника, это вовсе не значит, что мы намерены с тобой цацкаться всю жизнь!

**Рамон** (возмущённо). Цацкаться?!

Остальные рудокопы присоединяются к Рамону. Они возбуждённо протестуют, перебивая друг друга.

**Антонио.** Послушайте, мистер Бартон, этот рудник уже полит кровью. Кровью моих товарищей. А всё потому, что им пришлось работать в одиночку...

**Дженкинс.** Здесь только и ждёшь, что тебя разорвёт в клочья, раз некому помочь проверить заряды...

**Альфредо** (пербивая). И некому предупредить других, чтобы держались подальше...

**Бартон.** Это — дело сменного мастера.

**Рамон.** Мастеру нужно, чтобы руда во-время шла на-гора. Рудокоп хочет, чтобы его товарищи во-время ушли из штрека невредимыми.

Слышится шум спора. Рудокопы поворачивают головы. Из кабинета управляющего выходят трое и спускаются по ступенькам крыльца. Это председатель местного профсоюзного комитета Сальвадор Руис, член комитета по переговорам с администрацией Чарли Видаль и представитель центрального комитета профсоюза Фрэнк Барнес.

В дверях появляется управляющий Джон Александер. Сальвадор Руис и его спутники поворачиваются к двери. Александер — высокий, худощавый американец из восточных штатов — грозит им пальцем, отчитывая их, как раздражённый школьный учитель.

**Александер.** Передайте рабочим, что мы скорее бросим рудник, чем согласимся на такие требования. Мы закроем его, мы...

**Сальвадор** (прерывая его). Значит, вы прекращаете переговоры?

**Александер.** Пока вы не образумитесь, нам с вами не о чём говорить. Уходит, хлопнув дверью.



Рамон и Бартон. Бартон с издёвкой смотрит на Рамона, взгляд которого всё ещё устремлён на представителей профсоюза.

**Бартон.** Работай один. Понятно? Не справишься — найду другого.

**Рамон.** Кого? Штрейкбрехера?

**Бартон.** Американца.

Уходит. Рамон стоит не двигаясь. Антонио замечает Луиса, ерошит его волосы.

**Антонио.** Смотри, Луис, когда вырастешь, не лезь в мастера.

**Калинский.** Зачем в мастера? Он будет президентом компании. Правда, Луис?

**Себастиан** (серьёзно). А кстати, кто президент этой компании?

Луис озабоченно смотрит на отца.

**Луис.** Папа...

**Рамон** (перебивая его). Знаю, знаю: «Скажи папе, чтобы шёл прямо домой».

**Антонио** (тоненьким голосом). «И не заходил по дороге в пивную».

Мальчик смеётся. Рамон улыбается, ласково даёт ему подзатыльник, и они уходят.

Кухня в домике Кинтеро. Вечер. Эсперанса выносит из столовой грязную посуду. За ней идёт Эстелла; она несёт свою тарелку. Эсперанса берёт кофейник и видит, что Эстелла подносит свечу к торту, стоящему на полке.

**Эстелла.** Мама, можно, я воткну в него свечки?..

**Эсперанса** (яростно, шёпотом). Тсс... ни слова о торте, слышишь?

Столовая. Это небольшая, тесная комната. Штукатурка на стенах потрескалась и обваливается. Мебель старая, изношенная. Но в комнате царит чистота и порядок. Ветхая кушетка покрыта красивым мексиканским одеялом. В углу — изображение девы Марии. На камине, под портретом Бенито Хуареса<sup>1</sup>, — ваза с цветами. Единственный предмет роскоши в комнате — новенькая полированная радиолка.

Слышны звуки ковбойской песни. Рамон и Луис сидят за маленьким столиком у двери в кухню. Эсперанса вносит кофейник, наливает Рамону кофе. Эстелла входит следом за ней, влезает к отцу на колени.

**Луис.** Папа... вы собираетесь бастовать?

Рамон задумался, не отвечает на вопрос. Эсперансе тоже хотелось бы услышать ответ Рамона. Она наблюдает за ним, пока он пьёт кофе.

**Эсперанса** (наконец решившись, робко). Рамон... я не хотела беспокоить тебя... но заведующая магазином говорит, что если в этом месяце мы не внесём очередной взнос за радиолу, они её заберут.

Рамон устало подпирает голову рукой, словно говоря: как мне всё это надоело! Девочка с серьёзным видом смотрит на отца.

**Эсперанса.** Мы пропустили только один взнос. Я с ней спорила. Они не имеют права!..

**Рамон** (тихо, как бы взывая к небесам). Они, видите ли, не имеют права! А мы имели право покупать эту... штуку? (Встаёт с Эстеллой на руках.) Но тебе во что бы то ни стало нужно было иметь радиолу. Так приятно послушать музыку!

**Эсперанса** (тихо). Да, я слушаю музыку. Каждый вечер, когда ты уходишь в пивную.

Рамон, не обращая внимания на этот мягкий упрёк, подходит к радиоле; он с ненавистью смотрит на неё и говорит, подражая радиорекламе.

<sup>1</sup> Бенито Хуарес (1806—1872) — мексиканский государственный деятель, один из вождей демократической революции в Мексике в 1855—1857 годах. (Примеч. перев.)

**Рамон.** «Вам не надо платить всю сумму сразу. Выгодные условия рассрочки...» Имей в виду, рассрочка — проклятие рабочего класса.

С шумом ставит чашку с кофе на радиолу.

**Эсперанса.** Осторожно, Рамон, ты испортишь её!

Рамон опускает Эстеллу на пол и идёт на кухню. Эсперанса старательно трёт то место, где стояла чашка Рамона.

Кухня. Рамон раздевается до пояса, наливает воду из бака, стоящего на плите, в таз. Эсперанса, стоя в дверях, наблюдает за ним. Она расстроена. Привычным движением она подносит пальцы к губам.

**Эсперанса.** Куда ты?

**Рамон.** Поболтать с ребятами.

Эсперанса кусает палец, стараясь скрыть своё огорчение. Рамон нагибается над тазом и начинает умываться. Он не замечает торта. Эсперанса торопливо прячет его в шкаф. Рамон поливает водой руки и лицо, раздражённо поднимает голову.

**Рамон.** Вода опять холодная.

**Эсперанса.** Прости, огонь погас.

Подбрасывает дрова в печь.

**Рамон.** Неважно.

**Эсперанса.** Неважно? Я пять раз в день колю дрова для печки. И каждый раз я думаю о том, что на той стороне, в домах янки, всегда есть горячая вода. Течёт по трубам. И ванны. В самом доме.

**Рамон** (с горечью). Ты думаешь, мне нравится жить так, как мы живём? Ну, что ты ко мне привязалась?

Тянется за полотенцем. Эсперанса подаёт ему его.

**Эсперанса.** ...Но если ваш профсоюз... если вы требуете лучших условий... почему бы вам заодно не просить, чтобы провели водопровод?

Рамон уклоняется от ответа, застёгивая рубашку. Он считает все эти разговоры бесполезными.

**Рамон.** Мы пробовали, но дело застопорилось.

**Эсперанса.** Почему?

**Рамон** (пожимая плечами). Нельзя добиваться всего сразу. Сейчас есть вещи поважнее.

**Эсперанса** (робко). Но что же может быть важнее чистоты?

**Рамон** (вспылив). Охрана труда рабочих — вот что важнее! За одну неделю пять несчастных случаев, всё из-за вечной гонки! Ты женщина, разве ты знаешь, каково нам там, в руднике!

Эсперанса молча опускает голову. Сняв с плиты тяжёлый бак, она тащит его к тазу и выливает в него воду. Рамон причёсывается.

**Рамон** (более мягким тоном). Сначала нам нужно добиться равенства на работе. А потом уж мы будем бороться за другие требования. Предоставь это мужчинам.

**Эсперанса** (тихо). Понятно. Мужчинам. Чтобы добиться выполнения ваших требований, вы, наверно, будете бастовать. А то, что нужно жёнам, — это потом, как всегда, потом.

**Рамон** (мрачно). Только не смей опять ругать профсоюз.

**Эсперанса** (безнадёжно пожимая плечами). А что мне дал твой профсоюз?

Рамон смотрит на неё удивлённо, без гнева, с горьким недоумением.

**Рамон.** Эсперанса, неужели ты забыла, как мы жили, когда не было профсоюза? (Показывает на столовую.) Помнишь, мы не могли даже позвать доктора, когда заболела Эстелла. Мы собирались тайком на кладбище, чтобы создать профсоюз. Ради кого? Ради наших семей.

**Эсперанса** (с отчаянием). Ладно. Бастуйте. А мне придётся рожать. Но меня не положат ни в одну больницу, ведь я — жена забастовщика.

Магазин перестанет отпускать нам в долг, и дети будут голодные. Мы опять не уплатим в срок взносы, и у нас заберут радиолу.

**Рамон** (в ярости). У тебя на уме только одно — твоя радиола. Неужели ты не можешь подумать ни о ком, кроме себя!

**Эсперанса** (сквозь слёзы). Я думаю о себе иногда, потому что ты никогда, никогда обо мне не думаешь. Никогда! Никогда!

Рыдает, закрыв лицо ладонями. Рамон трясёт её, схватив за руки. Дети тихо сидят за столом в столовой.

**Рамон**. Перестань! Дети смотрят. Перестань!

**Эсперанса** (не может сдержать рыданий). Никогда... никогда...

**Рамон**. А-а-а... что с тобой разговаривать!

Резко отшвыривает руки Эсперансы, чуть ли не отталкивает её в сторону и выбегает из дому. Эсперанса плачет, прислонившись к шкафу. Луис встаёт из-за стола, подходит к двери, смотрит на мать. Затем поворачивается и тоже уходит.

Пивная в Цийктауне. Вечер. Над входом в пивную неоновая вывеска. Изнутри доносятся звуки механического пианино, играющего дешёвенькую мексиканскую мелодию. Луис подходит к двери, на мгновение останавливается и входит в пивную.

В пивной. Маленькая, грязная, плохо освещённая комната, похожая на сотни других пивных в небольших американских городах. У стойки, потягивая пиво, стоят несколько рудокопов. Среди них — Антонио Моралес, Себастиан Приэто и Альфредо Диас. Буфетчик — американец. Антонио обращается к Себастиану.

**Антонио**. Подумаешь, не такой уж труд найти президента этой компании! Как она называется? «Делавар цинк инкорпорейтед». Значит, он живёт в Делаваре. Это небольшой штат. Там его легко найти.

Во время этого разговора входит Луис. Он робко проходит через комнату, мимо мужчин у стойки.

**Альфредо**. Не так-то легко. «Делавар цинк» принадлежит компании «Пан америкэн майнинг энд смелтинг инкорпорейтед».

**Себастиан**. А кому принадлежит «Пан америкэн»?

**Альфредо**. Ты что, не читал профсоюзной газеты? «Континентал фэкторс».

Луис приблизился к столику в глубине комнаты. За столом четверо: Сальвадор Руис, Фрэнк Барнес, Чарли Видаль и Рамон. Сальвадор пьёт кофе, остальные — пиво. Луис останавливается.

**Рамон** (зло). В других рудниках никто без напарника не работает! Янки всегда работают парами. Почему я должен рисковать жизнью? Потому что я мексиканец?

**Сальвадор** и **Чарли**. Но об этом сказано в наших требованиях... мы ведём переговоры...

**Рамон**. Три месяца вы ведёте переговоры! А что толку? (Показывает на Фрэнка.) Вот и Барнес приехал сюда от центрального комитета профсоюза, а чего мы добились? (Перечисляет.) Ни прибавки, ни выслуги лет, ни охраны труда. Ничего.

Никто из сидящих за столом не замечает Луиса. К столу подходят Себастиан Приэто и Антонио Моралес. Антонио ставит перед Рамоном ещё одну бутылку пива.

**Антонио**. Сбавь пары, приятель, не то взорвёшься.

**Рамон** (Фрэнку, не обращая внимания на Антонио). Гонка! Проклятая гонка! Они прижимают нас и требуют увеличить выработку. Нет. Мы должны действовать. Сейчас же.

**Фрэнк**. А остальные тоже так думают?

Рамон через плечо оглядывает стоящих рядом рудокопов. Себастиан неуверенно смотрит на Антонио.

**Антонио** (твёрдо). Да, мы все так думаем. Мы готовы.

**Чарли**. А вам не кажется, что хозяевам самим хочется, чтобы мы забастовали?

**Рамон**. Не морочь голову! Никогда ещё цены на цинк не были так высоки. Они не хотят забастовки. Во всяком случае теперь, когда военный бум в разгаре.

**Фрэнк**. А почему же компания так упорно не идёт на уступки? Она ведь заключила коллективные договоры с другими местными профсоюзными организациями. А с вашей нет. Почему?

**Рамон** (ударяет кулаком по столу). Потому что большинство рабочих здесь — мексиканцы. Потому что мы требуем равноправия с янки: одинаковой зарплаты, одинаковых условий.

**Фрэнк**. Верно. А равноправие это как раз то, на что хозяева итти не хотят. В любой момент они могут сказать профсоюзу янки: «Выто во всяком случае получаете больше мексиканцев».

**Рамон**. Ну и что? Значит, дискриминация бьёт и по янки, но гораздо больнее она бьёт по мне. И я сыт ею по горло...

**Сальвадор**. Нельзя начинать забастовку, если она нужна хозяевам, чтобы разгромить профсоюз. Сначала надо как следует подготовиться, только тогда победишь. Нужно подождать.

**Рамон**. Подождать! А хозяева ждут? Канализации нет. Мои дети болеют. А врач компании ждёт? Ему нужно заплатить двадцать долларов. Вот мы и не вносим один взнос за радиолу, которую я купил для жены. А магазин компании ждёт? И не думает. «Плати, не то мы заберём твою радиолу». Почему хозяйская лавка так торопит? Они хотят запугать нас, вот почему. Хотят привязать нас к этому месту, к добру, которое мы нашли. А я им не дорожу... Я не боюсь... и я сыт... по горло. (Движением руки подкрепляет свои слова.)

**Антонио**. Эй, Рамон! К тебе гонец.

Кивком головы показывает на Луиса. Рамон оборачивается и видит сына. Нахмурился, поднимается и направляется к мальчику.

**Рамон** (резко). Что ты здесь делаешь? (Вдруг встревоженно.) Что-нибудь с мамой?

**Луис** (спокойно). Я подумал, что ты, может быть, забыл...

**Рамон**. Что забыл?

**Луис**. Сегодня мамины именины.

Рамон ошеломлён и пристыжён. Наконец ему удаётся изобразить на лице нечто вроде улыбки.

**Рамон**. Вот тебе на! Ты думаешь, я забыл? Я готовил ей сюрприз... (Обращается к мужчинам за столом, посмеиваясь.) Ну и парень! Никакого терпения. Сегодня именины моей жены. Хотел попросить вас, друзья, насчёт маньяниты...<sup>1</sup>

**Голоса:**

— Конечно.

— Когда?

— Чем позднее, тем лучше...

— Пусть она уснёт...

**Рамон** (увлекаясь собственной выдумкой). А ты, Барнес? Когда-нибудь слышал маньяниту?

Домик Кинтеро. Поздний вечер. Ни в домике Кинтеро, ни в соседних домах не видно света. Во дворе при свете луны мужчины, женщины и дети поют серенаду, которая называется «Лас Маньянитас». Двое мужчин аккомпанируют им на гитарах. Среди поющих — Рамон, Луис, Антонио и Люс Моралес, Сальвадор и Консуэло Руис, Чарли

<sup>1</sup> Маньянита — мексиканская поздравительная песня, нечто вроде серенады. (Примеч. перев.)

и Тереса Видаль, Фрэнк и Рут Барнес, Альфредо Диас с женой, Себастиан Приэто и пожилая седая женщина, госпожа Салазар, которая держится с необыкновенным достоинством. Детей от двух до пятнадцати лет множество, и все они, кроме самых маленьких, поют с таким же увлечением, как и их родители.

Спальня в домике Кинтеро. Ширма отделяет постели детей от кровати родителей. Над кроватью висит распятие. Комната освещена слабым светом ночника. Эсперанса лежит в постели, прикрыв глаза рукой. Доносятся звуки песни. Рука Эсперансы падает на подушку, она открывает глаза и, не шевелясь, прислушивается. Из-за ширмы появляется сонная Эстелла и забирается на постель к матери.

**Эстелла** (удивлённо). Мама, во дворе какие-то люди.

**Эсперанса** (тихо). Там друзья, хорошие друзья, Эстеллита.

**Эстелла**. Почему они поют?

**Эсперанса**. Они поют в мою честь.

**Эстелла**. А сейчас можно зажечь свечки? На твоём торте?

**Эсперанса** (улыбаясь). Да, мы зажжём свечки.

Сбрасывает одеяло и надевает халат.

Домик Кинтеро. В столовой загорается свет. Наружная дверь отворяется, и на пороге домика появляются Эсперанса и Эстелла. Они стоят, улыбаясь, и слушают, как певцы запевают последний куплет. Смех и аплодисменты покрывают заключительные звуки песни. Все, толпясь, входят в дом.

Столовая. Эсперанса принимает гостей. В комнате стоит весёлый шум. Сальвадор Руис наигрывает на гитаре шуточную народную песенку. Чарли Видаль подпевает ему неверным фальцетом. Антонио втаскивает в комнату ящик пива и немедленно начинает раскупоривать его, вручая каждому по пенящейся бутылке. Женщины обнимают Эсперансу, поздравляя её по-английски и по-испански с днём рождения. Последним в комнату входит Рамон. Он встречается с Эсперансой в центре комнаты и молча, с чувством раскаяния смотрит на неё. Она, на мгновение забыв о присутствии гостей, которые тактично держатся в стороне, отвечает ему благодарным взглядом. Глаза её полны слёз, на дрожащих губах появляется улыбка. Привычным жестом она подносит пальцы к губам.

**Эсперанса**. Мне... мне нужно одеться.

Убегает из комнаты. Рамон следует за ней, жестом показывая мужчинам, чтобы они продолжали петь.

Спальня. Рамон неловко обнимает Эсперансу. Она кладёт голову ему на плечо.

**Эсперанса**. Я совсем не хотела плакать. Глупо плакать от радости.

**Рамон**. Я дурак.

**Эсперанса**. Нет, нет. (Щекой прижимается к щеке Рамона.) А пиво стоило очень дорого?

**Рамон**. За него заплатил Антонио.

**Эсперанса**. Прости меня... за то, что я сказала, будто ты никогда обо мне не думаешь.

**Рамон** (делая над собой усилие). Я действительно забыл, какой сегодня день. Мне напомнил Луис.

Эсперанса благодарна ему за честное признание. Она пригибает к себе голову Рамона и целует его. Рамон горячо целует её в ответ.

Двор домика Кинтеро. Эсперанса колет дрова у двери кухни. Звучит весёлая мелодия маньяниты, исполняемая на гитаре. Эсперанса останавливается, но мелодия всё ещё звучит в её ушах.

**Голос Эсперансы**. Всю следующую неделю я вспоминала мою маньяниту. Никогда ещё у меня не было такого весёлого праздника...

Эсперанса вспоминает именины. На экране появляется кадр: она и Эстелла, окружённые весёлыми гостями, задувают свечи на именинном торте.

**Голос Эсперансы.** Это воспоминание, как песня, звучало у меня в сердце. Как прекрасная мечта, оно скрашивало долгие дни, полные тяжкого труда...

Двор домика Кинтеро. Эсперанса, склонившись над большим тазом, стирает. Когда она поднимает голову, улыбка, вызванная воспоминанием о маньяните, озаряет её лицо.

**Голос Эсперансы.** Все мы, даже Рамон, в тот вечер забыли о своих невзгодах...

Рамон танцует с Консуэло Руис, а Эсперанса с улыбкой смотрит на них.

**Голос Эсперансы.** Я не могла танцевать в ту ночь, ведь я ждала ребёнка. И я не ревновала Рамона, когда он танцевал с другими... Как хорошо было снова видеть на его лице улыбку!..

Столовая в домике Кинтеро. За столом — семья Кинтеро. Эсперанса подаёт обед. Она наливает бобовую похлёбку в тарелку Рамона. Рамон жадно ест, но Эсперансе поесть некогда.

**Голос Эсперансы.** А потом, как-то утром, я развешивала бельё, а Люс Моралес стала отпускать шуточки насчёт Рамона и о том, как много он танцевал с Консуэло на именинах...

Эсперанса развешивает бельё, лицо её мрачнеет от ревности.

**Голос Эсперансы.** Люс не имела в виду ничего дурного... но иногда она любит посплетничать.

Соседний двор. Видны ворота. Три женщины входят во двор домика Моралесов и подходят к Люс. Они подзывают и Эсперансу.

**Голос Эсперансы.** В это время пришли Тереса Видаль, Консуэло Руис и миссис Барнес. Это была делегация, обходившая жён рудокопов. По поводу канализации...

Эсперанса подходит к группе женщин у забора. Во время последующего разговора маленькая Эстелла и ребёнок Люс всё время лазят по забору, то вверх, то вниз, словно исполняя замысловатый акробатический танец. Люс продолжает развешивать бельё. Делегация женщин серьёзно убеждает в чём-то её и Эсперансу, но слышен только голос Эсперансы.

**Голос Эсперансы.** Тереса сказала, что канализация — это совсем как погода: все о ней говорят, но никто не может с ней сладить. У янки на той стороне есть ванны, и в их домах всегда есть горячая вода. Вот Консуэло и спросила: почему бы и нам не иметь того же?

**Эсперанса** (со вздохом). Знаю. Я уже говорила об этом Рамону на прошлой неделе.

**Рут.** И что он сказал?

**Эсперанса.** Они вычеркнули этот пункт из своих требований.

**Консуэло** (со вздохом). Как всегда.

**Тереса** (она настроена по-боевому). Надо заставить наших мужчин понять... Они должны поднять этот вопрос. (К Рут.) Покажи ей лозунг.

Рут поднимает транспарант, который она держала в опущенной руке. На нём написано: «Нам нужны водопровод и канализация, а не дискриминация!»

**Консуэло.** Мы сделаем много таких плакатов. А потом соберём всех жён и пойдём прямо на рудник.

**Эсперанса.** На рудник?

**Тереса.** Конечно. Туда, где они ведут переговоры, к конторе компании. Мы расставим там пикеты.

**Консуэло.** Тогда обе стороны поймут, что нам не до шуток.

**Эсперанса** (в полнейшем изумлении). Пикеты? Женщины пойдут в пикеты?..

**Рут.** А почему бы и нет?

**Люс** небрежно швыряет на верёвку пару брюк.

**Люс.** Я с вами.

**Эсперанса** (шокирована). Люс!

**Люс.** Нам бы не мешало вступить в профсоюз дровосеков. Мы колем дрова, чтобы приготовить завтрак. Колем дрова для стирки. Колем дрова, чтобы разогреть утюг. Колем дрова, чтобы помыть пол, приготовить обед для мужа. А когда он приходит домой, он говорит (передразнивает Антонио): «Не пойму, что ты делала целый день. Читала юмористические рассказы?»

Все, кроме Эсперансы, смеются.

**Тереса.** Ну как, Эсперанса? Пойдёшь с нами?

**Эсперанса.** Нет, нет. Не могу. Если Рамон увидит меня в пикете... (Замолкает.)

**Консуэло.** Что он сделает? Побьёт тебя?

**Эсперанса.** Нет... Нет!..

Вдруг издалека слышатся пять коротких сигналов парового гудка. Женщины мгновенно смолкают, прислушиваются. Сигналы повторяются — снова пять коротких гудков.

**Рудник.** Над копром облачки пара. Снова раздаются пять коротких гудков.

**Двор.** Женщины во дворе словно окаменели. На их лицах тревога. Люс вслух произносит то, о чём уже подумали все.

**Люс.** ...несчастье.

Она снимает сынишку с забора и бежит с ним к воротам, на улицу. Остальные, как замороженные, следуют за ней. Гудки продолжают. Из всех домов выбегают женщины. Они смотрят в сторону рудника.

По немощёной улице, ведущей к руднику, вереницей спешат женщины. Беременная Эсперанса с трудом поспевает за другими, держа за руку Эстеллу.

**Рудник.** Со всех сторон к шахте бегут люди. Двое несут носилки. Гудок здесь слышен гораздо громче.

**Контора.** Уполномоченные профсоюза Руис, Видаль и Барнес выходят из конторы и быстро направляются к руднику. Управляющий Александер и двое служащих компании идут за ними следом.

**Дорога,** ведущая к руднику. Жалобный вой сирены. Старая, запылённая санитарная машина мчится по узкой дороге, подсакивая на ухабах. Женщины отходят в сторону, уступая ей дорогу.

**Надшахтный копёр.** Толпа рудокопов теснится вокруг подъёмника, напряжённо ожидая подъёма клетки. Несколько рудокопов в металлических касках плотно набились в клетку. Их лица так густо покрыты чёрной пылью, что никого нельзя узнать.

Женщины и дети столпились на возвышении, неподалёку от шахты. Из-за спин рудокопов им не видно, сколько там потерпевших и кого вынесли. На носилки кладут человека. Два рудокопа несут его к санитарной машине. От толпы отделяется женщина и бежит вниз по склону холма. У остальных из груди вырывается вздох — вздох облегчения, тревоги, сочувствия.

**Люс.** Это мистер Калинский.

Вокруг санитарной машины толпятся рудокопы. Пострадавшего поднимают и кладут в машину. Дверцы захлопываются. В это время подбегает жена Калинского. Она стучит кулаками в дверцы.

**Калинская** (истерически). Дайте мне на него взглянуть! Пустите!

Несколько рудокопов пытаются её успокоить. Машина трогается. Калининскую отводят в сторону.

**Голоса:**

— Не волнуйтесь, миссис Калининская, он поправится...

— У него только сломана нога...

— Не расстраивайтесь, увидите его в больнице...

Управляющий Александр подходит к старшему мастеру. Рядом с ним Рамон, в грязи, мокрый от пота. Он в бешенстве.

**Александр.** Как это произошло?

**Бартон.** Он вошёл в штрек, когда этот парень (показывает на Рамона) взрывал породу.

**Рамон** (в нём всё кипит). Я говорил вам, что случится несчастье! Это неизбежно, если человек работает один.

**Александр** (Рамону). А почему ты не дал предупредительного сигнала?

**Рамон** (показывает на Бартона, с горечью). Ваш мастер говорит, что это — дело мастера.

**Бартон.** Я проверил штрек перед самым взрывом. Там никого не было. Очевидно, Калининский там спал...

**Рамон.** Ты и близко не подходил к штреку. Ты был на станции. Калининский сказал мне...

**Бартон** (тихо). Врёшь, жёлтая образина. Ах ты, грязная...

Рамон бросается на Бартона. Бартон отталкивает его. Рамон снова пытается его ударить, но Сальвадор Руис и Фрэнк Барнес оттаскивают его. Слышен гул гневных голосов.

**Голоса** (по-испански и по-английски):

— Пустите меня! Я убью его!

— Держите его! Держите его!..

— Брось, Рамон!

— Ладно, ладно... Перестаньте!

**Александр** (указывая на Рамона). Эй, ты! Возьми себя в руки. Человек ранен. Мне так же неприятно, как и тебе. Понял?

Рамон наконец притих. Рудокопы собрались позади него. Образовалось нечто вроде колонны. Три представителя профсоюза, Рамон, управляющий и старший мастер стоят впереди. Александр обращается к рудокопам.

**Александр.** Несчастные случаи дорого обходятся всем, а дороже всего — компании. Мы потратили немало времени, обсуждая этот вопрос с вашими представителями.

**Сальвадор.** Вы хотите сказать, что мы потратили время зря. Вы ведь только мотали головой в знак отказа.

**Александр** (язвительно). Приберегите ваши шуточки для дальнейших переговоров. (Смотрит на часы.) А сейчас я не вижу оснований считать, что у вас выходной день. Может быть, приступим к работе?

Делает несколько шагов, но, заметив, что никто не двигается, останавливается.

**Александр** (тоном приказа). Мистер Бартон!

**Бартон** (как ни в чём не бывало). Ладно, ребята, пошумели и хватит! Пошли работать.

Направляется к подъёмнику. Но рудокопы не двигаются. Слышны какие-то невнятные слова, произносимые по-испански.

**Голоса:**

— ...время.

— Да, я думаю, что так...

**Александр** (потеряв терпение, обращается к Видалю), Что они говорят?



**Чарли.** Не пойму.

**Александр (Фрэнку).** Ну как, Барнес? Скажите им, чтобы шли на работу.

**Фрэнк (с усмешкой).** Не они работают на меня, а я работаю на них.

**Александр (резко).** Руис!

Сальвадор Руис не спеша зажигает сигарету. Потом кричит по-испански.

**Сальвадор.** Решайте, ребята!

По рядам рудокопов проходит гул: «Да, да...» Несколько рудокопов оборачиваются к Рамону. Внезапно Рамон делает резкий поворот и направляется к электростанции, расположенной рядом. Проходя через шеренгу рудокопов, он кричит во весь голос.

**Рамон.** Сенте!

Дверь электростанции. Человек, которого называли Сенте (Висенте), высовывает голову из двери металлической будки. Слышится громкий крик Рамона.

**Голос Рамона.** Кончай!

Голова Сенте исчезает.

Распределительный щит, на котором несколько огромных рубильников. Рука Сенте выключает ток.

У рудника. Громадная дробильная машина для первичной обработки руды, в которой грохочут куски породы, вдруг останавливается. Транспортёр, по которому движутся небольшие куски руды, поступающие из дробилки, останавливается. Внезапно воцаряется мёртвая тишина.

Рамон возвращается к товарищам и становится возле Антонио, в конце шеренги рудокопов. Никто не двигается. Все молчат.

Антонио толкает Рамона, показывая ему на что-то вдали. Рамон поворачивает голову. Вслед за ним поворачивают головы все рудокопы.

Мастер и управляющий смотрят на молча стоящих впереди рудокопов. Бартон понимает, что взгляды рудокопов устремлены не на него, а на что-то позади него или над ним. Он бросает взгляд через плечо. Александр медленно следует его примеру.

На холме над рудником — толпа женщин и детей. Они тоже молчат. Платья женщин колышутся на ветру, как разноцветные флаги, как потрёпанные в бою знамёна партизанского отряда, который прибыл сюда, чтобы оказать помощь регулярной армии.

На экране — дощечка с автомобильным номером. Она выдана в штате Нью-Мексико. Хотя дело происходит вечером, на белом поле дощечки ясно видны слова: «Волшебная страна».

На экране — нога в ковбойском сапоге на автомобильном буфере. Постепенно в поле зрения попадают брюки защитного цвета, кобура, перламутровая рукоятка револьвера и, наконец, вся фигура помощника шерифа<sup>1</sup>, прислонившегося к крылу своей автомашины. Ковыряя в зубах спичкой, он смотрит на дом, где помещается профсоюзный комитет.

Машина стоит подозрительно близко к входу в здание. Освещённая вывеска над дверью говорит о том, что здесь помещается профсоюз. Из переполненного зала доносится шум. Около здания стоит ещё одна машина. В ней — женщины и дети.

**Голос Эсперансы.** В этот вечер мужчины созвали профсоюзное собрание, чтобы утвердить решение о забастовке.

Внезапно из здания доносится шум аплодисментов. Дверь распахивается. Оттуда выскакивает Луис с каким-то вихрастым мальчиком. Они бегут к машине, в которой сидят женщины.

<sup>1</sup> Помощник шерифа — то же, что полицейский. (Примеч. перев.)

**Голос Эсперансы.** Им не пришлось долго заседать. За забастовку проголосовали девяносто три человека, против — пять.

Дверь машины открывается. Оттуда выходят Рут Барнес и Тереса, сидевшие впереди, и Консуэло с грудным ребёнком на руках, сидевшая сзади. Последней из машины вылезает Эсперанса. У неё на руках спящая Эстелла.

**Голос Эсперансы.** ...Тереса сказала, что теперь пора и нам войти в зал. Я не хотела туда идти... Ведь я никогда в жизни не была на профсоюзном собрании. Но женщины заявили, что если уж идти, так идти всем...

Женщины уговаривают Эсперансу. Она неохотно идёт за ними к дверям.

Зал в доме профсоюза. На скамейках в центре зала тесно сгрудилось около сотни рудокопов. В президиуме — руководители профсоюзной организации. Председательствует Сальвадор Руис. Рядом с ним за столом сидит Фрэнк Барнес. Около председателя стоит оратор — Чарли Видаль. Он о чём-то горячо говорит.

**Голос Эсперансы.** Мы вошли, когда собрание уже подходило к концу. Выступал Чарли Видаль. Он говорил, что у этой забастовки одна цель — добиться равноправия. Но владельцы рудника ни перед чем не остановятся, чтобы не дать нам этого равноправия.

Мужчины так увлечены речью Чарли Видаль, что не замечают появления женщин, которые на цыпочках проходят к боковой скамье у стены. Эстелла просыпается и, ослеплённая ярким светом, жмурит глаза.

**Голос Эсперансы.** Хозяева, по словам Чарли, будут уверять, что цинк необходим для военных целей, и поэтому каждый забастовщик — изменник родины. Они попытаются натравить янки и мексиканцев друг на друга, предлагая награду тому, кто предаст своих братьев... На это у нас есть один ответ, сказал он: солидарность трудящихся.

Чарли кончает говорить и под громкие аплодисменты садится на своё место. Сальвадор встаёт, стучит председательским молотком. Рут и Тереса подталкивают Консуэло, заставляя её подняться. Но Консуэло робеет, она крепко прижимает к себе спящего ребёнка. Рут выхватывает у неё ребёнка, а Тереса почти силой заставляя Консуэло встать.

**Голос Эсперансы.** Они уже собирались объявить собрание закрытым, когда Консуэло наконец попросила слова.

Чарли Видаль дёргает Сальвадора Руиса за рукав и показывает в сторону женщин.

**Сальвадор.** Вы хотите что-нибудь объявить, женщины?

**Консуэло** (запинаясь). Да... нет, объявлять нам нечего... Женщины хотят, чтобы я...

**Голос из зала.** Громче!

**Сальвадор.** Может быть, ты подойдёшь сюда, Консуэло?

Консуэло выходит вперёд. Она чувствует себя мучительно неловко. Повернувшись к залу, она начинает говорить, всё ещё запинаясь, но на этот раз уже громче.

**Консуэло.** Женщины говорили о водопроводе и канализации... и мы подумали, что... если наша цель, как вы сказали, — равноправие, может быть, нам стоит требовать равноправия и в этом...

Зал. Часть рудокопов недовольна вмешательством женщин. Другим оно кажется забавным. Антонио что-то шепчет Альфредо. Тот смеётся. Рамон, нахмурившись, бросает на Эсперансу такой взгляд, словно она совершила тяжкое преступление или вошла в церковь с непокрытой головой.

**Голос Консуэло.** Мы думали, что хорошо бы включить и это в требования забастовщиков... Вот тут женщины. Они спрашивают, не могут ли они чем-нибудь помочь. Нам кажется, что следовало бы организовать

при профсоюзе женский вспомогательный комитет. Ну вот и всё, что мы предлагаем: канализация и женский комитет.

Консуэло поспешно возвращается на своё место. Слышны отдельные робкие хлопки, но кто-то визгливо смеётся, и по залу прокатывается хохот. Встаёт Сальвадор Руис. Он смущённо улыбается.

**Сальвадор.** Имейте в виду, ребята, что лично я не просил мою жену выступать с этим предложением... (Смех.) Спасибо женщинам за предложенную помощь, но мы не можем организовать женский вспомогательный комитет без санкции центральной организации, а чтобы её получить, нужно время. Что же касается второго предложения, то уже поздно, и я предлагаю отложить его обсуждение. Нам сегодня ещё надо провести собрание командиров пикетов...

**Первый рудокоп** (из зала). Предлагаю закрыть собрание.

**Второй рудокоп.** Поддерживаю.

**Сальвадор.** Принимается.

Ударяет молотком в знак того, что собрание закрыто. Несколько рудокопов бросаются к выходу. Остальные толпятся в зале. Рут и Консуэло направляются к столу президиума. На экране быстро следуют один за другим четыре кадра.

Сальвадор и Консуэло. Сальвадор сталкивается с Консуэло у стола президиума и беспомощно разводит руками.

**Сальвадор.** Почему ты меня не предупредила? Я совсем растерялся.

**Консуэло.** Растерялся! (Чуть не плачет.) А что же сказать обо мне!

Рут и Фрэнк. Рут наклонилась к Фрэнку через стол, не дав ему встать, и холодно спрашивает.

**Рут** (резко). Почему ты её не поддержал? Ты хуже их всех.

**Фрэнк.** Но, солнышко...

**Рут.** Лучше бы уж повесил объявление: «Собакам и женщинам вход запрещён!»

Чарли и Тереса.

**Чарли.** Но, Тереса, с такими вещами нельзя торопиться.

**Тереса** (яростно). Однако вы же поторопились поставить нас на своё место.

Эсперанса и Рамон у выхода. Рудокопы выходят из зала. У Эсперансы на руках заснувшая Эстелла. Рамон идёт последним. Один из рудокопов говорит другому.

**Первый рудокоп.** Совсем неплохая мысль — снова включить в наши требования вопрос о водопроводе и канализации.

Рамон чуть заметным жестом предлагает Эсперансе следовать за ним. Она подчиняется.

У помещения профсоюза. Из двери выходит Рамон и направляется за угол дома. Там, в темноте, его догоняет Эсперанса. Рамон говорит тихо, показывая на Эстеллу.

**Рамон.** Для чего ты притащила её сюда?

**Эсперанса** (вопрос застиг её врасплох). А что мне было делать? Вообще не приходило?

**Рамон.** Вот именно. Зачем ты пришла?

**Эсперанса** (пытаясь оправдаться). Меня уговорили.

**Рамон.** Слава богу, ты хоть не сделала из себя посмешище, как Консуэло.

Оглядывается, не смотрит ли на них кто-нибудь. Поблизости никого нет. Он обнимает жену.

**Рамон.** Тебе здесь нечего делать. (Целует спящую дочь.) Позаботься лучше о ней... (Легонько хлопает жену по спине.) И о малыше, который скоро появится на свет... (Целует Эсперансу в щёку.) И обо мне. Мне ты нужна такая, какая ты есть...

**Голос третьего рудокопа** (за кадром). Эй, Рамон!

Вход в дом, где помещается профсоюзный комитет. Третий рудокоп. Тебя ждут. Собрание командиров пикетов!

Рамон машет ему рукой и возвращается в зал. Эсперанса делает несколько шагов по направлению к входу в здание и попадает в полосу света, падающего из открытой двери.

Эсперанса в толпе рудокопов. Одни из них входят в здание, другие выходят из него. Сонная Эстелла, разбуженная поцелуем отца, ещё крепче обхватывает шею матери ручками и притягивает её голову к себе всё ниже и ниже. Эсперанса стоит неподвижно, никого и ничего не замечая, — одинокая женщина в толпе озабоченных и деятельных мужчин, которым нет до неё никакого дела.

Линия пикета. Тридцать—сорок мужчин шагают по кругу, справа налево, по грунтовой дороге. За ними по обе стороны дороги виднеются две доски с надписями: «Делаварцинккомпаниинкорпорейтед», «Проходзапрещён!», «Рудокопыбастуют!», «Даёшьравноправие!»

Эти надписи как бы отмечают условную границу пикета. Единственный удобный путь к руднику — эта дорога. Справа от неё — крутой, заросший лесом склон. Дорога огибает холм, подходит к террикону и от него поворачивает вверх, к руднику. Слева от дороги — железнодорожная ветка и овраг, через который переброшен железнодорожный мост. За мостом развилка дорог, одна из которых ведёт к Цинктауну. Недалеко от пикета на дороге стоят две автомашины шерифа. Женщин не видно.

**Голос Эсперансы.** Так всё и началось, — впрочем, так начинаются все забастовки. Компания заявила, что не пойдёт ни на какие уступки, пока рудокопы не вернуться на работу. Но это не подействовало. Рамон говорит, что легче отыскать богатого в раю, чем штрейкбрехера в Цинктауне...

К пикету медленно приближаются два открытых автобуса со штрейкбрехерами. Первый автобус останавливается перед преградившей ему путь живой стеной. Пикетчики держатся спокойно. Но в их молчаливой сплочённости есть что-то грозное.

**Голос Эсперансы.** Поэтому компания завербовала горсточку штрейкбрехеров в других местах. Все они были янки — либо бывшие владельцы ранчо, лишившиеся земли, либо юнцы, которые ищут приключений. Так говорил Рамон.

Первый автобус делает резкий поворот и едет обратно. Второй автобус следует за ним.

**Голос Эсперансы.** Но при виде такого большого пикета они всегда пугались. И большинство из них никогда уже не возвращалось...

Вокруг автомашин шерифа праздно стоят его помощники. Их человек шесть. Все они в костюмах защитного цвета, ковбойских сапогах и шляпах с широкими загнутыми полями. На боку у них демонстративно болтаются пистолеты, кобуры подвешены низко, как у гангстеров из бульварного романа.

**Голос Эсперансы.** Помощники шерифа постоянно находились около пикета. Они выставляли напоказ оружие, ожидая случая, чтобы пустить его в ход. Но день за днём, неделя за неделей рудокопы спокойно шагали в пикете, а повода для стрельбы всё не находилось...

Улица посёлка у домика Кинтеро. День. В кузове грузовичка стоят Чарли Видаль и один из рудокопов. Они выдают паёк Эсперансе и Люс Моралес. В мешочках — бобы, кукурузные хлопья, кофе и другие продукты.

**Голос Эсперансы.** Сначала действовал неписанный закон — женщины должны оставаться дома. Профсоюз давал нам небольшой паёк, на который было очень трудно прокормить семью.

**Линия пикета.** День. Ряды пикетчиков несколько поредели. Рудокопы устали от монотонной ходьбы и теперь движутся в менее строгом порядке. Недалеко от пикета стоит госпожа Салазар (старая женщина, принимавшая участие в маньяните). Она вяжет. Командир пикета Рамон и другие пикетчики смущённо поглядывают на неё.

**Голос Эсперансы.** Но вот однажды утром к пикету подошла госпожа Салазар. Её мужа убили во время забастовки много лет назад... и ей хотелось быть с забастовщиками.

**Линия пикета** спустя несколько дней. Госпожа Салазар шагает в рядах пикетчиков. Она не перестаёт вязать. На её лице всё то же выражение спокойной решимости.

**Голос Эсперансы.** Никто не помнит, как это произошло, но однажды госпожа Салазар присоединилась к пикетчикам и стала ходить вместе с ними.

**Линия пикета.** У старого, потрёпанного автомобиля Тереса Видаль наливает кофе своему мужу.

**Голос Эсперансы.** А через некоторое время кое-кто из женщин стал приносить мужьям кофе, а иногда и несколько лепёшек. Ведь в пикете устаёшь и хочется есть...

**Пикетчики.** Несколько пикетчиков с завистью смотрят на Антонио, который жадно ест лепёшки, принесённые Люс.

**Голос Эсперансы.** Как раз в это время профсоюз наконец решил, что стоит создать женский вспомогательный комитет.

**Пикет на следующий день.** Несколько рудокопов превратились в плотников. Они мастерят около пикета будку из старых досок и листов железа. Перед недостроенной будкой женщины уже установили стол. На нём — кастрюли с бобами, кофейник и другая посуда. Эсперансы нет среди женщин.

**Голос Эсперансы.** Забастовочный комитет заявил, что закусовая поднимет дисциплину среди пикетчиков. Они смогут во-время питаться, а когда захотят — пить горячий кофе.

**Будка около пикета.** День. Будка готова. К её двери подходит Рамон. Какая-то женщина подаёт ему чашку кофе. Он пьёт и делает недовольную гримасу.

**Голос Эсперансы.** Сначала я не подходила к пикету. Время родов приближалось, да и Рамон не хотел, чтобы я была там. Но Рамон любит хороший кофе. А по его словам, другие женщины готовят его из рук вон плохо. Он у них отдаёт цинковой пылью...

**Будка около пикета.** В дверях стоит Эсперанса. Её беременность стала ещё более заметной. Но лицо освещено редкой для неё счастливой улыбкой; она наливает Рамону чашку кофе. Из-за материнской юбки выглядывает Эстелла.

**Голос Эсперансы.** И вот как-то раз кофе сварила я сама...

Рамон, потягивая кофе, возвращается к пикету. Пикетчики группами стоят на дороге. Среди них — Калинин. Он на костылях, нога его в гипсе. Рамон вынимает из кармана рубашки список и начинает переключку.

**Рамон.** Посмотрим, кого нет. Кампос!

**Калининский.** Он болен... лежит дома.

**Рамон.** Приэто... Себастиан Приэто!..

**Второй рудокоп.** Не видел его два дня.

Появляется Дженкинс. Он весело улыбается.

**Дженкинс.** Эй, Рамон, послушай-ка, что я расскажу. Вчера ко мне приходил старший мастер, обещал сделать меня сменным мастером, если

я покажу пример другим и встану на работу... «Дженкинс,— сказал он,— зачем тебе пугаться с этими мексиканцами? Им что? Они ведь жрут один перец». — «Я сам привык есть перец», — ответил я ему.

Пикетчики смеются. Рамон тоже улыбается, но смотрит на Дженкинса с заметным подозрением. В это время со склона горы спускается патруль из трёх рудокопов во главе с Альфредо Диас. Альфредо, тяжело дыша, докладывает Рамону.

**Альфредо.** Два штрейкбрехера пробрались на тот склон горы. Остальных мы прогнали.

**Рамон.** Кто они? Узнал их?

**Альфредо** (отрицательно качает головой). Янки, чужие. Не из нашего посёлка. Это не рудокопы, ручаюсь. Они не отличат цинк от гуталина.

**Рамон.** Ладно. Возьми с собой пять человек. Выпей сначала кофе.

Патрульные направляются к будке за кофе. Один из пикетчиков кричит.

**Пикетчик.** Эй, Рамон, едет управляющий!..

Дорога из Цинктауна. Медленно едет новенький, сверкающий «кадиллак». Он останавливается на некотором расстоянии от пикета. За рулём «кадиллака» — управляющий Александр. Рядом с ним Джордж Хартуэлл, представитель компании из Нью-Йорка. На нём безупречно сшитый габардиновый костюм и светлая шляпа. Он смотрит через плечо Александра.

**Александр.** Поглядите, отсюда видно всё как на ладони. Вон их главный пикет. Второй пикет находится за рудником, и есть ещё патрули...

На экране — автомашины шерифа, пикет, неогороженный склон горы, террикон.

**Голос Хартуэлла.** Они же расположились на территории компании! Почему вы не вышвырнули их отсюда?

**Голос Александра.** Но ведь здесь всё принадлежит компании, мистер Хартуэлл: магазины, дома, одним словом, всё. Куда же их вышвырнуть? И кто их вышвырнет?

Снова «кадиллак».

**Хартуэлл.** А куда девалась та тысяча долларов, которую мы ассигновали, чтобы нанять новых помощников шерифа?

**Александр.** Очевидно, застряла в кармане шерифа.

**Хартуэлл** (с раздражением). В будущем сами нанимайте охрану. Оформляйте её как помощников шерифа, но платите ей сами.

Александр кивает, включает скорость, и машина трогается.

Дорога. Движущийся «кадиллак». За поворотом дороги «кадиллак» поднимается в гору и останавливается, на этот раз около машин шерифа, примерно в тридцати шагах от пикета. Шериф подходит к «кадиллаку».

«Кадиллак». Шериф подходит к нему с той стороны, где сидит Александр. Внешность и речь шерифа типичны для скотовода из Нью-Мексико. В знак приветствия он почтительно дотрагивается до своей ковбойской шляпы.

**Шериф.** Доброе утро.

**Александр.** Как дела?

**Шериф.** Сегодня утром мы на грузовике привезли парней, которых вы наняли. Но стоило им взглянуть на пикет, как их и след простыл.

**Хартуэлл** (смотрит на пикет). Не вижу, чего тут пугаться.

**Шериф** (скептически). Да нет, мистер Хартуэлл, там есть крепкие ребята. Особенно командир, забыл как его зовут. Кажется, Рэй, Рэймонд или что-то в этом роде...

**Александр.** Да, да. Этого я знаю. (Задумчиво.) Неплохо бы побить с него спесь. А?

Включает скорость, машина трогается. Шериф вежливо притрагивается к шляпе.

**Пикет.** Пикетчики ходят по узкому кругу поперёк дороги. Рядом с ними на костылях ковыляет Калинин. Посредине дороги лицом к пикету и спиной к приближающемуся «кадиллаку» стоит Рамон. Он с притворной суровостью отчитывает рудокопов.

**Рамон.** Почему вы не даёте дорогу этим джентльменам? Разве вы не знаете, чья это машина?

**Антонио** (кричит). Это кассир из Москвы, привёз нам золото!

**Рамон.** Что ты! Это сам президент компании, собственной персоной. Специально прибыл сюда издалека, чтобы назначить Дженкинса главным управляющим. Почему же вы так плохо себя ведёте?

Рудокопы, продолжая шагать, весело смеются. Один из них дружески хлопает Дженкинса по спине.

Внутри «кадиллака». Машина вынуждена остановиться. Из неё виден пикет. Александр уже привык к такому обращению, но Хартуэлл злится.

**Хартуэлл.** Неужели они нас не пропустят?

**Александр.** В конце концов пропустят. Это просто небольшое представление, чтобы показать нам свою силу.

**Хартуэлл.** Ребятчество!

**Александр.** Они во многом ещё дети. Иногда нужно погладить их по головке, а иногда дать взбучку. Время от времени неплохо и поморить их голодом.

**Хартуэлл.** В Нью-Йорке недовольны этой стратегией голода. Рудник не работает уже шесть недель.

**Александр** (показывая куда-то за кадр). Вот тот, о ком мы говорили. Рамон выходит из пикета и направляется к машине. В руках у него чашка, из которой он отхлёбывает кофе. Александр посмеивается.

**Александр.** Занятный тип. Утверждает, что земля, на которой расположен рудник, когда-то принадлежала его деду.

Оба смеются.

Рамон подходит к машине, наклоняется и заглядывает внутрь.

**Рамон** (вежливо). Хотите проехать к конторе, мистер Александр?

**Александр** (сдержанно улыбается). Конечно. Думаешь, я приехал сюда выпить кофе?

**Рамон.** Угощайтесь.

**Александр.** Спасибо.

**Рамон** (взглянув на Хартуэлла). Ребята интересуются, кто этот джентльмен?

**Александр.** Их это не касается.

**Хартуэлл** (быстро). Ладно, ладно. Какой тут секрет? Я Хартуэлл, из Восточного управления компании.

**Рамон.** То есть из Делавара?

**Хартуэлл.** Нет, из Нью-Йорка.

**Рамон** (с притворным почтением). Из Нью-Йорка? Уж не президент ли вы компании?

**Хартуэлл** (слегка улыбаясь). Нет.

**Рамон.** Какая жалость! Ребятам так хотелось поглядеть на президента. (С интересом.) Вы, верно, приехали, чтобы уладить дело с забастовкой?

**Хартуэлл** (пожимает плечами). Если удастся...

**Рамон.** Конечно, удастся. Попробуйте начать переговоры.

**Хартуэлл** (холодно, обращаясь к Александру). Это что, представитель профсоюза?

**Александр.** Не совсем. Но я хотел бы, чтобы он им был. Он понимает в рудном деле куда больше тех бумажных крыс, с которыми нам приходится иметь дело.

Хартуэлл не понимает неожиданного хода Александра. Но лицо Рамона сразу же становится непроницаемым. Александр смотрит на Рамона, стараясь говорить как можно искреннее.

**Александр.** Поверь мне, это так. Я знаю, как ты работаешь. Мы собирались назначить тебя мастером как раз перед тем, как началась вся эта заваруха. Слыхал? Работая у компании, ты мог бы стать человеком. Напрасно ты поддался на провокацию красных. А теперь они тебя облапошат. Не будь простофилей, Рэй. (Пауза.) Ведь тебя, кажется, зовут Рэй?

**Рамон.** Нет. Меня зовут Кинтеро. Мистер Кинтеро.

На мгновение воцаряется молчание. Александр поджимает губы, обиженный полученным отпором.

**Александр.** Вы нас пропустите? Или позвать шерифа?

**Рамон.** Вас никто не задерживает.

Отступает от машины, жестом показывая на дорогу. Дорога свободна. Пикетчики выстроились по обе стороны её лицом друг к другу. Слышен шум мотора. В клубах пыли «кадиллак» мчится мимо рудокопов. К пикетчикам подходит Рамон, громко кричит.

**Рамон.** Я ошибся. Они хотят назначить главным управляющим не Дженкинса, а меня!

Рудокопы смеются, снова выстраиваются в круг на дороге.

**Будка.** Рамон, улыбаясь, подходит к стоящей в дверях Эсперансе.

**Рамон.** Послушала бы ты, что говорил этот тип. Хитрая политика! Они, видишь ли, хотели сделать меня мастером. Занятно!

Эсперанса улыбается, но вдруг лицо её искажается гримасой боли. Она хватается за живот. Рамон встревожен.

**Рамон.** Что с тобой?

**Эсперанса** (снова улыбается). Ерунда. Вдруг схватило...

**Рамон.** Не надо было приходиться.

**Эсперанса.** Не беспокойся, всё в порядке. Мне здесь нравится. Все мои друзья...

**Рамон** (тоном приказа). Сейчас же иди домой. Слышишь?

**Эсперанса** (послушно). Хорошо.

Эсперанса берёт за руку Эстеллу и идёт по направлению к автомашинам шерифа. Рамон её провожает. Вдруг издали раздаётся крик мальчика.

**Голос.** Папа, папа!.. Скорей! Сюда!

**Рамон** (оглядываясь). Кто это? Луис?! Что он там делает? Опять какое-то баловство!

Лесистый склон горы. Высоко в зарослях можжевельника прячутся два мальчика: Луис и его товарищ, примерно одного с ним возраста. Они отчаянно машут руками. Рамон, приставив руки ко рту, кричит.

**Рамон.** Луис! Спускайся вниз!

**Луис** (голос его едва доносится). Папа! Вон они! Два штрейкбрехера! Там, внизу!

Луис и его товарищ.

**Товарищ Луиса.** Спрятались в овраге, вон там! (Показывает.)

**Пикет.** Рудокопы, нарушив обычный порядок, движутся толпой, стараясь разглядеть, где прячутся штрейкбрехеры. Слышен шум голосов.



**Голоса:**

— Что он сказал?

— Он говорит, что там два штрейкбрехера...

— Где?

— В овраге...

— Надо их поймать...

**Рамон** (кричит). А ну-ка помолчите, ребята! Антонио, Альфредо, Сенте, пойдёте со мной. Остальные продолжайте своё дело.

Четверо рудокопов бегом пускаются по дороге, идущей параллельно железнодорожной ветке.

На экране появляется Эсперанса. Она сердито кричит.

**Эсперанса.** Луис, Луис! Пойди сюда!

**Голос Луиса** (издалека). Сюда, папа! Сюда! Вот они!

Эсперанса проходит через линию пикета.

**Эсперанса.** Луис! Луис!

Склон горы. Луис и его товарищ несутся вниз по склону.

Овраг. Из оврага выбираются двое, бегут к насыпи, пересекают её и направляются к дороге, ведущей на гору, к руднику. Рамон и его товарищи хотят перерезать дорогу штрейкбрехерам. Сенте мчится к насыпи. Рамон остаётся на дороге. Антонио и Альфредо взбегают на гору.

У автомашины шерифа. Помощники шерифа заметно оживились. Шериф, улыбаясь, подаёт им знак. Четверо помощников забираются в закрытую легковую машину и уезжают.

Два штрейкбрехера бегут. Один из них, светловолосый американец, неожиданно останавливается и поворачивает в обратную сторону. Второй подбегает к дороге, ведущей через террикон к руднику.

Эсперанса отстала от рудокопов, но продолжает, словно в трансе, идти вперёд.

Извилистая дорога на склоне горы. Антонио появляется на дороге впереди штрейкбрехера и отрезает ему путь. Штрейкбрехер бежит к террикону. Он сворачивает с дороги, пытаясь ускользнуть от преследователей, взбирается по крутому склону террикона, но ноги его вязнут в щель. Скатываясь назад, падая, цепляясь руками и снова падая, он в конце концов срывается и в туче пыли летит вниз, на дорогу.

Дорога. У подножия террикона. Штрейкбрехер, сорвавшись с террикона, падает на дорогу, быстро вскакивает на ноги и бежит обратно к железнодорожной насыпи. Внезапно появляется Сенте и загромождаёт ему путь. Подбегает Рамон. Он отрезает штрейкбрехеру путь с другой стороны моста. Сенте и Рамон с двух сторон медленно приближаются к штрейкбрехеру.

На мосту. Перепуганный штрейкбрехер стоит на мосту, задыхаясь от бега. Теперь можно различить черты его лица. Это Себастиан Приэто. Рамон словно окаменел при виде предателя.

**Рамон** (тяжело дыша). Приэто... Себастиан Приэто?..

Медленно приближается к Себастиану. В глазах его дикая ненависть.

**Себастиан.** Рамон... послушай... ради бога...

**Рамон.** Ты... ты... Я понимаю, когда это делают янки, но ты...

**Себастиан.** Рамон... послушай... Что я мог сделать?.. Мне нужно заработать...

**Рамон.** Иуда ты, предатель...

**Себастиан.** Рамон... мои дети...

**Рамон** (хватает его за воротник и кричит по-испански). Ты! Предатель своих товарищей! Штрейкбрехер! Бессовестный!

**Себастиан.** Мои дети голодают!

**Рамон** (трясёт его). Ах ты, грязная крыса, ты думаешь, мои дети объедаются?

**Себастиан.** Я поступил подло. Пусти меня. Я уеду... Только отпусти меня.

**Рамон** (с презрением). Ты боишься, что я буду тебя бить? Стану я марать руки!..

Плюёт Себастиану в лицо и отталкивает его от себя. Себастиан спотыкается о шпалу и падает.

Мост. К мосту подъезжает автомобиль шерифа и резко останавливается. Из машины выскакивают помощники шерифа и бегут к Рамону. Вдали виден Себастиан. Он поднимается на ноги, пересекает железнодорожную ветку и спускается обратно в овраг, откуда он вылез. Рамон наблюдает за ним, не двигаясь с места. Он поворачивается лишь тогда, когда помощники шерифа подходят к нему вплотную. Один из них хватается его за руку. Рамон, очевидно, протестует, но голосов не слышно. На солнце блестят наручники. Один из них защёлкивается на правой руке Рамона. Рамон, не сопротивляясь, поднимает левую руку, но помощник шерифа резко поворачивает его кругом и, скрутив руки за спиной, защёлкивает и второй наручник. Всё происходит очень быстро. Рамона уводят.

Рудокопы и мальчишки наблюдают за этой сценой. Луис бросается к отцу, но Антонио не пускает его.

В автомобиле шерифа. Рамона грубо вталкивают на заднее сиденье между двумя помощниками шерифа. Двое других полицейских садятся впереди. Водитель разворачивает машину, поднимая клубы пыли. Машина быстро уезжает.

На краю дороги стоит Эсперанса. Приступ боли вдруг заставляет её согнуться, словно в судороге. Она хватается за живот.

Лицо Эсперансы искажено болью. Понимая, что начинаются роды, она беспомощно оглядывается и кричит.

**Эсперанса.** Луис! Луис! Ребёнок...

Луис и рудокопы прислушиваются, словно окаменев.

**Голос Эсперансы** (по-испански). Ребёнок! Позови женщин! Скорее!

Луис со всех ног мчится по дороге. За ним бежит Антонио. На ходу он кричит двум оставшимся рудокопам.

**Антонио.** Я приведу доктора. Побудьте с ней.

Альфредо и Сенте бегут к Эсперансе. Она, спотыкаясь, бредёт по дороге, стараясь добраться до пикета. Мужчины догоняют её, подхватывают под руки и тащат вперёд.

Дорога. Автомобиль шерифа мчится вниз по дороге. Внезапно он резко тормозит, подняв облако пыли. Место пустынное, хоть и недалеко от рудника. Поблизости никого не видно.

Заднее сиденье автомобиля шерифа. Рамон сидит, выпрямившись, руки в наручниках закинута за спину. Слева от него молодой веснушчатый парень, Кимброу. Справа — Вэнс, бледный, худой человек, с впалыми щеками и отвисшей челюстью. Вэнс медленно натягивает на руку перчатку из свиной кожи. Рамон, бросив взгляд на перчатку, смотрит в окно.

**Рамон** (голос его слегка дрожит). Почему вы остановились?

**Кимброу** (со смехом). Хотим с тобой потолковать... выяснить, зачем ты стукнул того парня.

**Рамон.** Ложь. Я не...

Рука в перчатке бьёт Рамона по лицу.

**Вэнс** (тихо). Теперь ты будешь знать, как разговаривать с белыми.

Дорога около пикета. Госпожа Салазар и несколько женщин бегут навстречу Эсперансе. За ними следуют два-три пикетчика. Госпожа Салазар кричит им по-испански.

**Госпожа Салазар.** Олухи! Вернитесь, возьмите одеяло. Её нужно нести.

В автомобиле шерифа. Рамон весь напрягся в ожидании следующего удара. По его подбородку бежит струйка крови. Помощники шерифа на переднем сиденье сидят, как восковые фигуры, не обращая никакого внимания на происходящее сзади.

**Кимброу.** Вэнс, а ты говорил, что этот жёлтый себя в обиду не даст. Что-то я этого не замечаю.

**Вэнс.** О, конечно, он себя в обиду не даст! Настоящий тореадор.

Наносит Рамону кулаком в перчатке удар в живот. У Рамона перехватывает дыхание, глаза у него мутнеют от боли.

**Вэнс.** Он любит, когда печёт во рту. Его чикита<sup>1</sup> готовит ему острые блюда. Правда, панчо?<sup>2</sup>

Он снова бьёт Рамона в живот. Кимброу ухмыляется.

Дорога. Второй автомобиль шерифа у пикета. У автомобиля стоит шериф с двумя помощниками. К ним, ковыляя на костылях, приближается Калинин.

**Калинский** (задыхаясь). Шериф... нам нужен доктор, быстро. Женщина рожает...

**Шериф.** Что я вам, скорая помощь, что ли?

**Калинский.** В городе есть врач компании. Но у нас нет машины. Если бы вы привезли его...

**Шериф.** Ты что, смеёшься, что ли? Врач компании не приедет к пикетчикам.

Калинский сжимает кулаки в бессильной ярости. Ковыляет обратно к будке. Вдалеке видны четверо мужчин, которые несут на одеяле Эсперансу.

Будка. Рядом с самодельными носилками идёт госпожа Салазар. Она велит мужчинам внести Эсперансу в будку.

**Госпожа Салазар.** Мы не успеем донести её домой. Давайте её сюда.

В автомобиле шерифа. Рамон скорчился от боли. Его голова повисла меж колен. Вэнс рывком приподнимает его.

**Вэнс.** Выше голову, панчо. Порядочные люди так не сидят.

**Рамон** (сквозь зубы, по-испански). Всё равно я переживу вас всех, сволочи...

**Вэнс** (тихо). Что ты лопочешь? Это ещё что за жаргон?

Бьёт Рамона в живот. Рамон издаёт заглушённый крик.

На экране быстрая смена кадров.

Эсперанса лежит на койке в будке. Её лицо искажено болью. Она тяжело дышит.

**Эсперанса.** Господи, прости меня... я хотела... чтобы этот ребёнок никогда не родился.

Снова Рамон. Кимброу держит голову Рамона, а Вэнс методически наносит ему удар за ударом. Рамон с трудом произносит по-испански.

**Рамон.** Матерь божья, сжался...

Опять Эсперанса.

**Эсперанса** (по-испански). Сжался над этим ребёнком... Пусть он живёт....

Рамон кусает губы от нестерпимой боли.

**Рамон** (по-испански). О боже... Эсперанса... Эсперанса...

Голос Рамона заглушается голосом Эсперансы.

**Эсперанса.** Рамон... где Рамон?

Снова схватки. Она пронзительно кричит.

<sup>1</sup> Чикита (исп.) — малютка. (Примеч. перев.)

<sup>2</sup> Панчо — оскорбительное прозвище мексикашцев. (Примеч. перев.)

**Рамон.** Его изображение наплывает на изображение Эсперансы, они сливаются, колеблются, затуманиваются, как перед глазами человека, теряющего сознание. Затем экран заволакивается тьмой. Слышен слабый крик новорождённого ребёнка.

**Около будки.** Здесь собралась толпа пикетчиков. Люди молча, тревожно ждут. Слышится плач новорождённого ребёнка. Они прислушиваются. В дверях появляется госпожа Салазар и сердито набрасывается на мужчин.

**Госпожа Салазар.** Чего вы тут торчите? Вам здесь нечего делать.

**Антонио** (робко). Мальчик? (Госпожа Салазар кивает.) А как Эсперанса?

**Госпожа Салазар.** В порядке. (Мужчины радостно улыбаются.) Не вижу ничего весёлого.

Улыбки исчезают. Госпожа Салазар говорит мужчинам медленно, с яростью показывая на рудник.

**Госпожа Салазар.** Вон там, наверху, вашим хозяевам всё равно, живут наши дети или умирают. Им наплевать, в каких условиях мы их рождаем. (Пауза.) Помните об этом, когда вы в пикете. Никогда не забывайте. (Плюёт на дорогу.)

**Католическая церковь.** День. Церковь погружена во мрак. Освещён лишь алтарь в глубине: У алтаря видны силуэты пяти мужчин и пяти женщин. Они стоят лицом к священнику. В полутьме нельзя разобрать, кто они.

**Голос Эсперансы.** Рамон пробыл неделю в больнице, а потом тридцать дней в тюрьме по обвинению в попытке избить Приэто и за сопротивление во время ареста. Но я решила отложить крестины до его возвращения...

**В церкви.** У алтаря семья Кинтеро, Антонио, Люс, Тереса, Чарли, Рут, Фрэнк, Сальвадор и Консуэло. Антонио подносит ребёнка священнику, который осеняет его крестным знаменем. Губы священника шевелятся. Он молится. Рамон через плечо Антонио нежно смотрит на ребёнка.

**Голос Эсперансы.** И вот ребёнка крестили в тот день, когда Рамон вышел из тюрьмы. Крёстным отцом и матерью были Антонио и Тереса Видаля. Мальчика назвали Хуаном.

Священник кропит головку ребёнка святой водой.

**Голос Эсперансы.** Кое-кто считал, что его лучше назвать Джоном или Джонни, на американский манер. Но Рамон наотрез отказался: его деда звали Хуаном. И сына своего он назовёт Хуанито.

**Домик Кинтеро.** Вечер. Присутствовавшие при крещении мужчины играют за столом в карты. По радио передают мексиканский танец.

Консуэло хлопчет, разнося мужчинам кофе.

**Голос Эсперансы.** В этот вечер у нас был двойной праздник: крестины Хуанито и возвращение Рамона. Забастовка всё ещё продолжалась, и угощение организовали в складчину...

**Спальня.** В комнате темно, но можно различить очертания тел шести детей, спящих поперёк кровати. Около кровати — колыбель новорождённого.

**Голос Эсперансы.** Как всегда, мы уложили всех детей на нашу постель...

**Кухня.** Пять женщин, разговаривая, готовят бутерброды.

**Голос Эсперансы.** А женщины были, конечно, на кухне.

**Столовая.** За столом. Рамон ближе всех к кухне. За круглым столом, кроме него, сидят Антонио, Сальвадор, Чарли и Фрэнк. Сальва-

дор сдаёт пятую карту. Игра идёт быстро, без остановок. Она на время отвлекает мужчин от серьёзной беседы.

**Голос Эсперансы.** Мужчины, конечно, заняли столовую.

Её голос замирает. Слышны голоса мужчин.

**Чарли** (бросая на стол спички, которые заменяют игрокам фишки).  
Пять тысяч долларов.

**Фрэнк.** Бито.

**Антонио.** Ставлю десять тысяч.

**Чарли.** Ах ты, негодяй! Показывай. Клади карты.

**Антонио.** Тузы. И много. (Сгребает спички.) Денежки мои.

Пока Чарли собирает и тасует карты, Фрэнк спрашивает Рамона.

**Фрэнк.** Отдышался?

**Рамон.** Жить буду, не помру. Говорят, помощники шерифа здорово избил Сенте.

**Фрэнк.** Да. Последнее время много провокаций. Надеются, что сломят забастовку, если засадят в тюрьму её руководителей. Поэтому и стараются сфабриковать обвинение в бунте.

**Рамон.** Кто вместо меня командир пикета?

**Антонио.** Я. Но, если хочешь, получай своих ребят обратно. Я с ними никак не слажу.

**Чарли** (сдаёт карты). Тебе придётся остаться с ними. Рамон нужен в забастовочном комитете.

**Рамон** (с сомнением). Что ты! Это дело не по мне.

**Сальвадор.** Почему? Нужно готовить новых руководителей. Вдруг со мной или Чарли что-нибудь случится.

**Антонио** (Рамону). Твой ход.

**Рамон.** Две тысячи. Не гожусь я в руководители. Вся эта писанина, листовки, словопрения о том, какую взять линию... Я этого не умею.

**Чарли.** Научись. У тебя, как и у всех нас, есть свои слабости. Но ты научись. Ставлю две тысячи против тебя.

Входит Тереса и приносит из кухни бутерброды.

**Антонио.** Играй.

Рамон задумчиво посасывает сигарету, ждёт, пока уйдёт Тереса, потом осторожно спрашивает.

**Рамон.** А что ты подразумеваешь под моими слабостями?

**Кухня.** Тереса возвращается. Рут Барнес нетерпеливо постукивает ногой в такт музыке, доносящейся из столовой.

**Рут.** Неужели мы позволим им играть всю ночь? Я хочу потанцевать.

**Люс** (лукаво). С чьим мужем?

**Рут.** С любим, даже со своим собственным.

**Люс.** Если будешь танцевать с моим, смотри, что тебе придётся испытать...

Хватает Рут и танцует с ней, пародируя не слишком чинную манеру Антонио. Женщины хохочут.

**Люс.** А если ты будешь танцевать с мужем Тересы, то это будет выглядеть так.

Танцует, держа её прямо, как манекен.

Раздаётся плач ребёнка. Эсперанса прислушивается.

**Столовая.** За столом. Фрэнк тасует карты. Эсперанса проходит в спальню.

**Сальвадор** (Рамону). И вот ещё что. Твоё отношение к янки. Если ты собираешься стать руководителем...

**Рамон** (перебивает его). Какое такое отношение?

**Сальвадор.** Ты валишь их всех в одну кучу: рабочих и хозяев.

**Рамон** (показывая на Фрэнка). А разве он не желанный гость в моём доме?

**Сальвадор.** Конечно. Но хочешь знать правду? Ты и к нему относишься с подозрением.

**Рамон.** Может быть. И ему не мешает поближе познакомиться с обычаями нашего народа.

Воцаряется неловкое молчание. Эсперанса возвращается на кухню с ребёнком на руках. Фрэнк продолжает тасовать карты.

**Фрэнк.** Выкладывай, что у тебя на душе.

**Рамон** (медленно). Вот ты — организатор. Ты разрабатываешь план действий для нас, забастовщиков. И почти всегда ты бываешь абсолютно прав. Но раз ты решаешь сам всё, до мельчайших подробностей насчёт того, что должны делать мы, простые рабочие, — выходит, нам самим не о чем и подумать. Может быть, ты считаешь, что мы слишком ленивы и неспособны предложить что-нибудь сами?

**Фрэнк** (протестуя). Ты знаешь, что я этого не думаю.

**Рамон.** Может быть, и нет. Но вот ещё один пример. Сегодня, когда ты пришёл к нам, ты спросил свою жену: «Кто это? (Показывает на портрет.) Его дедушка?»

На экране — портрет Хуареса.

**Голос Рамона.** Это Хуарес. Основатель Мексиканской республики. Если бы я не узнал на портрете Георга Вашингтона, ты бы, наверно, назвал меня мексиканским неучем.

**Фрэнк** (очень огорчён). А я действительно американский неуч.

**Чарли** (пытается смягчить слова Рамона). С Рамоном всегда так. Попробуй его по-приятельски покритиковать, он тут же переходит в наступление...

**Фрэнк.** Нет, он прав. Мне многому нужно поучиться.

**Антонио.** А теперь, когда вы наконец договорились, сдавай карты. Фрэнк сдаёт. Сальвадор говорит ему с улыбкой.

**Сальвадор.** С женщинами он обращается ещё хуже. Пусть это будет тебе утешением.

**Рамон** (посмеиваясь). Болтай больше. (Показывает на лежащие перед ним карты.) Видишь? Дама червей.

К у х н я. Эсперанса, сидя на табуретке у печки, спиной к женщинам, кормит ребёнка. Тереса и Консуэло жуют приготовленные ими бутерброды.

**Консуэло.** О чём они там говорят?

**Рут** (у двери). Обсуждают недостатки друг друга.

**Люс** (с притворным удивлением). Неужели у них есть недостатки?

**Рут** (смотрит в столовую). Сейчас достаётся Рамону.

**Голос Рамона.** Эсперанса! Дай ещё кофе!

**Рут** (тихо по-испански). Есть, капитан!.. (Эсперансе.) Я подам им кофе.

**Тереса.** Давайте заставим их прекратить игру.

М у ж ч и н ы з а с т о л о м .

**Фрэнк** (Рамону, серьёзно). Послушай, Рамон. У нас и так хватает врагов. Зачем озлоблять собственных жён. Если наш профсоюз будет так отгораживаться от женщин...

**Антонио.** Ради бога, объявляй свою ставку!

Рут вносит кофе. За ней входят все остальные женщины, кроме Эсперансы. Фрэнк так поглощён разговором, что не замечает присутствия Рут.

**Фрэнк.** Нельзя смотреть на них только как на домашних хозяек. Они — наши союзники. И мы должны относиться к ним, как к союзникам.

**Рут** (язвительно). Послушайте только, кто это говорит. Мудрец и учитель! Великий поборник женских прав!

**Фрэнк.** Помолчи, Рут.

**Рут** (Рамону). А я — я в обозе. Следую за этим великим организатором с одного рудника на другой — из Монтаны в Колорадо, из Колорадо в Айдахо. А подумал ли он хоть раз о том, что нужно организовать женщин? Как бы не так. В американских профсоюзных организациях жёны тоже не в счёт.

Рамон смеётся. Рут обращается к Рамону.

**Рут.** Это не значит, что мне нравится, как вы обращаетесь с вашей женой. Но когда distinguished доктор Барнес предлагает вам универсальное средство для разрешения женского вопроса, спросите его, применит ли он его у себя дома.

**Рамон** (весело). Эсперанса!

**Рут.** Эсперанса кормит ребёнка.

Лицо Рамона освещается каким-то внутренним светом. Он кладёт карты и идёт на кухню. Антонио с расстроенным видом бросает карты.

**Антонио.** Разве тут поиграешь!

**Люс.** Вот и хорошо. Консуэло, включи радио! (К Антонио.) Вставай, папочка, потанцуем!

Антонио танцует с женой. Теперь видно, как точно изображала Люс его манеру танцевать. Чарли танцует с Тересой. Рут, скрестив руки на груди, негодующе смотрит на Фрэнка.

К у х н я. Рамон стоит возле жены, наблюдая за сосущим ребёнком. Хуанито не виден.

**Рамон** (с гордостью). Ты только на него погляди...

Сжимает кулаки и напрягает мускулы, одобрительно побрякивая.

**Рамон.** Настоящий борец, а?

**Эсперанса.** Он родился в борьбе. Да к тому же голодным.

**Рамон.** Кушай, кушай, Хуанито. Вряд ли тебе когда-нибудь ещё будет так хорошо.

**Эсперанса.** Нет, когда-нибудь ему будет хорошо.

На мгновение воцаряется молчание. Рамон и Эсперанса смотрят на малыша. Потом Эсперанса бросает на Рамона озабоченный взгляд.

**Эсперанса.** Что они там говорили? О тебе?

**Рамон** (перестаёт улыбаться). Объясняли мне, какой я олух.

**Эсперанса.** Не может быть. Они ведь твои друзья. Не выдумывай.

**Рамон.** Они говорят, что я плохо к тебе отношусь.

**Эсперанса** (пожимает плечами). Плохо относишься? Ведь ты был в тюрьме.

**Рамон** (задумчиво). Лежу я, бывало, на койке и не могу заснуть. Клопы, вонь, жара. По ночам в тюрьме я говорил себе: «Давай-ка я подумаю о чём-нибудь приятном. О чём-нибудь очень красивом». И я вспоминал тебя. И сердце моё готово было выскочить из груди от любви к тебе.

Эсперанса глубоко тронута, но прячет от Рамона своё лицо. На лице Рамона выражение твёрдой решимости.

**Рамон** (полушёпотом). Не только Хуанито будет хорошо. Тебе тоже будет хорошо. Мы наверняка выиграем забастовку.

**Эсперанса.** Почему ты так в этом уверен?

**Рамон** (медленно, подыскивая слова). Потому что проиграть забастовку нельзя. Это будет не просто сорванная забастовка, но и разгром профсоюза. Рабочие это понимают. Если же мы победим, мы добьёмся не только того, что мы требуем. Мы завоюем... нечто гораздо более важное... Надежду, надежду для наших детей. На одном твоём молоке из Хуанито человека не вырастишь...

Его прерывает громкий стук во входную дверь. Рамон поворачивается, прислушиваясь. Доносится звук открываемой двери и заглушённые голоса.

**Голоса:**

— Это дом Кинтеро?

— А что вам нужно?

— У нас предписание суда...

— Без ордера не пустим.

— Ордер у нас есть...

— Мы ничего от вас не хотим. Нам нужна радиола.

Рамон быстро выходит. Эсперанса прислушивается.

**Голос Кимброу.** Нам неприятно врываться к вам. Но вот этот папень — из радиомагазина, он имеет ордер на возврат радиолы.

**Голос Рамона.** Не смейте её трогать.

**Голос Кимброу.** Не шуми, Кинтеро. Нам приказано забрать радиолу. Эсперанса стремительно поднимается и с ребёнком на руках идёт в столовую.

**Голос Рамона.** Повторяю... не смейте её трогать!

Столовая. Все стоят. Радиолу окружают несколько вооружённых помощников шерифа. Они уже были готовы вынести её, но окрик Рамона их остановил. Правая рука Кимброу лежит на рукоятке револьвера. Входит Эсперанса. Порывистым движением она передаёт ребёнка Консуэло и, обхватив Рамона, говорит с неожиданной для неё яростью.

**Эсперанса.** Пусть забирают!

**Рамон.** Через мой труп!

**Эсперанса.** Мне не нужен твой труп. И я не хочу, чтобы ты снова попал в тюрьму.

**Рамон.** Но ведь это твоя радиола. Я не позволю им...

**Эсперанса** (с бешенством, по-испански). Неужели ты не видишь, что они вызывают тебя на драку, чтобы засадить вас всех сразу?

Рамон понемногу успокаивается, и Эсперанса отпускает его. Помощники шерифа поднимают тяжёлую радиолу и тащат её к выходу. Гости в мрачном молчании наблюдают за ними. Полицейские уходят, закрыв за собой дверь.

**Рамон** (с горечью). Что вы загрузили? Наконец-то я от неё избавился.

Подходит к полке, снимает с неё покрытую пылью гитару и бросает её Сальвадору.

**Рамон.** Давайте послушаем настоящую музыку.

Сальвадор, улыбаясь, начинает что-то наигрывать.

Рудник и пикет. День. Вдали виднеются крошечные фигурки забастовщиков в пикете. Над ними возвышается безжизненный копёр рудника.

**Голос Эсперансы.** Но забастовка не кончилась. Рамон ошибся. Шёл четвёртый месяц, пятый, шестой, а она всё продолжалась. Компания стояла на своём и отказывалась вести переговоры. Магазин компании не продавал нам продуктов...

Витрина магазина. День. Мексиканка смотрит на консервы, выставленные в витрине небольшого провинциального магазина.

**Голос Эсперансы.** ...а когда мы ездили за покупками в другие города, мы и там чувствовали власть наших хозяев.

На экране — рука, вывешивающая небольшое объявление в витрине магазина: «Забастовщикам в кредит не отпускается».

На экране — газеты. Мелькают заголовки: «Красный террор в Цинктауне», «Заявление представителя компании», «Видные общественные деятели требуют расследования действий профсоюза», «Коммунисты срывают добычу цинка».



**Голос Эсперансы.** Они пытались настроить против нас. Они печатали в газетах лживые выдумки...

**П и к е т.** Около десятка пикетчиков не спеша ходят по кругу. Антонио развернул газету и, видимо, читает её вслух остальным. Слышится голос Эсперансы.

**Голос Эсперансы.** Они пытались натравить на нас рудокопов-янки. Твердили, что мы неблагодарные дети нашей приёмной матери — Америки, кричали, что всех мексиканцев надо бы выслать туда, откуда они прибыли... Но наши мужчины отвечали...

**Голос Эсперансы** стихает, и теперь слышны голоса пикетчиков.

**Антонио** (хлопая рукой по газете). ...разве я могу вернуться туда, откуда приехал? На месте лачуги, в которой я родился, теперь рудник, принадлежащий компании.

**Калинский.** Почему никто не высылает хозяев туда, откуда они прибыли?

**Сенте.** Ну, если их вышлют, тогда в штате Нью-Мексико вообще не останется ни одного хозяина.

**Альфредо** (мечтательно). Вот бы дожить до такого дня!

**Антонио.** Кругом широкий простор и, насколько видит глаз, — ни единого янки!

**Рамон** (поднимает палец и поправляет Антонио). Ни единого хозяина-янки!

Антонио понимает, что оговорился, и оглядывается на идущего позади него Дженкинса.

**Антонио** (подмигивая). Уж не хочешь ли ты сказать, что таким парням, как Дженкинс, мы позволим остаться здесь?

**Рамон.** Не посылать же его назад в Оклахому. Это бесчеловечно.

**Дженкинс** (ухмыляясь). Я же родился в Техасе.

**Антонио и Альфредо** (с притворным ужасом). Не может быть! Это ещё хуже.

Все смеются, дружески похлопывая Дженкинса по спине.

**Старый, потрёпанный автомобиль.** День. Глинобитный домик на немощёной улице. Грузовик доверху нагружен скарбом мексиканской семьи. Мать и дети сидят в кузове. Отец невесело пожимает руки соседям.

**Голос Эсперансы.** Забастовка длилась уже седьмой месяц. Забастовочный фонд подходил к концу, профсоюзу пришлось сократить выдачу продуктов. Несколько семейств не смогли терпеть дольше. Они собрали свои пожитки и выехали из посёлка неизвестно куда.

**Помещение профсоюзного комитета.** День. Сальвадор и Чарли сидят за письменным столом. У стола — группа рудокопов. Один за другим они отсчитывают деньги и передают их Сальвадору и Чарли. Рамон стоит поблизости и смотрит.

**Голос Эсперансы.** И вот союз решил, что те, кому приходится особенно туго, должны искать работу в других местах. Забастовщики, которым удалось устроиться, отдавали часть своего заработка профсоюзу и помогали кормить остальных.

**Домик Кинтеро.** Вечер. Семья Кинтеро сидит за столом. На столе — пустые тарелки. Эсперанса приносит кастрюлю, на дне её немножко бобов. Она делит их между детьми.

**Голос Эсперансы.** Семье Кинтеро приходилось не так уж туго: у нас было только трое детей. Нельзя сказать, что мы голодали всё время... Вернее было бы сказать: почти всё время.

**У входа в дом, где помещается профсоюзный комитет.** День. Возле дома стоит грузовик. В кузове — двое. Они передают людям, стоящим на земле, ящики с продуктами. Один из тех, кто в грузо-

вике, — негр. Когда к машине подходит Чарли Видаль, негр перегибается через борт и сердечно жмёт ему руку.

**Голос Эсперансы.** Хозяева всё-таки задушили бы нас голодом, если бы не помощь нашего профсоюза в Денвере и местных организаций в других городах... Мы-то думали, никого наша судьба не трогает, никто за пределами нашей округи не знает, как трудно нам приходится. Но мы ошибались.

Помещение профсоюзного комитета. Стол, заваленный письмами. Сальвадор и Фрэнк распечатывают их, вынимают из конвертов долларовые бумажки, мелочь, чеки.

**Голос Эсперансы.** Письма шли отовсюду. От наших соотечественников с юго-запада... и из дальних мест — из Бьютта, Чикаго, Бирмингэма, Нью-Йорка. Письма солидарности и засаленные трудовые доллары.

Ротатор, у которого стоят две женщины. Другие печатают восковки, разбирают бумаги, клеят конверты и т. д. Несколько ребятшек бегают по залу и лазят по скамейкам.

**Голос Эсперансы.** Помогали и мы, женщины. Мы не только готовили еду и варили кофе. Мы научились печатать восковки, работать на ротаторе, отправлять почту. Некоторые из мужчин посмеивались над нами, но работа не ждала. И у них оставался только один выход — поручить её нам.

Эсперанса заклеивает конверты. Маленький Хуанито лежит рядом на столе, на подстилке, среди кип листовок. Эстелла слюнит языком марки и подаёт их матери.

**Голос Эсперансы.** Перемена произошла не сразу, сначала в мелочах, понемножку, и никто не сознавал огромного её значения, пока не наступил решительный час.

Внезапно в дверях помещения профсоюза появляются шериф с несколькими помощниками и судебный исполнитель. Они направляются к столу, за которым сидит Сальвадор Руис. На лице шерифа наглая улыбка.

**Голос Эсперансы.** Это случилось в тот день, когда в комитет пришли шериф и судебный исполнитель. Шериф улыбался, и мы сразу поняли, что он принёс дурные вести. Он передал Сальвадору какую-то бумагу.

Сальвадор берёт бумагу и читает. Лицо его непроницаемо. Шериф победно улыбается и уходит в сопровождении своей свиты.

**Голос Эсперансы.** По настоянию компании суд запретил пикетирование. Решение было вынесено в соответствии с законом Тафта—Хартли. За нарушение полагался большой штраф и тюремное заключение.

Сальвадор медленно поднимается, перечитывая судебное предписание. Фрэнк и Чарли читают через его плечо. Их лица озабочены и растеряны.

**Голос Эсперансы.** Нужно было немедленно решить, выполнять ли предписание суда.

Зал заседаний профсоюзного комитета. Зал набит до отказа. Бастующие рудокопы, как всегда, сидят на центральных скамьях. Но на этот раз в зале женщин почти столько же, сколько мужчин. Они привели детей и сидят на задних и боковых скамьях.

**Голос Эсперансы.** В этот вечер было созвано экстренное собрание. Пришли даже женщины. Для каждого из нас наступил решительный час.

Барнес произносит речь.

**Голос Эсперансы.** Фрэнк Барнес сказал, что, если мы подчинимся судебному предписанию, забастовка будет проиграна. Как только мы снимем пикеты, компания привезёт штрейкбрехеров. Если же рудокопы не подчинятся предписанию, пикетчиков арестуют, и забастовке всё равно конец.

Голос Эсперансы затихает.

**Фрэнк.** Вот как обстоит дело, друзья. Я хочу только добавить, что, какое бы решение вы ни приняли, центральный комитет вас поддержит, как поддерживал всегда. У нас настоящий, независимый профсоюз. Решайте сами, как вам быть.

Зал. Когда Фрэнк возвращается на место, ему не аплодируют. Слышен неодобрительный гул голосов. Придвинувшись друг к другу, рудокопы спорят, какое им принять решение. Рамон с возмущением встаёт.

**Рамон.** Если мы уступим, если мы подчинимся этому проклятому закону Тафта—Хартли, мы потеряем всё, что завоевали за последние пятьдесят лет. Есть только один выход: бороться с хозяевами. Бороться!

**Голоса рудокопов:**

— Но как?

— Они нас арестуют!

— Мы ничего не добьёмся.

Голоса их стихают. Рамон, всё ещё стоя, яростно накидывается на тех, кто ему возражает. Один из рудокопов встаёт, беспомощно разводя руками. На фоне этой немой сцены слышен голос Эсперансы.

**Голос Эсперансы.** Мужчины спорили и ссорились. Они произносили смелые речи. Казалось, что Барнес прав и мы действительно во власти хозяев. Казалось, что забастовка проиграна.

Зал заседаний. На переднем плане председательствующий Сальвадор Руис стучит молотком. На заднем плане — Тереса Видаль. Она пытается привлечь к себе внимание председателя. Наконец он её замечает.

**Голос Эсперансы.** И тогда слово взяла Тереса Видаль. Она возглавляла наш женский вспомогательный комитет.

Тереса подходит к трибуне. Хотя ей, видимо, не по себе, она уже не заикается и не робеет, как робела когда-то Консуэло.

**Тереса.** Если вы прочтёте судебное предписание внимательно, то увидите, что пикетирование запрещается только бастующим рудокопам. (Пауза.) Мы, женщины, — не рудокопы. Мы пойдём в пикеты вместо вас.

В зале движение, раздаётся грубый мужской смех.

**Тереса.** Нечего смеяться. Мы предлагаем выход. А вы предложить ничего не можете. Кинтеро прав. Если мы проиграем эту стачку, мы потеряем всё, чего добились за пятьдесят лет. И потеряете не только вы, но и ваши жёны и дети. Мы обещаем: если женщины сменят вас в пикетах, забастовка не будет сорвана и ни один штрейкбрехер не получит вашей работы.

Теперь в зале тишина. Тереса хочет возвратиться на своё место, но её останавливает голос Сальвадора Руиса.

**Сальвадор.** Внесено предложение, но вносить предложения имеют право только члены союза...

Он смотрит на сидящего рядом с ним Чарли Видалю. Чарли колеблется. Тереса свирепо в упор смотрит на мужа. Чарли с шумом набирает в лёгкие воздух и громко выкрикивает.

**Чарли.** Я вношу такое предложение!

**Голос (из зала).** Поддерживаю.

**Сальвадор (в замешательстве).** Вы слышали предложение. Прошу его обсудить.

Зал. Рудокопы сбились в кучки, ожесточённо спорят. Жестами выражают своё несогласие. Некоторые вскакивают, чтобы обратиться к председателю.

**Голос Эсперансы.** Началось обсуждение. Большинство мужчин возражало против нашего плана. Один сказал, что мы сделаем нашу организацию посмешищем в глазах всего рабочего класса. Подумать только, рудокопы прячутся за юбками своих баб!

Люс Моралес с горящими глазами обращается к мужчинам.

**Голос Эсперансы.** И Люс его спросила: что хуже — прятаться за юбкой своей бабы или ползать на коленях перед боссом? Но ни мужчины, ни женщины не были единодушны. Председатель забастовочного комитета Чарли Видаль сказал, что хозяевам не удалось до сих пор сломить нас благодаря солидарности рудокопов-янки с мексиканцами.

Голос Эсперансы затихает.

**Чарли.** Неужели мы дадим хозяевам сломить нас теперь, потому что у нас нет солидарности между рудокопами и их жёнами и сёстрами?

Смуглый рудокоп Хосе Санчес грубо подталкивает жену, заставляя её взять слово. Испуганная женщина наконец подчиняется.

**Голос Эсперансы.** Карлотта Санчес сказала, что женщинам неприлично участвовать в пикете. Некрасиво и, может быть, даже грешно. А Джо Гонсалес заявил.

**Гонсалес.** Ни мы, ни хозяева не понимали, на что способны наши женщины. Пусть наши жёны и сёстры попробуют...

Когда голос Гонсалеса стихает, встаёт Рамон и, гневно глядя на него, берёт слово.

**Голос Эсперансы.** Больше всех возражал Рамон. Он сказал, что не понимает, что нашло на его товарищей. Они готовы свалить на женщин то, что боятся сделать сами.

Голос Эсперансы затихает.

**Рамон.** А когда придут полицейские и начнут избивать наших женщин, мы что, будем стоять в стороне? Нет. Мы всё равно вмешаемся, и результат будет один. Только хуже. Ещё больше унижений. Друзья, прошу вас, не допускайте этого.

Рамон садится. Кое-где раздаются редкие хлопки. Кто-то просит поставить вопрос на голосование.

**Сальвадор** (стуча молотком). Итак, предложение внесено. Вы, друзья, знаете, что ставится на голосование. Есть предложение, чтобы наши сёстры из вспомогательного женского комитета сменили нас в пикетах. Всех, кто за это, прошу поднять руки!

**Голос Тересы.** Председатель! К порядку ведения собрания!

Тереса подталкивает Эсперансу. Та робко проходит к столу председателя. Кажется, что Эсперанса онемела от страха, но она всё же обрывает голос.

**Эсперанса.** Я ничего не знаю насчёт порядка голосования. Но ведь вы, мужчины, хотите сейчас решать, что делать нам, женщинам. Поэтому, по-моему, будет справедливо, чтобы и женщины голосовали тоже. Ведь в пикет пойдут они.

Раздаются возгласы одобрения с тех мест, где сидят женщины, и протесты мужской части аудитории.

**Стол председателя.** Сальвадор Руис должен принять решение, но колеблется. Он смотрит на Чарли, Чарли подмигивает и утвердительно кивает. Сальвадор бросает взгляд на Фрэнка. Тот улыбается и тоже утвердительно кивает. Сальвадор откашливается.

**Сальвадор.** Братья и... сёстры! Устав не разрешает женщинам голосовать на профсоюзных собраниях. (Мужчины аплодируют.) Если нет возражений, мы можем закрыть это собрание... (крики протеста и мужчин и женщин. Сальвадор поднимает руку) ...и открыть другое — общее собрание жителей нашего посёлка, где каждый взрослый имеет право голоса.

**1-й голос.** Вношу такое предложение.

**2-й голос.** Поддерживаю.

**Сальвадор.** Все, кто за, поднимите руки! (Большинство присутствующих поднимает руки.) Кто против? (Поднимается всего несколько рук.) Принято. Теперь право голоса имеет каждый взрослый житель посёлка.

**Женские голоса:**

— Голосуйте, голосуйте!

— Ставьте на голосование!

**Сальвадор** (усмехаясь). Кто за то, чтобы женщины сменили нас в пикете, прошу поднять руки!

Зал. Подавляющее большинство женщин голосует за это предложение. Примерно треть мужчин тоже поднимает руки. Но некоторые из них снова опускают руки, почувствовав сердитый толчок соседа. Счётчики расхаживают по залу, подсчитывая голоса. Рамон буквально сидит на своих руках. Он хмуро смотрит на Эсперансу. Она отвела глаза, но вызывающе высоко держит поднятую руку. Счётчики подходят к Сальвадору и шёпотом сообщают ему результаты голосования. Он подсчитывает итог и стучит молотком.

**Сальвадор**. Так. Кто против?

Большинство женщин сложили ладони, как для молитвы. Несколько менее решительных боязливо поднимают руки. Соседки толкают их в бок. Руки опускаются. Счётчики проходят мимо мужчин. Лес поднятых рук. Некоторые рудокопы в азарте подняли обе руки.

Стол председателя. Счётчики сообщают Сальвадору результаты голосования. Лицо его серьёзно и непроницаемо. Он встаёт и спокойно объявляет.

**Сальвадор**. Предложение принято 103 голосами против 85.

Зал. Воцарилась глубокая тишина. Мужчины оборачиваются: с сомнением и тревогой они смотрят на женщин. Женщины, сидящие на боковых скамьях, поглядывают друг на друга с немым изумлением, только сейчас осознавая всё значение того, что они на себя взяли.

Пикет. Утро. Со всех сторон стекаются женщины. Кажется, что они сходятся сюда со всех концов земли. Некоторые из них приезжают в стареньких автомобилях, другие приходят пешком по дороге, по тропинкам, по шпалам. Женщин так много, что, хотя они маршируют по две в ряд, пикет занимает всю дорогу.

**Голос Эсперансы**. И вот они пришли... Старые и молодые, встав до рассвета, женщины направились к руднику. Они пришли из Цинктауна и из других посёлков за десять, за двадцать, за тридцать миль...

Пикет. Женщины маршируют стройными рядами. Царит строгий порядок. Лица серьёзны и полны решимости. Пикет возглавляют Тереса и госпожа Салазар. Они спокойны и уверены в себе, как командиры на учениях. Большинство женщин, как того требует обстановка, — в мужских куртках, в брюках, в сапогах.

**Голос Эсперансы**. К восходу солнца в пикете была уже сотня женщин, а они всё шли и шли: женщины, которых мы никогда прежде не видели, женщины, не имевшие никакого отношения к забастовке. Они каким-то образом узнали о женском пикете и пришли.

Рудокопы на склоне горы. На крутом лесистом склоне горы недалеко от пикета сидят мужчины. Они курят, глядя на пикетчиц со смешанным чувством тревоги и почтительного уважения.

**Голос Эсперансы**. Мужчины тоже пришли. У них был расстроенный вид. По-моему, они боялись. Они боялись, что женщины не выстоят. А может быть, они ещё больше опасались того, что они выстоят...

На склоне горы выше стоят несколько рудокопов с семьями. У них тоже расстроенный вид. Между ними — Дженкинс с женой.

**Голос Эсперансы**. Но не все женщины пришли в пикет. Кое-кому запретили мужья. (Пауза.) В том числе и мне.

Семья Кинтеро. Семья Кинтеро стоит несколько в стороне от остальных, возле кустов можжевельника. Луис жмётся к отцу, который,

нахмурившись, с виноватым видом смотрит на пикетчиц. Эстелла прижалась к матери. Эсперанса держит на руках маленького Хуанито. Она не сводит глаз с пикета и словно не видит мужа.

**Эсперанса.** Это нечестно. Я должна быть с ними. В конце концов благодаря мне женщинам разрешили голосовать.

**Рамон** (упрямо). Ни за что!

**Эсперанса.** Но ведь было принято решение. Ты... ты нарушаешь демократию...

**Рамон** (обрывая её). В моём доме распоряжаюсь я, а не профсоюз. (После длинной паузы.) Жёны янки сбили вас с толку и выставили на посмешище, а сами-то ведь они не пришли, а? Смотри, ни одной не видно.

**Эсперанса** (вглядываясь). Нет, пришли. Вон Рут Барнес.

**Рамон.** Она жена профорганизатора. Ей нельзя было не прийти.

**Эсперанса.** Она пришла по собственной воле. А вон и жена Калинского.

**Рамон** (указывая в сторону). А вон жена Дженкинса. Она не пошла в пикет.

**Эсперанса** (спокойно). И среди янки тоже есть отсталые мужья.

**Рамон.** Какие?

**Эсперанса.** Отсталые.

Рамон озадаченно смотрит на жену. Она продолжает глядеть на пикет.

**Голос Эсперансы** (с мольбой). Дай, я хоть минутку побуду с ними!

**Голос Рамона.** Ты совсем рехнулась. Это с ребёнком-то на руках?

**Эсперанса.** Малыш любит, когда с ним прогуливаются. От этого он лучше спит.

Рамон качает головой и отворачивается. Теперь он смотрит на машины шерифа. В пятидесяти шагах от линии пикета видны два открытых грузовика и две машины шерифа. Грузовики набиты людьми.

**Машина шерифа.** Управляющий Александр, старший мастер Бартон, шериф и его помощник Вэнс стоят у машины. Александр раздражён, но шерифа и Вэнса ситуация, видимо, забавляет. Мимо машины проходят, направляясь к пикету, три хорошенькие мексиканки. Вэнс свистит им и кричит вслед.

**Вэнс.** Эй, девушки! Не спешите. Поглядите лучше на мой пистолет.

**Александр.** Замолчите. (Улыбающемуся шерифу.) Что вас так забавляет? Они издеваются над судебным предписанием.

**Шериф** (усмехаясь). Почему же? Формально они, знаете ли, не нарушают закона. В предписании сказано, что пикетировать запрещено рудокопам.

**Александр** (в ярости). Вы их защищаете?

**Шериф.** Не волнуйтесь, мистер Александр. Они побегут, как стадо овец.

**Бартон** (нетерпеливо). Принимайтесь за дело, пока не набежала ещё сотня баб.

**Шериф** (кричит). Давай, ребята!

**Отряд шерифа.** Шофёры и помощники шерифа забираются в кабины. Бартон, Вэнс и двое других помощников садятся в головную машину. У Вэнса в руках гранаты со слезоточивым газом.

**Вэнс.** Пустить в ход?

**Шериф.** Зачем? Они и так разбегутся, как овцы.

Бартон заводит мотор и подаёт знак водителям грузовиков и второй легковой машины. Отряд трогается с места, быстро набирая скорость.

**Рудокопы** на склоне горы вскакивают на ноги, напряжённо всматриваясь вниз.

**Пикет.** Женщины останавливаются и, как по команде, поворачиваются в сторону приближающегося отряда. Машины надвигаются на пикетчиц. У рудокопов вырывается невольный крик. Но пикетчицы тверды и непреклонны. Машина шерифа, сигнала, надвигается прямо на них. В последнюю секунду Бартон резко тормозит, машину заносит в сторону. Женщины не двигаются с места.

**Женщины и машина.** Машину заносит. Переднее крыло сбивает с ног женщину. Она падает на дорогу.

**Пикет.** Женщины охают от ужаса. Затем раздаётся крик. Две женщины бросаются к пострадавшей. Остальные окружают машину. Помощники шерифа пытаются открыть дверцы. Женщины берутся за машины и раскачивают её. Наконец полицейским удаётся выйти. Они отталкивают женщин кулаками и прикладами, но на каждого приходится по четыре женщины. Женщины виснут на них, пытаются вырвать оружие.

**Первый грузовик.** Штрейкбрехеры-янки в кузове грузовика оцепенели от испуга и не двигаются с места.

**Рудокопы на склоне горы.** Несколько рудокопов бегом спускаются вниз с горы. Чарли и Фрэнк жестами пытаются их удержать, но мужчины продолжают бежать.

**Пикет.** Вэнс паником отбрасывает женщину, пытающуюся сорвать с него пояс с патронами. Она падает. Вэнс в испуге пятится назад и бросает гранату со слезоточивым газом в гущу пикетчиц. Граната разрывается; женщины на мгновение разбегаются врассыпную. Они отмахиваются, кашляют, задыхаются.

По команде госпожи Салазар женщины разбиваются на два отряда: большая группа остаётся на дороге, чтобы задержать отряд шерифа, и не двигается с места, хотя Вэнс и продолжает бросать гранаты со слезоточивым газом. Вторая группа вытягивается в цепочку вдоль дороги, лицом к рудокопам, бегущим к ним с горы на помощь.

**Вторая линия пикетчиц.** Рудокопы подбегают к дороге. Госпожа Салазар с возмущением машет им рукой и кричит по-испански.

**Госпожа Салазар.** Назад! Назад! Не вмешивайтесь!

**Первый рудокоп** (в отчаянии). Но они бьют мою жену!

**Женщины** (по-английски и по-испански):

— Если вы впутаетесь в это дело, будет ещё хуже...

— Они начнут стрелять!

— Они вас упрячут в тюрьму!

— Мы сами за себя постоим!

— Вы здесь не нужны!

— Назад! Уходите!

Мужчины отступают, озадаченные страстной настойчивостью женщин.

**Линия пикета.** Остальные полицейские из отряда шерифа бегут на помощь тем четверым, на которых со всех сторон наседали женщины. Штрейкбрехеры и не думают вылезать из грузовиков. Но ветер дует в их сторону, и волна слезоточивого газа ползёт к грузовикам. Штрейкбрехеры начинают кашлять. Несколько человек перепрыгивают через борт грузовика и отбегают в сторону. Возникает паника. Остальные штрейкбрехеры, толкая друг друга, вылезают из грузовиков и бегут по дороге, чтобы спастись от слезоточивого газа.

Семья Кинтеро наблюдает за происходящим. Эсперанса больше не может выдержать. Она суёт ребёнка Рамону и убегает, прежде чем он успеваеt опомниться.

Эсперанса бежит вниз по склону к линии пикета. На заднем плане видны полицейские, дерущиеся с женщинами. Помощники шерифа, очевидно, совсем потеряли голову. Они зверски набрасываются на женщин,

которые попадают им под руку, тщетно пытаюсь разогнать пикетчиц и очистить дорогу.

**Пикет.** Люс Моралес, вцепившись в Вэнса, пытается взобраться ему на спину. Другая женщина, ухватившись за кобуру пистолета, мещает его вытащить. Подбегает Эсперанса. На секунду она останавливается, затем снимает туфлю с правой ноги. Вэнс, сбив с ног женщину, вытаскивает пистолет из кобуры. Эсперанса изо всех сил бьёт его туфлей по запястью и выбивает оружие из рук. Люс обеими руками вцепляется ему в волосы.

**Рамон** на горе. Беспомощный, потеряв дар речи, Рамон стоит, держа на руках ребёнка. Внезапно он срывается с места и бежит вниз. Луис хватает Эстеллу за руку и бежит следом за отцом.

**Ниже** на склоне горы Чарли и Фрэнк наблюдают за разыгрывающимся внизу сражением. К ним подбегает Рамон.

**Рамон.** Чего вы стоите? Ведь надо что-то делать!

**Чарли** (не спуская глаз с того, что происходит внизу). Успокойся.

**Рамон.** Но они бьют женщин! Нам надо вступиться!

**Чарли.** Они справятся сами.

**Фрэнк** (улыбаясь, глядит на ребёнка). У тебя-то во всяком случае руки заняты.

Совершенно растерянный Рамон бросает взгляд на маленький свёрток, который он держит в руках. Потом поднимает глаза и смотрит в сторону пикета.

**Пикет.** Виден Бартон, отзывающий своих людей. Он поспешно садится в автомобиль, разворачивает его. Несколько полицейских на ходу вскакивают в грузовик. Остальные отступают пешком, бросив на поле боя два пустых грузовика. Женщины перестраивают ряды.

**Домик Кинтеро.** Столовая. Сумерки. Рамон, как лев в клетке, мечется по комнате, дымя сигаретой. В углу стоит колыбель Хуанито. Ребёнок плачет. Эстелла ходит за отцом, стараясь подражать его походке.

**Эстелла.** Папа, я хочу есть.

**Рамон** (рычит). Я тоже.

Входит Луис. Рамон сердито смотрит на него.

**Рамон.** Где мать?

**Луис.** Сейчас придёт. Чарли Видаль подвёз её на машине.

Мальчик направляется к выходу, затем снова оборачивается. Глаза его сияют.

**Луис.** Ух! Здорово мама стукнула Вэнса туфлей. Ты видел? Как выбьёт у него пистолет из рук!..

**Рамон** (выходя из себя). Не смей там околачиваться, слышишь?

Слышен шум подъехавшего грузовика. Рамон смотрит в окно.

**Улица.** У домика Кинтеро. Грузовичок профсоюзного комитета, набитый женщинами, останавливается у ворот. Эсперанса и Люс сидят в кабине рядом с Чарли. Они выходят. Все женщины весело улыбаются и обмениваются шутками.

**Столовая.** Входит Эсперанса, грязная, в промокшей одежде, смертельно усталая, но глаза её как-то по-новому сияют. Она задорно улыбается.

**Рамон** (надеясь, что её, по крайней мере, как следует проучили). Ну как, цела?

**Эсперанса.** Ещё бы!

Чмокает его в щёку, целует Эстеллу и Луиса, поспешно подходит к колыбели, бросает взгляд на Хуанито и выходит на кухню. Рамон медленно идёт за ней. Останавливается у дверей в кухню.

**Рамон.** Попало тебе, а?



**Эсперанса** (из кухни). Ага!

**Рамон.** С тебя, надеюсь, довольно, на всю жизнь хватит, а?

**Эсперанса** (из кухни). Завтра я пойду опять.

Выносит из кухни бутылочку молока для Хуанито, подходит к колыбельке. Ребёнок сразу затихает. Рамон подходит ближе. Лицо его хмуро.

**Рамон.** Тебя могут искалечить. (Она молчит.) Послушай-ка, если ты думаешь, что я нанялся в няньки... Ты что, рехнулась? Целый день у меня на руках дети!

**Эсперанса** (просто). А у меня они на руках с тех пор, как родились.

Выходит на кухню. Рамон медленно идёт за ней.

К у х н я. Эсперанса быстро расставляет на плите кастрюли и сковородки, готовит ужин, прибирает на столе. Рамон попрежнему хмуро смотрит на неё.

**Рамон.** Говорю тебе, я не останусь завтра с детьми.

**Эсперанса** (спокойно). Ладно. Тогда я возьму их с собой в пикет.

П и к е т. Д е н ь. В пикете меньше женщин, чем в первый день, но они держатся так же уверенно и дисциплинированно, как прежде. Добрая половина их вяжет на ходу.

**Голос Эсперансы.** Я пошла в пикет на следующий день и ходила туда каждый день, целый месяц...

Б у д к а у п и к е т а. Группа малышей играет возле дороги.

**Голос Эсперансы.** Хуанито я держала в будке, где мы готовили кофе, а в хорошую погоду, когда в пикете всё было спокойно, я выносила его колыбельку на воздух. Эстелла играла с подружками, а Луис...

В кустах можжевельника притаился Луис с приятелями. Они, видимо, что-то замышляют.

**Голос Эсперансы.** Луис ходил в школу.

Д р у г о й у ч а с т о к г о р ы, ближе к пикету. Рамон с несколькими товарищами лежат на траве на склоне горы. Мужчины мрачны и подавлены.

**Голос Эсперансы.** Рамон приходил каждый день, сидел на горе и наблюдал за нами. Женщины... в общем, они осуждали Рамона за то, что он не хочет возиться с детьми.

П и к е т. Женщины вяжут и болтают на ходу. Возле будки на столе стоит колыбелька, покрытая сеткой от moskitov. Эсперанса перепелёнывает ребёнка. Госпожа Салазар и Тереса с ней разговаривают.

**Голос Эсперансы.** Но не у меня одной были неприятности дома. После того, первого дня, когда несколько женщин пострадали в стычке с полицией, кое-кто из мужчин не позволил своим жёнам вернуться в пикет.

Н е п о д а л ё к у о т п и к е т а. Видны грузовики и машина шерифа. Штрейкбрехеры и полицейские стоят в грузовиках, с издёвкой глядя на пикетчиц.

**Голос Эсперансы.** На некоторое время полиция оставила нас в покое. Потом они снова принялись за нас: насмехались над нами, оскорбляли, осыпали грязными ругательствами.

П и к е т. Грузовик, набитый штрейкбрехерами, пытается прорваться через живую стену женщин. Женщины стараются задержать машину. Они цепляются за борта. Штрейкбрехеры, перегнувшись, бьют их по рукам. Грузовик вырывается вперёд, сбив с ног женщину. Она падает на дорогу.

**Голос Эсперансы.** Они пытались даже давить нас колёсами грузовиков. Машиной сбили госпожу Коланос, и у неё было сломано бедро...

Несколько женщин подняли капот машины и сорвали провода аккумулятора. Грузовик остановился.

**Пикет.** Грузовик уехал. Четверо полицейских в противогазах бросают гранаты со слезоточивым газом в пикетчиц. Женщины отступают, пикет вытягивается длинной дугой.

**Голос Эсперансы.** Они снова пустили в ход слезоточивый газ. На этот раз ветер был против нас.

**Склон горы.** Эсперанса и Эстелла бегут вверх по склону, спасаясь от газа. Эсперанса несёт ребёнка.

**Голос Эсперансы.** Когда это произошло, мы рассыпались, как наметили заранее, и я вынесла ребёнка из опасной зоны.

**Пикет.** Линия пикета изменяет свою форму, опоясывая волну газа и передвигаясь вокруг неё на подветренную сторону.

**Голос Эсперансы.** Но им не удалось прорвать наши ряды. Не удалось!..

Часть дороги, несколько в стороне от пикета. Здесь собрался целый отряд штрейкбрехеров и полицейских. Штрейкбрехеры в растерянности стоят возле своих грузовиков. Шериф, Бартон и несколько полицейских смотрят в сторону пикетчиц. Борьба с ними их, однако, больше не забавляет. На дороге появляется «кадиллак» управляющего. Поравнявшись с шерифом, машина останавливается.

**У машины.**

**Александр (шерифу).** Ну как?

**Шериф (глухо).** Я испробовал всё, что мог, только что не стрелял в них.

**Александр.** Но вы ещё не пробовали посадить их за решётку!

**Шериф (с сомнением).** Вы хотите, чтобы я засадил их всех?

**Александр.** Нет, только главарей, самых отчаянных. И, пожалуй, ещё многолетних... (Бартону.) Бартон, где этот парень?

**Бартон (машет рукой и кричит).** Эй, ты! Ступай сюда!

Предатель Себастиан Приэто отделяется от стоящих поодаль полицейских и подходит к шерифу. Шериф смотрит на него с презрением, затем направляется к пикету. Приэто и помощники шерифа следуют за ним.

**Пикет,** к которому они приближаются. Женщины продолжают ходить. Среди них — Эсперанса с ребёнком на руках.

**Шериф (кричит).** Эй, девушки! Есть предложение. Выбирайте: либо вы отправитесь домой, либо я заберу вас в тюрьму. Одно из двух: долой из пикета или за решётку!

**Молчание.** Женщины не останавливаются. Шериф поворачивается к Себастиану.

**Шериф.** Давай, показывай!

**Себастиан (бормочет).** Вон та, Тереса Видаль, высокая. Она здесь главная...

Кимброу подходит к линии пикетчиц, хватая Тересу за руку и идёт с ней рядом.

**Кимброу.** Ты арестована. Выбор за тобой: домой или в кутузку...

Несколько женщин останавливаются. Калинская поднимает с земли палку. Женщины с угрожающим видом подходят к Кимброу.

**Тереса.** Не останавливайтесь, сёстры. Покажем им, что такое дисциплина.

**Калинская.** Но, Тереса, мы...

**Тереса.** Они обвинят нас в сопротивлении властям. Шагайте!

Выдёргивает у Кимброу руку и сама направляется к грузовикам.

**Отряд шерифа.** Себастиан пальцем указывает на других женщин; полицейские поочерёдно подходят к пикету и арестовывают их.

**Себастиан.** Ещё госпожа Салазар, вон та, старуха... Чана Диас, в голубом платье. Люс Моралес, та, маленькая, которая грозит кулаком...

Госпожа Калинская, янки, потом Рут Барнес. Она жена профсоюзного организатора...

**Пикет.** Одну за другой из пикета выводят женщин. Они не оказывают сопротивления. Эсперанса продолжает ходить, ещё крепче прижав к себе ребёнка. Эстелла тащится за матерью.

**Грузовики.** Кузов одного из грузовиков уже до отказа набит женщинами. Второй быстро наполняется.

**Шериф и Себастиан.**

**Себастиан.** И Лала Альварес, вон та, хорошенькая. И вон ещё та.

**Шериф** (раздражённо). С ребёнком?

**Себастиан** (с хитрой улыбкой). Она жена Рамона Кинтеро. Он очень недоволен, что она здесь.

**Шериф** колеблется. Прищурив глаза, он о чём-то думает, затем кивает Вэнсу. Вэнс подходит к пикету.

**Пикет.** Вэнс хватается Эсперансу за рукав. Она на секунду останавливается, испуганная, растерянная. Женщины кричат ей по-испански.

**Голоса:**

— Мы возьмём ребёнка!..

— Не беспокойся за Хуанито!..

— Мы позаботимся и об Эстелле.

Вэнс снова тянет Эсперансу за руку. Она вдруг каменеет от ярости.

**Эсперанса.** Нет. Ребёнок будет со мной. (Наклоняется к Эстелле.)

Иди к папе. Оставайся с папой, слышишь?

Гордо подняв голову и прижав к груди ребёнка, Эсперанса идёт к машинам. Озадаченная, осиротевшая девочка смотрит ей вслед.

Рамон в тревоге вскакивает на ноги. Эстелла вдруг срывается с места и бежит за матерью. Эсперанса забирается в кузов уже набитой до отказа машины. Эстелла пытается ухватиться за задний борт, и одна из женщин втаскивает её в машину. Шум заведённых моторов. Грузовики медленно отъезжают. Слышен звонкий голос Тересы. Она запекает «Солидарность»<sup>1</sup>. Остальные ей подтягивают. Растёт и ширится песня. Машины удаляются, и песня стихает. Теперь в пикете осталась лишь горсточка женщин, но вдруг песня слышится снова. На лесистом склоне горы появляется более двадцати женщин во главе с Консуэло Руис. Поют они. Это прибили резервы, чтобы пополнить поредевшие ряды пикетчиц.

**Две камеры.** Ночь. Слышен ритмичный стук мисок о железную решётку. Медленно освещаются две смежные камеры, до отказа набитые женщинами. Все они стоят, потому что сесть некуда. Женщины, стоящие поближе к дверям, стучат о решётку. Все они хором скандируют по-испански.

**Женщины:**

— Мы хотим есть!

— Нам нужна постель!

— Хотим мыться!

— Мы хотим есть!

Из камеры видны тюремный надзиратель и Вэнс. Полицейские, откинувшись, сидят на стульях у пустой стены напротив камер. Оглушительный шум и выкрики женщин доводят надзирателя до исступления. Он затыкает уши пальцами. Встаёт и поднимает руку, прося тишины. За ним идёт Вэнс.

**Тюремщик.** Да вы послушайте! Послушайте же, девушки, прошу вас! (Шум несколько стихает.) Я же вам десять раз говорил. У нас нет еды. У нас нет постелей, нет бани. Прошу вас, очень прошу, замолчите!

Вэнс улыбается Люс Моралес, лицо которой виднеется сквозь решётку.

<sup>1</sup> Профсоюзный гимн. (Примеч. перев.)

**Вэнс.** Для тебя у меня найдётся постель, ты только скажи.

Протягивает руку и щекочет Люс под подбородком. Люс впивается в его руку ногтями, и Вэнс с криком её отдёргивает. Женщины снова начинают скандировать.

В глубине камеры стоит топчан, на него положили Эстеллу и маленького Хуанито. Хуанито плачет. Эсперанса с озабоченным лицом хлопочет вокруг него, пытаясь всунуть ему в рот соску, надетую на бутылочку; он выплёвывает соску.

**Эсперанса** (Тересе). Ему нельзя давать такое молоко. Он заболит. Он у меня получает молочную смесь. (В отчаянии, чувствуя свою вину.) Какая я дура! Я не должна была брать его с собой.

**Тереса.** Не беспокойся. Что-нибудь придумаем.

Проталкивается к решётке камеры и поднимает руку, требуя тишины.

Передняя часть камеры. Женщины на мгновение прекращают стук.

**Тереса** (кричит Вэнсу). Ребёнок не может пить такое молоко! Ему нужна специальная смесь!

**Вэнс** (озадаченно). Что? Какая смесь?

**Рут.** Смесь, молочная смесь! Для грудного ребёнка...

Женщины снова начинают стучать мисками и подхватывают, как припев.

**Женщины.** Мы требуем смесь! Мы требуем смесь!

Вэнс морщится от шума.

Вестибюль в здании суда. Вечер. Рамон медленно поднимается по лестнице. За ним плетётся Луис. Рамон чувствует себя, как в стане врага. Издали слышны голоса женщин, выкрикивающих хором: «Мы требуем смесь...»

Коридор. Рамон проходит мимо двери с надписью: «Окружной прокурор». Дверь приоткрыта. Рамон заглядывает внутрь.

Кабинет прокурора. Рамон видит только письменный стол. На столе — ноги окружного прокурора. Он без пиджака, но в шляпе. На краю стола сидит Александер. Шериф и Хартуэлл ходят по комнате, то исчезая из поля зрения Рамона, то снова появляясь.

**Прокурор.** Что ж, пусть мировой судья предъявит им обвинение в нарушении порядка... Либо назначьте им такой высекский залог, чтобы они так или иначе застряли в тюрьме.

**Шериф** (выйдя из себя). Застряли? Ну уж нет! Это вы бросьте. Вы что, думаете, я стану кормить их на свои денежки?

Коридор. Рамон, протянувший было руку к дверной ручке, опускает её и слушает.

**Голос прокурора.** Я хочу знать, мистер Хартуэлл, когда вы, наконец, уладите эту историю? Вы не желаете вести с ними переговоры. Чего вы добиваетесь?

**Хартуэлл** (шагая взад и вперёд по комнате). У компании есть и другие рудники. Надо подходить к вопросу, так сказать, с более общей точки зрения. Стоит этим людям отбиться от рук...

Не замечая Рамона, но чувствуя, что его слова никто не должен слышать, Хартуэлл идёт к двери и закрывает её; Рамон не слышит конца фразы. Он расстроен тем, что не дослушал. В это время из-за угла появляется Вэнс. Увидев Рамона, он застывает на месте. Секунду они смотрят друг на друга. Вэнс испуган, хотя он и вооружён и здесь его владения.

**Вэнс.** Чего ты здесь околачиваешься? Соскучился по мне?

**Рамон** (тихо). Я пришёл за своими детьми. Они тут, в тюрьме.

Вэнс, прошмыгнув мимо Рамона, открывает дверь кабинета и жестом вызывает шерифа. Некоторое время дверь остаётся открытой.

**Голос прокурора.** Но вы уже бросили в игру все козыри, а забастовщики и не думают сдаваться.

**Голос Хартуэлла.** Ещё не все козыри.

**Голос прокурора.** А что у вас осталось?

Шериф выходит и закрывает за собой дверь, снова не давая Рамону услышать конец разговора.

**Вэнс.** Я не могу заткнуть этим бабам глотку. Они орут насчёт какой-то смеси...

**Шериф.** Насчёт чего?

**Вэнс.** Насчёт смеси для ребёнка или чего-то в этом роде. (Показывает на Рамона.) Вот, для его мальчишки.

Шериф бросает взгляд на Рамона и уходит. Вэнс следует за ним.

**Коридор тюрьмы.** Входят шериф и Вэнс. Женщины стучат так же громко, как и прежде. Шериф поднимает руки, призывая к тишине.

**Шериф.** Постойте-ка. Я же дал вам молока для ребёнка. Чего же вы надрываетесь?

**Голоса женщин:**

— Такое молоко не годится...

— Мы требуем смесь.

— Ребёнок привык к своей смеси.

— Если Хуанито заболевает, вы будете отвечать...

**Шериф** (раздражённо). У меня не аптека. Вы, девушки, сами виноваты... Стоит вам захотеть, и через час будете дома... Нужно только подписать обязательство, что вы больше не пойдёте в пикет.

**Голоса** (по-английски и по-испански):

— Собака! Так мы и станем тебе подписывать! Никаких условий!..

— Никаких условий...

— Пусть достают смесь!

Женщины снова начинают стучать по решётке. Шериф в ярости обращается к Вэнсу.

**Шериф.** Куда девался этот парень?

Вэнс делает несколько шагов и кричит.

**Вэнс.** Эй, панчо, иди сюда!

Медленно входит Рамон. За ним плетётся Луис. Женщины внезапно замолкают. Становится очень тихо. Шериф знаком показывает тюремщику открыть одну из камер; тот исполняет приказание.

**Шериф.** Ладно. Где младенец и девчонка?

Эсперанса выносит ребёнка из глубины камеры. Эстелла протискивается сквозь толпу женщин и подходит к матери. Рамон и Эсперанса серьёзно, с глубокой горечью, смотрят друг на друга. Он протягивает руки. Она передаёт ему ребёнка. Эстелла смотрит на мать. Эсперанса кивает и легонько подталкивает её. Эстелла выходит. Луис берёт её за руку. Отец и дети медленно удаляются. Женщины смотрят им вслед. Тюремщик запирает камеру. Сразу же раздаётся стук по решётке.

**Голоса:**

— Хотим есть!

— Нам нужна постель!

— Хотим мыться!

— Хотим есть!

**Двор домика Кинтеро.** День. Снова здесь развешивают бельё, но теперь вместо Люс и Эсперансы это делают Рамон и Антонио. Тут же Эстелла и маленький сын Моралесов. У забора — две большие плетёные корзины. В одной из них — Хуанито; в другой — гора мокрого белья. Работая, Антонио переговаривается с Рамоном через забор.

**Антонио** (по-испански). Ну, как дела?

**Рамон** (по-испански). Конца не видно. (Выжимает мокрую нижнюю рубашку, вешает её.) Три часа! (Неожиданно всплыв.) Три часа ушло на то, чтобы согреть воду для стирки! (Пауза; продолжает работать.) Послушай, что я тебе скажу. Если когда-нибудь забастовка кончится, в чём я совсем не уверен, я не выйду на работу, пока компания не проведёт нам водопровод и горячую воду. (Снова пауза.) С самого начала надо было включить это в требования профсоюза.

**Антонио.** Ага!

Слышен детский плач. Рамон подходит к корзине, суёт бутылку с соской в рот Хуанито, затем снова принимается за работу. Антонио, работая, размышляет вслух.

**Антонио.** Выходит, что Чарли Видаль прав. Есть два вида рабства: наёмное и домашнее. Второе рабство он называет «женский вопрос».

**Рамон.** Женский... вопрос?

**Антонио.** Ну да, вопрос. Вопрос, как с ними быть.

**Рамон** (осторожно). Ну и как же он предлагает с ними поступить?

**Антонио.** Он говорит, что им нужно равноправие. Равноправие. На работе и дома. И равенство полов.

**Рамон** (помолчав). Что это значит: равенство полов?

**Антонио.** Сам знаешь. (Ухмыляясь, переходит на испанский.) Что хорошо для гусака, неплохо и для гусыни.

Рамон, держа во рту зажим для белья, обдумывает эту новую для него идею. Воображение увлекает его слишком далеко. Он хмурит брови.

**Голос Антонио.** Он ведь отличный организатор, наш Чарли. Может запросто организовать у тебя жену... из дому.

Рамон злобно впиается зубами в зажим и вешает пелёнку.

**Кухня Кинтеро.** Вечер. На заставленной грязной посудой скамье стоят два таза: один — с мыльной водой, другой — с чистой. Рамон моет посуду. Луис её вытирает. Рамон весь в поту. Лицо его угрюмо. Луису работа надоела, он нервничает.

**Луис.** Папа, можно мне уйти? У нас сейчас собрание юных цеховых старост.

**Рамон.** Собрание кого?

**Луис.** Юных цеховых старост. Мы можем оказывать большую помощь. Например, выполнять поручения или вести наблюдение.

**Рамон** (всплыв). Мало у меня неприятностей! Не хватает только, чтобы ты угодил в исправительный дом...

**Луис** (серьёзно). Папа, вам ведь нужна помощь отовсюду, откуда вы её можете получить.

**Рамон.** Вот и помогай по дому!

**Луис.** Но я ведь и так всё делаю. Мама никогда не заставляла меня вытирать...

**Рамон** (обрывая его). Ты должен был помогать ей сам, не дожидаясь приглашения.

Слышен резкий гудок автомашины. Луис выбегает в столовую. Рамон остаётся в кухне, отмывая грязную тарелку. Слышен весёлый смех и голоса, говорящие по-испански.

**Голос Чарли.** Доброй ночи!

**Голос Эсперансы.** До завтра, Чарли!

Рамон входит в столовую, останавливается. Распахивается входная дверь. Входит Эсперанса. Обнимает Луиса. Он застенчиво улыбается и отвечает матери неловким, но нежным объятием. Эсперанса смотрит на Рамона. Лицо её сияет. Она выглядит моложе и милостивее, чем прежде. Быстро обнимает Рамона. Он тоже обнимает её, но сдержанно. Движения его скованы. Она с любовью смотрит на него.

**Рамон.** Ну, как ты?

**Эсперанса.** Прекрасно, но дома всё-таки лучше.

**Рамон.** Четверо суток! Как ты там спала?

**Эсперанса.** Мы подняли такой крик, что в конце концов им пришлось принести топчаны. (Смеётся. Подносит руку к горлу.) Мы так долго кричали, что я совсем потеряла голос. Как Эстеллита? И малыш? (Бежит к двери. Рамон идёт за ней.) Они спят?

**С п а л ь н я . Т е м н о .** Эсперанса и Рамон, словно тени, двигаются в темноте. Эсперанса склоняется над кроватью. Рамон шепчет.

**Рамон.** Ну как, небось, пришлось подписать обязательство? Вы больше не вернётесь в пикет?

**Эсперанса** (шёпотом). Да что ты! Разве мы на это пойдём?

Слышен стук. Эсперанса пересекает тёмную комнату, чтобы открыть входную дверь. Рамон идёт за ней.

**Рамон** (шёпотом). Но если ты вернёшься в пикет, они тебя снова засадят.

**Эсперанса** (шёпотом). Нет. Нет. Шериф уже сыт нами по горло. Он чуть с ума не сошёл. (Выходит).

Эсперанса открывает входную дверь и впускает трёх женщин: Тересу, Рут и Консуэло. Они возбуждены, улыбаются.

**Тереса.** Всё улажено. Отряд Консуэло может завтра взять выходной день. Мы их сменим.

**Эсперанса** (вводя их в столовую). Хорошо. Входите, сейчас мы всё обсудим, усаживайтесь.

**С т о л о в а я .** Женщины садятся на кушетку. Эсперанса идёт к столу, чтобы взять стул. Там стоит Рамон. Он теперь держится, как суровый и строгий глава семьи. Когда она протягивает руку, чтобы взять стул, он говорит вполголоса.

**Рамон.** Нам надо поговорить.

**Эсперанса.** Ладно. Только попозже. Сейчас у нас совещание.

**Рамон** (со сдержанной яростью). Совещание?

**Эсперанса.** Да. По поводу завтрашнего пикетирования.

Эсперанса отходит, унося стул. Рамон дрожит от негодования.

**Голос Эсперансы.** Посмотрим сначала, кем мы располагаем.

**Голос Тересы.** Муж Чаны уехал. Он в делегации, которую послали к губернатору. Муж Аниты Гонсалес тоже...

**Голос Консуэло.** И ещё шесть или семь человек. Муж Лалы, муж Марианны...

Кажется, что Рамон сейчас лопнет от ярости. Он бросается к двери.

**Рут.** Кроме того, целый отряд мужчин — тридцать или сорок человек — отправляется завтра на сбор топлива. На их жён мы тоже не можем рассчитывать.

**Эсперанса.** Но зато мы попросим их присмотреть за ребяташками, и тогда мы все сможем...

Рамон выходит, громко хлопнув дверью. Женщины переглядываются, недоумевая, какая муха его укусила. Тереса сочувственно смотрит на Эсперансу.

**Тереса.** А с ним что ты будешь делать, Эсперанса?

**Консуэло.** Ему кажется, что рушится его семья... Пора бы уж избавиться от старых предрассудков... Может быть, нам поговорить с ним?

**Эсперанса** (в глубоком волнении). Нет, нет. Я должна уладить с ним всё сама.

**П и в н а я . В е ч е р .** Семеро рудокопов сидят на высоких табуретах у стойки и пьют пиво. Они сбиты с толку и расстроены. Это ярые защитники старых обычаев, потерпевшие крушение в столкновении со своими собственными жёнами, уже ничего не понимающие, няньки поневоле.

В пивной царит гнетущая атмосфера и совсем не чувствуется веселья. Среди сидящих за стойкой рудокопов — Дженкинс, Антонио, Сенте Кавасос, Хосе Санчес, Рамон и ещё два рудокопа, которых мы видели в пикете. Буфетчик, добродушный, приветливый янки с бычьей шеей, ставит кружки пива перед рудокопами, но денег они не платят. Буфетчик отмечает что-то у себя в книге... Одновременно слышен голос Дженкинса.

**Дженкинс.** Я ей сказал: ты была в пикете целый день, нужно отдохнуть. Нет, говорит она, у неё вечером собрание. (Дженкинс хитро ухмыляется.) Но я удрал первый. Теперь пусть повозится с ребятами!

Буфетчик вытирает стойку тряпкой. Антонио рассеянно перелистывает иллюстрированный журнал. Не поднимая глаз, он говорит.

**Антонио.** Женский вопрос. А было время, когда весь женский вопрос сводился к словам: «Куда девалась получка?»

Рудокоп-янки задумчиво подпёр голову рукой.

**Рудокоп-янки.** У меня есть приятель, у него знакомый в управлении рудниками. Знаете, что он говорит? Они вовсе и не собираются возобновлять работу на нашем руднике.

**Рудокоп.** То есть как?

**Рудокоп-янки.** Он говорит, что вся руда уже выработана. Честное слово!

**Сенте.** Всё может быть.

Перед Рамоном — стакан с виски и бутылка пива. Рамона внезапно охватывает панический страх.

**Рамон.** Берут на пушку. Просто берут на пушку. Я знаю. Это очень богатый рудник. (Глокает виски, запивает пивом и задумчиво смотрит на пустой стакан.) Да не всё ли равно? Они никогда нам не уступят. Никогда.

На экране — рука буфетчика, она держит бутылку. Буфетчик наклоняет бутылку над стаканом Рамона. Рамон прикрывает стакан рукой и отрицательно качает головой.

**Буфетчик.** Давай, давай. За мой счёт.

**Рамон.** Никогда не пью в кредит.

**Буфетчик.** Не беспокойся, плачу я.

Рамон колеблется; снимает руку, потом снова закрывает ею стакан. Подозрительно и враждебно поглядывая на буфетчика, отрицательно качает головой.

Вдруг Антонио восклицает взволнованно.

**Голос Антонио.** Эй! Поглядите-ка!

Антонио показывает журнал, тыча пальцем в фотоснимок.

**Антонио.** Это он! Это он! Президент. Президент компании.

Все, кроме Рамона, вскакивают с табуретов и подходят, чтобы посмотреть на снимок.

**Антонио.** Вот, послушайте! «Выдающийся деятель Дж. Гамильтон Миллер, финансист, председатель правления «Континентал фэкторс» и президент «Делавар цинк инкорпорейтед», спортсмен-энтузиаст и отличный стрелок. Каждый год мистер Миллер выкраивает время для того, чтобы поохотиться в Африке. На днях он выезжает в Кению, где надеется убить своего тринадцатого льва».

Воцаряется долгое молчание. Рудокопы с ненавистью и отвращением смотрят на снимок. Антонио выдирает страницу из журнала.

**Антонио.** Вставлю в рамку и повешу у себя в комнате. (Оборачиваясь.) Эй, Рамон, взгляни-ка!

Рамон с отвращением отмахивается. Молча потягивает пиво.

**Антонио.** Пятнадцать лет мечтал увидеть этого молодчика, а теперь не желаешь даже сдвинуться с места, чтобы взглянуть на его портрет.



**Рамон** (рассеянно). Надо подходить к вопросу, так сказать, с более общей точки зрения...

Рудокопов снова охватывает мрачное настроение. Они возвращаются к стойке.

**Дженкинс** (глядя в пространство). Как вам это нравится? Этот тип — охотник на львов.

**Антонио**. А на что бы ты хотел, чтобы он охотился: на кроликов?

**Рудокоп-янки** (вдруг вспомнив). Послушайте, ребята, ведь с завтрашнего дня разрешается охота на оленей!

**Голос Дженкинса**. Красота! Вот здорово!

**Рудокоп**. Ох, братцы, с каким удовольствием я бы поел свежей оленины!

**Сенте**. Не брал в рот мяса уже недели четыре. (Внезапно.) Как насчёт охоты, Рамон, а? Поедем на пару дней!

**Рамон** (после долгого молчания). Чего вы меня спрашиваете? Я, что ли, руковожу забастовкой? Если вам нужно разрешение уехать в горы, спросите у женского вспомогательного комитета.

Допивает пиво, встаёт и, осторожно переставляя ноги, выходит из пивной.

**Н о ч ь**. С п а л ь н я К и н т е р о. Спальня едва освещена ночником. Эсперанса, кажется, спит. Рамон подходит к кровати и тяжело на неё опускается. Начинает снимать ботинки. Эсперанса открывает глаза. Видно, что она и не думала спать. Не поворачиваясь, говорит с тихим упрёком.

**Эсперанса**. Я ждала до полуночи.

**Рамон** (не глядя на неё). Не меня.

**Эсперанса**. Собрание продолжалось минут десять. (Помолчав, продолжает спокойно.) Я первую ночь дома, а ты убежал в пивную. Почему? Тебе что, противно меня видеть?

**Рамон** (яростным шёпотом). Замолчи...

**Эсперанса**. Но ты же хотел поговорить со мной, говори.

Рамон резко встаёт и выходит из комнаты. Эсперанса соскальзывает с кровати и набрасывает халат.

**К у х н я**. **Н о ч ь**. Рамон снимает с плиты кофейник и наливает себе чашку кофе. Эсперанса останавливается в дверях.

**Эсперанса**. Ну, говори же.

**Рамон** (не глядя на неё). Так больше продолжаться не может. Я больше не могу... жить с тобой, если так пойдёт дальше.

**Эсперанса** (мягко). Правильно. Так больше продолжаться не может. Да и к старому тоже возврата больше нет.

Рамон пьёт кофе, глядя на неё в упор.

**Рамон**. К старому? А как ты хочешь жить по-новому? Что это должно означать? Право бросать детей на произвол судьбы? Право водиться с профсоюзным начальством и путаться с Чарли Видалем?

**Эсперанса** (задохнувшись). Что ты сказал?

**Рамон**. Не морочь мне голову. Об этом все говорят, смеются за моей спиной.

Эсперанса глядит на него со смешанным чувством гнева и жалости. Затем, взвешивая каждое слово, говорит.

**Эсперанса**. Я хочу тебе кое-что сказать. Я поклялась тебе этого не говорить, но теперь скажу. Два месяца назад я получила анонимное письмо. Там говорилось, что у тебя роман с Консуэло Руис.

**Рамон**. Ложь!

**Эсперанса**. Конечно, ложь, но кто её выдумал? Почерк мне показался знакомым. Я раскопала старые счета из бакалейной лавки. Тот же почерк. Писала эта тварь, Паркер, заведующая магазином компании.

**Рамон.** Почему же ты мне ничего не сказала?

**Эсперанса.** Потому что это была провокация хозяев, грязное анонимное письмо. Клевета. Его и надо было только сжечь и забыть.

Рамон обдумывает её слова, свёртывая папироску. Но сопоставление его не устраивает.

**Рамон.** Это совсем другое дело. Ты меня унижаешь... перед людьми.

**Эсперанса** (мягко, с удивлением). Я? Это хозяева тебя унижают. Разве не так?

Рамон быстро уходит в столовую. Эсперанса, постояв мгновение, медленно идёт за ним.

С т о л о в а я. Рамон подходит к шкафу, достаёт ружьё и коробку патронов, садится на краешек стула и начинает протирать ружьё промасленной тряпкой. Эсперанса входит и смотрит на него. Долгое молчание.

**Эсперанса.** Куда ты собрался?

**Рамон.** На охоту.

**Эсперанса.** Когда?

**Рамон.** На рассвете.

**Эсперанса.** Один?

**Рамон.** Нет.

**Эсперанса** (помолчав). Рамон, ты не поедешь!

**Рамон.** Почему? Я здесь не нужен.

**Эсперанса.** Нет, нужен. Особенно теперь, когда большинство мужчин в отъезде. Ты же командир отряда охраны.

**Рамон** (горько). Конечно, конечно, командир охраны. Охраны похорон.

**Эсперанса.** Кого ты собрался хоронить? Всё идёт хорошо. Уже три дня ни один штрейкбрехер не подходит к пикету.

**Рамон.** А знаешь почему? Компания уверена, что может взять нас измором, даже если на это потребуется ещё два-три месяца. Разве она не может потерпеть ещё некоторое время? Ну и пусть рудник не работает.

**Эсперанса.** Нет, не пусть. Они бы всё отдали, чтобы снова начать работу на этом руднике.

**Рамон.** А, брось! У них есть другие рудники. Надо подходить к вопросу, так сказать, с более общей точки зрения... (Молчание.) У них — миллионы. Понимаешь, миллионы! Они продержатся дольше нас и знают это.

**Эсперанса.** Ты что ж, готов сдаться?

**Рамон** (вспыхивая). Кто об этом говорит? Я никогда не встану на колени перед хозяевами. Ни за что!

Отодвигает затвор, вставляет патрон, задвигает затвор.

**Эсперанса.** Ты хочешь продолжать борьбу, не надеясь на победу? (Рамон пожимает плечами.) А я хочу бороться, чтобы победить.

Рамон молчит. Эсперанса подходит к нему.

**Эсперанса.** Рамон... Мы не слабее, мы сильнее, чем прежде. (Он с раздражением отмахивается.) А вот они слабеют. Они думали, что заставят нас снять пикеты. Им это не удалось. А теперь они ничего не добьются, если не придумают какой-нибудь необыкновенный фокус. И они придумают его очень быстро.

**Рамон.** Что, например?

**Эсперанса.** Не знаю. Но я чувствую, они что-то готовят. Сейчас вроде как... как затишье перед бурей. Чарли Видаль говорит...

**Рамон** (вспылив). Опять Чарли Видаль! (Встаёт, отбрасывая ружьё.) Хватит тыкать мне в нос этого Чарли Видаля!

**Эсперанса** (просто). Он хороший человек, Рамон. И хороший проф-организатор.

**Рамон.** И к тому же ты ему нравишься, а это куда важнее, верно? Тебе это льстит.

**Эсперанса.** Чарли — мой друг. А мне нужны друзья. (Смотрит на него со странным выражением.) Почему ты боишься сделать меня своим другом?

**Рамон.** Не понимаю, о чём ты говоришь.

**Эсперанса.** Да, не понимаешь. Неужели забастовка тебя ничему не научила? Почему ты боишься, чтобы я стояла с тобой рядом? Ты всё ещё думаешь, что сохранишь собственное достоинство, только если у меня его не будет?

**Рамон.** Не тебе говорить о достоинстве! После всего, что ты себе позволяешь...

**Эсперанса.** Да, я говорю о достоинстве. Хозяева-янки смотрят на тебя сверху вниз, и ты их за это ненавидишь. Знай своё место, паршивый мексиканец, — вот что они тебе говорят. Но почему ты позволяешь себе говорить мне: «Знай своё место»? Тебе что, легче, когда ты сам кого-нибудь унижаешь?

**Рамон.** Замолчи! Ты сошла с ума.

Эсперанса подходит к нему вплотную и говорит с большой силой.

**Эсперанса.** Кого же должна унижить я, чтобы почувствовать своё превосходство? И что это мне даст? С меня хватит и собственных унижений. Я хочу подняться сама и поднять вместе с собой других...

**Рамон** (яростно). Ты замолчишь, наконец?

**Эсперанса** (кричит). И если ты этого не понимаешь, ты дурак, потому что без меня тебе не победить в этой забастовке! Без меня ты не добьёшься ничего и ни в чём!

Он хватает её за плечо и заносит руку, собираясь ударить. Тело Эсперансы каменеет. Она с вызовом смотрит ему прямо в лицо, уверенная в своей правоте. Рамон опускает руку.

**Эсперанса.** Так вот как ты хотел бы жить! По-старому... Никогда больше этого не делай. Никогда! (Подходит к двери, затем оборачивается.) Я иду спать. Спи, где хочешь, только не со мной. (Уходит.)

Дорога. Рассвет. Закрытый автомобиль образца 1946 года быстро движется по окраине, миная заправочные станции, туристские домики и другие строения. Городок ещё спит.

Улица. Здание суда. Рассвет. Видна та же машина, но уже в центре города. Машина приближается и заворачивает. Видно здание суда. Подъезд и тротуар около него пусты. У обочины стоят два больших крытых грузовика. Слышен скрежет тормозов: подъехав к грузовикам, легковой автомобиль останавливается. За рулём сидит Дженкинс. Рядом с ним — Антонио и Рамон. Сенте, Хосе и рудокоп-янки разместились на заднем сиденье.

**Дженкинс** (Рамону). Почему ты заставил меня остановиться?

**Рамон** (глядя в сторону). Видишь, грузовики.

**Дженкинс.** Ну и что же?

**Рамон.** Зачем они здесь?

**Антонио.** Послушай-ка, ты что, собираешься охотиться на оленей или брать штурмом тюрьму? Поехали.

Дженкинс включает скорость, и машина отъезжает.

Пикет. Раннее утро. Усталые и замёрзшие женщины, сгорбившись, двигаются против ветра. У будки, где готовится кофе, в железной бочке из-под нефти горит костёр. Командир пикета Тереса стоит впереди и проверяет женщин по списку. Поймав взгляд Эсперансы, Тереса кивает ей. Эсперанса выходит из пикета и подходит к Тересе.

**Тереса** (негромко, тревожно). Что случилось? Где остальные?

**Эсперанса** (опустив глаза). Не захотели прийти. Их мужья... уехали.

**Тереса**. Что? Кто уехал?

**Эсперанса**. Целая куча народу: Сенте, Санчес, Дженкинс... Очень многие... (Кусает губы.) И Рамон тоже.

**Тереса** (возмущённо). Отряд охраны? Куда они поехали?

**Эсперанса** (нехотя). Охотиться на оленей.

**Тереса** (в отчаянии). Но... но ведь у нас вовсе не осталось мужчин. Остальные либо работают, либо уехали за топливом, либо посланы с делегацией.

**Эсперанса** (виновато). Знаю.

**Тереса** внимательно разглядывает удручённое лицо Эсперансы, берёт её за руку и подводит к бочке, в которой горит костёр.

У б о ч к и. Обе женщины греют над огнём руки. Тереса размышляет вслух.

**Тереса**. Значит, им не очень-то пришлось по вкусу домашнее хозяйство... и они сбежали.

**Эсперанса**. У Рамона... это гонор. Я высказала ему всё, что у меня накопело. И он обиделся.

**Эсперанса** смотрит в огонь. Тереса глядит на неё с глубоким сочувствием.

**Тереса**. Новое всегда рождается с муками. Все эти перемены воспринимаются очень болезненно... и другими мужьями... Не одним Рамоном.

**Эсперанса** (не поднимая глаз). Когда я утром увидела, что он уехал, мне не хотелось сюда идти. Я готова была встать на колени и молить бога, чтобы он вернулся, готова была просить прощения, что я такая плохая жена...

Слышен шум приближающегося грузовика, но женщины не оборачиваются.

**Эсперанса**. Потом я поняла: я совсем не плохая жена. Теперь я ему лучшая жена, чем прежде.

Грузовик приближается к будке. Женщины оборачиваются и смотрят на него. За рулём сидит Чарли, рядом с ним — Сальвадор. Грузовик останавливается у костра, Чарли высовывается и кричит.

**Чарли**. Эсперанса, где Рамон?

**Эсперанса** (не понимает). Рамон?

**Сальвадор**. Он что, уехал охотиться? Вместе с остальными?

**Эсперанса** утвердительно кивает.

**Чарли**. Куда? Где их можно найти? Ты не знаешь?

**Эсперанса**. Нет.

Услышав этот разговор, несколько женщин выходят из пикета и обступают их.

**Сальвадор** (с горечью, вполголоса). Также мне охотники. Дезертиры! Вот они кто такие!

**Тереса**. Что случилось?

**Чарли**. Ваше дело — быть здесь. Мы всё сделаем сами.

**Тереса** (настойчиво). Чарли! В чём дело?

**Чарли** (неохотно). Компания получила ордер на выселение.

**Эсперанса** (постепенно понимая, что происходит). Они собираются выселить... всех нас?

**Чарли** (нетерпеливо). Ничего не известно. Мы знаем только, что они едут в посёлок. И их некому остановить.

**Тереса**. Как насчёт других рудников? Неужели товарищи не бросят работу и не придут к нам на помощь?

**Сальвадор** (раздражённо пожимает плечами). На это нужно время, а у нас его нет.

Грузовик трогается с места.

**Эсперанса.** Стойте! Стойте! (Чарли тормозит.) Может быть, часть из нас пойдёт в посёлок и попробует их остановить?

**Сальвадор.** И наполовину ослабит пикет? (Качает головой.) Нельзя рисковать.

**Эсперанса.** Тогда пойдёт кто-нибудь один. Хотя бы я. Надо предупредить остальных женщин.

**Сальвадор.** Ладно. Иди, а вы все оставайтесь.

Грузовик отъезжает.

Улица. У здания суда. День. К двум крытым грузовикам присоединилось несколько автомобилей шерифа. Отряд готовится тронуться в путь. Шериф садится в головную машину. К нему подходит Вэнс.

**Вэнс** (нервно). Почему вы решили начать с Кинтеро? Он задаст нам жару.

**Шериф.** Кинтеро с приятелями отправился на охоту. Мы выселим сначала его. С остальными будет проще.

Вэнс озабоченно пожимает плечами и отходит.

Прекрасная дикая горная местность. День. Холодный ветер шумит в кустах можжевельника, в вершинах сосен на крутом, покрытом валунами склоне. Охотники вереницей поднимаются по узкой тропинке. Рамон отстал. Он идёт медленно, погружённый в свои думы. В задумчивости останавливается. Лицо его светлеет. Его осенила какая-то мысль. Ни к кому не обращаясь, он бросает по-испански только одно слово.

**Рамон.** Выселение!

**Голос Антонио.** Эй, Рамон! Да иди же!

Но Рамон не двигается с места. Через несколько мгновений он поднимает голову и кричит по-испански.

**Рамон.** Ребята, нам надо вернуться.

Рудокопы оглядываются.

**Сенте** (кричит). Вернуться? Какая муха тебя укусила?

**Рамон.** Помните, грузовики у здания суда? Они решили нас выселить.

**Дженкинс.** Брось ты! Не выдумывай!

**Рамон** (тоном приказа). Возвращаемся! Немедленно!

Посёлок. День. Отряд шерифа остановился у ряда домиков, принадлежащих компании. Несколько помощников шерифа ходят взад и вперёд по двору одного из домиков. Кучка женщин смотрит на них из-за забора. Это домик Кинтеро. Шериф стоит во дворе, руководя действиями своих подчинённых, которые вытаскивают из дома мебель. Они сваливают вещи на дворе и на улице, за забором. Несколько человек появляются в дверях, неся кровать. Эсперанса, Люс и ещё десяток женщин молча наблюдают за ними, стоя за забором. Здесь же стоит госпожа Салазар, окружённая целым выводком ребятишек. Хуанито она держит на руках. Единственный мужчина среди них — приходский священник.

Главная улица Цинктауна. Машина Дженкинса с рёвом проносится по улице, направляясь к рудничному посёлку. В ней — рудокопы из отряда охраны. Машина проезжает мимо магазина, церкви, школы. Во дворе школы Луис о чём-то совещается с товарищами. Мальчики выбегают со двора и мчатся по улице.

Посёлок. Двор Кинтеро.

**Люс.** Неужели мы ничего не можем сделать?

Эсперанса, не отвечая, идёт к воротам. За нею двигаются и другие женщины. В этот момент из ворот выходит Кимброу; он выносит лампу и вазу и швыряет их на дорогу. Ваза разбивается. Кимброу грубо выталкивает Эсперансу за ворота.

**Кимброу.** Ладно, дамочки, ступайте отсюда.

Машина Дженкинса на всём ходу объезжает автомобили шерифа и останавливается у домика... Рамон и его товарищи выскакивают из машины и присоединяются к толпе женщин. Рамон держит ружьё наготове. Не сводя глаз с помощников шерифа, Рамон подходит к Эсперансе. Она видит его. На лице её радость. На секунду глаза их встречаются. Лицо Рамона остаётся суровым. Он смотрит, как помощники шерифа выбрасывают на улицу вещи: изображение девы Марии, старую куклу, выцветшую фотографию. В каждой из этих вещей — частица его жизни. На пыльную дорогу летит и портрет президента Хуареса. Рамка ломается. Лицо Рамона искажается гневом и ненавистью. Рядом с ним — Эсперанса. Рамон, словно прицеливаясь, медленно поднимает ствол ружья. Эсперанса смотрит на него с ужасом. Но Рамон вдруг как-то весь обмяк, он готов признать своё поражение. Резким движением он отдаёт ружьё госпоже Салазар, которая, вздрогнув от неожиданности, берёт его. Четыре помощника шерифа вытаскивают из дома старую железную печку. Из-за забора, разделяющего дворы Кинтеро и Моралесов, появляются головы Луиса и его товарищей. У мальчиков в руках комок глины. Они швыряют глину в полицейских. Два комка метко попадают в цель, обдавая полицейских грязью. Один из них выпускает из рук печку; печка падает, ударяясь о ступеньки. Несколько полицейских, охранявших ворота, бросаются в погоню за мальчиками, оставив проход свободным. Шериф кричит.

**Шериф.** Чёрт с ними, с этими щенками! Вернитесь! Надо кончить это дело!

К домику Кинтеро подходят ещё женщины, дети и старики. Теперь за выселением наблюдает уже больше двадцати женщин. Но все стоят молча, не двигаясь.

Рамон немножко успокаивается, но мысль его работает. Он обдумывает план действий. Смотрит на прибывающие пополнения: силы ещё не велики, но они растут с каждой минутой. На губах Рамона появляется улыбка.

**Рамон** (вполголоса). Вот это-то нам и нужно.

**Эсперанса** (в волнении, недоуменно). Ты это о чём?

**Рамон.** Значит, они отказались от мысли прорвать пикет. (Пауза.) Теперь мы можем бороться все вместе. Все!

Внезапно он притягивает Эсперансу к себе и шепчет ей что-то на ухо. Она кивает головой, быстро подходит к другим женщинам, шепчется с ними. Женщины входят во двор, подбирая на ходу разбросанные вещи.

**Д в о р.** Другие женщины, заметив, что делают Эсперанса и её подруги, быстро входят во двор, подбирают вещи и начинают вносить их в дом через заднюю дверь. Помощники шерифа, вытаскивающие из дома мебель и другие пожитки, сталкиваются с женщинами, которые вносят весь этот скарб обратно. Один из них останавливается и в изумлении смотрит на женщин. В это мгновение ком грязи падает ему прямо в лицо. Он отплевывается и свирепо грозит мальчикам, стоящим на другой стороне улицы. Луис и его «юные старосты» перевооружились, заняли новые рубежи и обстреливают полицейских из-за грузовиков. Несколько помощников шерифа бросаются в погоню за ними, но мальчики разбегаются врассыпную. Рамон стоит рядом с госпожой Салазар. Слышен громкий голос шерифа.

**Голос шерифа.** Оставьте мальчишек в покое. Я ведь сказал вам!

Рамон подмигивает госпоже Салазар. Она улыбается. Впервые за всё время мы видим на её лице улыбку.

**Д в о р.** Помощники шерифа окончательно деморализованы. Часть из них гоняется за мальчиками, другие же, те, кто выносит мебель, стал-

квиваются с женщинами, которых становится всё больше и больше. Шериф мечется взад и вперед в бессильной злобе. Он замечает стоящего у забора Рамона и устремляется к нему.

**Шериф** (кричит). Послушай, Кинтеро! Эти женщины оказывают сопротивление представителям закона. Уйми их, слышишь?

**Рамон**. А что я могу сделать? Вы же знаете, что они больше не признают мужской власти.

**Шериф** (вне себя от ярости). Ты хочешь, чтобы я их опять посадил?

**Рамон** (улыбается). Видно, очень без них соскучились?

**Шериф** уходит, задыхаясь от бессильного гнева.

**Улица и двор**. Женщин подходит всё больше и больше. Несколько малышей, подражая матерям, подбирают с земли лампы, кастрюли, сковородки и тащат их обратно в дом. Два помощника шерифа пытаются отнять у пяти женщин кушетку.

**Шериф**. Послушайте, девушки. Оставьте вы эту мебель в покое. (Полицейским.) Да отберите же у них кушетку, дурачье! Нашли себе забаву!

**Переулок**. Две машины подъезжают и останавливаются возле автомобиля шерифа. Из машин выходят Консуэло Руис и ещё шесть женщин. Они идут к домику.

**Двор**. Помощники шерифа оставили ворота без надзора, и Рамон с Антонио входят во двор. Несколько женщин, в том числе Эсперанса и Люс, пытаются поднять печку, но она для них слишком тяжела. Полицейский хватает Эсперансу, выворачивает ей руку и отталкивает от печки. В это мгновение к ним подходят Рамон и Антонио. Увидев Рамона, полицейский отпускает руку Эсперансы и хватается за пистолет. Но Рамон и Антонио, не обращая на него никакого внимания, нагибаются, чтобы поднять печку. Жёны им помогают. Вчетвером они вносят печку обратно в дом. Слышен автомобильный гудок. Посредине двора шериф орёт на своих подчинённых.

**Шериф**. Устройте оцепление!

**Улица**. К машине шерифа подъезжают ещё два автомобиля. Из них выходят Фрэнк Барнес в сопровождении нескольких рудокопов. Все они поспешно направляются к домику Кинтеро.

**Двор**. Люди шерифа перегруппировались и устраивают оцепление от ступенек крыльца до ворот, загораживая вход во двор. Четверо из них поднимают кровать Кинтеро и несут её к грузовику. Подойдя к воротам, они видят, что выход загораживают шестеро вновь приехавших рудокопов и четверо других, из отряда Рамона. Полицейские останавливаются и опускают свою ношу на землю. В это мгновение слышен гудок автомобиля. Все оборачиваются и видят, что к месту происшествия подъезжает ещё несколько машин. Впереди — грузовик профсоюзного комитета. За рулём — Чарли Видаль. В кузове — десяток рудокопов. За ними ещё полдюжины машин, принадлежащих рабочим. Машины проезжают мимо автомобилей шерифа и останавливаются. Рудокопы выходят из машин и сомкнутым строем направляются к воротам домика Кинтеро. Все они рослые, сильные люди. Лица их угрюмы и решительны. Человек их около тридцати. Рудокопы у ворот смотрят на приближающихся товарищей. Альфредо подталкивает Гонсалеса.

**Альфредо**. Гляди-ка! Ребята с открытых разработок!

**Гонсалес**. И с завода!

**Домик и двор**. Рамон, Эсперанса и другие женщины и дети выходят из дома и останавливаются на пороге. Лицом к ним за воротами стоят сорок рудокопов. Между теми и другими — люди шерифа. Они нервничают, поглядывают по сторонам. Все молчат. Во дворе воцаряется грозная тишина. Женщины и дети плотной стеной приникли к забору со

стороны соседнего двора. У забора с противоположной стороны появляются Луис и его товарищи. Шериф стоит посередине двора Кинтеро. Не отдавая себе отчёта в том, что он делает, шериф медленно поворачивается кругом и оглядывает своих противников. Люди шерифа полностью окружены. Вокруг них выстроилось больше сотни мужчин, женщин и детей.

На склонах окружающих холмов, отовсюду появляются всё новые и новые люди — рудокопы, их жёны, их дети. Они стоят неподвижно, полные суровой решимости. Шериф смотрит на них и, почувствовав, какая против него собралась сила, безнадёжным жестом приказывает своим людям следовать за собой. Он идёт к воротам. Рудокопы расступаются, открывая ему путь. Когда последний полицейский выходит со двора, рудокопы снова смыкают ряды и поворачиваются лицом к машинам шерифа. Все попрежнему молчат. Слышен только шум заведённых моторов.

**Улица и двор.** Машины трогаются. Рудокопы смотрят им вслед, пока из виду не скрывается последняя машина. Потом они приближаются к женщинам, которые сходят со ступенек крыльца. Посередине двора они встречаются друг с другом. Внезапно раздаётся чей-то смех. Напряженные разрядилось смехом, теперь уже смеются все. Слышатся ещё неуверенные голоса, в которых звучит радостное удивление.

**Голоса** (по-английски и по-испански):

— Мы их всё-таки остановили.

— Нам пришлось собрать все силы, но мы их всё-таки остановили...

— Когда у нас на заводе стало известно о выселении, мы просто бросили работу...

— Вы видели их физиономии?..

**Удаляющийся отряд шерифа.** Отряд подъезжает к перекрёстку примерно в четверти мили от домика Кинтеро. За углом стоит «кадиллак». Головная машина отряда останавливается. Шериф выходит из неё и подходит к «кадиллаку».

**У «кадиллака».** В машине — Александер и Хартуэлл. Шериф хочет что-то сказать, но замолкает на полуслове и беспомощно машет рукой в сторону пустых грузовиков.

**Шериф.** Придумайте что-нибудь другое!

**Александер** (оправдываясь и не желая брать на себя ответственность). Я лично ничего не решаю.

Смотрит на Хартуэлла. Хартуэлл молча дымит сигаретой. После долгого молчания он произносит.

**Хартуэлл.** Я позвоню в Нью-Йорк. Пожалуй, нам следует пойти на уступки. (Снова затягивается сигаретой.) Хотя бы на время.

**Двор домика Кинтеро.** Часть людей уже разошлась. Те, кто остался, вносят в дом последние пожитки Кинтеро. Перепрыгнув через забор, Луис бежит к матери. Она его горячо обнимает.

**У ворот.** Рамон подходит к госпоже Салазар, берёт у неё ребёнка. В ворота входит Эстелла. Она с трудом тащит портрет Хуареса. Торжественно поднимает портрет и протягивает отцу. Рамон берёт у неё портрет и идёт к дому. Эстелла идёт рядом с ним. Эсперанса и Луис стоят на ступеньках крыльца. Рамон подходит к ним и оглядывается на своих друзей во дворе. Они, видимо, ждут, что он скажет. Рамон обращается к ним по-испански.

**Рамон** (просто). Спасибо, сёстры и братья.

Люди ласково улыбаются. Кое-кто машет ему рукой. Потом начинают расходиться.

**Семья Кинтеро на крыльце.** Рамон держит на руке ребёнка. Портрет Хуареса он передаёт Луису. Мальчик смотрит на портрет с уважением, смахивает с него пыль и поправляет сломанную рамку.



Рамон тяжело вздыхает. Без улыбки он смотрит вслед удаляющемуся отряду шерифа. Эсперанса наблюдает за выражением его лица.

**Рамон.** Это ещё не конец.

**Эсперанса.** Конечно, нет.

**Рамон.** Но сегодня мы одержали победу.

**Эсперанса.** Да.

Долгое молчание. Всё ещё не глядя на Эсперансу, Рамон говорит ей прерывающимся голосом.

**Рамон.** Эсперанса... Спасибо тебе за то, что ты держалась с таким достоинством...

Глаза Эсперансы наполняются слезами.

**Рамон.** Ты была права. Вместе мы сумеем подняться сами и поможем подняться другим.

Эсперанса кладёт свою руку в его руку. Вместе с детьми они входят в дом.

*Перевод с английского*  
**И. Кулаковской, М. Тарховой.**



---

---

# НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

С. МАРШАК

★

## ИЗ ЛАТЫШСКОЙ НАРОДНОЙ ПОЭЗИИ

### КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Спи, усни, мой медвежонок,  
Мой косматый, косолапый.  
Батяка твой ушёл за мёдом,  
Мать пошла лущить овёс.  
Скоро батяка будет с мёдом,  
Мать — с овсяным кисельком.

Кто постельку, колыбельку  
Для волчонка, медвежонка  
Из ветвей сплетёт еловых,  
Из еловых, из сосновых,  
Из берёзовых ветвей?

Кто подвесит медвежонку,  
Медвежонку, оленёнку  
Зыбку лёгкую на ветки,  
Кто им песенку споёт?  
Будет нянькой вольный ветер,  
Ветер песенку споёт.

Стал медведем медвежонок,  
Стал оленем оленёнок,  
Оба стали мужиками,  
А никто их не лелеял,  
Не лелеял, не баюкал,  
Не баюкал, не качал.

### РИЖСКИЙ ЗАМОК

Кабы мне достались деньги,  
Что лежат на дне морском,  
Я купил бы рижский замо́к  
И баронов заодно.

Я бы всех господ заставил  
Делать то, что делал сам:  
Целый день в лесу работать,  
Ночью в риге молотить,

Кто слабей, пусть глину месит,  
 Кто сильней, корчует пни.  
 Пусть узнают дармоеды,  
 Как даётся людям хлеб.

### ПЕСНЯ ПРО БАНЮ

Спасибо, спасибо  
 Тому, кто строил баню,  
 Кто печку топит в бане  
 И греет воду в чане.

Ещё тому спасибо,  
 Кто поддаёт нам жару,  
 Кто поддаёт нам жару  
 И не жалеет пару!

Спасибо, спасибо  
 Заботливой хозяйке,  
 Спасибо, спасибо  
 Тому, кто сделал шайки,  
 Гладко выстругал полók,  
 Вправил в печку котелок,  
 Кто дровишек нам припас,  
 Вяжет веники для нас.  
 Спасибо, спасибо!

А враги и лиходеи  
 Пусть уходят поскорее  
 На болота, на трясины,  
 За скрипучие осины,  
 В те края, где нет соседей,  
 Кроме леших да медведей.

Трижды тридевять годов  
 У злодеев, у врагов  
 Пусть не будет жаркой бани  
 И воды не будет в чане.  
 Пусть у вора, у мошенника  
 Не найдётся в бане веника!

★ ★  
 ★

Пьяный хмель и старый дед  
 Неразлучны с давних лет.  
 Хмелю дед подпорки ставит,  
 Деда хмель плясать заставит.

★ ★  
 ★

Чёрен пахарь в день рабочий.  
 Золото в его руках.  
 Пусть черны рыбацьи ночи,  
 Серебро в их челноках.

\* \*  
\*

Коту не водиться  
Среди горностаев.  
А нам не садиться  
За скатерть хозяев.

\* \* \*  
\*

Что ты, барин, делать будешь  
Если весь народ помрёт?  
Где ты хлеб себе добудешь,  
Где найдёшь себе почёт?

\* \* \*  
\*

Кто там воеет, кто там ноет  
В адском пламени, в котле?  
Это барин, что крестьянам  
Ад устроил на земле.

\* \*  
\*

Думу думал я — откуда  
Столько денег у господ.  
Ведь не пашут и не сеют,  
Не копают огород.

\* \* \*  
\*

Огонёк горит в светлице.  
То хозяину не спится.  
Он шаги считает наши,  
Наши слёзы мерит чашей.

### МНЕ МИЛЕЕ ЭТОТ СВЕТ

Пусть бездельник помирает.  
Помирать я не хочу.  
Укажи мою могилу —  
Я чурбан в неё вкачу.

Любят нас на этом свете,  
А не любят нас на том.  
Этот свет давно мы знаем,  
А другой нам незнаком.

### МАТУШКА МОЯ

Мама, матушка моя,  
Горемычная моя,  
Горы-горки исходила,  
На руках меня носила.

Я лучину зажигала —  
От лучины света мало.  
Только матушка вошла —  
Стала горенка светла.

Нынче рано вечереет.  
Рано матушка стареет.  
Всё равно я к ней спешу,  
Поучить меня прошу.

### СОВУШКА

Совушка, совушка,  
Толстая головушка,  
Твои детушки пригожи.  
— На меня они похожи!

А в кого твои совята  
Лупоглазы и косматы?  
— Все птенцы мои с лица  
В чёрта лешего, в отца!

\* \*  
\*

Что за грохот, что за стук?  
Сел комар в лесу на сук.  
Треснул сук под комаром —  
Вот откуда стук и гром.

\* \*  
\*

Перед печкой вечерком  
Пляшут блошка со сверчком.

Раздобыл себе сапожки,  
Шпоры медные сверчок.  
А у блошки-быстроножки —  
Чёрный вязаный платок.

\* \*  
\*

Серый кот сидит на камне.  
— Что задумал, котофей?  
В Ригу, думаю, пора мне —  
На возы грузить мышей!

### ПЕТУШОК

Ты куда, куда, мой Петя,  
Петушок?  
Рано-рано на рассвете  
Скок-поскок.

— К деревенским, к деревенским  
 Девушкам лечу.  
 Разбудить их, разбудить их  
 На заре хочу.

Прибегу я, прилечу я  
 К ним на двор.  
 Перед домом, мне знакомым,  
 Сяду на забор.

На забор высокий сяду,  
 Трижды пропою,  
 Только мне будить не надо  
 Милую твою.

Куры сонные с насеста  
 Не сойдут,  
 Уж она — твоя невеста —  
 Тут как тут!

### ВСЕМ ДЕРЕВЬЯМ ПО ПОДАРКУ

От зари вечерней яркой  
 Всем деревьям по подарку:

Дубу, дубу —  
 Золотую шубу,  
 Ясеню — сорочку,  
 Липам — по платочку,

В чаще каждому кусту —  
 По цветному лоскуту.

\* \*  
 \*

Поле чёрное, просторное,  
 Чем тебя я наряжу?  
 Я посею рожь отборную,  
 Дуб зелёный посажу.

### ДРУЗЬЯ И БРАТЬЯ

Люди русские, литовцы —  
 Все друзья мои и братья.  
 Замужем сестра за русским,  
 Сам женат я на литовке,  
 И в Москве я буду гостем,  
 И в Литве я погощу.



---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

**В. ДОБРОХВАЛОВ**

*Кандидат биологических наук*



## РЕАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

*Перед Всесоюзной сельскохозяйственной выставкой*

**В**дохновлённый призывом Коммунистической партии, советский народ успешно осуществляет намеченные сентябрьским и февральско-мартовским Пленумами ЦК КПСС мероприятия по дальнейшему мощному подъёму всех отраслей социалистического сельского хозяйства и увеличению производства товаров широкого потребления. Могучий трудовой подъём царит среди рабочих, колхозного крестьянства и интеллигенции, — каждый советский человек стремится внести свой вклад в решение этой важнейшей задачи коммунистического строительства в нашей стране.

Состоявшийся недавно очередной Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, рассмотрев вопрос об итогах весеннего сева, наметил боевую программу достижения новых успехов в сельскохозяйственном производстве, в работе всех колхозов, МТС и совхозов.

Через месяц в Москве откроется Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, организуемая по решению Партии и Правительства. Восемьсот колхозов, триста совхозов, двести машинно-тракторных станций и тысячи новаторов сельскохозяйственного производства — передовики советской социалистической деревни — продемонстрируют перед Родиной, перед всем советским народом свои трудовые успехи, свидетельствующие о колоссальных возможностях, заложенных в колхозном строе.

Практические дела колхозов, совхозов и МТС — участников выставки — наглядное доказательство тому, что при умелом ведении хозяйства подобных успехов может добиться всё наше сельское хозяйство. И в этом — основное значение выставки; она — призыв двигаться вперёд по пути, указанному Коммунистической партией Советского Союза и Советским правительством, призыв к новым достижениям, к новым победам.

1

Много мыслей о незабываемых событиях прошлых лет, о сегодняшних задачах и перспективах развития нашего сельского хозяйства вызовут у посетителей выставки собранные здесь со всех концов страны образцы мастерства тружеников социалистических полей.

Прошло не так много времени с тех пор, когда впервые в истории человечества крестьянство нашей страны начало создавать коллективные хозяйства. Ленинский кооперативный план опирался на историческую необходимость. В этом была его сила, и это учитывала Коммунистическая партия, возглавляя и направляя колхозное движение.

Колхозы росли и крепили с каждым днём. Были и трудности — не хватало знаний, опыта, давала о себе знать психология частного собственника. На протяжении ряда

лет продуктивность некоторых хозяйств была низка. И всё же даже самые маломощные в экономическом отношении колхозы не прекратили своего существования, крестьяне не вернулись к единоличному хозяйству.

Основная причина устойчивости колхозной формы производства заключается в новых производственных отношениях, сложившихся при колхозном строе. Они открыли неограниченные возможности для непрерывного прогресса социалистического сельского хозяйства, и именно это поняло, осознало советское крестьянство.

Колхозное крестьянство знало, что усилия Коммунистической партии, всего народа в первые годы социалистического строительства должны были быть направлены прежде всего на индустриализацию страны. Задача состояла в том, чтобы поднять на несравнимо более высокий уровень техническую вооружённость всего народного хозяйства, включая и сельское хозяйство. И колхозники давали фабрикам, заводам и шахтам, городам и рабочим посёлкам сырьё, хлеб, рабочую силу. Они знали, что вклад этот во всенародное дело окупится сторицей.

И вот теперь, когда в нашей стране создана могучая индустриальная база и значительно окрепли колхозы, Коммунистическая партия выдвинула задачу крутого подъёма всех отраслей сельского хозяйства, с тем чтобы в течение короткого времени резко увеличить производство товаров народного потребления, повысить материальное благосостояние колхозов и колхозников.

Основные завоевания, одержанные советским народом под руководством Коммунистической партии в создании и укреплении колхозного строя, будут показаны в Главном павильоне Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Материалы, экспонируемые в этом павильоне, наглядно покажут тот исторический путь, который прошло наше колхозное и совхозное производство, те новые перспективы, которые открыты перед социалистическим сельским хозяйством мудрыми решениями партии и правительства.

Выставка с новой силой продемонстрирует тот неоспоримый факт, что в период социализма сельскохозяйственная артель полнее, чем какая-либо другая форма сельскохозяйственного производства, обеспечивает сочетание личных и общественных интересов крестьянства. Только в колхозе труженик земли обретает полную гарантию своего экономического благополучия и культурного роста. Эта гарантия тем надёжнее, чем сильнее и крепче общественное хозяйство. И если кое-где у нас нарушался принцип материальной заинтересованности колхозников, то это происходило не от природы колхозного строя, а исключительно от допущенных ошибок.

Коммунистическая партия вскрыла эти ошибки. Для их исправления были приняты решительные меры. Советское государство определило порядок исчисления поставок колхозами продуктов полеводства и животноводства с каждого гектара пашни или земельной площади, закреплённой за колхозами. В новом Законе о сельскохозяйственном налоге предусмотрено значительное уменьшение государственных сборов с хозяйств колхозников и установлены твёрдые ставки налога с одной сотой гектара земли. Повышены заготовительные и закупочные цены на сельскохозяйственные продукты.

Мероприятия, проведённые Коммунистической партией и Советским правительством в области сельского хозяйства, направлены на дальнейшее развитие принципа материальной заинтересованности колхозников в совершенствовании общественного производства, обеспечивают рост творческой активности колхозного крестьянства. Они вызвали в деревне новую могучую волну социалистического соревнования за увеличение производства продуктов для населения и сырья для промышленности.

Производственные показатели колхозов, совхозов, машинно-тракторных станций, идущих в первой шеренге нашего сельского хозяйства, составят основное содержание Всесоюзной выставки. Результаты деятельности передовых хозяйств, новаторов производства, учёных — это тот уровень развития сельскохозяйственного производства, ориентируясь на который можно быстрее решить задачу дальнейшего роста материального благосостояния советского народа.

Социалистическое земледелие и животноводство могут успешно развиваться только на основе внедрения в практику достижений науки, техники, передового опыта. Взаимс-



связь науки и производства в условиях колхозного строя выступает как насущнейшая необходимость, как объективная закономерность. Колхозный строй создаёт все предпосылки для успешного решения этой задачи.

## 2

Одной из важнейших особенностей советского сельского хозяйства является высокий уровень механизации. Количество и качество сельскохозяйственных машин и орудий непрерывно возрастают. В богатейшей технике, которой во всё больших масштабах вооружаются наши колхозы и совхозы, находит своё яркое конкретное выражение могущество союза рабочего класса и крестьянства.

Когда-то Владимир Ильич Ленин мечтал о 100 тысячах тракторов, которые, по его мысли, должны были изменить производственные отношения в деревне. И вот вскоре, к 1928 году, сельское хозяйство нашей страны имело 26 700 тракторов. А ныне, к началу 1954 года, в машинно-тракторных станциях насчитывается уже более миллиона тракторов (в 15-кратном исчислении), 270 тысяч зерновых комбайнов, около 450 тысяч зерновых тракторных сеялок и множество других первоклассных машин.

По уровню механизации сельского хозяйства СССР вышел на первое место в мире. Достаточно сказать, что в минувшем году машинно-тракторные станции выполнили свыше 80 процентов всех основных полевых работ в колхозах. Вспашка паров и зяби, сев озимых были механизированы почти полностью. Сейчас нет почти ни одной сельскохозяйственной культуры, для которой у нас не было бы создано уборочной машины. Комбайны убирают урожай зерна, свёклы, хлопка. Имеются машины для уборки льна, для посадки и уборки картофеля, многих овощных и бахчевых культур.

Вся эта совершенная техника будет богато представлена на выставке в павильоне механизации и электрификации.

Поражаешься остроумию технической мысли советских конструкторов. Вот, например, свеклоуборочный комбайн. Работа этой машины напоминает действия живого существа. Комбайн движется по полю, его металлические лапы раскрываются, забирают как бы в кулак листья, крепко зажимают их и вытаскивают на поверхность свёклу. Круглые ножи обрезают ботву. Корнеплод, очищенный от земли, попадает на транспортер и складывается отдельно, а ботва собирается в другом месте.

Наша промышленность обеспечивает машинно-тракторные станции всё более совершенной техникой. В Челябинске изготавливаются гусеничные тракторы марки «С-80». Этот трактор имеет вес 11,5 тонны и, тем не менее, передвигается со скоростью 10 километров в час. К нему можно прицепить столько плугов, что вспахиваемая ими полоса превосходит по ширине довольно просторную улицу. Во время сева трактор «С-80» имеет возможность работать с шестью тракторными сеялками. Таким образом составляется огромный агрегат, засевающий в день 180—200 гектаров земли.

Через механизацию открывается путь к постоянному росту продуктивности сельскохозяйственного производства. Казалось бы, например, не имеет никакого значения, как напоить корову. Однако применение автоматических поилок, позволяющих животным самостоятельно пользоваться ими и пить тогда, когда они хотят, увеличивает удои коров на 12—15 процентов.

Очень оригинальна так называемая «электросмазка» плуга. Под действием электрического тока происходит лёгкое вибрирование лемеха и отвала, в результате чего плуг испытывает меньше трения о землю. Это повышает производительность пахотных работ на 12 процентов. Прикиньте значение такого новшества в общегосударственном масштабе, и станет ясным, что применение вибрирующего плуга может значительно сократить сроки весенних полевых работ и дать стране десятки миллионов рублей экономии.

Электрострижка овец не только облегчает труд, но и увеличивает настриг шерсти на 250—300 граммов в среднем от каждой овцы. Если учесть, что из этого количества тонкорунной шерсти получается 300 сантиметров добротной ткани, то становится очевидным, как важно широкое распространение электрострижки на колхозных животноводческих фермах.

В механизации сельского хозяйства всё большую роль играет электрическая энергия. Это приносит большую экономическую выгоду. Так, участник выставки совхоз «1 Мая», Горьковского района Сталинской области, в результате механизации и электрификации своего производства добился в 1953 году экономии средств в 1 856 500 рублей.

На выставке будет экспонирован электротрактор. Он отличается рядом преимуществ по сравнению с обычным трактором, имеющим двигатель внутреннего сгорания: проще по своему устройству, не требует горючего, более долговечен. Применение лишь одного электротрактора позволяет сэкономить около 20 тонн жидкого топлива в год и освобождает до 35 процентов рабочей силы.

На выставке мы увидим и такие технические новинки, как портативные передвижные электростанции, которые в настоящее время успешно используются в районах освоения целинных и залежных земель. При помощи электричества в колхозах осуществляется подача воды в оросительные системы, производится облучение растений в парниках и теплицах, приготавливаются корма. Теперь уже во многих хозяйствах применяется электродойка коров.

При современном уровне развития науки возможности энергетической вооружённости нашего сельского хозяйства всё более расширяются. Речь идёт о проблеме применения атомной энергии в сельскохозяйственном производстве. Пока ещё трудно определить, какие конкретные формы примет использование этого могучего энергетического источника. Может быть, энергия атомного ядра сначала будет служить в целях получения огромных количеств тепла для обогрева больших земельных массивов, оранжерей и теплиц; возможно, что она (а такие лабораторные данные уже имеются) найдёт своё применение для облучения сельскохозяйственных культур, с тем чтобы сократить вегетационный период и повысить урожайность; может быть, наконец, атомная энергия явится движущей силой многих новых машин, которые будут обладать несравненно более высокой мощностью, чем все существующие ныне двигатели.

Таковы реальные перспективы механизации сельскохозяйственного производства в Советском Союзе.

Техническое оснащение сельского хозяйства породило в колхозной деревне ряд замечательных явлений. Крестьянин вплотную приобщился к технике, на практике познал её преобразующее значение. В колхозе появился новый человек — механизатор. Механизация труда предъявила более высокие требования к организации хозяйства, к обучению и воспитанию людей. Техническая база не только изменила культурный облик деревни, способствуя непрерывному росту рядов сельской интеллигенции, но и явилась тем ключом, который открыл двери для широкого проникновения науки в колхозное и совхозное производство. Н. С. Хрущёв в докладе на сентябрьском Пленуме ЦК КПСС говорил, что механизация «позволила перевести сельское хозяйство нашей страны на современные научно-аграрные основы».

Механизация обеспечивает массовое внедрение научных достижений в сельскохозяйственное производство. Новые, более высокоурожайные сорта культурных растений требуют и соответствующей, более совершенной агротехники. А она может быть достигнута только при помощи механизированной обработки почвы. Наука разработала эффективные средства борьбы с сорняками, но для того, чтобы применять эти средства на больших земельных массивах, нужна техника, в частности сельскохозяйственная авиация. Учёный-животновод, составляющий новые рационы кормления скота, принимает во внимание механизированный способ приготовления кормов в колхозах.

Механизация в значительной мере определяет направление работы деятелей сельскохозяйственной науки, в частности селекционеров. Проиллюстрируем это таким примером. Вот обычные сорта гороха и бобов, помидоров и огурцов. Как известно, плоды у них размещаются на многих ветвях и к тому же созревают в разное время — одни уже совсем спелые, другие только ещё зарождаются. Трудно, а порой и невозможно при таких условиях механизировать уборку урожая. Учитывая это, селекционеры вывели новые сорта гороха, все плоды которого сосредоточены на верхушке и поспевают почти одновременно. Появилась возможность создать машину для уборки гороха, которая в 20—30 раз экономит труд колхозников. Учёные добились, чтобы помидоры дружно

созревали и располагались на растении более кучно. Выведены такие сорта огурцов, плоды которых произрастают не вразброс, а кистями.

Результаты работ ряда учёных в этой области займут своё место на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.

## 3

Всё более широкое внедрение достижений сельскохозяйственной науки способствует развитию творческой инициативы колхозников и реализации тех возможностей, которые заложены в колхозном строе. Это подтверждается многолетней практикой всех передовых хозяйств.

Можно назвать большое число колхозов, совхозов и машинно-тракторных станций — участников предстоящей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, выдающиеся достижения которых объясняются в первую очередь правильным, научно обоснованным ведением всех отраслей хозяйства.

На какую глубину надо пахать, чтобы сохранить в почве больше влаги? По каким предшественникам следует размещать пшеницу? Сколько семян высевать на гектар, в какие сроки и каким способом? Когда и в каких количествах вносить минеральные и органические удобрения? Решение всех этих вопросов, составляющих в совокупности систему агротехнических мероприятий, — большая творческая работа. Она требует не только теоретических знаний, но и практического опыта в разнообразных, никогда в точности не повторяющихся условиях каждого сельскохозяйственного года. Схемы и шаблоны в агротехнике недопустимы. В преодолении их и заключается сущность агрономического новаторства.

Руководители Выселковской МТС (Краснодарский край) рассказывают о такой детали. Известно, что после уборки пшеницы остаётся жнивье, которое уничтожается лушильниками в момент уборки культуры или спустя некоторое время. Затем производится зяблевая вспашка. Почва, таким образом, с осени готовится под яровые культуры. Это обычный, повсеместно распространённый агротехнический приём. Но работники МТС заметили, что одного лушения и последующей зяблевой вспашки недостаточно для уничтожения сорняков, в частности осота. Тогда решили ввести повторное лушение полей, засорённых многолетними дикими травами. Оказалось, что таким путём можно создать более благоприятные условия как для озимой пшеницы, высеваемой осенью, так и для яровых культур, высеваемых весной.

Мы привели лишь частный пример творческого отношения к одному агротехническому приёму. А сколько в агротехнике таких приёмов! И ведь применение каждого из них зависит от почвенных и климатических условий, от возделываемой культуры, от экономики хозяйства. Без учёта всех этих конкретных обстоятельств не может быть прочного успеха ни в сельскохозяйственной науке, ни в колхозной и совхозной практике.

Так именно и получилось с травопольной системой земледелия. Основным элементом её является посев многолетних бобовых и злаковых трав. Не везде эти травы произрастают хорошо, а значит и не повсюду они выполняют свою основную роль — улучшать структуру почвы, обогащать её питательными веществами. Некоторые ученики и последователи В. Р. Вильямса догматизировали его учение, распространяя травопольную систему повсеместно, хотя это и шло вразрез с данными практики. Так шаблонное, некритическое отношение к агротехнике может принести вместо пользы большой вред.

Иная картина наблюдается, когда травопольная система применяется с учётом почвенных и климатических условий. Эта система оправдывается главным образом в районах нечернозёмной полосы, отличающихся достаточным количеством почвенной влаги. В Московской области есть колхоз «Коминтерн», в севообороте которого имеются поля, засеянные многолетними травами — клевером и тимофеевкой. Практика показывает, что здесь такие посевы оправдывают себя. Колхоз собирает по 40—45 центнеров сена с гектара. Он получает высокие урожаи ржи, пшеницы, ячменя, овса и других культур. И это не одиночный пример.

Одна из основных задач Всесоюзной сельскохозяйственной выставки — научить работников колхозного и совхозного производства правильно разрабатывать и применять

агротехнические системы повышения плодородия почв. Выполнить эту задачу можно при условии умелого обобщения опыта передовых машинно-тракторных станций, колхозов, совхозов, трудов научно-исследовательских учреждений. Распространение этого опыта является большим вкладом в дело повышения урожайности всех сельскохозяйственных культур.

Зерновое хозяйство — основа всего сельскохозяйственного производства. Передовые колхозы и совхозы добиваются урожая пшеницы и ржи по 25—30 центнеров зерна с гектара. Но это далеко не предел. Такая урожайность — это примерно одна треть тех вполне реальных в настоящее время возможностей, которыми мы располагаем. В этом нетрудно убедиться, ознакомившись с опытами, результаты которых будут представлены на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.

Советские селекционеры создали сорта зерновых культур, дающие урожай 60—70 и более центнеров с гектара. К их числу относятся, в частности, пшенично-пырейные гибриды, выведенные академиком Н. В. Цициным. По сравнению с существующими, новые сорта обладают рядом замечательных свойств. Если обычная пшеница полегает при урожае, превышающем 25—30 центнеров, то пшенично-пырейные гибриды, как правило, выдерживают тяжёлый вес своих колосьев, что даёт возможность полностью механизировать процессы уборки.

Весьма перспективными являются работы по выведению многолетних пшениц. Известно, что пшеницу приходится сеять ежегодно. А вот если бы высевать пшеницу один раз, а затем несколько лет подряд собирать урожай? В наши дни это тоже становится реальностью. Опытные растения многолетней пшеницы уже имеются. Селекционеры продолжают совершенствовать эти сорта с таким расчётом, чтобы их можно было предложить производству.

Внимание посетителей выставки, несомненно, привлечёт также дву- и трёхкусовая пшеница. Такая пшеница сперва приносит урожай зерна, а после уборки снова отрастает и даёт высокопитательное сено. Кроме того, эти сорта улучшают структуру почвы. Нет нужды доказывать, насколько велико их значение для укрепления и расширения кормовой базы общественного животноводства. Советские учёные считают, что создание многолетних и многокусовых зерновых культур — одно из главных направлений в селекции. Практическое решение этой задачи открывает широчайшие перспективы для повышения продуктивности сельскохозяйственного производства.

Для выведения новых сортов культурных растений успешно используется мичуринский метод отдалённой гибридизации. Смысл этого метода состоит в том, что для скрещивания берутся далёкие по родству и часто по географическому положению виды растений, причём селекционер ставит своей целью соединить наиболее полезные для хозяйства свойства избранных организмов. Пшеница, например, содержит ценные питательные вещества, но ей недостаёт многих качеств — нужной человеку продуктивности, выносливости по отношению к суровым климатическим условиям, вредителям и т. д. Зато многие эти свойства присущи пырею, хотя, как известно, семена пырея и не обладают теми качествами, которые имеются у пшеницы. Правильное сочетание свойств пшеницы и пырея даёт новые, не встречавшиеся до сих пор в природе растения, весьма нужные для хозяйства.

Говоря о методе отдалённой гибридизации, следует заметить, что мы ещё очень слабо используем дикую природу. А богатства её неисчерпаемы, о чём, в частности, неоднократно напоминал И. В. Мичурин. Он писал о том, что необходимо: «В целях отвоевания от дикой природы новых и новых полезных растений принимать все меры к неутомимым поискам растений для культуры, стараясь использовать накопленный опыт исследователей, с одной стороны, и всемерно увеличивать этот опыт путём научных исследований гор, лесов, степей и болот наших необозримых окраин и в особенности горного Кавказа и дальневосточных районов страны, тающих в своих недрах великое множество неиспользованных ценных видов растений».

Есть в растительном мире семейств сложноцветных, к которому относятся, в частности, подсолнечник, ромашка и много других общеизвестных видов. Всего это семейство насчитывает 25 тысяч ботанических видов, а в культуру введены буквально

единицы. Из двух с половиной тысяч видов семейства паслёновых в культуре известны лишь картофель, томат, баклажаны, табаки.

В дикой природе встречаются растения с изумительными свойствами, к сожалению, совершенно недостаточно изученными. Селекционеры давно работают над тем, чтобы создать такие культурные растения, которые продолжали бы расти и развиваться зимой, в условиях снежного покрова. Пока эта задача не решена. А вот в лесах Подмоскovie нередко можно видеть перелеску и медуницу, у которых рост листьев и развитие бутонов происходит в тот период, когда землю покрывает ещё глубокий снег. Они, таким образом, обладают свойством подснежного развития, то есть тем, чего так ощутительно недостаёт большинству наших культурных растений.

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка покажет, как наша советская наука в содружестве с производственной практикой решает в настоящее время проблему создания прочной кормовой базы для животноводства, какие проводятся мероприятия по улучшению лугов и пастбищ. Вместе с тем огромные, почти не использованные кормовые угодья скрыты в лесах, занимающих в общей сложности 40 процентов территории нашей страны. Только в государственном лесном фонде СССР имеется свыше 10 миллионов гектаров сенокосов и более 5 миллионов гектаров пастбищ. Если со всех этих площадей собрать хотя бы по 10 центнеров сена с гектара, то мы имели бы колоссальные количества дополнительных кормов.

Но этим не ограничиваются дары лесов. Практике давно известно, что для кормления многих домашних животных с успехом используют веточный корм, получивший название «лесного сена». А сколько ценных плодов, имеющих пищевое, техническое и лекарственное значение, имеется в наших лесах! В Татарской АССР, например, ежегодный урожай лесного ореха составляет свыше 100 тысяч тонн, а собирается лишь какая-то незначительная доля.

Трудно дать более или менее полное представление о тех огромных растительных богатствах, которыми располагает наша страна и которые всё больше и больше поступают под власть человека. Мы видели, что одни из этих растений могут быть использованы в селекционной практике, другие достойны того, чтобы перенести их в культуру, третьи и в условиях дикой природы дают нужную человеку продукцию. Всё это представляет собой один из источников значительного увеличения продовольствия для населения и сырья для промышленности.

Большое место в экспозиции Всесоюзной сельскохозяйственной выставки займёт показ той поистине великой работы, которую под руководством Коммунистической партии ведёт наш народ, осваивая целинные и залежные земли. Мы наглядно увидим не только широкие масштабы, но и первые практические результаты этой работы, ставшей делом всей страны, всего советского народа.

Наша страна располагает огромными массивами целинных и залежных земель. Эти земли имеются не только в Казахстане, в Сибири, на Алтае, в Краснодарском крае, — их много и в центральных районах. Зачастую они уже поросли кустарниками, заболочены. Но все эти земли таят в себе неисчислимые возможности. Высокое плодородие их имеет свои причины. Эти почвы десятилетиями, а порой и столетиями впитывали в себя влагу, обогащались питательными веществами, приобрели структуру. Вот почему в одном и том же районе урожай сельскохозяйственных растений, возделываемых на целине и залежи, как правило, выше, чем на обычных, давно распаханых площадях. Освоение целинных и залежных земель даст нашей стране большое количество зерна, а следовательно, и продукции животноводства.

Освоение новых земель связано с определёнными трудностями, на которые нельзя закрывать глаза. Основные массивы этих земель находятся в районах с суровыми климатическими условиями, где мало выпадает осадков, где часто дуют сухие ветры. Отсюда особенно высокие требования к агротехнике на целинных и залежных землях. Важно вспахать землю во-время и на определённую глубину, позаботиться о снегозадержании, о своевременном применении удобрений и т. д. Немало забот доставляет здесь и борьба с сорной растительностью. Ведь после первой пахоты в почве остаётся ещё много семян диких растений, которые при первой же возможности будут прорасти, если во-время не повести энергичной борьбы с сорняками.

Однако все эти трудности преодолимы при правильном ведении хозяйства. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, обобщая опыт успешного освоения целинных и залежных земель, также сыграет свою огромную положительную роль в решении этой задачи.

## 4

Животноводство — важнейшая отрасль сельского хозяйства. И в этой отрасли таятся колоссальные, ещё не реализованные возможности, на умелое использование которых Коммунистическая партия направляет усилия советских людей.

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке животноводству отводится особый раздел, экспозиция которого развёртывается в ряде специальных павильонов. Здесь будут представлены новые породы крупного рогатого скота, лошадей, овец, свиней, домашних птиц, будут продемонстрированы передовые, научно обоснованные методы направленного воспитания животных.

Очевидно, что для того, чтобы в стране было больше продукции животноводства, надо бороться не только за увеличение поголовья скота, но одновременно с этим добиваться и повышения его продуктивности.

Корова местной неулучшенной породы даёт в год около тысячи килограммов молока. В большинстве хозяйств удой не превышает этой цифры. Но в то же время у нас есть стада, которые дают в среднем на каждую корову по 5—6 тысяч килограммов молока. Примером может служить известный в стране совхоз «Караваяево», работа которого будет широко освещена на выставке. Однако вовсе не значит, что и здесь уже достигнут предел. Удой многих коров костромской породы составляют в год 10—11 тысяч, а отдельных животных — свыше 16 тысяч килограммов молока. Если исходить из расчёта трёхсот удойных дней в году, это значит, что в сутки можно иметь от такой рекордсменки около пяти вёдер молока! Таковы возможности, таящиеся в организме коровы.

Интересно проследить, как были реализованы эти возможности. Из многолетней практики и достижений биологической науки известно, что продуктивность скота зависит от многих факторов. В их числе видное место занимают кормление и содержание животного. Следовательно, чтобы корова давала больше молока, она должна обладать способностью как можно лучше использовать скармливаемую ей пищу. Именно в этом направлении и шли исследования наших учёных. Селекционеры разработали приёмы упражнения органов животного, установили систему отбора наиболее выдающихся по своей продуктивности экземпляров. Всё это позволило воспитать животных, дающих много молока с большим процентом содержания жира, обладающих крепким телосложением, хорошим здоровьем, способностью приносить высококачественный приплод.

Привыкли считать, что о потреблении витаминов говорят лишь с точки зрения полезности для здоровья человеческого организма. Но вот Институт биохимии имени А. Н. Баха Академии наук СССР поставил широкие опыты по использованию этих веществ для нужд животноводства. Получены очень ценные результаты. Установлено, в частности, что витамины А и Д повышают производительность животных, способствуют укреплению здоровья молодняка. Или возьмём такой пример. Обычно при выпойке телят употребляют цельное молоко. Однако оно может быть с успехом заменено снятым, если его предварительно соответствующим образом витаминизировать. Оказывается, что путём применения витаминов в птицеводстве можно повысить яйценоскость кур в полтора раза.

Одним из обязательных условий, необходимых для роста продуктивности животноводства, является организация устойчивой и обильной кормовой базы при ведущей роли зерновых культур. Февральско-мартовский Пленум ЦК КПСС отметил, что развитие интенсивного общественного животноводства немислимо без достаточного количества зернофуража и сочных кормов.

Экспонент Всесоюзной сельскохозяйственной выставки колхоз имени Чкалова, Ново-Московского района Днепропетровской области, славится высокой урожайностью кукурузы. Вот уже на протяжении ряда лет здесь широко используют квадратно-гнездовой способ посева гибридных семян и получают по 50 центнеров кукурузы с гектара.

Председатель колхоза А. Р. Щербина считает, что при дальнейшем совершенствовании агротехники возделывания этой культуры можно собирать даже 100 центнеров с гектара. Само собой разумеется, что это позволит колхозу значительно увеличить поголовье скота.

Для создания новых пород домашних животных широко применяется метод отдалённой гибридизации. Как известно, разведение овец в хозяйстве преследует две цели: получить больше шерсти и мяса. В нашей стране имеются мериносовые породы овец, которые дают много высококачественной шерсти, однако не всегда удовлетворяют нас своими размерами, а главное, не приспособлены к суровым климатическим условиям. Для того, чтобы получить животное, отвечающее всей совокупности этих требований, советские селекционеры скрестили мериносовых овец с диким бараном архаром, обитающим в горах Южной Сибири, Средней и Центральной Азии. В результате получена новая порода животных — архаромериносов, отличающаяся высокой продуктивностью и приспособленностью к условиям горных районов.

Кроме создания новых пород скота, ведётся работа по улучшению уже существующих пород. Труды советских учёных показывают, что и здесь перед наукой и практикой открываются широчайшие перспективы плодотворной деятельности.

## 5

Неисчерпаемым источником дальнейшего успешного развития нашей сельскохозяйственной науки и практики является опыт передовиков колхозного и совхозного производства. Показ и пропаганда этого опыта — важнейшая задача Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

Новаторские приёмы, непрестанное творческое совершенствование агротехники в связи с местными условиями, удачные эксперименты — всё это ценнейший материал для изучения, научных обобщений и распространения. Нет сомнения, что своими экспонатами Всесоюзная сельскохозяйственная выставка поможет учёным и практикам лучше разобраться во многих актуальных проблемах быстрейшего подъёма сельского хозяйства.

В прошлом году на районной сельскохозяйственной выставке в кубанской станции Курганной демонстрировались замечательные достижения колхоза имени Сталина в области свиноводства. Характерен рост его производственных показателей. В 1949 году колхоз на каждые 100 гектаров пашни получил всего лишь 3 центнера свинины. Конечно, такой результат не мог удовлетворить рачительных хозяев. Они обратились к зоотехнической литературе, повысили квалификацию животноводов, положили немало усилий для улучшения работы свиноводческой фермы и добились, что в 1952 году колхоз имел по тем же расчётам уже не 3, а 11 центнеров свинины, а следующий, 1953 год дал 17,5 центнера. В этом хозяйстве выросли талантливые мастера животноводства, как, например, свиноводка Евдокия Максименко. Они вкладывают в это дело весь свой опыт и знания и, опираясь на научные данные, в свою очередь подсказывают науке новые вопросы, связанные с повышением продуктивности животных.

Или ещё одно явление, заслуживающее большого внимания. Как известно, в южных районах далеко не везде получают высокий урожай картофеля, даже при возделывании его методом летних посадок. А вот в колхозе имени 1 Мая, Житомирской области, сумели взять по 800—850 центнеров картофеля с гектара. Опять-таки помогли отказ от шаблона, творческие поиски, смелое применение достижений агрономической науки. Бедные питательными веществами песчаные почвы были улучшены с помощью глубокой пахоты и внесения удобрений. Картофель высаживается здесь квадратно-гнездовым способом. За культурой производится тщательный уход — рыхление почвы, подкормка, окучивание.

Издавна славятся выращиванием картофеля районы нечернозёмной полосы. Славятся в том смысле, что здесь давно и помногу, по сравнению с другими, хотя бы южными районами, возделывают эту культуру. А вот урожай картофеля редко превышал здесь 140—150 центнеров с гектара. Как поднять урожайность картофеля?

На этот вопрос ответили наши образцовые колхозы, ведущие своё хозяйство на основе достижений науки и передового опыта. Наука разработала новый, квадратно-гнездовой способ посадки картофеля, рассчитанный на механизацию всех полевых работ, связанных с возделыванием этой сельскохозяйственной культуры. Применив новый способ, колхоз «Бородино», Московской области, собирает около 450 центнеров картофеля с гектара. Такие же урожаи получают и в ряде колхозов Смоленской, Калининской и других областей страны.

Кроме того, что при этом способе посадки растения на протяжении всего вегетационного периода равномерно используют почвенное питание, они так распределены по площади, что поддаются перекрёстному окучиванию и машинной уборке. Картошка, всегда отнимавшая у крестьянина столько сил, становится благодаря механизации и научно обоснованным приёмам её выращивания одной из наименее трудоёмких сельскохозяйственных культур.

Совместными усилиями учёных и практиков разработан агротехнический приём выращивания овощной рассады в торфоперегнойных горшочках. За последнее время в печати и по радио часто можно услышать лекции, консультации и беседы об этом агрономическом приёме. Почему же так много говорят и пишут об этих горшочках? А дело в том, что большая часть овощных культур высаживается в поле не семенами, а рассадой. Если эту рассаду выращивать в обычном парниковом грунте, а потом её выдёргивать и переносить в поле, то неминуемо повреждается корневая система растений; к тому же, перенесённые в новые условия, они нередко с большим трудом приживаются. Вот от этой болезненной операции и спасают овощную рассаду торфоперегнойные горшочки. Они дают рассаде дополнительное питание, так как состоят эти горшочки из веществ, представляющих собой высококачественное удобрение. И этот очень простой агротехнический приём открывает возможность повысить урожай многих овощных культур на 20—25 процентов.

В сельском хозяйстве есть ещё одна отрасль, имеющая немаловажное значение в решении всенародной задачи — увеличения продовольствия для населения и сырья для пищевой промышленности. Это — садоводство, которому на Всесоюзной выставке уделяется также большое внимание.

Достаточно ли богата наша страна садами, виноградниками, ягодниками? Отвечая на этот вопрос, можно, конечно, сослаться на пример совхоза «Агроном» в Краснодарском крае, крупного поставщика всевозможных фруктов, которые собираются здесь на площади свыше 1 800 гектаров; можно упомянуть и о том, что садоводство всё более проникает на север, в Сибирь, на Дальний Восток; что советские селекционеры неустанно работают над созданием новых сортов плодово-ягодных растений.

И всё же садов у нас пока очень мало. Ведь половина колхозов в стране не имеет садов, а там, где они есть, это сплошь и рядом мелкие, малопродуктивные сады, сильно поражённые сельскохозяйственными вредителями и болезнями.

В средней полосе преобладает яблоня. А где же зимние сорта груш, слив, черешни, абрикосов? Может быть, их не существует в природе? Нет, сорта эти имеются, многие выведены ещё Мичуриным. Беда в том, что распространение их идёт чрезвычайно медленно, да и совершенствованием местных сортов занимаются плохо. Даже крыжовник, смородина, земляника, лесной орех — культуры, способные произрастать далеко на севере, разводятся недостаточно интенсивно.

В постановлении февральско-мартовского Пленума ЦК КПСС говорится, что для создания обилия продовольственных товаров в нашей стране необходимо добиться значительного расширения производства плодов, ягод и винограда как ценных продуктов питания.

В оранжереях Всесоюзной сельскохозяйственной выставки уже в апреле налились гроздья винограда. Глядя на них, невольно думалось: хорошо бы в каждом колхозе построить свою оранжерею! Что же, придёт пора, когда и эта мечта станет реальностью. Не так уж давно считалось новинкой иметь в колхозе теплицы для выращивания овощей в зимнее время, а теперь они не редкость во многих хозяйствах, к тому же теплицы, построенные по типовым проектам, отлично оборудованные. Уже выведены сорта винограда, которые могут произрастать и плодоносить не только в условиях Московской, но



Ленинградской и даже Вологодской областей. Это относится и ко многим другим плодовым и ягодным растениям.

Советские учёные и практики-новаторы многое сделали для улучшения садоводства. Но особенно привлекательные перспективы представляет собой решение одного вопроса, очень важного, имеющего большое народнохозяйственное значение.

Каждый знает, что фруктовое дерево одно лето плодоносит, а на следующее даёт урожай плодов совсем мизерный, а то и вовсе не увидишь на ветвях ни одного фрукта. Эта периодичность объясняется в основном тем, что в год плодоношения дерево слишком много расходует сил и питательных веществ, после чего наступает голодание, при котором не закладываются плодоносные почки. Познав это явление, люди научились бороться с ним. Теперь разработан комплекс агротехнических мероприятий: правильное питание растений, система обрезки ветвей, уничтожение вредителей и болезней и так далее. Не за горами то время, когда в любом саду яблони, груши, вишни будут не периодически, а ежегодно приносить нам обильные плоды.

Или такой пример. Почти все плодово-ягодные растения, разводимые в садах, не являются достаточно долговечными. Плодоносит яблоня определённое число лет, а потом её нужно вырубать, сажать новую. Много человеческого труда тратится на это дело. Но обратимся к дикой природе, присмотримся хотя бы к лесам Киргизии. Оказывается, растут там фруктовые деревья, которые плодоносят в возрасте 100 и даже 300 лет. Почему же так происходит? Изучение этого явления должно помочь селекционеру создать культурные садовые растения с более длительным периодом плодоношения.

Далеко ещё не все тайны природы раскрыты. Впереди предстоят большие и малые открытия. Многое надо изведать и исследовать, чтобы нащупать наиболее правильные и «короткие» пути к быстрейшему использованию огромных возможностей, которые могут дать нам новые богатства. Но возможности эти в своём главном, основном уже реально ощутимы. Свидетельством тому служат замечательные образцы труда советских учёных, новаторов колхозного и совхозного производства, которые будут представлены на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.

Науке давно известно, что физиологической основой получения высоких и устойчивых урожаев является питание растений. Нельзя управлять ростом и развитием растения, если достаточно глубоко не изучить, в каких питательных веществах оно нуждается, как эти вещества поступают в организм, какой путь они проходят, как совершается процесс отложения жиров, углеводов, белков — всего того, что потом может быть использовано в качестве продуктов питания или сырья.

Учёные обнаружили, что корневая система растения отнюдь не является чем-то пассивным по отношению к почве. Растение не только избирает нужные ему питательные вещества, но и активно воздействует на них путём различных корневых выделений. Познание взаимоотношений между растением и почвой позволяет найти такие химические препараты, которые вызывают ускорение или, если нужно, замедление жизненных процессов в растительном организме. Кое-что в этой области уже сделано. Так, например, создано удобрение фосфобактерин. При внесении его в почву происходит более энергичная минерализация органических фосфорных соединений. Растения получают возможность больше усваивать фосфора, который им совершенно необходим. Использование такого удобрения на посевах озимой пшеницы даёт прибавку урожая до шести центнеров с гектара.

Растения и животные потребляют минеральные вещества в самых различных дозах. Растение, например, сравнительно много берёт из почвы азота, кальция, фосфора и гораздо меньше бора и марганца. Химические элементы, требующиеся растительным и животным организмам в чрезвычайно малых количествах, получили название микроэлементов. Если в почве недостаёт тех или иных микроэлементов, то растение снижает свою продуктивность, становится более подверженным заболеваниям. И наоборот: наличие нужных микроэлементов способствует нормальному росту и развитию растений.

Учёные Академии наук Латвийской ССР, занимаясь изучением микроэлементов, провели такие интересные опыты. Под посевы льна, поражённого бактериозным заболеванием, вносился бор из расчёта 0,5 килограмма на гектар. Внесение этого элемента

не только почти полностью избавляло посеы от заболевания, но и повышало урожай волокна и семян льна примерно на одну треть.

С помощью микроэлементов можно добиться улучшения полезных качеств растения, например, повысить содержание крахмала в клубнях картофеля, поднять сахаристость свёклы и так далее. В Белоруссии и Прибалтийских республиках широким фронтом развернулись работы по осушению заболоченных почв. Так вот, если в эти почвы внести небольшое количество меди, которая для растения также является микроэлементом, то урожай пшеницы, овса и ячменя повышается на 3—5 центнеров с гектара.

Продуктивность крупного рогатого скота, овец и свиней повышается не менее чем на 20 процентов, если в обычные корма добавлять по пять—десять тысячных долей грамма меди и других микроэлементов. Опыты с микроэлементами продолжаются. Но можно уже сейчас сказать, что они открывают производству новые перспективы повышения плодородия почв, подъёма продуктивности животноводства.

Наука всё глубже проникает в процессы жизнедеятельности растений, открывая всё новые и новые их закономерности. Познание этих закономерностей имеет большое значение для практики. Ранее считали, например, что корни растения всасывают из почвы минеральные вещества и влагу, а листья при помощи света поглощают углекислоту. Оказывается, всё это не так уж просто. Применение метода меченых атомов показало, что корни могут брать из почвы также и углекислоту, которая и передаётся в листья. Последние же, в свою очередь, при соответствующих условиях могут поглощать и минеральные соли.

На этом научном открытии зиждется способ внекорневого питания растений, когда смесь нужных растению минеральных веществ наносится на листья. В Узбекской и Таджикской республиках таким образом проводят внекорневую подкормку хлопчатника. Результат получается довольно внушительный: урожай хлопка повышается на 10—20 процентов. В садоводстве успешно применяется опрыскивание плодовых растений фосфорными, фосфорно-калийными и другими удобрениями. Тот факт, что корни растений могут выполнять не только функцию минерального, но и углеродного питания, по-новому ставит вопрос о применении органических и минеральных удобрений.

Важное значение для повышения продуктивности растениеводства и животноводства имеют такие проблемы, как обмен веществ в организме, закономерности наследственности и её изменчивости, механизм действия физических факторов и многие другие.

Сравнительно недавно в нашей стране было создано новое научно-исследовательское учреждение — Институт биологической физики. Институт этот разрабатывает ряд очень важных научных вопросов. Решение их позволит проникнуть в те глубинные биологические процессы, от которых зависят основные жизненные свойства растений и животных. Известно, например, что на растения и животных оказывает определённое влияние электричество, а также другие физические факторы. Институт изучает закономерности действия высокочастотных электромагнитных волн на живой организм. Несомненный интерес представляет выяснение влияния на организм ионизирующей радиации, ультразвуков.

Борьба с болезнями и вредителями как в растениеводстве, так и в животноводстве является большим общегосударственным делом, успешное выполнение которого позволяет значительно повысить продуктивность сельскохозяйственного производства. Наши наука и практика имеют значительные успехи и в этой области. Об этих успехах нам также расскажет Всесоюзная сельскохозяйственная выставка.

Веками мечтал земледелец избавиться от осота, овсюга, костра ржаного, заразики и других растений, засорявших его поля. Конечно, в условиях единоличного хозяйства это могло быть только мечтой. Иное положение в колхозах. Применение машин, посев чистосортными семенами, тщательная обработка почвы, уход за растениями — вся эта система агротехнических мероприятий дала возможность повести широким фронтом борьбу с сорняками. И всё же возможность окончательного избавления колхозных и совхозных полей от сорной растительности обозначилась лишь в последнее время, когда на помощь сельскому хозяйству пришла химия. Ныне наша промышленность производит препараты, с помощью которых можно выборочно или полностью уничтожить там, где это требуется, какой-нибудь вид растительности.

Новое слово науки — это применение антибиотиков для борьбы с болезнями растений. Микробиологи установили, что в результате жизнедеятельности многих микроорганизмов — грибов, бактерий или вирусов — выделяются такие вещества, которые способны тормозить, а то и вовсе прекращать рост и развитие других микроорганизмов. Эти вещества получили название антибиотиков и теперь успешно применяются не только в медицине, но и в сельском хозяйстве. Пшеница, например, сильно подвержена ряду грибковых заболеваний. От них можно избавиться, если вводить в почву бактерии, обладающие способностью растворять мицелии болезнетворных грибов.

Большой ущерб хлопководству наносит заболевание, называемое гоммозом. Коробочки хлопчатника, поражённые этой болезнью, склеиваются, плохо раскрываются, а хлопок приобретает жёлтую или бурую окраску. В настоящее время найдены такие антибиотические средства, которые уничтожают бактерии, вызывающие гоммоз. Антибиотики применяются и для регулирования почвенной микрофлоры, от которой во многом зависит питание растений, а следовательно, и урожайность.

Картофель и овощные культуры часто страдают от небольшого жучка-проволочника. Заберётся его личинка в ткани растения и поедает их, нарушая нормальное развитие. Долго не удавалось побороть этого вредителя. Но вот учёные предложили такой оригинальный метод. На земле, предназначенной под картофель или овощи, ранней весной высевается овёс. Перед посевом семена обрабатываются химическим веществом — гексахлораном, которое проникает в корневую систему овса. Перезимовавший вредитель питается молоденькими корешками и погибает от содержащегося в них яда. После такой «приманки» можно безбоязненно сажать картофель или овощи. Этот способ борьбы с проволочником получил название «приманочного метода».

Советская наука разрабатывает всё новые средства борьбы с болезнями и вредителями растений и животных. Уже имеются препараты, спасающие картофель от рака — заболевания, уносящего сотни тысяч тонн плодов этой культуры. Овцеводство избавляется от своего страшного бича — чесотки. Широкие профилактические мероприятия, проводимые ветеринарной службой, дают основания надеяться на скорую победу над всеми врагами культурных растений и домашних животных.

Многообразие всего представленного на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, практическая ценность каждого экспоната дадут посетителю обильную пищу для размышлений, сравнений, сопоставлений. И несомненно, что колхозник, работник совхоза, механизатор, побывав на выставке, унесёт с собой не только чувство восхищения увиденным, но и возвратится к себе домой с блокнотами и тетрадами, испещрёнными записями. И многие эти записи — наблюдения, советы, предложения — не замедлят воплотиться уже в 1955 году в живые, конкретные дела.

Всё то, что было сказано о научных и практических достижениях, — это, образно выражаясь, может быть тысячная, если не миллионная часть тех колоссальных возможностей, которые развернул колхозный строй перед социалистическим сельскохозяйственным производством. Эти возможности реальны потому, что они всё больше претворяются в действительность. На наших глазах создаются и удивительные по своим комплексным действиям машины, и рекордно-урожайные сорта культурных растений, и высокопродуктивные породы домашних животных.

А главное — в Советской стране имеются замечательные люди, полные решимости, как всегда, с честью выполнить задачи, поставленные перед народом Коммунистической партией и Советским правительством, и сделать в ближайшее время все наши колхозы, МТС и совхозы такими, какими являются сейчас передовики — экспоненты Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.



# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ ДОКУМЕНТЫ

М. ДРОЗДОВА

★

## ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ А. П. ЧЕХОВЕ

### ЧЕХОВ В МЕЛИХОВЕ

**П**ервое моё знакомство с А. П. Чеховым произошло в 1895 году. Сперва я познакомилась с его сестрой, Марией Павловной, на вечерних классах рисования в Строгановском училище. Я только что приехала в Москву из Курской губернии, из глуши, и хотя мне было уже 24 года, я всё была очень застенчива. Мария Павловна каждый вечер, выходя вместе со мной из школы, приглашала меня попить чаю. Но я не шла.

В один из вечеров Мария Павловна почти силком потащила меня к себе, предупредив, что у неё никого не будет. Но потом она сказала: «Неужели вы не хотите познакомиться с моей семьёй? Ведь мой брат — знаменитый писатель». И прибавила: «Вы читали Чехова? Это и есть мой брат».

Предстоящая встреча с автором «Палаты № 6», рассказа, который произвёл на меня очень сильное впечатление, меня так смутила, что и в этот раз я к ней не пошла. Я решила на это позднее, лишь уверившись, что вся её семья со знаменитым братом живёт не в Москве, а под Москвой, в деревне Мелихово.

После долгих колебаний я решила поехать в Мелихово. Помню холодный осенний вечер, когда мы с Марией Павловной взяли билеты третьего класса до станции Лопасня Курской железной дороги. Было начало ноября. После двухчасовой езды мы, пройдя пропахшую махоркой станционную комнатку, вышли на крыльцо, у которого нас уже ждал кучер Роман; он стоял в тёмном армяке около плетёного одноконного тарантасика.

Свежесть осеннего вечера, хмурое холодное небо, чёрный силуэт кучера, невылазная грязь глинистой почвы, покой и тишина — вот первое, что навсегда запомнилось мне об этой поездке. До Мелихова было 16 вёрст. Дорога была плохая, колёса то и дело застревали в глубоких колеях. Наконец мы подъехали к усадьбе. На крыльцо выбежала молоденькая приветливая девушка, Маша, как я потом узнала, помощница в домашнем хозяйстве, а за ней — старая кухарка Марыюшка. Та и другая были коренными жительницами Мелихова. В передней меня встретил ласковым упрёком Антон Павлович: «Давно мы вас ждали, а вы целый год нас обманывали!»

Когда я увидела Антона Павловича, у меня весь страх прошёл — до того было мило и ласково выражение его внимательно глядящих глаз. От всей его высокой, стройной, сухощавой фигуры веяло таким родным и невероятно простым Чеховым. Одет он был в домашний серый пиджак с чёрным бархатным жилетом, его чёрный галстук был повязан небрежно, но всё производило впечатление изящества и простоты.

В столовой нас радушно встретили старички: мать Чехова, Евгения Яковлевна, и отец, Павел Егорович.

Первые годы в Москве я так томилась без семьи и без домашнего уюта, а здесь, в Мелихове, всё мне напомнило родной дом.

В небольшой столовой с дешёвыми обоями под дуб ждал нас горячий ужин. После дороги по холоду щи показались мне очень вкусными. Им предшествовало угощение шинкованной капуста с селёдкой и грибами, которые солил Павел Егорович.

Заметив, как я радуюсь всему окружающему, Антон Павлович в первый же вечер нашего знакомства принёс мне после ужина письма Льва Николаевича Толстого. С каким благоговением я брала их в руки! Всё казалось мне сном.

Мои поездки в Мелихово вскоре начали учащаться, а потом уже я каждую субботу, а когда кончились занятия в школе, то и на все праздники уезжала в Мелихово.

По понедельникам мы с Марией Павловной обычно вставали в пять часов утра, чтобы успеть в Москву. Мне надо было быть к девяти часам утра в школе, где я обучалась рисованию, а Марии Павловне — на урок, в гимназию.

В Мелихове жизнь шла горячо, в работе. Особенно много Антон Павлович работал зимой. Вставал он рано, до утреннего чая принимал больных, которых всегда было с избытком, потом садился за свою литературную работу.

Антон Павлович любил, чтобы все вокруг жили, работали, творили. Мы с Марией Павловной очень увлекались живописью и рисунком; в Мелихове мы не теряли ни одной минуты. Приводили из деревни детвору — позировать нам — и с жаром рисовали, делали наброски. Антон Павлович любил бывать в нашей «студии», как мы называли комнату Марии Павловны. Сядет в уголке на диване — тишина, топится камин, поёт сверчок.

Поэзия деревенской жизни не нарушалась и тем, что дом был старый, тепло быстро выдувалось; от пола несло холодом до тех пор, пока комната не нагреется керосиновой лампой-молнией, стоявшей на полу (другая такая же лампа освещала комнату). По утрам особенно было холодно вставать с постели...

Вечера в нашей «студии» выглядели примерно так. Мы с Марией Павловной быстро делаем наброски, целиком поглощённые своим занятием. Любимые собаки Антона Павловича, две таксы — «Бром Исаевич» и «Хина Марковна», — растянулись у камина. Антон Павлович время от времени что-то пишет в своей записной книжке, которая всегда была при нём. Хотя Антон Павлович молчит, но в его присутствии нам работает лучше, живее. Посидев некоторое время, Антон Павлович, бывало, быстро встанет и уйдёт к себе в кабинет. В восемь часов вечера звали ужинать.

Евгения Яковлевна и Павел Егорович ложились рано; Антон Павлович засиживался за работой далеко за полночь.

Никто не мешал ему работать в Мелихове, когда не было посторонних, — тишина, деревья перед окнами, одинаково красивые в зимней одежде и весной, в нежной зелени.

Антон Павлович любил наблюдать перелёт птиц. В перерыве работы подойдёт к окну, улыбнётся, увидев какого-нибудь щегла, радостно подзовет всех посмотреть. Деревья, небо, птицы были для него радостью. Жизнь среди природы освежала его, облегчала его творческий труд.

Кабинет Антона Павловича был очень небольшой. Два окна выходили в сад; в комнате стояли письменный стол, несколько венских стульев, старинный шкаф с книгами, затянутый под стеклом тёмной материей, шкафчик с медикаментами, часть которых стояла на окне из-за нехватки места в аптечке, небольшая библиотека — собрание классиков.

Чехов научил меня ценить Лермонтова, давал читать и других авторов. Но, увидев в руках у меня свои произведения, он сейчас же приносил мне Тургенева или Флобера.

— Лучше прочтите вот это, — говорил он смеясь.

Однажды он вдруг задал вопрос:

— Отчего вы не пишете? Попишите усиленно, чтобы мозоли были на пальцах, и будете писательница. И я вам помогу. Пишите не по настроению, а каждый день с утра, не меньше шести часов в день — и через три года будете писать.

Ничто не останавливало наших поездок в Мелихово: ни грязь, ни слякоть, ни холод, ни тряская бричка и ветхая сбура, из-за которой по дороге от станции кучер несколько раз слезает с козел, чтобы получше её связать. Когда едешь в Мелихово — всё ничоём, так ярко горит в душе огонёк милого дома.

Наскоро умоешься с дороги и опять идёшь в уютную столовую, видишь милые, приветливые лица. Сразу чувствуешь покой. Куда делись усталость и жизненные заботы!

Обыкновенно кто бы ни приезжал — привозил почту, захваченную попутно на станции Лопасня. Антон Павлович любил получать почту. Она была очень обильная:

газеты, журналы, какие у нас только выходили, много писем чуть не со всего света. Так было приятно раскрывать ещё клейкие новые журналы, из писем узнавать новости о друзьях. Все домашние наперерыв спрашивают:

— Когда приедут Лидия Евстафьевна, Варвара Аполлоновна<sup>1</sup>, Левитан? — Это были любимые гости всей семьи.

Особенно ждали почту в осенние вечера. Но если её привозили во время ужина, то, пока он не кончится, письма лежали под рукой Антона Павловича нераспечатанные. С волнением следишь за конвертиками: нет ли письма и мне? Смотришь, Антон Павлович отложил стопку писем себе и кому-нибудь из домочадцев, а мне — нет. Разочарованно грустишь — все читают, сообщают новости. А под конец Антон Павлович улыбнётся, протянет мне руку с письмом и скажет:

— Это вам.

Если письмо было из моего родного дома, Антон Павлович давал мне его читать лишь утром; письма из дома приходили всегда невесёлые, и он, зная это, не хотел, чтобы я на ночь расстраивалась. Письма особенно долгожданные от меня скрывались, незаметным образом уносились, пока мы сидели за столом, и прятались у меня под подушкой. Пойдешь спать с грустью, что нет письма, и вдруг неожиданно из-под подушки выскочит дорогой конвертик. В комнате одна, на свободе переживаешь хорошие минуты.

Работы у Антона Павловича, помимо писательской, было немало. Он был земским деятелем в Серпуховском уезде, принимал у себя дома больных — и трудная жизнь множества людей была ему видна и ясна, он каждый день соприкасался с ней.

Где бы ни жил Антон Павлович, везде он старался всеми способами вносить культуру в жизнь. Он построил на свои средства в Серпуховском уезде три школы и убеждал своих знакомых собирать деньги для школ. Как-то я собрала среди небогатой интеллигенции по двугривенному с человека — всего тридцать рублей. С какой радостью я их везла Антону Павловичу, чтобы его порадовать хоть маленькой суммой. И я была так счастлива, когда Антон Павлович с весёлым лицом принял эти небольшие деньги.

Каждое утро, ровно в шесть часов, приходили к нему крестьяне из мелиховской деревни и ближайших селений со всеми своими болезнями, горестями и нуждами. Всех терпеливо выслушивал Антон Павлович, и видно было, что каждое горе он переживал глубоко. Он узнавал, кому нужна была медицинская помощь, кому нравственная или денежная поддержка, и ни в одном случае не проходил мимо. Знавшие его, от мала до велика, искренне любили Антона Павловича и относились к нему с глубоким уважением. К каждому человеку он умел подойти и понять его. Особенно трогало его пациентов то внимание к душевному состоянию больного, которое он оказывал каждому, входя в его личную жизнь.

Наступила весна 1896 года. Уже в марте появились в мелиховском доме пакетики с семенами на столах. Заманчиво лежали красочные каталоги семян, рассады, саженцев для сада и огорода. Мария Павловна любила покупать семена с новыми названиями: все интересовались, какие же распустятся цветы. Ещё с осени заготавливались ящики с землёй. Все это делалось руками самой Марии Павловны. В апреле на столах и окнах, в ящиках под стеклом, покрытым росой, сквозила зелень, тревожа всех живым ощущением приближающейся весны. Вся семья наблюдала за каждым ростком будущего сада и огорода. Антон Павлович относился ко всему растущему с радостным любопытством.

Жизнь в доме весной и летом начиналась рано, в пять часов. Ещё роса не сошла, а Антон Павлович — уже в саду, совсем одетый, с лейкой, поливая свои любимые розы или заботливо обирая гусениц. В шесть часов утра под окнами слышался сдержанный разговор больных. В восемь часов утра все собирались к утреннему чаю. Антон Павлович обыкновенно наскоро пил кофе и уходил в свой кабинет работать. Вскоре вся семья также оставляла столовую, и каждый шёл по своим делам. А работы было много

<sup>1</sup> Лидия Евстафьевна Мизинова — приятельница Марии Павловны и Антона Павловича, певица. Варвара Аполлоновна Эберле — певица из московского оперного театра Зимина.

в этом доме: кто идёт полоть огород или цветник, кто — готовить лекарства по просьбе Антона Павловича.

Мать Чехова заботилась по хозяйству. Павел Егорович Чехов с любовью смотрел за огородом и садом, следя, где надо подпереть тяжёлую ветку яблони, где почистить дорожки. Гости во всём принимали живое участие. Один Антон Павлович почти не показывался до обеда из своего флигеля, где он работал летом. В то время он писал «Чайку».

После усиленной работы Антон Павлович любил устраивать разные шутки. Однажды к вечеру — было уже почти совсем темно — я сидела у террасы, стараясь прочитать, несмотря на сумерки, что-то интересное и страшное. Вдруг в аллее, ведущей от флигеля к дому, показался какой-то тёмный силуэт. На фоне белых, в цвету, вишен и яблонь, в какой-то странной позе, со скрюченными руками и ужасной гримасой, человек шёл прямо на меня. Это было так неожиданно и страшно, что я не сразу сообразила, кто это, пока Антон Павлович не рассмеялся.

Как-то днём я писала красками в саду кусты сирени. Вдруг я услышала за спиной шаги, и передо мною прошёлся, заслоня мою натуру, Антон Павлович такой походкой ферта-парижанина, в прекрасном сшитом костюме, синем берете, как носят французы, и с тростью в руке. Он прошёл несколько раз, мешая мне писать. Это было сделано с таким юмором, что я невольно рассмеялась. Костюм этот был вывезен из Парижа и надевался только ради шутки.

Антон Павлович всегда выдумывал что-нибудь неожиданное. Как-то раз после сытного обеда с гостями он, как всегда, ушёл к себе отдохнуть, а мы расположились на террасе в плетёных креслах. Жара стояла адова, когда одолевает такая лень, что невольно впадаешь в дремоту. И вдруг с шумом распахнулась стеклянная дверь из гостиной, и гордо, спокойной походкой, виляя хвостиком, показался «Бром Исаевич». Его чёрная мордочка была расписана белилами в необычайно весёлую, смешную улыбку, что совершенно не соответствовало его важной походке. За ним сонно, вяло, только что пообедав, плелась, переваливаясь, его супруга, «Хина Марковна», такса темнокоричневой масти, с такой же накрашенной, необычайно весёлой и игривой гримасой. Это было так неожиданно и смешно, что мы хохотали до слёз. Не успели мы от смеха прийти в себя и сообразить, кто мог быть автором этой проделки, как, к нашему общему удовольствию и удивлению, так же неожиданно показался в дверях весело смеющийся Антон Павлович. Он был очень доволен, что его шутка удалась и вызвала у нас такой дружный и продолжительный смех. После обеда прошло порядочно времени, мы были убеждены, что Антон Павлович уже видит десятый сон, и никак не предполагали, чтобы он, с его серьёзностью, да ещё в такую жару, занимался подобной «живописью»! Теперь я только поняла, почему он ещё с вечера попросил у меня красок, будто бы для того, чтобы выкрасить у себя в комнате подоконник.

Конечно, эта любовь к весёлой шутке несколько не уменьшала серьёзности его отношения к людям — не только в литературе, но и в обыденной жизни. Старушки-крестьянки, приходившие жаловаться, что их домогают домашние попрыгайки за непригодность к работе, всегда находили у Чехова какое-нибудь лёгкое дело и помощь. Из домов, где жилось особенно трудно, к Марии Павловне приходили ребятишки. Им поручали выдёргивать траву среди усыпанных песком дорожек. Обычно вместо этого детвора деловито строила на дорожках загончики из песка для красных жучков, изображавших стадо коров.

Антон Павлович очень любил наблюдать за их детской игрой. При виде детей его глаза приветливо улыбались. Его шутливые замечания доставляли детям большое удовольствие.

Чеховы знали в Мелихове всех обездоленных наперечёт. Деревня была небольшая, и все в доме Антона Павловича старались облегчить жизнь крестьян кто чем мог.

Усадьба Чехова лежала на ровном месте, без каких-либо особенно красивых уголков. Небольшой старый одноэтажный дом, выкрашенный жёлтой, уже потемневшей охрой, с парадным ходом, застеклённым цветными стёклами. По другую сторону дома находилась терраса, перед которой была расположена круглая большая клумба с рез-

дой, душистым горошком, табаком. За большой клумбой были посажены полукругом любимые розы Антона Павловича, около самого балкона, по обе стороны крыльца, — две грядки гелиотропов, посаженных тоже по просьбе Антона Павловича (как он сказал — «для темпераментных гостей»). Дальше, за цветником, шла коротенькая со скамеечками липовая аллея и ряд елей и сосен. Между флигелем и домом был разбит небольшой фруктовый сад.

Окна флигеля, где работал Антон Павлович, выходили во фруктовый сад — это было красиво и, кроме того, в летний кабинет Антона Павловича не попадало ни пылинки. Комнаты во флигеле убирала своими руками Мария Павловна, поддерживая всё в самом строгом порядке, особенно письменный стол. Там же, в кабинете Чехова, стоял турецкий диван для отдыха. Другая комната, запасная, на случай, если съедется много гостей, служила для ночлега. Кухня стояла в стороне от дома.

Вся усадьба замыкалась большой лужайкой, обсаженной старыми плакучими берёзами, под которыми водились белые грибы, а дальше вместо забора были ещё посадки молодых елей, где в изобилии водились рыжики. Антон Павлович очень любил собирать рано по утрам грибы.

За воротами — к выходу в поле — была скамеечка, где по вечерам часто сидел Чехов, если только у него для этого находилось время (что случалось больше, когда кто-нибудь был из гостей). Вдали, где шла дорога на станцию, виднелся перелесок — ольха, берёзки, кустарник. По левую сторону дороги был небольшой пруд, вроде копанки с глинистыми вязкими берегами, куда пущены были караси. Антон Павлович очень охотно удил рыбу, но и за этим удовольствием его приходилось видеть очень редко. Пруд был ещё молодой, некрасивый, недавно посаженные ивы еле давали тень. На берегу скромно стояла обтянутая рогожкой купальня на одного человека.

Деревня примыкала к усадьбе почти вплотную, деревня убогая, без садов, без зелени, только и было красок, что от красующейся на частокколах стираной одежды. На краю стояла каменная, но обветшавшая церковь. На паперти, на припёке, меж разрушенных плит торчала высохшая полынь, на могилах тоскливо торчали поломанные кресты.

Антон Павлович иногда уезжал за шесть вёрст в мужской монастырь, когда там бывали большие базары, по престольным праздникам. Он привозил деревенским детишкам гостинцы: девочек — копеечные куколки, мальчикам — лошадки на колёсиках. Оборвётся ли у куколки фартучек, приклеенный клеем, и уже какая-нибудь девчушка стоит у окошка Антона Павловича с просьбой починить. Антон Павлович отрывается от работы, берёт синдетикон и терпеливо приводит в порядок отставшее или сломанное. К большим праздникам Мария Павловна шила детворе из весёленьких цветных ситчиков платица, — на это время всегда находилось.

Чехов в тиши Мелихова подолгу работал в одиночестве и обычно бывал рад, когда приезжали гости. Сам он не любил бывать в гостях, а банкетов и больших выездов терпеть не мог. Я не помню ни одного случая, чтобы Чехов ушёл в гости. Но все пользовались радушием его дома и все стремились к нему. Никого он не подавлял своим авторитетом, все чувствовали себя с ним просто. Гости, приезжавшие на несколько дней, до обеда проводили время как хотели: кто читал, кто гулял, художники шли на этюды.

В гостиной стоял рояль. Антону Павловичу было приятно работать во флигеле, когда издали доносилась музыка.

В час дня был обед, вкусно и просто приготовленный старой кухаркой Марьюшкой. Павел Егорович благодушествовал, глядя на гостей, вкушавших его соленья и маринады. Обед всегда проходил оживлённо. Все интересовались садом, какие новые цветы расцвели, Антон Павлович объявлял, сколько бутонов на его розах, и говорил, что к вечеру обязательно распустится несколько роз лучших сортов.

Все мы могли беззаботно радоваться от всей души весеннему утру, цветам. Один Антон Павлович часто бывал тогда озабочен; слишком тяжёлым камнем легла на душу его поездка на Сахалин. И не только это тяжёлое впечатление не изглаживалось, было ещё много другого — всё мелкое, всё грубое вызывало у него отвращение, не давало ему спокойно жить и делало его печальным. Как-то раз, в порыве веселья, я сказала:



— Как я хочу счастья!

Антон Павлович посмотрел на меня и сказал:

— Нельзя быть счастливым, пока столько страданий кругом.

Большую терпеливость и мягкую снисходительность Чехова к людям я объясняю себе тем, что он считался с теми условиями, в которых людям приходится жить.

Но он умел и негодовать на людей. Всякая грубость, жестокость и обида, нанесённые слабому человеку, глубоко возмущали его. В этих случаях он пытался найти способ улучшить положение, входя в особенности человеческой жизни. Как-то пришёл крестьянин к Антону Павловичу с жалобой на жену, что у неё дурной характер: «Просто житья с ней нет» — и просил Антона Павловича, чтобы он повлиял на жену. В деревне всем были известны свирепый нрав и нервность жалобщика, от которого невероятно страдала вся его семья. Не раз приходила и его жена — бледная, худая, с глубокими морщинами на лице, хотя ей было всего лишь сорок лет. Все её очень жалели в деревне. Антон Павлович придумал, как дать им отдохнуть друг от друга: посоветовал ему отправиться в Киев. Антон Павлович вообще придавал большое значение для нервных больных перемене места, природе, дорожным впечатлениям, отдыху от трудного домашнего быта. Всё это должно было благотворно повлиять на нервно-больного. В деньгах Антон Павлович помог ему на это путешествие, что особенно смягчило и умилило душу строптивого крестьянина. А заодно Чехов дал возможность отдохнуть и его семье.

Чехов сам любил путешествовать и не раз уговаривал меня поехать в те места, которые особенно чем-нибудь его поразили, — например, в Бермамыт на Северном Кавказе — и обязательно с вершины горы увидеть восход солнца. Ещё он просил меня съездить на Соловецкие острова по Северной Двине и Белому морю. Он восторгался красотой этого пути и вдруг, в обычной своей шутливой манере, добавил:

— Только если встретите на пароходе почтового чиновника и влюбитесь в него, не выходите за него замуж.

Я не поехала ни на Кавказ, ни в Соловки и исполнила только одну его просьбу — поехать в Бабкино, под Москвой, где ещё совсем молодые Чеховы жили на даче в те годы, о которых с какой-то трогательной радостью вспоминала вся их семья. Я побывала там ещё при жизни Антона Павловича и своими рассказами освежила в его памяти молодые годы.

Гости в мелиховском доме не переводились: друзья, почитатели, поклонницы. В конце концов это начало утомлять Антона Павловича. До обеда всех принимала Мария Павловна, и, несмотря на всё радушие, это часто тяготило её, так как многие из приезжающих под каким-нибудь предлогом, чтобы повидать Чехова, были люди совершенно незнакомые и не подходящие к чеховскому дому по духу. Бесцеремонность ненужных посетителей порой удручала весь дом. От таких гостей все стремились как-нибудь спрятаться, уйти, и незваный гость оставался один. Был однажды такой случай, что одному назойливому гостю, которому сказали, что Чехов уехал на целую неделю, пришлось загородить в дверях путь в комнату Антона Павловича, где Чехов едва успел спрятаться за гардеробом; гость настойчиво желал осмотреть хотя бы жилище писателя, если уж нельзя посмотреть самого хозяина.

Особенно было трудно с поклонницами, которые осаждали Чехова. Одна из таких посетительниц, живя в двух верстах от Мелихова на даче, приходила очень часто и требовала особого к себе внимания, беспрерывно восторгаясь произведениями Чехова, его розами, и так утомляла его, что однажды Антон Павлович подарил ей одну из лучших своих роз, чтобы стушевать то досаждающее и утомлённое выражение лица, которое она могла заметить при прощании; не удовлетворясь этим, он поспешил, не дождавшись её следующего визита, послать ей ранним утром в первое же воскресенье чудный букет роз, выбрав для этого в деревне старушку, которая бы отнесла цветы. Поклонница была так польщена вниманием знаменитого писателя, что, к великой радости старушки, дала ей за труды золотой — пять рублей. Чехов об этом узнал. После этого дама начала получать розы каждое воскресенье; постепенно щедрость её спустилась до одного рубля. Зато прекратились также и её визиты.

Совсем другое дело, когда приезжали любимые гости — литераторы, художники, освободившиеся от зимней работы артисты. Особенно близким другом чеховского дома была Лидия Евстафьевна Мизинова, необычайно красивая женщина с чудными пепельными волосами, всегда сильно надушенная, с сигареткой в зубах. Она училась петь в Париже и только что вернулась оттуда.

В её присутствии как-то все приободрились, делались веселее. Антон Павлович тоже оживлялся при её появлении. Но не раз он с грустью говорил, что Лика стала уже не та, что была до отъезда в Париж.

— Как я её ревновал раньше,— говорил он, смеясь своим словам.

Все в доме любили Лику и радовались её приезду. Всех пленяла её красота, остроумие. Приезжала она внезапно, на тройке с бубенцами, серебром разливающимися у крыльца. Собаки с невероятным лаем и визгом выскакивали на звон бубенцов. Переполох в доме, все бежали навстречу. Приехала Лика! Весь дом наполнялся шумом, смехом. С нею приезжала Варвара Аполлоновна Эберле — оперная артистка. Юная, очаровательная своей двадцатитрёхлетней свежестью, блондинка с пышными косами, пела она божественно. Антон Павлович невольно оставлял свою работу, слышав её пение, и шёл к нам послушать.

Обширный круг московских знакомых дополняли петербургские гости: среди них были писатели Мамин-Сибиряк и Потапенко, художник Браз, в то лето написавший портрет Антона Павловича, который находится сейчас в Третьяковской галерее.

После отъезда даже очень желанных гостей, когда водворялась тишина, Антон Павлович, бывало, скажет: «Приятно отдохнуть от гостей». Полушутя, конечно.

И даже Павел Егорович, до смерти любивший гостей, тоже в шутку добавит: «Слава богу, уехали!»

И опять Антон Павлович садится за работу. Приезд любимых гостей его несказанно радовал — только бы не слишком долго, — и после проведённых с ними дней он чувствовал себя отдохнувшим для продолжения своей работы.

Павел Егорович был религиозен. Каждое воскресенье вставал он рано и ездил к шести часам к ранней обедне за шесть вёрст в мужской монастырь, где был хороший хор. В такие дни он особенно бывал строг к себе насчёт принятия пищи, смотря по тому, выпал ли какой-либо пост. Великим постом он склонялся поститься и Евгению Яковлевну и за обедом вполголоса, чтобы не слышал Антон Павлович, напоминал ей о великом грехе вкушать скоромную пищу в виде молока и масла, которые прописывал ей Антон Павлович. Слышался его тихий шёпот:

— Еничка, воздержись. Помни о страшном суде.

Но в присутствии Антона Павловича Евгения Яковлевна была в безопасности. Улыбнется на грозные слова мужа и вкушает с лёгким сердцем благословенную Антоном Павловичем пищу. Для неё Антон Павлович был высшим судьёй и его заветы — священные. Антон Павлович был похож душевным складом на мать, необычайно тактичную и деликатную женщину. Он был любимым её сыном и сам относился к ней с нежной заботой и любовью.

Часто приезжал любимый брат Чехова — Иван Павлович, педагог одной из московских городских школ. Приезжал он всегда усталый; он принадлежал к людям на редкость прямым и честно относился к своему делу. Антон Павлович часто сетовал на долю учителя, на те условия жизни, при которых приходилось им работать. Особенно он жалел сельских учителей, живущих на маленькое жалованье, без газет, без библиотеки, далеко от города, с ужасными дорогами. Антон Павлович не только на свою школу выписывал газету, но иногда выбирал какую-нибудь глушь, не зная никого там в школе, и выписывал туда журнал или газету.

Однажды я ехала после рождественских каникул в Москву и по дороге, в поезде, встретила сельскую учительницу, дурно одетую, в замызганной шубёнке. Вид самый несчастный. В дороге, пока мы проехали несколько станций, она рассказала свою печальную, беспросветную жизнь. Жила она на шестнадцать рублей в месяц жалованья, которые, ко всем невгодам, ещё и задерживали. Неприятности, всякие притеснения — то дров не добьёшься, то газет выписать не на что, да и небезопасно, сочтут за либералку. Я записала её адрес и рассказала о ней Антону Павловичу. Это было начало

января. Антон Павлович тотчас же дал мне денег с просьбой немедленно выписать для неё журнал «Нива», как только я приеду в Москву.

Как-то в одно из восхитительнейших было много гостей, и мы отправились в лес за грибами. Все были в прекрасном настроении. Антон Павлович шёл впереди, шутил, все смеялись. Погода была чудесная, благоприятная для дальней прогулки. Собрали много грибов и вернулись в самом весёлом настроении. Дома нам сообщили, что приходил сельский учитель с женой, живший в восьми верстах. Не дождавшись Антона Павловича, они попили чаю и пошли обратно. Как волновался Чехов весь вечер! Он всё не мог успокоиться, что дома не догадались отправить учителя с женой на лошади и что, может, они устали, уже не молодые, всё ещё идут и сейчас пешком.

После лета 1896 года, которое прошло так хорошо, я встретила Марию Павловну в Москве 18 октября очень взволнованную. Она сообщила мне, что «Чайка» провалилась накануне в Петербурге, где её ставили в первый раз. Она сообщила также, что Антон Павлович вернулся очень угнетённый и прямо поехал в Мелихово, не останавливаясь в Москве. Мария Павловна просила как можно скорее с ней ехать в деревню. Мы сейчас же поехали.

В Мелихове, в тиши, среди спокойной природы, всё происшедшее казалось суетностью. Все старались жить по-старому, но всё же остался тяжёлый осадок, ощутимый под ровным течением жизни. Так прошла зима.

Наступил 1897 год. И вдруг весной, в марте, у Антона Павловича пошла горлом кровь. Он перестал выходить вечером в сырую погоду. Ему стала неприятна промозглость очень ранней весны. Он часто жаловался, что хотел бы отдохнуть хоть год, ничего не делать: «Хорошо бы поехать в Ниццу...» Ему хотелось тепла, солнца.

Лицо его немного изменилось, похудело, он часто стал жаловаться на перебои сердца.

В Ниццу ехать нельзя было — у Антона Павловича никогда не было денег. Когда он особенно плохо себя чувствовал, то, зайдя к нам в комнату, где мы с Марией Павловной работали, говорил:

— Хорошо бы теперь пожить в Ницце! Вот Сенкевичу подарили имение, а мне дарят старинные медные блюда из раскопок, похожие на разбитую сковородку, или чернильницу,— и немного грустно засмеялся.

Все домашние горько переживали болезнь Антона Павловича. Пришла грустная весна. Доктора устроили Антона Павловича в клинику, пребывание в которой потом он вспоминал с хорошим чувством. Но после клиники он всё-таки неважно себя чувствовал. Состояние духа у него бывало часто угнетённое.

Осенью, по совету врачей, Антон Павлович уехал в Ниццу до осени 1898 года; он чувствовал себя неважно, но продолжал работать. Без него жизнь в Мелихове замерла. Все домашние жили в тревоге за его здоровье. Сначала из Ниццы приходили хорошие письма: Антон Павлович радовался солнцу, цветам, писал, что чувствует себя гораздо лучше в тёплом, сухом климате. Однажды очень ранней весной, когда у нас бушевали последние, с пронизывающим ветром метели, он трогательно прислал нам в Мелихово маленькую картонную коробочку с живыми цветами фиалок и ещё каких-то весенних цветов, не помню. Всё это пришло к нам в раздавленном виде, а проехав шестнадцать вёрст по морозу от станции до Мелихова, превратилось в заледенелый комочек, но внимательность, нежность Чехова тронули всех домашних. Вскоре праздная атмосфера Ниццы надела Антону Павловичу, и совершенно неожиданно весной 1898 года он вернулся в Мелихово, раньше, чем его ожидали.

Вспоминаются мне минуты, когда Антон Павлович возвратился домой после долгого отсутствия. Как радовался он, завидя свою мать, стоявшую между всеми, старенькую, слабенькую, радостную. Отцу он поцеловал руку, и отец со слезами на глазах ответил ему тем же.

Лето прошло в заботах: пришлось продать Мелихово, так как, по совету врачей, Антону Павловичу необходимо было жить на юге. Решено было ехать в Ялту. В это время он продал свои произведения издателю Марксу и начал себе строить в Ялте дачу, куда вскоре и уехал. Вся семья ещё оставалась в Мелихове. Осенью, в середине октября, он получил телеграмму о смерти отца. Это известие его сильно опечалило, он очень

сожалел, что не был в это время дома, говорил, что он не допустил бы такого исхода болезни.

Семья переселилась в Ялту.

Исчезли родные, любимые серенькие пейзажи, убогая деревушка, где всё было для него близкое, родное, где он был так нужен. Ялту Антон Павлович не любил. Он мечтал пожить ещё под Москвой, где могли бы его навещать близкие друзья. Любил он среднюю полосу России и часто выражал своё мнение, что для больных туберкулёзом важно жить в том климате, где больной привык жить.

### В ЯЛТЕ И В МОСКВЕ

Дача в Ялте была небольшая, но она красиво выделялась своей белизной на фоне дальних гор по дороге из Ялты к Алушке. Когда я приехала на пасхальные каникулы к Чеховым в Ялту, то вместо грязного пустыря, прежде окружавшего постройку, там красовался озеленённый сад и были уже разбиты цветники с яркими цветами и розами, особенно любимыми Антоном Павловичем. Вновь построенная ограда окружала уютный чеховский уголок. По дорожкам сада гулял Антон Павлович, за ним следовали любимые собачки: «Бром Исасвич» и «Хина Марковна», красовался и новый жилец чеховской дачи — анст, разгуливая на своих длинных ногах по усыпанным гравием дорожкам.

Внутри дачи было так же уютно, как в Мелихове. Дача была двухэтажная с мезонином наверху. Огромные окна кабинета Антона Павловича во втором этаже выходили на солнечную сторону, с видом на море. У окна стоял большой письменный стол, заваленный, как всегда, рукописями, газетами, письмами. Налево — турецкий диван. Весь пол был устлан большим ковром. Направо от входной двери в кабинет стояла этажерка с фотографиями друзей, книгами, статуэтками из слоновой кости. Над камином в небольшой нише висел пейзаж, изображавший вечер со стожками на лужайке, работы Левитана. За камином, в углублении в виде арки, находилась спальня Антона Павловича с большим окном и тоже с видом на море. У правой стены стояла кровать, у изголовья — столик, на котором лежала бумага, тут же находилась свеча, спички и лекарства. Рядом с кабинетом Антона Павловича была комната матери, Евгении Яковлевны. По другую сторону от кабинета — столовая с большой стеклянной дверью, выходящей на балкон. На этом балконе по вечерам, любуясь на море, отдыхали Антон Павлович и вся семья Чеховых. Наверху, в мезонине, — комната Марии Павловны. В первом этаже была отведена комната для приезжающих гостей. В стороне от дома была кухня.

Я сказала, что Антон Павлович Ялту не любил. Она ему была особенно немила, когда он жил зимой один. Москва, где он прожил свои лучшие молодые годы, была его мечтой, о Москве он тосковал в Ялте. Но врачи категорически запретили ему жить не на юге. Особенно он томился, когда в Ялте была гнилая зима с хлопьями мокрого снега.

Одиночество, тишина в пустом доме, длинные вечера без людей — всё это угнетало Антона Павловича. Он не остался бы в этом городе, если бы с ним не была его старенькая мать, которую он очень любил. Одна она разделяла его одиночество. Иногда навещали его коренные ялтинцы — доктора Альтшулер и Елпатьевский; последнего Антон Павлович очень любил за его внимательное отношение к больным, которым трудно жилось. Чехов тяжело переживал своё бессилие как-нибудь облегчить жизнь таких больных, их было очень много. Когда мы с Марией Павловной приезжали в Ялту на рождественские и пасхальные каникулы, Антон Павлович не раз жаловался на своё зимнее одиночество в Ялте. Весна была много милее.

Одна весна в Ялте была особенно приятна Антону Павловичу — та весна, когда Художественный театр устроил в Севастополе постановку его «Дяди Вани» и «Чайки», чтобы не надо было ему ехать в Москву. Поездка в Севастополь очень оживила Антона Павловича, постановка его вещей ему очень понравилась. Мария Павловна и я тогда как раз гостили у Чеховых в Ялте. Некоторые артисты после спектакля приехали в Ялту. В доме Чехова вдруг стало необычайно оживлённо: в это время наехало ещё немало москвичей, знакомых Чеховых. Весна была чудесная, всё цело и благоухало.

Все в доме повеселели и радовались, глядя на Антона Павловича, — он как будто чувствовал себя хорошо.

Артисты, писатели и художники приходили к Чеховым днём, в любимые часы для приёма гостей — к завтраку и к обеду. За столом всегда было весело и как-то невольно забывалось о болезни Антона Павловича — так много он смеялся, шутил и был необыкновенно обаятелен.

У меня часто спрашивают: почему в письмах Антона Павловича Чехова упоминается о передаче мне почтовых марок, вложенных в письма Марии Павловне. Это собиранье Антоном Павловичем марок для меня началось по следующему случаю. Как-то на каникулы я ездила домой на юг и возвращалась обратно в Москву. Провожая меня на станцию железной дороги, мой одиннадцатилетний братишка, ученик 2-го класса гимназии, прощаясь, сунул мне в карман осеннего пальто что-то аккуратно завернутое в белую бумагу с просьбой передать эту вещь Антону Павловичу. Проезжая мимо станции Лопасня, я поспешила сойти и на несколько дней заехала в Мелихово к Чеховым. Только за ужином я вспомнила о подарке моего брата и передала его Антону Павловичу. Чехов развернул пакетик — там оказался небольшой журнальчик, размером в небольшую детскую книжку. Что там было написано, я уже не помню, но всё было очень тщательно, с любовью сделано, подражая настоящему журналу, со всеми его отделами. Видно было, как сильно хотелось маленькому автору сделать приятное Антону Павловичу.

Антон Павлович сейчас же послал ему свой рассказ «Каштанка» со своей надписью.

Как-то в феврале 1898 года, когда я гостила в Мелихове, пришли от Антона Павловича из Ниццы, где он был в то время, две посылки: одна Марии Павловне и другая на моё имя — посылочка величиной с кубический вершок, тщательно упакованная, зашитая. В посылочке, которая всех нас рассмешила своими игрушечными размерами, оказались почтовые марки со всех концов мира, откуда Антон Павлович получал письма. Всё это предназначалось моему братишке.

В Москве нанята была квартира. В неё переехала жена Антона Павловича, Ольга Леонардовна, там же поселились Евгения Яковлевна и Мария Павловна. Для каждого была отдельная комната. Кроме того, была ещё общая столовая и гостиная, где стоял рояль, неизменный турецкий диван, где, как всегда, сидя в своём излюбленном уголке, после работы и после обеда любил отдыхать Антон Павлович.

С вступлением в семью Чеховых Ольги Леонардовны к посетителям чеховского дома присоединились новые люди — родные и знакомые Ольги Леонардовны, тоже люди искусства. Мать Ольги Леонардовны — Анна Ивановна Книппер — была профессором пения в филармонии; брат — Владимир Леонардович — был студентом филармонии. В доме Чеховых я ни разу не встречала людей, ничего не делавших, бывали только люди труда и творчества в искусстве и в науке.

Мария Павловна, помимо уроков в гимназии, увлекалась живописью и занималась в студии художницы Званцевой и художницы Хотянцева под наблюдением известных уже в то время художников К. Коровина и Н. Ульянова. Она была очень талантлива. Антон Павлович находил в её живописи нечто сходное с его творчеством в литературе. Но, к сожалению, ей мало времени оставалось для искусства, так как она взяла на себя заботу о хозяйственном устройстве всей семьи и в Москве и в Ялте.

Итак, в жизнь семьи Чеховых вошли еще интересы, связанные с Художественным театром, где шли пьесы Антона Павловича. Ольга Леонардовна была очень занята, она участвовала почти во всех пьесах Чехова и Горького. С частыми приездами Антона Павловича в Москву все в доме почувствовали себя более счастливыми не только от его присутствия, но и от сознания, что он дома и не томится там, в Ялте.

Жизнь шла как будто хорошо: яркая, полная живых интересов, — если бы не мучила всех мысль о болезни Антона Павловича. Эта болезнь заставляла Антона Павловича осенью и весной, в самую дурную погоду, уезжать в Ялту. Театральная работа не позволяла Ольге Леонардовне уезжать с ним.

Однажды после обеда Антон Павлович торопился в театр, говоря, что ему необходимо видеть Немировича-Данченко. Он пригласил меня с собой. Всю дорогу Антон

Павлович был очень молчалив и озабочен, без своих обычных шуток. Когда мы вошли в фойе, то показался Немирович-Данченко, идущий навстречу, — я тогда ещё не была с ним знакома. Антон Павлович представил ему меня и вдруг говорит: «Представляю вам большую поклонницу вашего театра, приехавшую из Тифлиса». При этом он назвал меня княгиней такой-то, экспромтом придуманной грузинской фамилией. Он это сказал с каким-то особенным ударением и так серьёзно, что я чуть не фыркнула. Всё так же серьёзно Антон Павлович добавил: «Мы не могли достать билета на спектакль, поэтому прошу вас устроить нашу дорогую гостью получше». Сам Антон Павлович ушёл к Ольге Леонардовне, сказав Немировичу-Данченко, что встретится с ним за кулисами. К большому моему счастью, скоро должны были поднять занавес, и мне не пришлось говорить с Немировичем-Данченко о Грузии, где я никогда не была. Почтительно со мной раскланявшись, он ушёл к Чехову.

Как-то у Чеховых, когда они жили уже в новой квартире, был устроен большой вечер. Кажется, это был первый званый вечер в новой квартире и, как мне помнится, последний с таким большим собранием гостей. Были артисты Художественного театра, несколько литераторов, писатели Бальмонт, Гиляровский, Иван Бунин, Балтрушайтис, Брюсов, Леонид Андреев, люди науки. Все сидели в столовой за чайным столом. Вдруг в кабинете Антона Павловича раздался телефонный звонок. Антон Павлович поднялся, прошёл в кабинет и, быстро вернувшись, радостно сообщил, что сейчас придёт писатель Горький.

Когда вошёл Горький, Антон Павлович подвёл его ко мне и, представляя его, сказал: «Это Горький, а это писательница Микулич». После того как Горький раскланялся со всем обществом, Антон Павлович посадил его рядом со мной, а сам с улыбкой встал за моим стулом. Горький начал со мною разговор, принимая меня за Микулич, произведения которой мне не были известны. Он начал говорить, что ему очень нравится мой рассказ «Мимочка». Тут он запнулся — он не помнил, что делала Мимочка. Антон Павлович ему подсказал: «Мимочка на водах травится». Публика, зная, что я не Микулич, насторожилась, предвкусывая какую-то выдумку Антона Павловича. Я, со своей стороны, старалась поддержать с Горьким разговор о Мимочке, не выдавая шуток Чехова, но, верно, не очень удачно, и Антон Павлович поспешил сказать: «Да это не Горький, а это не Микулич!» Я, горячась, начала убеждать Чехова, что отлично знаю Горького по его портретам, а Горький, в свою очередь, говорил, что узнаёт во мне по портретам Микулич и читал её произведения. В конце наших взаимных уверений я наконец сообщила Горькому, что то, что он Горький, я так же твёрдо знаю, как и то, что только в шутку Антон Павлович наименовал меня именем Микулич. Эта шутка очень рассмешила всех.

17 января 1904 года, в день именин Антона Павловича, состоялась с большим успехом премьера в Художественном театре пьесы «Вишнёвый сад». Я была на этом спектакле, Антон Павлович вышел на вызовы публики взволнованный, бледный. И хотя видно было, что он доволен, моё сердце сжалось от боли, когда я увидела его исхудавшее, измученное лицо. Скорбь и печаль, охватившая мою душу, была и в сердцах других — она чувствовалась в напряжённости притихшего зрительного зала.

К весне Антону Павловичу становилось всё хуже. Начались дорожные сборы Антона Павловича. По назначению врачей он должен был уехать в Баденвейлер вместе с Ольгой Леонардовной.

Месяца два, если не больше, оставшиеся до отъезда, я не бывала у Чеховых, чтобы не утомлять Антона Павловича. Но однажды, узнав по телефону, что Антон Павлович скоро уезжает, я оставила свои колебания и решила тотчас пойти к Чеховым, не откладывая ни минуты. Было около двенадцати часов дня. Я спросила горничную Машу, как себя чувствует Антон Павлович. Маша сказала, что последние дни очень плохо. Дверь в комнату Антона Павловича была полуоткрыта. Хотя мы говорили вполголоса, Антон Павлович спросил: «Кто там?» Услышав от Маши, что это я, он меня принял.

Когда я вошла в комнату, то была поражена той переменной, которая произошла в Антоне Павловиче за эти четыре месяца после премьеры «Вишневого сада». Лицо его стало бледное, с желтоватым оттенком, кожа лица обтянулась. Его добрые глаза были без улыбки, какая была в них всегда раньше. Антон Павлович лежал на постели в белом белье, на высоко поднятых подушках, закрытый до пояса тёплым пледом. У меня подступили к глазам готовые прорваться слёзы. Антон Павлович попросил меня сесть, указывая на стул у его постели: стул был занят его платьем и ещё чем-то, и сесть было негде. Я так расстроилась и так растерялась при виде той перемены, которую произвела болезнь в облике человека, что от жалости к нему, не помня себя от душивших меня слёз, я просто опустила на колени около его кровати. Он молча, ласково провёл по моим волосам рукой. Боясь, что не удержусь и разрыдаюсь, если произнесу хоть одно слово, я встала, едва успев взглянуть на него, пожала молча его исхудалую руку и быстро вышла из комнаты, так и не сказав ни одного слова.

В июле 1904 года мне пришлось быть далеко от Москвы, в лесных местах по реке Ветлуге; я гостила в семье земского врача. 15 июля были именины, на которые съехалась местная интеллигенция. Среди собравшихся было много врачей, работавших в глуши, без дорог, без лекарств, без необходимых хирургических инструментов, на что так часто сетовал Антон Павлович в своих рассказах. Были земские деятели, студенты из столиц, учёные, приехавшие отдохнуть на летние каникулы на берега Ветлуги. Вспомнили Чехова, все высказывали надежду, что лечение продлит ему жизнь. День выдался чудесный. Праздник был устроен в лесу, на лужайке.

В конце дня, когда начало садиться солнце, по дороге из леса показался почтальон. Все радостно кинулись ему навстречу. Разбирали почту: письма, газеты, читая их на ходу. Вдруг в одной развёрнутой газете бросилась в глаза чёрная траурная рамка во всю страницу. Чей-то голос, ошеломивший нас всех, произнёс: «Умер Чехов». Веселье сразу оборвалось. Все сразу поднялись, скорбь охватила нас, водворилась минутная тишина. Уже вечерело. Небо нахмурилось, в лесу стало темно. Начали капать крупные капли дождя. Все вдруг зашпешили, матери начали беспокойно собирать детей, разбежавшихся по кустам. Эти сборы происходили при гробовом молчании. О Чехове никто не мог говорить, так были подавлены этим известием, — тяжёлым камнем легло оно на душу каждого. Мы стали спешно разъезжаться по домам, почти не простясь друг с другом. У всех была одна скорбная мысль: Чехова нет. Чехова не стало.

Москва. Декабрь 1951 года.



# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Ф. ЕВНИН

★

## „СЧАСТЬЕ“

(Об одном рассказе А. П. Чехова)

**П**опытаемся проникнуть в суть одного из небольших рассказов Чехова. Начнём с лежащего на поверхности — с истории написания; присмотримся затем к деталям содержания и композиции; вдумаясь в идейный замысел и постараемся найти в нём отражение мировоззрения писателя; в заключение проследим, с каким мастерством идея и художественная форма слиты в этом рассказе воедино. При этом будем, по возможности, следовать завету Горького: «Необходимо писать о нём (Чехове.— Ф. Е.) очень мелко и чётко...»

Детальный анализ небольшой новеллы (конечно, взятой не изолированно, а в контексте с другими произведениями) способствует лучшему пониманию важных сторон всего его творчества.

В апреле — мае 1887 года Антон Павлович совершил полуторамесячную поездку на юг, в родные места. Он пожил в Таганроге, провёл несколько дней на степном хуторе, немало поездил по донской степи. «Виды восхитительные. Напознился я по самое горло: на 5 лет хватит», — писал он 5 мая М. П. Чеховой. «Впечатлений и материалов масса, и я не раскаиваюсь, что потратил 1½ месяца на поездку», — извещал он Лейкина, собираясь в обратный путь. В письме от 25 апреля Антон Павлович рассказывает сестре, как поразила его во время пребывания на одной из станций Донецкой железной дороги картина ночной степи: «...Вышел ночью из вагона... а на дворе сущие чудеса: луна, необозримая степь с курганами и пустыня; тишина гробовая, а вагоны и рельсы резко выделяются

из сумерек — кажется, мир вымер. Картина такая, что во веки веков не забудешь».

Вернувшись в Москву 17 мая, Антон Павлович уже 20 мая сообщает брату Александру, что пишет «субботник»<sup>1</sup> для «Нового Времени». Это и был рассказ «Счастье», напечатанный в газете 6 июня 1887 года и явившийся первым в ряду произведений, отразивших пребывание писателя в родном краю («Счастье», «Перекати-поле», «Степь», «Огни» и другие). В рассказе передана столь взволновавшая Чехова поэзия ночной степи, изображены её природа и люди. Даже специфический круг сотрудников и читателей «Нового Времени» не мог не заметить, что имеет дело с чем-то из ряда вон выходящим. Вскоре после опубликования рассказа брат писателя Александр, состоявший штатным работником редакции газеты и не возвышавшийся в своих взглядах над средним уровнем её литераторов, писал Антону Павловичу: «Ну, друже, наделал ты шуму своим последним «степным» субботником. Вещица — прелесть. О ней только и говорят. Похвалы — самые ожесточённые. Доктора возят больным истрёпанный №, как успокаивающее средство... В ресторанах на Невском у Дононов и Дюссо, где газеты сменяются ежедневно, старый № с твоим рассказом треплется до сих пор... Поздравляю тебя с успехом. Ещё одна такая вещица и «умри, Денис, лучше не напишешь».

Гораздо существеннее, что сам Чехов ставил «Счастье» очень высоко. Отвечая брату, он указывает, что и ему «степной субботник... симпатичен». В письме Антона Павловича к поэту Я. П. Полонскому от 25 марта

<sup>1</sup> Так назывались небольшие беллетристические произведения, печатавшиеся в субботних номерах газеты.



1888 года мы читаем: «...Я издаю новый сборник своих рассказов. В этом сборнике будет помещён рассказ «Счастье», который я считаю самым лучшим из всех своих рассказов (разрядка наша.— Ф. Е.). Будьте добры, позвольте мне посвятить его Вам. Этим Вы премного обяжете мою музу». Напомним, что к этому времени Чеховым уже были созданы такие шедевры, как «Унтер Пришибеев», «Горе», «Тоска», «Хористка», «Ванька», «Враги», «Верочка» и другие. В новом сборнике Чехов желает видеть «Счастье» обязательно на первом месте. Об этом он неоднократно пишет своему «поверенному по изданию» — брату Александру. («...Ещё раз напоминаю: рассказ «Счастье» должен быть первым.»)

Ранее, в известном письме к Григоровичу от 28 марта 1886 года, писатель признавался, что, сотрудничая в юмористических журналах, он старался «не потратить... образов и картин», которые ему «дороги» и которые он «бог знает почему, берёт и тщательно прятал...» Высокая оценка «Счастья» самим Чеховым (обычно столь строгим и взыскательным к себе) заставляет предположить, что в этом рассказе и нашло воплощение то заветное, что раньше берегалось и тайлось.

«Счастье» — произведение, не имеющее сюжета, фабулы. В нём есть, как мы постараемся дальше показать, движение, есть развитие, но отнюдь не сюжетное, не фабульное. «В рассказе изображается степь: равнина, ночь, бледная заря на востоке, стадо овец и три человеческие фигуры, рассуждающие о счастье», — так определил содержание произведения сам Чехов.

Первые три-четыре десятка строк посвящены экспозиции, по-чеховски краткой и выразительной. Несколько лёгких, но уверенных штрихов — и перед читателем возникают фигуры двух пастухов, стерегущих ночью в степи отару овец (один — «старик лет восьмидесяти», другой — «молодой парень»), и случайного проезжего, объездчика.

В вводном пейзаже сразу чувствуется стиль Чехова-пейзажиста. Как известно, он не любил претенциозных и шаблонных описаний «красот природы»<sup>1</sup>. Картина летней

ночи в степи мастерски воссоздана посредством отдельных скромных «мазков», не составляющих композиционно обособленного пейзажного отрывка — «описания природы», но искусно вкрапленных кое-где, как бы мимоходом: «В сумраке, застилавшем дорогу, темнела осёдланная лошадь...», «Над самым его (пастуха) лицом тянулся Млечный путь и дремали звёзды...», «На сером фоне зари, начинавшей уже покрывать восточную часть неба, там и сям видны были силуэты не спавших овец...» и т. д. Для полноты впечатления к описанию того, что видит глаз, присоединено (как почти всегда у Чехова) описание того, что слышит ухо (треск кузнечиков, посвистывание соловьёв и т. д.).

С первых же строк явственно ощущается то особое «настроение», которым овеян весь рассказ: всё, о чём говорится в экспозиции, показано в состоянии молчаливой, неподвижной сосредоточенности — не то глубокого раздумья, не то вглядывания в окружающее, в ночную степь, в её «тайны». Объездчик «молча закурил и выкурил всю трубку, потом, ни слова не сказав, облокотился о седло и задумался...»; молодой пастух «не обратил на него никакого внимания, он продолжал лежать и глядеть на небо...»; старик «долго оглядывал объездчика...»; даже овцы, «опустив головы, о чём-то думали». Общее впечатление сосредоточенности, неподвижности, беззвучия не нарушается, а скорее оттеняется негромкими, монотонными ночными звуками. Всё как бы застыло в оцепенении, проникнуто ожиданием чего-то.

Исходный толчок, являющийся своеобразной завязкой для всего последующего, чрезвычайно прост. («Поучитесь начинать рассказы у Чехова, он делал это мастерски», — указывал Горький.) Старый пастух узнаёт объездчика, остановившегося, чтобы попросить огня для трубки, и спрашивает его, откуда он едет; тот отвечает. И сразу же включается первый мотив рассказа: фантастические народные предания о нечистой силе. Услышав, что объездчик едет с Ковылёвского участка, старик заговаривает о жившем в Ковылях колдуне Ефиме Жмене, продавшем душу дьяволу. Всё более увлекаясь, пастух рассказывает о

<sup>1</sup> 10 мая 1886 года Чехов писал брату Александру: «Описания природы должны быть весьма кратки и иметь характер à propos. Общие места надо бросить. В опи-

саниях природы надо хвататься за мелкие частности, группируя их таким образом, чтобы по прочтении, когда закроешь глаза, давалась картина» и т. д.

свистящих дынях, о хохочущих щуках, о превращении оборотня Жмени в вола и т. д. Вложенные в уста восьмидесятилетнего старика, эти народные рассказы о страшном, загадочном вполне созвучно влияют в общую мелодию ночной степи: это ведь всё «степные тайны», частица того, о чём думают люди степи. Рассказ Чехова явственно перекликается тут с тургеневским «Бежиным лугом».

Столь же естественен переход к следующему мотиву — о таинственных кладах, зарытых в степи (Жменя «знал место, где клады есть»). Сначала этот мотив развивается, как прямое продолжение предыдущего, как новая серия суеверно-фантастических рассказов о нечистой силе. Всё более воодушевляясь, старый пастух говорит о загадочных огоньках, горящих над кладами; о том, что клады эти — заговорённые и необходим талисман, чтобы найти и увидеть их, и т. д.

Поначалу рассказ напоминает пейзажно-бытовую картинку, каких немало у Чехова. Но всё, о чём шла до сих пор речь, — лишь своеобразное вступление к главной теме рассказа. Ещё несколько десятков строк — и сказка переходит в быль, фантастика — в реалистическую символику. На наших глазах идейное содержание произведения неизмеримо углубляется: начинается кульминационная часть его.

«Старик говорил с увлечением, как будто изливал перед проезжим свою душу. Он гнул и говорил от не привычки говорить много и быстро, заикался». Наконец пастух «вскочил и заговорил с горечью» (тут-то и вводится главный, вершинный мотив рассказа): «Есть счастье, а что с него толку, если оно в земле зарыто? Так и пропадает добро задаром, без всякой пользы... А ведь счастья много, так много, парень, что его на всю бы округу хватило, да не видит его ни одна душа! Дождутся люди, что его паны выроют или казна отберёт. Паны уже начали курганы копать... Почуяли! Берут их завидки на мужицкое счастье! Казна тоже себе на уме. В законе так писано, что ежели который мужик найдёт клад, то чтоб к начальству его представить. Ну, это погоди — не дождёшься! Есть квас, да не про вас!»

Вот что за клад ищет старик. Вот, оказывается, какова самая загадочная и манящая из степных тайн: тайна человеческого счастья, реально суще-

ствующего где-то неподалёку, такого, казалось бы, возможного и близкого, но, между тем, не дающегося в руки, неуловимого... Вот почему всё кругом проникнуто ожиданием чего-то.

Горький писал Чехову, что в его драмах «реализм возвышается до одухотворённого и глубоко продуманного символа». То же, думается, можно сказать и о некоторых рассказах Чехова, в первую очередь о «Счастье»<sup>1</sup>.

Клады, зарытые где-то в бескрайней степи — может быть, совсем поблизости, доступные, почти осязаемые и в то же время недостижимые, — какой это замечательный, чисто реалистический символ счастья, которое искал старый пастух. И как непринуждённо, «незаметно» осуществлено в рассказе это неожиданное переключение образа в иной, более глубокий план: простой синонимической заменой в нескольких местах слова «клад» словом «счастье».

Раз высказанный главный идейный мотив произведения — желанность, близость, неуловимость счастья — затем, подобно теме музыкального произведения, звучит в нескольких повторных вариациях.

Сначала старый пастух рассказывает, как безуспешно искали клад не только он, но и его отец и брат («так и умерли без счастья»).

Затем в разговор вступает объездчик, лишь кратко и однообразно поддакивавший старику, когда тот говорил о колдуне. Фигуру объездчика в рассказе окутывает какая-то дымка: он представлен непрерывно погружённым в сосредоточенное, глубокое раздумье. Это выражено и в позе его, и в движениях, и в характере его реплик, и даже в тембре его голоса («...сказал он беззвучным, глухим голосом, каким говорят люди, погружённые в думу»). Но рассуждения старика о счастье взяли его за живое — и дымка прорывается: «Объездчик очнулся от мыслей и встряхнул головой. Обеими руками он потряс седло, потрогал подпругу и, как бы не решаясь сесть на лошадь, опять остановился в раздумье. «Да, — сказал он, — близок локоть, да не укусишь... Есть счастье, да нет ума искать

<sup>1</sup> Проникновенной реалистической символикой (не имеющей ничего общего с идеалистической эстетикой символизма) отмечено не только «Счастье», но и «Скрипка Ротшильда», «Крыжовник», «Поцелуй» и другие рассказы.

его...» Строгое лицо его было грустно и насмешливо, как у разочарованного. «Да, так и умрёшь, не повидавши счастья, какое оно такое есть...» — сказал он с расстановкой». Итак, окружающая Пантелея дымка связана всё с той же тайной человеческого счастья.

Всё важнейшее как будто уже высказано. Но вот в миниатюрную «симфонию» чеховского произведения вливается звучание нового инструмента, своими средствами варьирующего всё ту же «музыкальную тему»: следует замечательный предрасветный пейзаж, полный глубокого значения.

Объездчик «прищурил глаза на даль. В синеватой дали, где последний видимый холм сливался с туманом, ничто не шевелилось; сторожевые и могильные курганы, которые там и сям высились над горизонтом и безграничной степью, глядели сурово и мертво; в их неподвижности и беззвучии чувствовались века и полное равнодушие к человеку; пройдёт ещё тысяча лет, умрут миллиарды людей, а они всё ещё будут стоять, как стояли, нимало не сожалея об умерших, не интересуясь живыми, и ни одна душа не будет знать, зачем они стоят и какую степную тайну прячут под собой...» и т. д.

Суровое, бездушное молчание степных курганов, прячущих под собой некую тайну, как бы воплощает всю тяжесть препятствий, воздвигнутых судьбой перед человеческим стремлением к счастью. Могучие враждебные силы преграждают путь к нему.

Основной идейный мотив рассказа раскрыт теперь со всей глубиной, с максимальной силой звучания. Кульминационная часть произведения завершена. Следует финал. В нём звучит всё тот же ведущий мотив, но как бы приглушённо. Ночь с её символической и фантастикой осталась позади, и о сокрытых в степи кладках говорят уже в более сниженном, более прозаическом плане.

Объездчик Пантелей, «человек серьёзный, рассудительный», рассказывает о двух кладках, зарытых поблизости при совершенно определённых исторических обстоятельствах (разграбление разбойниками каравана с золотом, отправленного Петру I; возвращение домой после войны 1812 года донских казаков с добытым у французов добром). Старый пастух, уже не упоминая о талисманах, намечает совершенно конкретное место, где он будет искать клад («где балка, как гусиная лапка, расходится на три балочки, так в средней...»).

Завершают и «развязывают» ночной разговор в степи вопрос молодого пастуха Саньки — зачем старик ищет клад? — и ответ старого пастуха. Тут, перед самым концом рассказа, основной мотив его вновь звучит со всей отчётливостью. Старик, оказывается, и сам не знает, что будет делать с кладом, если найдёт его. Так снова подчёркивается, что мечта старика о кладе — это мечта не о богатстве, но о счастье. Безотчётна и неистребима эта мечта в душе человека, и не хочет он знать зловещей тайны курганов.

Следующий далее пейзаж (восход солнца в степи) полон экспрессии. Он построен по принципу «одушевления природы»<sup>1</sup>: полосы света, «потягиваясь и с весёлым видом, как будто стараясь показать, что это не надоело им, стали ложиться по земле...», разноцветные степные травы и цветы «радостно» заpestрели, «принимая свет солнца за свою собственную улыбку...»

Этот пейзаж мог бы быть заключительным. Здесь Чехов мог бы поставить точку, — если бы он не был Чеховым. Ясная, переливающаяся красками картина утренней зари, как бы задёргивающая цветными занавесом всё то, о чём говорилось и мечталось во мраке ночи, могла бы — как кажется на первый взгляд — явиться подходящей «концовкой». Однако, заключая рассказ, она одновременно как бы «снямала» его главный мотив, свидетельствовала бы о его исчерпанности, разрешённости до конца. Но мотив этот, по самой сути своей, не мог быть окончательно разрешён и исчерпан: страстное устремление к счастью неискоренимо в человеке, оно живёт, несмотря ни на что.

И — с замечательным искусством — Чехов придаёт композиции рассказа форму кольца: концовка его как бы возвращает читателя к зачину. Снова, как и в экспозиции, — общее ощущение неподвижности и тишины, снова всё живое погружено в сосредоточенное, напряжённое раздумье, с той лишь разницей, что это состояние полуоцепенения мотивировано теперь иначе: истомой жаркого летнего утра... «Когда солнце, обещая долгий, неподвижный зной, стало припекать землю, всё

<sup>1</sup> В уже цитированном письме к брату от 10 мая 1886 года Чехов писал: «Природа является одушевлённой, если ты не брезгуешь употреблять сравнения явлений её о человеческими действиями».

живое, что ночью двигалось и издавало звуки, погрузилось в полусон. Старик и Санька со своими герлыгами (длинными палками. — *Ф. Е.*) стояли у противоположных концов огары, стояли, не шевелясь, как факиры на молитве, и сосредоточенно думали. Они уже не замечали друг друга, и каждый из них жил своей собственной жизнью». Эта картинка и замыкает рассказ: старик и Санька снова думают о счастье...

Подытожим теперь свои впечатления. Спросим себя сначала: в чём тайна очарования чеховского рассказа?

Прежде всего в том, что полна прелести сама чеховская мечта о близком, неуловимом счастье, к которому не утаёт тянуться человеческое сердце. У Чехова счастье не есть нечто ирреальное, принципиально недостижимое: заветные клады — элемент реальности, они существуют где-то. Вот почему так своеобразно чувство, навеваемое рассказом: это грусть, но особая грусть, смешанная с надеждой и безотчётным стремлением к чему-то; в ней нет отчаяния, нет безысходности. Художественным воплощением человеческой мечты о счастье и является прежде всего рассказ.

Особое звучание придаёт ему то, что в нём тема человеческого счастья перерастает в тему счастья народного. Что именно таков был творческий замысел Чехова, что он хотел показать неугасимость народной мечты о счастье, — не подлежит сомнению. Дело тут не только в том, что оба пастуха и объездчик — люди из народа. Старый пастух представлен типичным выразителем народных стремлений и чаяний. Напомним: это восьмидесятилетний «патриарх степи», помнящий и хранящий всё, что издавна живёт в сердце народа. Не случайно так оттенены в этом образе сила убеждённости в праве народа на счастье, сила ненависти к «панам» и «казне», столь явственно прорывающиеся в приведённом выше отрывке. Старик говорит здесь не от своего имени, а от имени всех людей степи; он мечтает не о счастье для себя только, но о «мужицком счастье», которого бы «на всю округу хватило».

Поэтическую оболочку для рассказа о народных стремлениях к счастью Чехов заимствовал из народного же источника. Предания о заговорённых, не дающихся в руки кладах — неотъемлемый эле-

мент русского народного творчества. Подобные предания бытовали в самых различных районах дореволюционной России, особенно же в степных. Возьмём, например, «Сказки и предания Самарского края» (1884), собранные Д. Садовниковым. Мы найдём среди них четырнадцать легенд о кладах.

Во время разъездов по родным местам весной 1887 года Чехов мог сам слышать подобные рассказы. Насколько распространены они были в южном степном краю, косвенно указывает следующая строчка из позднейшего чеховского рассказа «В родном углу» (действие тут происходит примерно в тех же местах, что и в «Счастье»): «В сумерках говорили... о кладах, зарытых когда-то в степи...» Но вероятнее иное. Как известно, у Чехова была няня — степнячка Агафья Александровна Кумская. Брат писателя М. П. Чехов сообщает («Антон Чехов и его сюжеты»): «Она всё больше повествовала о таинственном, необыкновенном, страшном, поэтическом. «Счастье» Антона Павловича безусловно написано под впечатлением её рассказов». Напрашивается предположение, что весенняя поездка 1887 года среди других детских воспоминаний оживила в сознании Чехова и таинственные рассказы няни о степных кладах. В написанной вскоре «Степи» есть прямое упоминание о «сказках няньки-степнячки». Материал, заимствованный из народной поэзии, Чехов, подобно другим мастерам слова, творчески преобразил, вложив в бесхитрый сюжет о не дающихся в руки кладах новое глубокое содержание.

Незадолго до «Счастья» Чеховым были написаны «Мечты» (1886) и «Выигранный билет» (1887). Эти рассказы имеют непосредственное отношение к тому, который нас сейчас занимает, и могут пролить на него дополнительный свет. Остановимся на них вкратце. В обоих тоже изображены человеческие мечты о счастье. Но как различны эти мечты и как не похожи друг на друга эти рассказы!

В первом из них перед нами человек из народа, бродяга, «не помнящий родства», — искалеченный жизнью неудачник. Конволируемый двумя сотскими, он месит осеннюю грязь по дороге в уездный город: ему предстоит ссылка в Сибирь на поселение. На мгновение бродяга отдаётся во власть мечтаний о прекрасной вольной жизни, якобы ждущей его где-то в неведомой сибирской глуши, и он полон «сладкого ожида-

ния счастья». Один из конвоиров возвращает бродягу к печальной действительности: не видать ему желанного приволья, он скоро протянет ноги. С каким сочувствием переданы в рассказе овеянные подлинной поэзией грёзы неудачника о свободной трудовой жизни, его надежды, что в далёкой стране быстрых рек и непроходимых лесов он станет, «как люди, пахать, сеять...» И как ударяет по сердцу читателя строго мотивированный финал, в котором раскрыт весь трагизм несоответствия между мечтами бродяги и тем, что его действительно ожидает в будущем.

В «Выигрышном билете» (явно предвещающем собой «Крыжовник») о счастье размышляет обыватель — чиновник средней руки. Найдя номер серии своего билета во второй строке таблицы выигрышей, он грезит о 75 тысячах рублей и рисует себе радужные картины будущего. Он мечтает о покупке имения, о заграничном путешествии. Как мелки и пошлы эти мечты, каким собственническим свинством проникнуты они! Эти «поэтические» грёзы (так иронически названы они в авторской речи) Чехов передаёт с нескрываемой насмешкой: «Во всех этих картинах он видел себя самого сытым, спокойным, здоровым, ему тепло, даже жарко! Вот он, поевши холодной, как лёд, окрошки, лежит вверх животом на горячем песке у самой речки или в саду под липой. ...Он сладко дремлет, ни о чём не думает и всем телом чувствует, что ему не идти на службу ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра...» и т. д. Но надеждам чиновника не суждено сбыться: совпал только номер серии, его билет не выиграл. И какими жалкими, неказистыми после недавних розовых мечтаний кажутся «герою» рассказы, прежде «очень довольному своей судьбой», его комната и его ужин. Если в «Мечтах» крах надежд на счастье глубоко трагичен, то тут аналогичная по существу развязка подчёркнуто комична: эпизод с «чуть-чуть» не выигравшим билетом сделал обывателя-пошляка не более, а менее счастливым, чем он был раньше. Так Чехов наказывает своего «героя» за низменность его жизненных идеалов. Будущий автор «Учителя словесности» и «Крыжовника» уже в 1886—1887 годах поэтизирует, таким образом, далеко не всякие грёзы о счастье. Человек достоин счастья, но и счастье должно быть достойно человека!

Сравнение двух смежных новелл — спут-

ников «Счастья», — думается, убедительно показывает, как глубоко даже у молодого Чехова демократические устремления и симпатии. Тема народных чаяний о счастливой жизни, раскрытая в занимающем нас рассказе, не случайна, а органична для его творчества. «...Я не пейзажист только, я ведь ещё гражданин, я люблю родину, народ, я чувствую, что если я писатель, то я обязан говорить о народе, об его страданиях, об его будущем...» В этих словах Тригорина из «Чайки» выражен взгляд самого Чехова на своё призвание писателя.

Но исчерпывается ли внутренняя сущность произведения всем сказанным выше? Мы думаем — нет: в «Счастье» есть ещё нечто, глубже лежащее, связанное с самыми заветными думами и настроениями Чехова. Но для того, чтобы проникнуть в это «нечто», надо раздвинуть рамки анализа, включить произведение в более широкий идейно-литературный контекст.

В 1887 году, когда было написано «Счастье», вышел чеховский сборник под многозначительным названием «В сумерках». Чехов был уже автором «Тяжёлых людей» и «Мужа», «Скуки жизни» и «В суде», «Унтера Пришибеева» и «Знакомого мужчины», «Кошмара» и «Панихиды». В этих и многих других произведениях писатель со всей правдивостью реалиста изображал «свинцовые мерзости жизни» — всё то низкое и мелкое, пошлое и смешное, чем изобилвала тогда русская действительность. К этому периоду творчества Чехова уже вполне применима известная горьковская характеристика: «Никто не понимал так ясно и тонко, как Антон Чехов, трагизм мелочей жизни, никто до него не умел так беспощадно правдиво нарисовать людям позорную и тоскливую картину их жизни в тусклом хаосе мещанской обидённости».

Но существовало разительное несоответствие между впечатлениями, которыми снабжала Чехова действительность, и свойственным ему отношением к жизни, между тем, каким представлялся Чехов большинству на основании его недостаточно понятых произведений, и подлинным обликом писателя. Поставщику лёгких юмористических рассказов в мелкие журналы 1880-х годов с молодых лет присущи были глубокие и серьёзные раздумья об окружающем. В душе «холодного» бытописателя печаль-

ных обывательских будней жило яркое. лирическое начало. Создатель «Хмурых людей» был по натуре и взглядам оптимистом и нимало не походил на своих персонажей. Короленко пишет: «Чехов (во время встречи в 1887 году. — Ф. Е.) произвёл на меня впечатление человека глубоко жизнерадостного. Казалось, из глаз его струится неисчерпаемый источник остроумия и непосредственного веселья». О том же, для последующего периода жизни Чехова, свидетельствуют воспоминания А. Куприна, К. Станиславского, Евт. Карпова, И. Бунина и других современников.

«Антон Павлович очень обижался, когда его называли пессимистом», — сообщает К. Станиславский. Евт. Карпов приводит следующие слова писателя: «Я пишу жизнь... Это серенькая, обывательская жизнь... Но это не нудное нытьё... Меня то делают плаксой, то просто скучным писателем... А я написал несколько томов весёлых рассказов... И критика рядит меня в какие-то плакальщицы...» И. Бунин вспоминает, что Чехов, жалуясь на непонимание со стороны критики, говорил: «Какой я пессимист? Ведь из моих вещей самый любимый мой рассказ «Студент». Вот о чём думает герой этого рассказа (ставшего после «Счастья» самым дорогим для Чехова), выражая заветные мысли писателя: «Он... думал о том, что правда и красота... повидимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле... и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого таинственного счастья, овладевало им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла».

Итак, с одной стороны, «сумерки» и «хаос мещанской обывательщины», скорбные мотивы «Свирели» и «Скрипки Ротшильда» — несомненные свидетельства скудости жизни, исключаяющие возможность счастья. С другой стороны — «жизнь... полная высокого смысла» и «ожидание счастья». Как это совместить?

Мучительное противоречие между неистребимым жизнелюбием писателя и выпавшими на его долю «впечатлениями бытия» как будто получило к концу 1890-х годов разрешение в мечте Чехова о грядущем счастье, о светлом будущем родины и всего человечества. Вспомним поздние пьесы и рассказы его, А. Куприн в своих воспоми-

ниях указывает, что в надеждах Чехова на будущее счастье нашла выход «тоска исключительно тонкой, прелестной и чувствительной души, непомерно страдающей от пошлости, грубости, скуки, праздности, насилия, дикости — от всего ужаса и темноты современных будней».

Но вследствие расплывчатости и неясности чеховских упований на будущее (что обусловлено оторванностью писателя от тех социально-политических сил, которым суждено было это будущее действительно претворить в настоящее) нельзя говорить о полном преодолении Чеховым этой важнейшей коллизии его жизни и творчества даже в последние годы. Тем более должно было мучить писателя противоречие между внутренним стремлением к жизнеутверждению и «сумеречностью» окружающей действительности в ранний период. Это противоречие не могло не найти отражения в ряде его произведений 1880—1890 годов.

Конкретно воспринимаемая действительность не соответствует требованиям той правды, той красоты, которые «всегда составляли главное в человеческой жизни». И строгий реалист Чехов доходит порой чуть ли не до своеобразного «развенчания» реальности: видимую действительность он объявляет не только «ужасной», «страшной», но и «странной» и даже «не постижимой», «фантастической»; иначе говоря, реальное оказывается в каком-то смысле почти нереальным — по степени своего несоответствия высшим человеческим критериям<sup>1</sup>. За очертаниями этой «сумеречной», «фантастической» реальности Чехов иногда как бы пытается различить контуры чего-то иного, как будто невозможного, несуществующего, но имеющего больше прав на существование, чем всё остальное: воплощающего собой высокие жизнеутверждающие начала — начала «правды и красоты».

В «Страхе» (1892) герой рассказа Силин заявляет, что «страшное, таинственное и фантастическое» в такой же мере присуще обыденной действительности, как и «миру

<sup>1</sup> В существенно иной плоскости касается вопроса о «нереальности реального» у Чехова Г. Бялый в статье «К вопросу о русском реализме конца XIX века» (см. сборник Ленинградского университета «Труды юбилейной научной сессии». Секция филологических наук, 1946, стр. 310).

привидений и загробных теней». Повседневно окружающее человека, «если вдуматься хорошенько, непостижимо и фантастично не менее, чем выходцы с того света». Личная трагедия Силина в том, что он женился по страстной любви на женщине, которая его не любит, но согласилась на брак с ним. «Безнадёжная любовь к женщине, от которой имеешь уже двух детей. Разве это понятно и не страшно?» Столь же непонятным и страшным кажется Силину и положение крестьян в современном ему обществе.

В рассказе «О любви» (1898) в другой трагической жизненной ситуации Чехов видит «странное недоразумение», «ужасную ошибку».

В «Случае из практики» (1898) «логической несообразностью», «грубой ошибкой», «недоразумением» названы противоестественные отношения между людьми, возникающие на почве капиталистической эксплуатации, вызывавшей такое отвращение у Чехова. Эти отношения так ненормальны, чудовищны, что кажутся чеховскому герою чем-то фантастическим — порождением враждебной человеку дьявольской силы: «Главный же, для кого здесь всё делается, — это дьявол».

В «Даме с собачкой» (1899) таким же недоразумением — «странным стечением обстоятельств» — представлено то, что столь любящие друг друга Гуров и Анна Алексеевна обречены на разлуку, на редкие и только тайные встречи: «...казалось, что сама судьба предназначила их друг для друга, и было непонятно, для чего он женат, а она замужем...», «И казалось, что ещё немного — и решение будет найдено, и тогда начнётся новая прекрасная жизнь». За тем роковым и непонятным, чем полна реальность, Чехову чудится какая-то возможность иного, счастливого решения жизненных коллизий.

В написанном непосредственно перед «Счастьем» рассказе «Володя» (1887) факты «сумеречной» действительности складываются ещё печальнее для героя — приводят его к самоубийству. Но чем больше гадливости и отвращения к окружающему накапливается у него в душе, тем явственнее он ощущает, что «где-то на этом свете» должно существовать счастье, не давшееся ему в руки: «...Солнечный свет и звуки (свиристели.— Ф. Е.) говорили, что где-то на этом свете есть жизнь чистая, изящная,

поэтическая. Но где она? О ней никогда не говорили Володе ни папаша, ни все те люди, которые окружали его...», «чем тяжелее становилось у него на душе, тем сильнее он чувствовал, что где-то на этом свете, у каких-то людей есть жизнь чистая, благородная, тёплая, изящная, полная любви, ласк, веселья, раздолья...»

Вспомним, наконец, вдохновенное чеховское описание степи в одноимённой повести (1888), с которой «Счастье» находится в прямой связи. Летней ночью Чехову в степи «чудится... торжество красоты, излишек счастья», которые «гибнут даром для мира, никем не воспетые, никому не нужные».

В занимающем нас идейном ряду главное место принадлежит рассказу «Счастье». В нём внутренняя коллизия Чехова, о которой мы говорили, нашла наиболее яркое и вместе с тем наиболее обобщённое выражение. С одной стороны — степные курганы, скрывающие какую-то зловещую, враждебную людям тайну. С другой — заветные клады, сулящие счастье «на всю округу». Клады существуют «где-то на этом свете», может быть, совсем близки. Моральному сознанию персонажей рассказа они представляются заслуженной наградой за их труды и мечты. Клады эти — вещественное воплощение того торжества «правды и красоты», о котором идёт речь в «Студенте», в «Степи». Однако они хоть и реальны, но не реализуемы, хоть и близки, но недоступны. В мире «сумеречной» действительности верх берёт мрачная тайна курганов и человеческое счастье облекается фантастикой, становится чем-то ирреальным: не даётся оно в руки, пока не добыт волшебный талисман. Но стремление к счастью безотчётно и неистребимо, несмотря ни на что. И сама напряжённость, неугасимость жизнеутверждающей мечты о счастье снова и снова свидетельствует о том, что оно где-то существует...

Вдохновенный лирический призыв к счастью сочетается в рассказе с печальным сознанием несовершенства жизни. В тончайшем сплетении инстинктивного, безотчётного жизнеутверждения с умной скорбью большого, сильного человека и заключается, на наш взгляд, то заветное, за что Чехов так любил это своё произведение.

Всё в художественной форме рассказа подчинено цели наиболее полно, стройно, изящно (сам Чехов сказал бы в аналогич-

ном случае: грациозно) воплотить его идейное содержание.

Очерченные с такой экономией художественных средств персонажи рассказа — это как бы три различных варианта человеческой мечты о счастье. Старый пастух говорит о нём со страстным воодушевлением, отражая силу народного стремления к лучшей жизни. Думы Пантелея о счастье окрашены грустью неудачника. Молодого Саньку влечёт «фантастичность и сказочность человеческого счастья».

Стиль рассказа (особенно пейзажное мастерство Чехова) вызвал восторженные оценки современников. Компетентнейший ценитель — И. Левитан — в 1891 году писал Чехову: «В рассказе «Счастье» картины степи, курганов, овец поразительны. Я вчера прочёл этот рассказ вслух Софье Петровне<sup>1</sup> и Лике<sup>2</sup>, и они обе были в восторге». Но не всегда восторгающиеся понимали, как тесно отдельные элементы стиля связаны в рассказе с его внутренним содержанием. В этом отношении небезинтересны следующие строки из письма Ал. П. Чехова к брату от 14 июня 1887 года (часть этого письма мы уже процитировали выше): «Хвалят тебя за то, что в рассказе нет темы (разрядка наша.— Ф. Е.), а тем не менее он производит сильное впечатление. Солнечные лучи, которые у тебя скользят при восходе солнца по земле и по листьям травы, вызывают потоки восторгов, а спящие овцы нанесены на бумагу так чудовесно — картинно и живо, что я уверен, что ты сам был бараном, когда испытывал и описывал все эти овечьи чувства».

Для круга сотрудников и читателей «Нового Времени», чьи впечатления излагает тут Ал. П. Чехов, характерно это сочетание восторгов по поводу описаний с полным непониманием идейного содержания рассказа («нет темы!»).

Чехов ответил брату (в письме от 21 июня):

«Степной субботник мне самому симпатичен именно своею темою, которой вы, болваны, не находите. Продукт вдохновения. Quasi-симфония (разрядка наша.— Ф. Е.).

<sup>1</sup> Имеется в виду С. П. Кувшинникова, явившаяся впоследствии прототипом для образа Ольги Ивановны из чеховской «Попрыгуньи».

<sup>2</sup> Речь идёт о Л. С. Мизиновой, близкой знакомой Чехова.

В сущности белиберда. Нравится читателю в силу оптического обмана. Весь фокус в вставочных орнаментах вроде овец и в отделке отдельных строк. Можно писать о кофейной гуще и удивить читателя путём фокусов».

В этом ответе — весь Чехов с его исключительной скромностью, презрением к ривовке, боязнью всего того, что смахивает на выпячивание собственной личности.

Вначале даётся вполне искренняя авторская оценка произведения. В противовес комплиментам по поводу одной формы, оторванной от содержания, Чехов подчёркивает наличие в рассказе дорогого ему внутреннего содержания («темы») и признаёт, что писал его с вдохновением.

Но Антон Павлович сразу как бы спохватывается: не слишком ли «претенциозно» звучит сказанное. (Так «восторженно», как о «Счастье», Чехов, кажется, не отзывался ни о каком другом своём произведении.) Всё дальнейшее продиктовано уже стремлением смягчить или даже свести на нет вырвавшуюся первоначально оценку, умалить ценность произведения. Зная последующий отзыв Чехова о «Счастье» как о лучшем своём рассказе, мы никак не можем принять всерьёз «белиберды», «оптического обмана», «кофейной гущи». Несомненно, соответствует действительности признание об «отделке отдельных строк» и о «вставочных орнаментах». Но никаких «фокусов» тут нет: «нравится» это не само по себе, а как выражение идеи рассказа, его «настроения».

Для понимания стиля и композиции «Счастья» очень важно указание Чехова на «симфоничность» произведения. Слова «quasi-симфония» многое проясняют в творческом процессе Чехова вообще, в архитектонике многих его творений.

Признать литературное произведение «музыкальным» значило для Чехова высказать по его адресу высшую похвалу. Чехов пишет 9 июля 1888 года Короленко: «Ваш «Соколинец», мне кажется, самое выдающееся произведение последнего времени. Он написан как хорошая музыкальная композиция, по всем тем правилам, которые подсказываются художнику его инстинктом». В письме к Горькому от 3 января 1899 года мы читаем: «...ваши вещи музыкальны, стройны, в них каждая шероховатая чёрточка кричит благим матом».



Что же разумел Чехов под «музыкальностью», «симфоничностью»? Очевидно, прежде всего — высшую из доступных для литературного произведения степеней цельности, внутреннего единства, то соответствие формы и содержания, которое наиболее полно воплощается в музыке. В симфоническом произведении динамическое раскрытие музыкальной темы осуществляется абсолютно согласованным звучанием всех инструментов оркестра. Чем инструменты разнообразнее, тем глубже, разнообразнее раскрывается тема.

Это единство и согласованность звучания в высшей степени присущи «Счастью». Мы многократно отмечали уже особое «настроение», пронизывающее весь рассказ. Это настроение можно назвать ожиданием счастья, тоской по счастью. Замечательно, как Чехов всей лексикой и стилем рассказа создаёт и поддерживает это единое настроение. Приглушённость, заторможенность движений, звуков и даже мыслей окрашивают собой в авторской речи Чехова наречия, прилагательные, глаголы: «медленно затаившись», он (Пантелей) поглядел вокруг себя»; утренний ветерок «осторожно» шевелил молочае; «лениво посвистывали соловьи»; «лошадь неохотно пошла шагом»; овцы «неохотно» принялись за траву; «беззвучный, глухой голос»; «ленивый полёт грачей»; «в сонном, застывшем воздухе стоял монотонный шум»; «тихий воздух»; «неподвижный взгляд»; звёзды «дремали»; «как бы не решаясь сесть на лошадь»; «сказал он с расстановкой»; «с таким видом, как будто забыл что-то или не досказал», и т. д.

Аналогично этому вся прелесть пейзажей рассказа может быть оценена по достоинству лишь при учёте роли, которую они играют в раскрытии его идейного содержания. Вводный (ночной) пейзаж способствует, например, созданию того настроения «тоски по счастью», о котором только что шла речь. Ещё важнее предрасветный пейзаж, контрастно противопоставляющий человеческим стремлениям к счастью мрачные, враждебные человеку силы. Говоря ранее о предрасветном пейзаже, мы не случайно прибегли к музыкальной терминологии: это

воистину звучание одного из инструментов стройного оркестра, вносящего свою долю в развитие общей темы.

Но слова «quasi-симфония», несомненно, имели под пером Чехова ещё один, не менее важный смысл: композиционный. Писатель, надо думать, разумел тут своеобразный принцип построения, положенный им в основу не только «Счастья», но и некоторых других бессюжетных «стихотворений в прозе» («Мечты», «Свирель» и т. д.). Что же — при отсутствии сюжета — является тем единым стержнем, на который напизано всё содержание такого стройного, законченного создания, как «Счастье»? В рассказе применён музыкальный принцип композиции: его движет вперёд не развитие фабулы, а развитие главного идейного мотива. Подобно теме в музыкальном произведении, симфонии, этот главный мотив (мечта о счастье) подготавливается с самого начала, с первых строк. Со всей силой звучит он в кульминационной части произведения. Затем он постепенно замирает, чтобы вновь напомнить о себе в финале. «Музыкальность» построения рассказа — не последняя из причин, почему «Счастье» полно такого очарования.

Мечтам старого пастуха, а также отца его и брата не суждено было сбыться: все они «умерли без счастья». Но потомки старика сумели, преодолев сопротивление «панов» и «казны», проложить себе путь к сокровищам. Обездчик сокрушался, что «нет ума искать» счастье. Но у внуков Пантелея ума хватило..

Великий Октябрь уничтожил реальные предпосылки той коллизии, которая мучила Чехова, отверг и развеял по ветру ту лжеистину, которую якобы таили под собой степные курганы. Он научил потомков Чехова, как в трудах и боях, в достижениях, дерзаниях, в поэзии повседневной жизни искать и находить неуловимые прежде клады.

Почётную роль в этом сыграло и творческое наследие Чехова — его строгий суд над старым, собственническим миром, его светлая мечта о человеческом счастье.



МУХТАР АУЭЗОВ

★

## ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО АБАЯ

«**М**ойми, что загадкой я был. Весь мой век искал путей в бездорожье, с тысячами один бился. Не вини меня!» — с такими словами обратился Абай к людям будущих поколений. Это сказал поэт, который проложил верную тропу из пустынных веков минувшего к иному, неизвестному для него, но светлому будущему. Он нес свой яркий светоч во мраке невежества, покрывавшего степи, и неустанно указывал своему народу путь туда, где занимается рассвет и взойдёт солнце.

Да, для того века, в который жил и творил Абай, он был загадкой. Но загадка ли он для нас?

Не как тёмную загадку, а как светило казахской литературы воспринимаем мы Абая теперь. Народы великого социалистического отечества, сроднившиеся своими общими идеалами, борьбой, победами, чтят его память.

Прошло пятьдесят лет с того дня, как умер поэт. Но Абай для нас — не только прошлое. Он шёл вместе с народом в его неуклонном стремлении вперёд, — а для такого поэта нет смерти, ибо время не ставит предела его творениям.

Когда-то казахский народ исчислял жизнь человека тринадцатилетними циклами — «мушель». Но если речь идёт о певце, который отведал живой воды бессмертия в легендарном источнике поэзии Абулхаят, для него «мушель» измеряется столетиями. Абай стоит рядом с нами, близкий и сегодняшний, оставив позади своих современников, мало понявших и недостаточно оценивших его труды.

Наш советский народ, благодарный и справедливый, воздаёт должное поэту, избравшему себе в удел борьбу и муки,

судьбу своего народа. И, отмечая памятную дату, мы вспоминаем всё то незабвенное, дорогое и великое, что отсеяла через испытание временем сама история.

Вспомним прежде всего жизнь поэта.

Он родился в 1845 году в Чингисских горах Семипалатинской области, в кочевьях рсда Тобыкты.

Отец Абая, самовластный, суровый степной правитель Кунанбай, был старшиной тобыктинского рода, незадолго до того присоединившегося к России.

Ранние детские годы Абая прошли в гнетущей обстановке разлада, царившего внутри полигамной семьи (Кунанбай имел четырёх жён) и влиявшего на характеры, нравы и судьбу детей, которые так же соперничали и враждовали между собой, как и их матери. Но, к счастью для Абая, его мать, Улжан, была женщиной замечательных личных качеств. Её природная доброта, сдержанность, рассудительность и горячая любовь к сыну создали для Абая редкий в таких семьях уют. Данное отцом имя «Ибрагим» она заменила ласкательным «Абай» (что значит «осмотрительный, вдумчивый»). Это имя так и осталось за ним на всю жизнь.

Живя в молчаливой отчуждённости от Кунанбая, Абай и его мать нашли себе духовную опору в бабушке Зерё. Много выдавшая за долгую жизнь, мягкосердечная и мудрая бабушка, сама познавшая горечь бесправного положения, перенесла все надежды и любовь на внука. Заботы, наставления и ласки этих двух женщин смягчили суровый жизненный холод, в котором была обречена расцветать детская душа.

Дав Абаю первоначальное образование дома, у наёмного муллы, Кунанбай послал

сына в медресе семипалатинского имама Ахмет-Ризы. За пять лет учения в этом медресе прилежный и необычайно даровитый мальчик сумел получить многое, несмотря на то, что воспитанники духовной школы проводили долгие часы в бессмысленном заучивании непонятных текстов корана, в пятикратной молитве, в посте и иссушающих рассудок бесплодных спорах о букве шариата. Одолевая премудрости арабского богословско-схоластического учения, Абай в то же время расширяет круг своих интересов. Любовь к поэзии зародилась в нём ещё тогда, когда он слушал рассказы и воспоминания бабушки Зере, хранительницы живой старины, когда он заучивал наизусть слышанные в ауле сказки, легенды, богатырские былины, исторические песни — всё многообразное богатство творений акынов, певцов его родных степей. Позднее, попав в медресе, Абай стал увлекаться чтением восточных поэтов. Из душливой атмосферы медресе, из среды богомольных буквоедов и тёмных фанатиков он, как к благодатному оазису в мрачной пустыне, рвался к народной и классической литературе Востока. Одновременно с тягой к изучению восточных языков в нём пробуждается интерес к русскому языку, к русской культуре. Нарушая суровый устав медресе, Абай, продолжая обучаться в этом мусульманском духовном училище, самовольно стал посещать и русскую школу.

В школьные годы Абай не только изучал поэзию, но и сам начал писать стихи. Среди сохранившихся ранних стихов Абая встречаются лирические отрывки, послания, любовные стихи, написанные под влиянием восточной классической поэзии, и одновременно — стихи-экспромты, созданные в стиле народной поэзии, в духе творчества акынов — импровизаторов.

Вдумчивый и жадный к знанию юноша извлекал много полезного для своей будущей деятельности из чтения тех книг, которые он умел найти и прочитать даже в тех стеснённых условиях, в каких он был в медресе. Но и это вскоре оказалось для него недостижимым: воля отца определила его дальнейшую судьбу иначе.

В той непрерывной борьбе за власть над родом, которую вела степная знать, Кунанбай имел много соперников, и ему нужно было готовить к этой борьбе своих детей и близких родственников. Поэтому, не дав Абаю закончить учение в городе, отец вер-

нул его в аул и начал постепенно приучать к разбирательству тяжёлых дел, к будущей административной деятельности главы рода.

Вращаясь в кругу изощрённых вдохновителей межродовой борьбы, Абай, наделённый от природы недюжинными способностями, постигает тончайшие приёмы ведения словесных турниров, где оружием служили красноречие, остроумие и изворотливость. Так как тяжбы решались не царским судом, а на основе веками существовавшего обычного права казахов, Абай должен был обратиться к сокровищам казахской народноречевой культуры. Но если Кунанбай и люди его круга, обращаясь к авторитету своих предков, хранили в памяти только речи, приговоры и афоризмы родовых старейшин, то Абай, тянувшийся, наперекор отцу, к общению с народными певцами, знал почти всех своих предшественников — поэтов, акынов и участников «айтысов» (поэтических соревнований), выступавших перед народом в борьбе за поэтическое первенство. Ещё в юношеском возрасте он сумел стать виртуозом поэтического слова.

Обращение к традиции казахской народной поэзии сделало новые стихи Абая оригинальными и индивидуально-самобытными. В этих стихах уже наметился будущий облик поэта, оригинальное творчество которого глубокими корнями уходит в народную основу.

Абай, по свидетельству многих его современников, начал сочинять стихи (импровизации и письма-послания) очень рано, с двенадцати лет. Сочинённое им в этот первый период дошло до нас далеко не полностью. Сохранилось лишь несколько его юношеских стихов, да ещё ряд упоминаний о забытых и утерянных произведениях. Например, из стихов, посвящённых любимой им девушке Тогжан, известны лишь начальные строки; только в устной прозаической передаче сохранился «айтыс» (состязание) молодого Абая с девушкой-акыном Куандык. Письменность в тогашнем Казахстане была развита слабо, и мы не располагаем письмами, мемуарами, записями современников, которые сохранили бы для нас юношеские стихи Абая и осветили его биографию. Немалое значение здесь имело и отношение к поэту высших общественных слоёв. Если народ глубоко уважал поэзию и высоко чтил звание акына, то родовитые баи с самодовольной гордостью говорили: «Слава

богу, из нашего племени не выходило ни одного баксы и акына». И сам Абай под влиянием таких взглядов на поэзию часто выдавал свои стихи того времени за стихи своих молодых друзей.

Втянутый насильно в тягостные дела родовых распрей, Абай не мог примириться с несправедливостью и жестокостью отца и часто, вопреки воле Кунанбая, выносил справедливые и беспристрастные решения по многим делам. Кунанбаю было не по душе и то, что друзей и советников Абай искал себе в народе, среди мудрых и честных людей, и то, что Абай с юношеских лет тяготел к русской культуре. Между хитрым и властным отцом и правдивым и непокорным сыном всё чаще происходили серьёзные споры и стычки.

Окончательный разрыв с отцом совершился, когда Абаю было двадцать восемь лет. Теперь он мог сам определить дальнейшую свою судьбу — и прежде всего он вернулся к изучению русского языка, прерванному в отрочестве.

Новыми его друзьями стали акыны, певцы-импровизаторы, талантливая степная молодёжь, по преимуществу незнатного рода, и лучшие представители русской интеллигенции, политические ссыльные, с которыми он встречался в Семипалатинске. Абай, уже зрелый и, по тем временам, культурный человек, углубился в изучение народного поэтического творчества Востока и русской классической литературы.

Лишь на тридцать пятом году жизни Абай вновь возвращается к творчеству. В этот период он всё ещё распространяет свои стихи от имени своих молодых друзей. И только летом 1886 года, когда ему минуло уже 40 лет, Абай, написав прекрасное стихотворение «Лето», впервые решился поставить под ним свою подпись. С этого дня все остальные двадцать лет его жизни прошли в необычайно напряжённой поэтической деятельности.

Годам к тридцати Абай окончательно разочаровался в нравах феодально-родовой среды. Он отчётливо увидел всю пагубность родовой борьбы, разжигаемой царизмом, всю неимоверную тяжесть её для казахского народа.

Искренний патриот, Абай пытается в стихах открыть народу глаза на причину его страданий. Он громогласно обличает и беспощадно бичует пороки феодально-родовой знати, призывая народные массы к просве-

щению, которое одно может указать путь к иной жизни.

Мы упомянули, что счастливый случай свёл Абая с русскими политическими ссыльными семидесятых—восьмидесятых годов. Это были представители передовой интеллигенции, последователи Чернышевского. Один из них, Е. П. Михаэлис, был ближайшим и активным сотрудником Шелгунова.

Как Михаэлис, так и позднее сосланные в Семипалатинск его единомышленники прибыли туда сравнительно молодыми людьми.

Знакомство с ними вскоре перешло у Абая в большую дружбу. С исключительным вниманием и отзывчивостью русские друзья помогали самообразованию Абая, подбирая для него книги и отвечая на его расспросы.

Дав многое Абаю в его поисках знания, русские друзья Абая и сами немало почерпнули от него, пользуясь его глубокими и обширными сведениями в истории, обычном праве, поэзии и искусстве, экономике и социальном быте многих народов, родственных казахам. В условиях ссылки они сами росли как публицисты и учёные-общественники, изучая быт, естественно-географические и экономические условия края, ставшего их новой родиной. Они были первыми распространителями подлинной русской культуры на отсталой окраине, ревнителями интересов просвещения, преобразования жизни и быта народов. В результате этой их работы мы имеем много трудов по различным отраслям знания, написанных Михаэлисом, объёмистое исследование Леонтьева «Обычное право у киргизов». Эти представители русской демократической интеллигенции считали просвещение народов России важным средством борьбы против царизма. Знакомить таких людей, как Абай, с наследием классиков русской литературы и других передовых носителей русской культуры было, конечно, для них важной задачей.

Для этих друзей Абая естественным было стремление донести до широких народных масс Казахского края правду о русском народе, воплощённую в трудах и думах великих русских писателей и передовых общественно-политических деятелей. Высокий гуманизм, глубокое революционизирующее значение русской классической литературы XIX века, проникнутой освободительными идеями, её упорная оппозиционность царизму, её неумолчный голос заступничества за

угнетённые массы пробуждали к жизни и воспитывали общественную мысль в Сибири и в Казахстане.

Абай, в свою очередь, в сближении казахской и русской культуры видел единственно верный путь к спасению казахского народа от вековой тьмы. Великий поэт-просветитель стал последователем идеи братства и дружбы народов. В своих стихах он учит казахский народ отделять дружественный русский народ от ненавистных царских колонизаторов:

Прямодумному злобно кричим: «Урус!»  
Знать, милее нам лицемерный трус.  
Заглушив человечность в наших сердцах,  
Рвём своим недоверием дружбы союз!  
Настоящая дружба стирает межи,  
Плещут волны любви через все рубежи.

Необыкновенно широко раздвинулся умственный горизонт Абая, когда он познал подлинные ценности духовной культуры русского народа. Абай становится страстным почитателем Пушкина, Лермонтова, Крылова, Салтыкова-Щедрина, Льва Толстого. С 1886 года он стал переводить на казахский язык произведения Крылова, Пушкина, Лермонтова, впервые делая их доступными и понятными для своего народа.

Абай был не только поэтом, но и музыкантом, глубоким знатоком и тонким ценителем казахской народной музыки; он создал ряд мелодий, главным образом для тех своих стихов, которые вводили в казахскую поэзию новые, не известные ей до этого формы (восьмистишия, шестистишия и т. д.). Он создал также мелодии к своим переводам отрывков из «Евгения Онегина». В 1887—1889 годы имя Пушкина и имена его героев, Онегина и Татьяны, пролетев над степями на крыльях этих песен, стали такими же родными для казахского народа, как имена казахских акынов и героев казахских эпических поэм.

К концу восьмидесятых годов Абай — поэт, мыслитель и музыкант — становится человеком, популярным и чтимым в народе. К нему едут акыны, музыканты, певцы из самых дальних районов. Знаменитый Биржан, женщина-акын слепая Ажар, женщины-акыны Куандык, Сара и другие разносят по широкой степи его стихи.

Вокруг Абая группируются молодые таланты, поэты, певцы: Муха, Акылбай, Какитай, младший сын Абая — Магавья. Некоторые из них, по примеру самого Абая, уси-

ленно занимаются самообразованием, изучают русскую литературу, пишут поэмы — исторические, романтические и бытовые.

Популярность Абая привлекает к нему не только казахов, но и свободомыслящих людей из многих других народов Востока (по преимуществу татарской молодёжи), принуждённых покинуть города из-за преследования властей. В ауле Абая месяцами гостили кавказцы, бежавшие из сибирской ссылки и пробивавшиеся по казахским степям к себе на родину. Аул Абая постепенно становился центром притяжения для прогрессивно настроенных, передовых людей Востока.

Число почитателей таланта Абая увеличивается с каждым годом. Поют, переписываются и заучиваются народом не только его собственные стихи, но и произведения его друзей. В форме устного сказа распространяются по степи романы русских и западных писателей, прочитанные Абаем и пересказанные им самим слушателям-сказочникам. Так проникли в степь в устной передаче популярные среди абаевских слушателей русский народный сказ о Петре Великом, поэмы Лермонтова, «Хромой бес» Лесажа (под названием «Хромой француз») и даже «Три мушкетёра» и «Генрих Наваррский» Дюма (которые Абай читал в русском переводе), восточные поэмы «Шахнаме», «Лейли и Меджнун», «Кер-Оглы» и другие.

Поэт обучал своих детей в русских школах. Его дочь Гульбадан и сыновья Абдрахман и Магавья с самого детства были им посланы в город, в русскую школу. Впоследствии Абдрахман окончил Михайловское артиллерийское училище в Петербурге, а дочь и другой сын вернулись в аул только из-за слабости здоровья. Однако и здесь Магавья становится одним из самых ревностных и старательных последователей своего отца. Он был, как и старший сын Абая — Акылбай, — поэтом. Акылбай создал романтическую сюжетную поэму «Дагестан». Лучшим из произведений Магавья считается написанная по совету Абая поэма «Медгат-Касым» — о борьбе раба с хозяином-плантатором (действие поэмы происходит на берегах Нила).

Разносторонняя поэтическая, просветительная и общественная деятельность Абая и его друзей всей силой своего воздействия была направлена против устоев феодального аула, против конкретных носителей зла — родовых интриганов, угнетателей

своего народа, и против опирающегося на них царизма.

Труды Абая, его общественная деятельность, его презрение к власти имущим вызвали к нему люютую ненависть степных феодалов, верных слуг царизма. Они начали грязную и коварную борьбу против идей, которые служили знаменем просвещённому и непримиримому поэту, и против него самого. Эти враги Абая действовали заодно с чиновничьей знатью, с властями, с продажной мелкочиновничьей интеллигенцией.

Сведения об Абае как об опасном для царизма человеке доходят до семипалатинского военного губернатора и до генерал-губернатора Степного края. За аулом Абая и за всем, что происходит там, устанавливается негласный надзор. Смелый провозвестник правды, изобличитель существующего порядка становится предметом постоянного и бдительного внимания приставов, урядников, волостных управителей.

Однако враги поэта, видя народную любовь к Абаю, не решались действовать против него открыто. Они избрали самые вероломные методы борьбы. Один из старейшин рода, непримиримый и злобный враг Абая — Оразбай, сплотил вокруг себя недовольных Абаем представителей степной и городской знати. Они стали чернить Абая клеветой, преследовать его друзей. Канцелярии губернатора, уездных начальников, царских судов были завалены всевозможными доносами, в которых Абая называли «врагом белого царя», «смутьяном», «неугомонным нарушителем обычаев, прав и установлений отцов и дедов». В результате этих доносов в аул Абая нагрянули с обыском чины семипалатинской полиции. Однажды явился сюда с целым отрядом жандармов и сам полицмейстер города Семипалатинска, учинивший обыск во всём ауле. Наконец в 1897 году, при явном попустительстве властей, феодалы организовали предательское покушение на жизнь Абая.

Неоднократно пытался «убрать» Абая и семипалатинский губернатор. Но, боясь исключительной популярности поэта среди казахского народа, опасаясь возмущения масс, он вынужден был ограничиться изоляцией Абая от его ссыльных друзей, прервать их тесную связь. Всю переписку поэта с его друзьями и читателями власти строжайше контролировали или просто задерживали.

Но ничем нельзя было отгородить поэта от народа. Целые племена и роды обраща-

лись к Абаю за разумным советом, веря его бескорыстному и справедливому суду в спорах. Даже казахи отдалённых уездов — Каркаралинского, Павлодарского, Усть-Каменогорского, Зайсанского и Лепсинского — приезжали к нему за решением давних раздоров по земельным и иным тяжёлым делам. Нередко к нему обращались с просьбой решить и какое-нибудь сложное межобластное дело о набегах, убийствах, которое оставалось неразрешённым, так как власти не могли в нём разобраться. Эти дела возникали на особых многолюдных съездах, называемых «чрезвычайными съездами» по разбирательству дел между населением различных уездов: о возмещении убытков безвинно пострадавшим, о наказании родовых воротил-феодалов, своими бесконечными интригами навлекавших на народ всевозможные бедствия.

Таковыми «чрезвычайными съездами», на которых выступал, защищая интересы народных масс, Абай, явились съезд на урочище Кок-Тума, разбиравший тяжбы между казахскими волостями Семипалатинской и Семиреченской областей, съезд на ярмарке Кара Мола и съезд на джайляуе Балкибек — последние два съезда разбирали тяжёлые дела между казахскими волостями Семипалатинской области.

Абай, не являясь ни в какой мере официальным лицом, порой должен был решать спорные дела как избранный третейский судья. Он брался за них для того, чтобы вывести из вражды, спасти от новых набегов безвинные массы народа, чтобы заставить присмиреть поджигателей этой борьбы. По единогласному свидетельству современников мы можем судить, насколько проникновенным, справедливым и бескорыстным был суд Абая. Порой к нему обращались даже старейшины родов, враждовавшие с его сородичами. Даже те, кто посылал на него в областные канцелярии доносы и ложные показания, всё-таки в своей личной тяжбе по бытовым и обычным делам искали решения Абая — самого справедливого и неподкупного судьи того времени.

Общественная деятельность и поэтические творения Абая были особенно популярны среди степной молодёжи. На многих народных сборищах, поминках, торжественных тоях (пирах), на свадебных празднествах певцы и акыны пели его песни. Юноши объяснялись в любви строками стихов Абая. Девушки из родных аулов Абая, выходя за-

муж, увозили в своём приданом рукописные сборники стихов, поэм и наставлений Абая. До наших дней сохранились сборники, принадлежавшие девушкам Асие, Василе, Рахиле и другим.

Мы уже сказали, что невежественная, завистливая и коварная среда степных воротил не могла мириться с той невиданной славой, которой народ окружил имя Абая, и мы рассказали уже, как они отравляли ему и его друзьям дни труда. Борьба не ограничивалась общественной сферой. Против Абая восстанавливали его племянников и даже его родного брата Такежана, клеветой и угрозами отталкивали от Абая его близких, травили его друзей, глубоко ранив сердце поэта.

В этой мрачной атмосфере злобы и ненависти особенно тяжёлой утратой была для Абая смерть его сына Абдрахмана, наследника его дел, талантливого человека, воспитанного на лучших традициях русской народно-демократической, передовой общественной мысли. Страдавший туберкулёзом ещё в годы учения в Петербурге, Абдрахман недолго прослужил в качестве поручика полевой артиллерии и скончался в городе Верном в 1895 году, двадцати семи лет отроду. Его смерти посвящено Абаем много задушевных строк, в которых он выразил свою печаль — печаль отца и борца за народное счастье, потерявшего не только сына, но надёжного друга и преемника.

Надломленный тяжёлой борьбой, преследуемый тупыми, но сильными врагами, Абай не успел оправиться от горестной утраты, как судьба нанесла ему последний удар: другой его сын, талантливый поэт Магавья, умер от чахотки.

Раздавленный этим несчастьем, павший духом Абай, отвергнув всякое лечение своего недуга, умирает в родных степях на шестидесятом году (1904), пережив сына только на сорок дней.

Абай похоронен близ своей зимовки — в долине Жидебай, вблизи Чингисских гор.

Литературное наследие Абая, заключающееся в стихах, поэмах, переводах и беседах с читателем («Кара-сезь», названное им «Гаклия») <sup>1</sup>, в последнем издании составляет два объёмистых тома. Эти труды — драгоценный результат многолетних дум, волнений и благородных душевных порывов

<sup>1</sup> Кара-сезь — слова в прозе. Гаклия — изидания.

поэта — представляются теперь, в историческом аспекте, синтезом духовной культуры казахского народа.

Глубоко общаясь с поэтическим наследием родного народа, запечатлённым в устных и письменных памятниках прошлого, Абай сумел прильнуть к этому живстворному источнику и обогатить им свою поэзию. Благотворное влияние оказала на поэзию Абая и малознакомая в то время казахскому народу классическая поэзия других восточных народов — таджикская, азербайджанская, узбекская. На той стадии развития казахской литературы, в которой застал её Абай, обращение к классикам этих народов ещё было для неё в значительной мере не взглядом в прошлое, а расширением кругозора в настоящем. Но фактом самого большого, можно сказать, огромного значения, залогом будущего расцвета казахской культуры и надёжным путеводителем для казахского народа на его историческом пути было обращение Абая к русской (а через неё и ко всей европейской) культуре, главным образом к наследию великих русских классиков, до него совершенно неизвестных казахскому народу.

Исключительно самобытный и сильный ум Абая органически впитывал новые культуры, производя в них критический отбор. Яркая индивидуальность Абая-художника лишь росла и расцветала от этих усвоенных им ценностей.

Обращаясь к культурам, не освоенным ещё казахским народом, Абай обогащался не только новыми средствами художественной выразительности; он обогатил свой духовный мир новыми идеями. Подобно Пушкину, Абай в самой сущности своего идейного и творческого богатства интернационален именно потому, что он ярко национален и народен.

Большая часть стихов Абая, относящихся к восьмидесятым годам, посвящена своеобразному укладу и быту казахского аула и судьбе современного ему казахского общества. Вместе с тем поэт производит глубокий художественно-критический пересмотр всех духовных ценностей своего народа и провозглашает свою новую поэтическую программу.

В этих произведениях Абай близко соприкасается с народным наследием. Но именно здесь мы особенно ясно видим, чем отличается его поэзия от народного твор-

чества. Ни одна абаевская строчка не воспроизводит речевой и поэтический строй народного творчества в канонизированном, традиционном виде. Абай углубил образную систему и стилистические приёмы устного творчества, обогатил словарь, наполнил поэзию новыми мыслями и чувствами. Новые идеи, новые порывы духа запечатлены в его стихах, и прежде всего в них резко сказалось непримиримое отношение поэта к общественному укладу тогдашнего аула с его архаическими пережитками, с развращёнными нравами феодальных верхов, с его мракобесием, раздорами, бедственным и безысходным положением трудовых масс. В огромном количестве стихов (начиная с «Жизнь уходит», «О казахи мои», «Кулембаю», «Кожекбаю») Абай беспощадно бичует невежество, сутяжничество, взяточничество, паразитизм, духовную нищету вершителей судеб казахского народа. Впервые в казахской литературе так отчётливо и на такой моральной высоте высказано новое отношение к семье, к родительскому долгу, к воспитанию молодого поколения и, главное, к женщине.

Безотрадная, злосчастная доля восточной женщины, изображённая в народных поэмах и бытовых песнях, приобретает в творчестве Абая новый смысл. В своей поэзии Абай раскрывает самую душу женщины, о которой так мало было рассказано в прежних поэмах и песнях, отражавших главным образом внешнюю сторону женской судьбы. Абай показывает, как трогательна и глубока любовь женщины, когда она сама выбирает себе возлюбленного, как сильна и непоколебима её воля в борьбе за вырванное с таким трудом счастье. Абай воспевает казахскую женщину и мать как опору семьи. Он воспевает готовность её к самопожертвованию, мудрость и стойкость её в преданной дружбе, цельность её прекрасной и верной души. Страстно отрицая позорный институт калыма, многоженство и порабощение, Абай в своих стихах борется за равноправие женщины в обществе.

Язвительно нападая на косность, на вековые устои старого аула, Абай воспевает деятельную волю, любовь к труду, разум как необходимые качества жизнеспособного человека.

Он разрушает каноны господствовавшей до него дидактической, наставительной поэзии. В своей поэтической программе, выраженной в стихотворениях «Не для забавы я

слагаю стих», «Поэзия — властитель языка», «Если умер близкий», он резко критикует тех живших до него акынов, что были носителями ханско-феодальной, реакционной идеологии, — Бухаржирау, Шортамбая, Дулата. Он осуждает их за то, что они, не давая духовной пищи новому поколению, вредят борьбе народа за преобразование жизни, воспевают, идеализируют рабское прошлое. Сам же Абай провозглашает высшей целью, призванием новой поэзии — служение народу, любовь к тому народу, что поможет преобразовать общество. Только труд и борьба народа за свои права принесут независимость степной бедноте, только упорное стремление к знанию, к просвещению для всех принесут лучшую жизнь подрастающему поколению.

Призыв к просвещению выражен у Абая не в сухой проповеди. Вся поэзия Абая, вся прелесть его гибкого, свежего стиха, его голых жизни образов выводила казахское общество из оцепенелости устарелых идей и чувств, бросала вызов схоластике и фанатизму мусульманских медресе, державших в плену умы и сердца людей из аульных масс.

Абай оригинален и в своём общении с восточной поэзией, со всей прошлой и современной ему культурой Ближнего Востока. Он знал в подлинника (частично в переводе на чагатайский язык) весь арабо-иранский религиозно-героический эпос, знал и классиков Востока — Фирдоуси, Низами, Саади, Хафиза, Навои, Физули. В молодости он и сам подражал этим поэтам, впервые введя в казахский стих размер «аруз» и множество арабо-персидских слов, заимствованных из поэтической лексики этих классиков. Впоследствии, найдя для себя в народном творчестве ещё более жизненные основы искусства, Абай более всего ценил из восточной литературы народные творения — «Тысячу и одну ночь», персидские и тюркские народные сказки и народный эпос. В его пересказах стали популярными в степи поэмы: «Шахнаме», «Лейли и Меджнун», «Кер-Оглы».

Абай изучал историю ближневосточной культуры и знал исторические труды Табари, Рубгузи, Рашид Эддина, Бабура, Абулгази-Багадур-Хана и других, знал также основы логики и мусульманского права в толковании учёных-богословов Востока. Не только древняя история, но и современная культура Ближнего Востока была хорошо



известна Абаю. Он знал и труды первых татарских просветителей.

Уже в те годы Абай правильно понял подлинную суть зарождавшегося тогда глубоко реакционного религиозно-политического течения панисламизма и пантюркизма, которое находило своих ревностных приверженцев среди казахских мулл, ходжей и степных феодалов. В противоположность этому направлению Абай решительно проповедовал и сам осуществлял культурный прогресс своего народа через приобщение к великой культуре русского народа, — в этом он был последователен и упорен до самого конца своей жизни. Он отвергал панисламизм и пантюркизм как тупой фанатизм, могущий лишь закрепить и усилить вековую изолированность и отсталость народов Востока.

Сам Абай выработал в себе удивительно смелую независимость духа, необыкновенную широту взглядов. Он был истинным борцом за просвещение, основанное на мирном сотрудничестве всех народов, без различия национальности и религиозных убеждений. Рассматривающий все вопросы общественной и культурной жизни с точки зрения угнетённых масс, проникательный и мудрый художник, Абай уже тогда предвидел вредоносное влияние панисламистских и пантюркистских идей, которые в наши дни выявили до конца свою истинную сущность — буржуазно-реакционный национализм, легко идущий на службу к международному империализму.

В своём творчестве Абай ни шагу не сделал совместно с этим мнимым «пробуждением Востока». В поэтическом наследии Абая, в песнях любви, в лирических раздумьях, в философско-моралистической поэме «Масгуд» видно несомненное влияние восточных классиков. Однако он наследует лишь те их достижения, которые и в их время были устремлены в будущее и несли в себе возможность развития, превращения в нечто новое. Реализм идейно-художественного содержания, правдивость чувств, глубоко проникновенное ощущение жизни, конкретное, «земное» осознание мира и человеческих отношений у Абая бесспорно оригинальны и независимы от тех сторон традиционной восточной поэзии, которые давно выродились в рутину и не могли вместить новую жизнь и новые стремления.

Даже те стихи его, которые касаются религиозных верований и убеждений поэта,

во всём главном противоположны книжным догмам мусульманской религии. Часто Абай, поклонник 'ясного критического разума, прямо отрицает официально проповедуемые догмы ислама. Религия для него лишь средство для личного морального совершенствования человека. В цикле стихов, посвящённых муллам, фанатикам, распространителям ислама или схоластам, толквателям корана, Абай едко высмеивает их корыстную и притворную набожность и не стесняется называть их «прожорливыми паразитами с широкой глоткой коршуна, раздирающего падаль». Арабо-мусульманский Восток в творчестве Абая критически переоценён, переработан в духе самостоятельного мировоззрения поэта.

Однако надо отметить, что Абай не всегда был последовательным; бичуя религиозный фанатизм, ханжество, корыстолюбие мулл и ишанов, Абай в ряде стихотворных произведений и особенно в прозаических высказываниях «Кара-сезь» выступал как приверженец религии. Часть своих наставлений в дидактических стихах Абай обосновывает догмами ислама. Он не смог подняться до осознанного и последовательного философского материализма, отрицающего самые основы религии.

В значительной степени эта слабая сторона его воззрений была следствием того, что, ненавидя и изобличая бесчеловечную феодальную эксплуатацию народных масс в степи, Абай не до конца понял классовую природу этой эксплуатации. Самые условия кочевого быта небольшого степного района, где он прожил всю свою жизнь, не давали ему возможности достаточно оценить историческое значение социально-экономических факторов. Мы не находим в его творчестве того интереса к этим вопросам и того понимания борьбы за изменение экономического уклада, которые свойственны были великим русским революционным демократам. В нём сильнее были черты просветительства, и свои надежды на будущее он возлагал прежде всего на скорейшее приобщение казахского народа к современной образованности, на распространение гуманных идей, источник которых он видел прежде всего в великой русской культуре.

Абай прошёл длительный путь самообразования. Начав с Пушкина, Лермонтова, Крылова, он изучал и литературу шестидесятых—восьмидесятых годов, причём полно-

бил не только поэтов, но и великих прозаиков — Льва Толстого, Салтыкова-Щедрина. По русским переводам Абай узнал Гёте, Байрона и других западноевропейских классиков. По русским переводам он был знаком и с античной литературой. Его друзья свидетельствуют, что Абай интересовался и западной философией (известно, например, что он читал Спинозу и Спенсера, расспрашивал о Дарвине). Но его философские занятия не были систематичными. О Марксе и его учении он, повидимому, не знал.

Творческий подход Абая к русской классике отличался новыми чертами в каждую новую пору его деятельности. Порой, переводя Крылова, Абай изменял мораль басен, перерабатывал их заключительные строки в другие сентенции, применительно к представлениям и понятиям казахов. Но «Кинжал», «Выхожу один я на дорогу», «Дары Терека», «Парус», отрывки из «Демона» до сих пор остаются непревзойдёнными по точности и мастерству среди переводов Лермонтова на казахский язык.

Совсем особое отношение было у Абая к Пушкину. Переведённые им отрывки из «Евгения Онегина» — это скорее не перевод, а вдохновенный пересказ пушкинского романа. При этом Абай следовал узаконенной в восточной поэзии древней традиции «назира», в силу которой поэт по-новому раскрывает сюжет и темы своих предшественников. Так, мы знаем перепевы сюжетов «Лейли и Меджнун», «Фархад и Ширин» и поэм об Александре Македонском (Искандере) у поэтов таджикской, азербайджанской и узбекской старины. Сам Абай воспевал в одной своей поэме Александра (Искандера) и Аристотеля в плане такого перепева, следуя в этом примеру азербайджанского классика Низами и узбекского — Навои. Манеру вольного поэтического пересказа великого наследия прошлого Абай применил и к «Евгению Онегину». Поражённый правдивостью и высокой поэтичностью образов Татьяны и Онегина, Абай пересказал их историю, подчеркнув ценность великой и цельной любви и приблизив эту любовь к представлениям казахской молодёжи. «Евгений Онегин» в абаевской версии принял форму эпистолярного романа. Сочинив мелодии к письму Татьяны и любовному объяснению Онегина, Абай ввёл их в репертуар акынов, и эти имена стали популярными настолько, что порой их

словами начинались любовные послания и объяснения самой степной молодёжи.

Переводческая работа Абая имела огромное значение для развития казахской литературы; однако она далеко не исчерпывает его связь с русской литературой. Самое глубокое влияние этой культуры и художественных традиций надо искать в собственном творчестве Абая. Так, например, Пушкина Абай переводил реже, чем других русских классиков, но общение с великим русским поэтом глубоко и ярко сказывалось в собственном его творчестве: очень много пушкинских черт и в его лирических раздумьях, и в описаниях природы с пушкинским реалистическим пейзажем, и в проникновенном понимании любящего женского сердца, и в человечном звучании социальных мотивов.

Только глубокая внутренняя связь с пушкинской и мировой поэтической культурой дала Абая возможность создать его песни о четырёх временах года, его лирические стихи и поэтические размышления, его стихи о назначении поэта, его поэму об Александре Македонском и Аристотеле.

В стихотворении, посвящённом поэту, Абай противопоставляет низменной и косной знати, окружающей поэта, его независимость, правдивость, гордость и взлёт его вдохновенной мысли. Здесь Абай роднится в своих взглядах на поэзию с Пушкиным.

Абай не писал художественной прозы, но в своих сатирических стихах, с убийственной меткостью осмеивающих управителей, чиновников, биев (судей), аткамберов (родовых старейшин), он и художественно и политически близок к Салтыкову-Щедрину. В одном из своих обращений к учащимся Абай указывает им на Салтыкова-Щедрина как писателя, у которого они научатся понимать истинный облик насильников над народом.

К сожалению, до сего времени мало исследован вопрос о том, насколько знал и как воспринял Абай Герцена, Белинского, Чернышевского и Добролюбова. Известно лишь, что их последователи были его близкими друзьями, разделяли его устремления к освобождению и просвещению таких порабождённых народов, как казахский. Между тем этой проблемой следует заниматься со всем вниманием и не только учёным Казахстана — хотя бы с точки зрения того, как борьба русской революционно-демократической интеллигенции отражалась на национальной окраине, в думах национальных

поэтов царской колонии. Только ли художественную цель преследовал Абай, переводя Крылова, Пушкина, Лермонтова? Не было ли это осуществлением части программы шестидесятников, осуществлением мыслей Чернышевского о просвещении народных масс исторически плодотворными, истинно спасительными знаниями? Не прокладывали разве в тот суровый век эти выразители народного духа в литературе путь к сердцам через кордон полицейско-жандармского, ханско-феодалного тёмного царства?

В заключение нашего обзора необходимо остановиться на вопросе о том, как освоено наследие великого поэта в наши дни и какие проблемы ставит ныне советская наука, изучая жизнь и творчество Абая.

Социалистическая сущность нашего советского литературоведения, проявляющаяся, в частности, в его внимании ко всему передовому, что дал мировой культуре любой из народов, ярко обнаруживается в факте многостороннего исследования поэтического наследия Абая, в широкой популяризации его творчества и личности не только в Казахстане и во всём Советском Союзе, но и далеко за их пределами.

В 1909 году племянник Абая, Какитай Исхаков, впервые издал избранные произведения Абая. Это издание включало только две трети стихов поэта и не имело научного аппарата. Небольшое предисловие Какитая содержало краткие биографические сведения и самые общие замечания о творчестве и взглядах Абая. Два последующих издания — ташкентское и казанское — повторили издание Какитая. Таковы были результаты изучения Абая до Октября.

А в наши дни?

Один только специальный библиографический указатель, написанный об Абая, изданный Н. Сабитовым, содержит перечень, заполняющий солидную книгу; здесь зарегистрированы научные труды и статьи, разрабатывающие самые разнообразные проблемы стиля и языка, проблемы идейного содержания творчества Абая, его биографии и многие другие. Однако и этот обширный указатель не исчерпал всего написанного об Абая и не отразил последние годы, когда о нём много писали казахские и русские писатели и учёные, писатели и учёные других братских народов, историки, педагоги, журналисты. Имя Абая включено в учебные программы, образцы его произведений

введены в хрестоматию. О нём создают оперу, пьесы, кинофильм.

В результате всего этого общего большого труда Абай стал близким всем советским народам. О нём говорят на многих читательских конференциях в библиотеках Москвы и других городов, о нём пишут сочинения школьники, пишут дипломные работы студенты не только в Казахстане, но и в Москве, Ленинграде, Баку, пишутся диссертации о различных сторонах его творчества.

Сделано много, и поэтому теперь так важно упомянуть и о проблемах дальнейшего изучения жизни, эпохи и наследия поэта. В числе этих проблем в первую очередь назовём то, что относится к более глубокому изучению биографии поэта.

Биографию Абая следует вывести за узкие пределы «биографизма». Его жизненный и творческий путь предопределён конкретными условиями пореформенной действительности. Эти условия выдвинули новый тип писателей. Такими писателями стали и Алтынсарин и Абай, когда они, порвав с феодальной средой, в которой родились, стали выразителями крестьянского протеста против косных устоев феодализма.

У казахского пореформенного крестьянства колонизаторская политика царизма вызывала справедливое возмущение, но это было ещё стихийное, недостаточно сознательное движение. Царизм был главным тормозом культурного развития окраин. Но процесс борьбы передовых общественных сил с реакционным лагерем самодержавия, «процесс роста и консолидации культурных сил дал возможность, по крайней мере наиболее сознательным элементам угнетённых национальностей, увидеть другую Россию — Россию благородную, свободолюбивую, не угнетательскую, культурную, талантливую, способствующую развитию знаний среди широких масс населения» (М. И. Калинин).

Жизненный путь Абая, его идейное и творческое развитие предопределены этим процессом в той мере, в какой тем же процессом были предопределены судьбы казахского крестьянства. Вследствие отсутствия промышленности и фабрично-заводского пролетариата в казахских степях девяностых и начала девяностых годов, замкнутости и отчуждённости окраин от центра и присущих казахскому крестьянству колебаний Абай остался в стороне от ра-

стущего у передовых народов России революционного рабочего движения. В силу исторической ограниченности условий, в которых он жил, Абай не сумел стать сторонником «общей слитной борьбы», то есть человеком, «мыслящим уже всероссийски».

Особо важную задачу представляет собой исследование народности творчества Абая. В работах недавнего прошлого верному разрешению этой проблемы мешало глубоко ошибочное представление о развитии казахской литературы, как о «едином потоке». В исследованиях, написанных в духе «теории единого потока», Абай был оторван от той среды, с которой он связал свою судьбу и творчество,— от казахского пореформенного крестьянства.

В большей части статей народность Абая упрощённо рисовалась как любовь поэта к некоему идеалу, лишённому конкретных исторических черт и противоречий,— то есть, по сути дела, игнорировалось положение марксизма о необходимости учитывать «историю трудящихся масс, историю народов» («История ВКП(б)», 1945, стр. 116).

Писатель связан со своей эпохой, его народность — категория историческая и развивающаяся. Это блестяще, с неопровержимой убедительностью и глубиной раскрыто в ленинских оценках Чернышевского, Герцена, Толстого и в ленинской и сталинской оценке Горького.

Абай непосредственно народен в том, что с точки зрения эксплуатируемых масс избличает угнетателей народа. Он использует при этом народные устно-поэтические изречения, поговорки, языковые метафоры, приёмы и средства народного юмора. Он заступает за аульного бедняка, батрака, за казахскую женщину, за мирный труд простых людей, за молодое поколение, извращаемое дикими нравами невежественных отцов. Это — черты непосредственной народности. Но поэт, создавая эти свои произведения на поэтическом языке самого народа, обогащает, развивает этот язык для более острого, глубокого или тонкого выражения его дум и чаяний. Абай выразил то, что ещё не было высказано народными певцами, но бродило в сознании народных масс. Давая сознательное выражение стихийным, неосознанным стремлениям народа, пользуясь для этого тем, что сам он, Абай, приобрёл, стремясь к вершине тогдашней русской образованности, поэт создаёт ценности общекультурно-

го, общесторического значения, ценности общенациональные. Отражённые в его творчестве эстетические принципы Белинского, Чернышевского, его бессмертные лирические творения, его огромная просветительская деятельность как переводчика и популяризатора Пушкина, Лермонтова, Крылова, его поэмы о значении и величии нравственной личности составляют ценности особого порядка. В них Абай не говорит непосредственно о народной доле, о средствах спасения народа от гнёта, но и эта часть наследия Абая глубоко народна.

Эти творения Абая, включающие в себя существенные элементы передовой поэтической культуры всего мира, выводят казахскую литературу и вместе с нею всю культуру из вековой изоляции, отсталости, поднимают казахскую культуру на новую, высшую историческую ступень. Они народны, потому что возвращают народу взятые у него ценности возросшими, обогащёнными тем, что необходимо народу, что будет им усвоено. Абай народен тем, что стал духовным оком своего народа и видел далеко вдаль, мысля и чувствуя за народ, показывая ему его историческое будущее.

Абай правдиво отобразил и обобщил социально-исторический опыт пореформенного казахского крестьянства. Это сделало его творчество фактом истории трудящихся масс, истории передовой общественной мысли.

Много работы для исследователей даёт важнейшая проблема — отношение между творчеством Абая и русской литературой.

Общим недостатком в имеющихся работах является узость самой постановки этого вопроса. Внимание исследователей главным образом было сосредоточено на переводах Абая из Крылова, Пушкина и Лермонтова; до сих пор, как мы уже упомянули, не рассмотрен вопрос о связи творчества Абая с Белинским, Герценом, Чернышевским, Некрасовым, Салтыковым-Щедриным.

Кроме того, вопрос об отношении Абая к русской литературе исследуется в отрыве от вопроса об отношении Абая ко всей русской культуре, философии, эстетике, публицистике. В ряде работ вопрос о путях Абая к русской культуре сужен до одного лишь непосредственного общения с друзьями, причём сами друзья, народники восьмидесятых—девяностых годов, идеали-

зируются, а их воздействие на Абая переоценивается.

И, наконец, отношение творчества Абая к русской литературе выявляется обычно лишь в идейном плане, вопрос же о выработке новых художественных форм и жанров, возникших у Абая благодаря его общению с русской литературой, обходится.

Каковы же наши задачи?

Первая методологически важная задача заключается в том, чтобы отношение Абая к русской литературе рассматривалось в развитии. Двадцать лет Абай творчески воспринимал лучшие традиции русской литературы. У него был свой путь к освоению их. От создания назидания о Татьяне и Онегине, от переводов Пушкина и Лермонтова Абай пришёл к изучению всего значения Пушкина, Лермонтова, Некрасова и Салтыкова-Щедрина. Мы обязаны установить этапы его пути, их качественное отличие друг от друга и существующую между ними преемственность, поставив всё в органическую связь с теми политическими событиями, которые определяли характер того или иного периода, в частности взаимоотношения и связи русского и казахского народов.

Отношение Абая к русской литературе, отражённое в его творчестве, надо изучить во всех реальных, объективно существовавших связях, не отрывая литературу от других форм общественного сознания и не обедняя всего богатства, которое черпал Абай из передовой демократической русской культуры.

Необходимо глубже, критичнее заняться и проблемой отношения творчества Абая к Востоку; это один из наименее изученных вопросов. То, что было ошибочно сочтено в наших прежних исследованиях за иранские связи Абая, есть на самом деле связь с таджикскими, узбекскими, азербайджанскими классиками, старейшими классиками литератур Советского Востока.

Надо строго различать отношение Абая к Навои, Низами, Физули и его отношение к мистической суфийской литературе типа «Хикмата» Ходжи Ахмета Ясави. Первые привлекали Абая своим высоким мастерством, гуманистическими взглядами и отчасти эстетическими воззрениями; но, в отличие от своих предшественников и современников, реакционных и консервативных поэтов типа Шоргамбая, Мурата, Абубакира, Абай не принимал присущего

суфизму мистического отрицания всей земной, в том числе общественной, жизни, отрицания борьбы за её переустройство.

Следует иметь в виду, что и отношение Абая к Востоку в разные периоды его творчества было различным. Если в юношеские годы (1860—1865) он начинал, в немалой мере, с подражания, то в пору зрелости (1886—1904) его обращения к Навои и Низами уже не имели подражательного характера, он воспринимал их традиции творчески и критически. Достаточно напомнить, что в поэму «Искандер» он ввёл вместо пророка Хиэра у Низами образ Аристотеля, а самого Искандера представил как алчного завоевателя. Так же, как в своё время Шота Руставели в образах Тариэля, Нестан, Дареджан, Автандила, до него бывших лишь условно обозначенными героями арабских легенд, выразил мировоззрение и этические нормы современного ему грузинского общества, так и Абай, используя сюжеты и образы восточной классики, в известной мере воспроизвёл в образе Масгуда современные ему настроения, переживания и мысли, которые и он сам разделял.

Далее, исследуя отношение Абая к классикам Востока, наряду с положительными сторонами этой связи (возможность совершенствования формы, более широкое раскрытие присущего Абая гуманизма) необходимо иметь в виду и отрицательные стороны классической восточной литературы—ограниченный средневековыми условиями литературный стиль, религиозные мотивы, связанную с суеверными представлениями фантастику, косность ряда художественных форм.

Исследуя отношение Абая к исламу, должно исходить, с одной стороны, из наличия пережитков феодальной идеологии в его собственном мировоззрении и творчестве, а с другой стороны—из наличия религиозных предрассудков в идеологии того крестьянства, на чьей позиции Абай переходит. Религиозные элементы в воззрениях Абая, несомненно, составляли слабую сторону его творчества, обусловленную отсутствием у Абая связей с революционным рабочим движением девятых—девятисотых годов, и вступали в противоречие с основным направлением его—как поэта, так и мыслителя. Следует остановить внимание и на процессе своеобразного смещения в творчестве Абая догм и этики ислама с учением философов-социалистов домарксо-

ва периода, которые в основу общественных преобразований и культурного развития общества клали нравственный принцип и идеалы нравственно совершенной личности, нередко придавая им религиозную окраску.

Отмечая достижения и недостатки историко-литературной науки в Казахстане, надо указать ещё на одну грубую идейно-политическую ошибку в оценке эпохи Абая, связанную с «теорией единого Востока». Долгое время в наших исследованиях не было дифференцированного подхода к социальной природе творчества поэтов, соприкасавшихся с Абаем. Подобные ошибки допускал и автор настоящего очерка. Вследствие ошибочно введённого нами понятия якобы существовавшей «школы Абая» в неё были включены также реакционные и консервативные поэты, современники Абая, идейно чуждые поэту, которые лично с ним соприкасались, но не составляли его литературной среды.

Важнейшая тема для исследователей nasledия Абая — проследить традиции Абая в дальнейшем развитии казахской демократической литературы. Первоочередной задачей в этой области является установление преемственности по отношению к Абаю казахских демократических поэтов начала XX века — Донентаева, Торайгырова и других, особенно же преемственность во взглядах этих поэтов на русскую культуру и литературу. В какой мере в исторически новых условиях, в эпоху подготовки самой великой из революций, они восприняли и развили дальше абаевское обращение к передовым идеям русской революционной демократии и реализму русских классиков? В какой мере, следуя Абаю, они сумели проникнуться передовыми идеями своей эпохи и выработать новые литературные формы для полноценного отображения её? Эти вопросы ждут разрешения.

Наконец, сугубо важно разносторонне осветить проблему традиций Абая в казахской советской литературе, выявить внутреннюю связь между методом социалистического реализма, на основе которого созданы лучшие произведения казахской советской литературы, и реализмом Абая. Устанавливая те демократические элемен-

ты, которые взяты нашими поэтами и писателями у Абая, особое внимание надо уделить отношению советской казахской литературы к художественным формам Абая, к его поэтическому языку.

Произведения и художественные образы Абая не умерли для нас вместе с отображённой в них эпохой. На почве социалистической духовной культуры лучшие стремления Абая расцвели и стали мыслями и чувствами, достойными нашей эпохи.

Нашему поколению, изучающему жизнь казахского народа в прошлых веках, Абай с его бессмертными творениями в поэзии, в музыке, в общественно-освободительной мысли представляется явлением поразительным. Горным кедром высится он в истории своего народа. Он взял всё лучшее от многовековой культуры казахского народа и обогатил эти сокровища благотворным влиянием русской и западноевропейской культуры.

Абай возглавил самое прогрессивное движение в дооктябрьской истории общественной мысли своего народа и всего Ближнего Востока. Один из первых просвещённых деятелей казахского народа, он настойчиво разрушал преграды, которые мешали общению казахского общества к передовой русской культуре, и тем самым способствовал слиянию русского и казахского народов в общей борьбе за светлое будущее, против реакционного строя, разобщавшего эти народы. Потому так дорого нам имя Абая и потому так свежо, по-современному звучали стихи поэта в среде казахов — солдат и офицеров Советской армии, защитников Родины, скрепивших в годы Великой Отечественной войны своей борьбой и победой братское содружество всех народов великого Союза. Пройдя вместе с лучшими сынами и дочерьми своей родины через годы боевого испытания всех духовных ценностей, Абай стал ещё более дорог и близок нашей социалистической счастливой современности.

В этом — высокое свидетельство неуязвимой славы Абая, основоположника новой казахской культуры, сияющей вершины казахской классической поэзии.



# КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**К. Поздняев.** Первая повесть.— **М. Щеглов.** Перо вальдшнепа.— **Н. Муравина.** «Её судьба».— **М. Козьмин.** За научную биографию Фёдора Волкова.— **Я. Фрид.** Пьер Гамарра и его роман «Розали Брусс».

### ПОЛИТИКА И НАУКА

Кандидат военных наук **М. Грецов.** Очерк истории Великой Отечественной войны.— **Л. Еремеев.** Энциклопедия современных знаний о Мировом океане.— Кандидат биологических наук **И. Халифман.** Родина картофеля.— Кандидат исторических наук **А. Гулыга.** Уроки прошлого.— **И. Кожевникова.** Путь предательства.— Кандидат исторических наук **А. Султанов.** Разоблачение феодальной реакции в Египте.— Кандидат химических наук **Б. Розен.** Создатель современной физической химии.

## Литература и искусство

### Первая повесть

**В** центре повести Натальи Давыдовой—жизнь врачей города Петрова, работа и непрерывная учёба, творческие дерзания, будни и праздники рядовых советских людей.

Иван Петрович Гребнев—коммунист, вчерашний фронтовик, ныне ведущий хирург района, последователь павловских взглядов и методов лечения, человек, вкладывающий в свой труд всю душу. Не прекращая ни на один день работы, требующейся от каждого врача, Иван Петрович одновременно с этим пишет научный труд «на материале войны». «Материал войны—раненый человек. Если бы не война,—Иван Петрович знал,—он написал бы другую работу...»

Мы верим, что он, закончив свою первую книгу, сможет написать и ценную работу на материале мирной жизни. Порукой тому его коммунистическая идейность, его целеустремлённость и собранность, любовь к своей профессии, гуманность взглядов, непрестанные поиски нового, неизведанного. Н. Давыдова достоверно и убедительно показывает все эти главные черты в характере своего героя.

**Наталья Давыдова.** «Будни и праздники». Повесть. Альманах «Год тридцать шестой», 15. Книга третья за 1953 год.

Иван Петрович намерен заняться лёгочной хирургией—и не в далёком будущем, а как можно скорее, и именно здесь, в маленькой и неважно оборудованной петровской больнице. Мы видим, как он, вооружённый знаниями и опытом, смело берётся за дело, как тщательно и вдумчиво готовится к первой в своей практике сложной лёгочной операции и одерживает победу, борясь за жизнь столяра дяди Васи (глава «Операция»). Мы видим также, как Иван Петрович одерживает победу над ограниченностью мышления некоторых своих коллег (глава «Диагноз Ивана Петровича»).

Материал повести таил в себе большую опасность для молодого автора—он мог увлечь в дебри специальных терминов, в описание тонкостей хирургии. Но материал служил Н. Давыдовой не для «производственно-хирургических» картин, а для реалистического изображения людей. Автора прежде всего интересует внутренняя жизнь главного героя и тех, кто живёт и трудится рядом с ним. Показывая переживания и поступки работающих вместе с Гребневым людей, писательница характеризует и их самих и создаёт широкую картину, дающую нам возможность понять, чем значителен труд Ивана Петровича и в чём под-

линная суть этого не сразу понятого человека. Так из обычных, повседневных дел автор извлекает заключающуюся в них жизненную поэзию.

Н. Давыдова создаёт характер определённый, но не упрощает его. Ивану Петровичу «ничто человеческое не чуждо», круг его интересов широк. Более того, писательница не боится даже подчеркнуть, что Ивану Петровичу, умному, серьёзному, порой суровому человеку, свойственны иногда и такие поступки, которые, на первый взгляд, иначе, как мальчишеством, назвать трудно. Вот начало повести:

«— Сто-ой! Подожди!..»

Катя не замедлила шага, не повернула головы. Хочет догнать — догонит. Не школьник, чтобы орать на всю улицу. Ведущий хирург района может вести себя солиднее. Кругом знакомые, целый город знакомых. Теперь ещё побежал, — ноги длинные, как у цапли...»

Позднее мы увидим Гребнева и хмурым и озабоченным. Но писательница уже дала нам почувствовать его непосредственность, его жизненную энергию, увидеть, что в нём горит и всегда будет гореть огонь нерастратченной молодости.

От главы к главе мы узнаём всё больше и больше подробностей из жизни Гребнева, в том числе и бытовых. Поздно ночью, после упорного труда над диссертацией, он, сидя один в комнате, может сказать сам себе: «Поработали, теперь спнём» — и, усмехнувшись, запеть: «И кто его знает, чего он моргает...» Он любит Катю, но сгоряча способен и нагрубить ей. Вечером, после дневных дел, примостившись на крыльце и укрывшись катиной шалью, он будет дремать и при этом сквозь полусон, «с подлой интонацией искреннего интереса», не преминет откликнуться на катины слова — «Да?» или даже будет удивляться — «Ну?», хотя совсем не разбирает, о чём спрашивает и что сообщает ему жена. Сами по себе эти чёрточки, увиденные Н. Давыдовой, хотя они и верны и написаны точно, не могли бы слиться в цельный и сколько-нибудь значительный образ. Но и в «праздниках» и в «буднях» Ивана Петровича Гребнева непрерывно ощущается энергия, которую даёт этому врачу увлечённость большой идеей, работа на пользу советскому обществу. Это — главное в его образе. Бытовые же детали дополняют

изображение этого крупного и самобытного человека.

Подобно Ивану Петровичу, у Кати тоже есть своя определённая и большая жизненная цель. Но, как говорит автор, «разное бывает у людей упорство — одни могут ждать годами успеха и подчинить свою жизнь далёкому и невидимому результату, другим нужно постоянное ощущение свершения». Иван Петрович относится к первым, Катя — ко вторым. Она нетерпелива — это «издержки молодости». Впечатлительная, несколько даже неуравновешенная, быстро увлекающаяся и так же быстро остывающая, она ещё не может так полно, как Иван Петрович, сосредоточиться на любимом деле. Надо, приехав в Москву, посещать клиники и институты, а она увлеклась театрами («Не скоро опять увидишь на сцене Уланову»); надо готовить доклад о бронхиальной астме, а она ленится («Три дня учебник на одной странице заложен»). И в людях Катя разбирается не сразу. Поначалу она считает, что карьерист и кляузник Шарабанов, что бы о нём ни говорили, — достойный человек. Поначалу она полагает, что Тата — «всё-таки злыдня» и лишь потом вынуждена себе признаться: «Нет, она хорошая». Поначалу Катя даже не подозревает, как много даёт ей дружба Ивана Петровича, не замечает, как он помогает ей в операционной или в подготовке к философскому семинару, как поддерживает её в споре («Она, увлечённая и всегда деятельная, только удивлялась, как в последнее время у неё всё хорошо идёт»).

Любовь к Гребневу возникла у Кати как-то мгновенно. В ночь перед своим отъездом в отпуск она ещё думает, что попросту не любит его. За месяц отпуска, проведённого в Москве, она так и не отослала Гребневу письма, хотя написала его. Просьбу Ивана Петровича — непременно послушать в Москве какую-нибудь защиту по хирургии — она так и не выполнила, несмотря на то, что это была единственная его просьба, и несмотря на то, что сама она, терапевт, стремилась овладеть профессией хирурга.

Как же возникло чувство любви? Где те «движущие пружины», которые породили его? Во-первых, ушедший с головой в работу и обиженный невниманием со стороны Кати, Гребнев совсем перестал бывать в её доме, а это задело Катю за живое. Во-вторых, сложная операция, за которую



решил взяться Гребнев, заставила Катю совсем иными глазами взглянуть на этого талантливого человека и критически оценить свои собственные способности («Кате разрешили иметь своих хирургических больных. Но всё равно, увидев тяжело больного, назначенного Иваном Петровичем к операции, Катя несколько раз повторяла себе: «А ты его не спасла бы, не смогла, не сумела»). Стремление стать в труде достойной Ивана Петровича, стать такой, как он, вызвавшее у Кати зачатки чувства, ещё подогревается уязвлённым самолюбием (ждала весь вечер, а его нет!). Так сама собой приходит любовь. И что она возникает как бы внезапно, это вполне естественно, если иметь в виду натуру Кати, её необыкновенную впечатлительность, способность быстро переходить от одного настроения к другому.

Главе «Любовь», где происходит сцена объяснения, где Катя и Иван Петрович решают, что им надо быть вместе, предшествует такой эпизод. Накануне операции, которую предстояло перенести дяде Васе, к Кате приходит его жена. Боясь, что операция закончится трагично, она говорит Кате:

«—...А что, если завтра и конец.. Давайте с доктором посоветуемся, голубушка моя, в последний раз».

«Катя вдруг поняла, что Мария Филипповна пришла к ней не случайно, пришла как к другу, помощнику Ивана Петровича. Катя подумала, что сейчас она и должна так ответить и так поступить, как самый большой его друг, как поступила бы его жена».

«...Его волновать нельзя сейчас», — мелькнуло в мыслях.

— Мария Филипповна, всё будет хорошо, успокойтесь, ложитесь, дядя Вася поправится, всё кончится благополучно, говорю вам как врач».

Этот эпизод счастливо найден автором. После него сама сцена объяснения в любви психологически достаточно мотивирована.

Став женой Гребнева, Катя вначале переживает немало тревог. Она вдруг стала замечать, что муж уделяет ей мало внимания.

«—Правда, Ванечка, — спрашивала она кротко, — ты одного хочешь: работать и чтоб тебе не мешали? И жена тебе не нужна, и никто тебе не нужен. Только

поспать, когда ты слишком устанешь. Вот. Поработаешь — поспишь, поспишь — поработаешь. Если так, ты мне объясни, зачем ты раньше так откровенно притворялся? Зачем, например, тебе понадобилось чинить наш забор и при этом уверять, что ты обожаешь физический труд, когда ты его ненавидишь? Или переводить для меня болгарскую статью?»

В этих и во многих других словах Кати, обращённых к мужу, сквозит и упрёк и надежда на то, что он наконец поймёт, как нужны ей ласка, внимание. Но есть в них и ясное понимание действительных причин мнимой холодности Ивана Петровича. Читателю ясно, что всё главное Катя понимает. Это ясно и Ивану Петровичу. Вот почему он, не пускаясь в уверения, что раньше «обожал» физический труд и переводы с болгарского, шуточно говорит: «Это были ошибки». И Катя улыбалась. Но могла бы и заплакать. В конце концов Катя перестаёт сердиться на мужа, принимает его таким, каков он есть: «Что ж, разные бывают люди, сколько по сторонам ни смотри, характеры не повторяются. Я такого полюбила, такой он мне хорош, лучше всех».

Но Катя существует в повести не только как олицетворение подлинной любви, как жена-друг. Это самостоятельный и интересно развивающийся образ. Н. Давыдова показывает, как формируется характер Кати, как становятся более зрелыми и правильными взгляды Кати на труд, на людей.

Мы с интересом узнаём и других персонажей повести.

Вот «одержимая занятиями и непреклонная» аспирантка Тата с её «деспотизмом» по отношению к себе, мужу, отцу мужа, к студенту Грише и даже к малознакомой ей Кате; почти суровая в Москве («органически не могла видеть около себя ничем не занятых здоровых людей») и совсем милая во время отпуска, в Петрове.

Вот тётка Гребнева — Елена Петровна, обожавшая разговоры о своём мягком, уступчивом характере, неизменно повторявшая: «Вы из меня верёвки выёте» — и всегда поступавшая по-своему; нежно любящая своего племянника и командующая им, жизнедеятельная, легко увлекающаяся всяким полезным делом.

Вот Нина Павловна — бывшая «подзаборница-беспризорница», ныне главный

врач больницы, секретарь парторганизации райздрави и член райкома, которая «умела кричать, когда сердилась», но умела и защищать людей от несправедливо наносимых им обид; дядя Вася — столяр, умелец на все руки, который даже на больничной койке «вдруг заметил, что окна и двери его палаты требуют ремонта», а навестившую его жену спрашивает: «Ты, Маруся, где мой фуганок держишь? В кладовке? Я железку-то не выколотил, она поржаветь могла». Врачи Днепров, Богословский, Дмитриева, педагоги муж и жена Горовые, мать Кати Ольга Степановна — всё это разные и хорошие люди. И какие разные и плохие люди доктор Шарабанов, доктор Антонова!

В «Буднях и праздниках» далеко не всё хорошо. Умная и тонкая литературная манера иногда переходит в некоторую манерность, подчёркнуто к тому же вычурными названиями глав. Чёрточки, добавляемые к характеру и поведению действующего лица для того, чтобы внести известный юмористический оттенок, иногда окрашивают образ в сладковатые тона (особенно это заметно в Гребневе и Нине Павловне). Очевидно, Н. Давыдова слишком хорошо знает свою способность писать верные и интересные детали и порой не отдаёт себе отчёта в том, что пристрастие к «мелкому письму» бывает художественно оправданным лишь тогда, когда крупные линии произведения, его основные мысли выражены ярче и сильнее, чем это удалось молодому автору «Будней и праздников». Три персонажа — секретарь райкома Кравченко, председатель райисполкома Овсянников, заведующий райздравом Григорьев — не удались совсем; это не действующие лица, а только имена.

При всём этом мы считаем, что молодая писательница создала интересную повесть.

Но есть и другая точка зрения. Она высказана в рецензии Валерии Герасимовой («Литературная газета» № 58 от 15 мая с. г.).

Отмечая, что «манера письма Н. Давыдовой — свободная и живая», что эта манера письма «подкупает», что «без медлительных подступов и томительных экспозиций читатель с первых же строк вводится в жизнь действующих лиц», В. Герасимова наряду с тем утверждает, что в этом произведении будто бы «бойкость заменила подлинную лёгкость письма, лакировка

и бездумность — органический оптимизм». Она утверждает, что «почти все персонажи повести, несмотря на приданные им черты внешнего «жизнелюбия», не ощущаются как подлинно живые, по-настоящему думающие люди», что «трудно уловить психологические закономерности их поведения», что «скорпись» Н. Давыдовой «искажает правду жизни». Наконец, что «некоторые главы «Будней и праздников» воспринимаются как несовершенные копии со страниц романов В. Пановой».

В соответствии с этими утверждениями статья озаглавлена «Бойкость вместо глубины».

Какими же примерами подтверждён в рецензии тезис о том, что психологические закономерности героев повести уловить трудно, что герои не думают и не чувствуют, как живые люди?

Довод, собственно, один:

«...В первой половине повести Иван Петрович (по авторскому замыслу, человек глубокий и серьёзный) по-настоящему горячо любит Катю. Катя же не отвечает ему взаимностью. Вдруг — именно вдруг, без каких-либо внутренних обоснованных переходов, — Катя, в свою очередь, горячо полюбила Ивана Петровича. Зато несколькими страничками дальше ранее страстно любивший Катю и наконец женившийся на ней Иван Петрович приходит к внезапному охлаждению».

Мы уже говорили, как возникло чувство любви у Кати; нет необходимости повторять сказанное. В повести нет ни внезапного охлаждения, ни вообще какого бы то ни было охлаждения Ивана Петровича к Кате. Мы там находим другое: был момент, когда Кате казалось, будто муж охладил к ней. Но надо же уметь различать, что кому-то кажется и что есть на самом деле! Остановившая своё внимание на сцене ссоры, В. Герасимова замечает и цитирует только грубые, сердитые слова. Она пренебрегает всем остальным, что есть в этом эпизоде, — не замечает авторского текста, не замечает улыбки Кати. Забывает она и о том, что Иван Петрович, по мнению Кати, вечно кричит (громкий голос!), что он вообще, даже без всяких ссор, не стесняется в выборе слов.

Впрочем, если даже согласиться с В. Герасимовой, что сцена ссоры художественно груба, то и это не может служить серьёзным аргументом для доказательства мнеча-

ния, будто в поведении Ивана Петровича трудно уловить психологическую закономерность. Не на одной только этой сцене держится образ Гребнева!

В. Герасимова пишет ещё, что Н. Давыдова «не умеет выразительно и экономно дать яркое, наглядное представление о предмете или явлении», что у неё «простое и понятное часто претворяется в сложное и вычурное», что «автор создаёт книжные, лишь приближающиеся к жизненной правде, а подчас просто безвкусные образы».

Сложность и вычурность В. Герасимова увидела, например, в такой фразе: «Маленькая речка... в иных местах мутная и неопрятная, как красавица, не захотевшая причесаться и помыться». Приведя эту фразу, В. Герасимова удивляется: как это может речка помыться? Мы согласны, что речка помыться не может (кстати, она не может и причёсываться!), но ведь слова причесаться и помыться в данном предложении относятся не к речке, а к сравнению красавица.

Не понравились В. Герасимовой и глаза, которые «за очками вздрогнули и будто улетели, как потревоженные воробьи» (по нашему мнению, сравнение вполне допустимое).

Возражает ещё В. Герасимова против «вкрадчивых подарков». Вот, собственно, и все аргументы.

Что касается «книжности образов» и «просто безвкусных образов», то здесь весь огонь критики В. Герасимова направляет в адрес Кати. У Кати щёки и в мороз, и в жару, и в прохладную погоду «сохраняют густой свекольный цвет»; это, по мнению В. Герасимовой, разрушает весь(!) образ Кати. Не нравится критику и то, что у Кати «за двадцать пять лет жизни... не было ни одного незавершённого дела, ни одного невыполненного намерения», что у неё «воспоминаний было немного. Пройденный путь был коротким, прямым и простым». Это, оказывается, штамп. Но ведь это думает о себе Катя, это не размышления автора!

Допустим, однако, что «свекольный цвет лица» — безвкусница, а думы Кати о прожитых ею двадцати пяти годах — штамп. Маловато и этого для того, чтобы делать вывод, будто автор неспособен дать яркое, наглядное представление о предмете и явлении. Приведённых В. Герасимовой при-

меров недостаточно даже для того, чтобы осудить не то что стиль, но хотя бы стилистику.

Обратимся к последнему обвинению в адрес Н. Давыдовой — обвинению в художественной несамостоятельности, в явном подражании В. Пановой. Можно было бы ещё признать это суждение в некоторой мере правильным, если бы речь шла о большом месте, которое занимают в изобразительной манере сравниваемых авторов бытовые детали. Но и в этом случае сравнение было бы очень неточным. С одной стороны, молодой писательнице Н. Давыдовой, при всей её несомненной литературной способности и известной умелости, всё-таки далеко до зрелого живописного искусства В. Пановой, до её умения написать краткую, выразительную, надолго запоминающуюся бытовую сцену, характерный и точный портрет. С другой стороны, у Н. Давыдовой авторская тенденция, авторская оценка действующих лиц выражена гораздо прямее, чем у В. Пановой.

Во всяком случае, если бы речь шла именно об этой стороне писательской работы, это было бы спорно, но понятно. Однако В. Герасимова указывает совсем на другое. По мнению В. Герасимовой, образ доктора Шарабанова у Н. Давыдовой — это «почти точный слепок с доктора Супругова».

Что сближает Шарабанова с Супруговым? Разве только то, что оба они врачи и оба отрицательные типы. Больше ничего общего у них нет.

Супругов был трусом. Он иступлённо всего боялся. Боялся фронта, боялся нарыва на пальце, боялся женщин. Больше всего он любил сидеть дома в одиночестве. Он никому ничего не мог приказать, а мог только просить. Он заговаривал с людьми, но высказываться предоставлял им, сам же только поддакивал. У него были робкие глаза и отвратительная манера хихикать. За внешним своим видом он следил мало.

Шарабанов, наоборот, никого и ничего не боится. Он самоуверенный и нахальный, бодрый и жизнедеятельный человек. Женщины ему нравятся, и он им нравится. Больные и персонал его обожают. Он любит много говорить, воспламеняясь собственным красноречием. Даёт дельные советы. Глаза у него весёлые, энергичные. Смеётся громко. Он франтоват и следит за своей одеждой, как красавица, начинающая

стареть женщина. Где же тут «почти точный слепок» с Супругова? Ни в их характерах, ни в их эволюции, ни в литературной манере их изображения нет ничего общего.

Так слабы основания, на которых В. Ге-

расимова с большой решительностью осудила повесть молодого и способного автора. По нашему мнению, повесть «Будни и праздники» такого отношения к себе не заслуживает.

К. ПОЗДНЯЕВ.

★

## Перо вальдшнепа

**В** книге «Рассказов и сказок» Виталия Бианки есть не рассказ и не сказка, а скорее притча о художнике, которому страстно захотелось написать картину в красках: летит вальдшнеп среди леса, вспыхивает в зелёном сумраке его рыжее-рыжее перо. На картине скоро очень хорошо получился лес, но никак не получилась сама птица — не выходили тоненькие-тоненькие чёрточки на крыльях лесного кулика... И тогда художник, разглядывая крыло птицы, нашёл там одно «очень твёрдое и очень тоненькое пёрышко». Он сделал из него себе кисточку и «расписал на своей картине перья вальдшнепа так тонко, что потом все удивлялись: как он это сделал?»

Перо советского писателя Виталия Бианки, вот уже 30 лет рассказывающего в своих книжках детям о жизни природы, кажется подчас таким вот необыкновенным, тонким и твёрдым пёрышком, будто бы взятым в самом лесу у поющих птиц, шелестящих трав, звенящих крыльями жуков и стрекоз. И самый писательский облик Виталия Бианки, как он вырисовывается из его книг, чем-то сродни образу этого охотника и художника, могущего в разгар промысла, забыв про всё, залюбоваться красотой пейзажа и ловкостью животного, а потом с той же страстью, с которой он искаживал лесные глубины в поисках охотничьего счастья, оживлять увиденное и услышанное в красках и словах.

Искусство Виталия Бианки, скромное и своеобразное, очень жизнерадостное, получило широкое признание. Его очаровательные и серьёзные миниатюры — сказочки, рассказы, шутки и выдумки из жизни зверей, птиц, насекомых и растений — читают дети на разных языках мира. Но даже и человек, вышедший из лет детства, всё-таки не может, видя книжку в весёлом переплёте и прочитав «Виталий Бианки», не ощутить

**Виталий Бианки. Рассказы и сказки.** Государственное издательство детской литературы, М.—Л. 1954.

особенной «домашней» теплоты. Он вспомнит, что в числе первых книг, прочитанных им, была «Лесная газета» и как после этого всё вокруг — в лесу и в поле — стало интереснее, понятнее и забавнее.

Новый сборник произведений Виталия Бианки должен дать исследователям детской литературы достаточное основание для большого и серьёзного разбора творчества этого художника, в своём роде, несомненно, замечательного.

Книга Виталия Бианки буквально напоена дыханием природы. Её страницы несут радость, сходную с той, которую испытывает человек, после городской сутолоки, езды и грохота очутившись в лесу, в траве у еле звучащего ручья или плавной реки. И как тогда бывает интересно следить за травинками, птицами и жучками, разглядывать и переводить на человеческий лад все их повадки!

Виталий Бианки ведёт своего маленького читателя в леса и луга, к звериным норкам и птичьим гнёздам, в бесконечно разнообразный мир живой природы. Писатель учит ребят любить и понимать природу. Учит умению любоваться поэтичной красотой, которую она дарит человеку. Ближе всего писателю черты нашей северной природы, прелесть и скрытое разнообразие которой он чудесно передаёт в своих сказках и рассказах.

Но интересно отметить, что в книге В. Бианки нет или почти нет пейзажей, описаний природы. Маленький читатель обычно ведь пропускает такие описания. Природа в этой книге просто живёт, действует, она — герой, а не фон всех рассказов. Кроме того, В. Бианки владеет тонким искусством говорить детям о красоте природы, о радости общения с нею лаконично и впечатляюще просто, специально «по-детски». Ребёнку, для того чтобы представить, например, «весну», достаточно прочитать что-нибудь, вроде: «травка зеленеет, солнышко блестит...» и т. д., то есть писателю до-

статочно просто и легко сказать о простых вещах, которые он сам видит, и вся яркость и прелесть весны, солнца, зелени, птичьего гомона встанет в детском воображении. Но для этого писателю нужно в какие-нибудь полфразы вместить самое характерное, чудесное из того, о чём он пишет.

И когда В. Бианки в весёлой цепочке рассказиков под названием «Синичкин календарь» пишет, что однажды в мае вечером синичке показалось, будто «лёгкий зеленоватый туман окутал все берёзы, осины, ольхи», или в другом месте мы читаем, как «на кружевных вершинах голых берёз сидят тетерева... Они черны и неподвижны, как грачиные гнёзда», или, наконец, в чудесном рассказе «Оранжевое горлышко» находим такие простые строчки: «было ещё утро, но тяжёлая серая туча скрывала небо, и всё казалось серым и скучным на земле. Неожиданно из-за тучи выглянуло солнце. Сразу стало светло и весело, как весной», то это, при видимой обыкновенности всех слов, на самом деле есть чутко найденная, лёгкая для детского глаза и сознания «подача» картин природы. Мы уже не говорим с тем, что читается это (без всякого нарушения художественности впечатления) совсем просто, как в «букварике».

Книга Виталия Бианки населена множеством зверей и зверьков, птиц и насекомых. Это её герои. Кроме того, есть здесь люди — охотники, рыбаки, лесничие и юннаты.

Читая Виталия Бианки, мы легко чувствуем и главных его героев — тех, к кому обращается он со своими книжками. Это советская жизнерадостная детвора, пытливая и мечтательная. Произведения В. Бианки удовлетворяют самые ранние потребности наших детей в знании родной природы. И, может быть, семя, заронённое строчками В. Бианки в сердце маленького читателя, вырастет через много лет в подлинную большую страсть учёного-естествоиспытателя, преобразовывающего природу на пользу людям.

Своеобразен тот способ, с помощью которого писатель рассказывает о мире животных и птиц, о законах, по которым живёт и развивается всё живое, о повадках, привычках и причудах зверей. Это не сентиментальное очеловечение животных, это и не просто художественный приём и не способ какого-то иносказания. В творчестве В. Бианки стоит рядом художник, знаток приро-

ды — естествоиспытатель и педагог. Как художник В. Бианки дорожит тем отношением к природе, которое в особенности свойственно детям с их невольным уподоблением действий и повадок зверей, птиц, насекомых человеческому опыту. Дети ничего не знают о разнице между инстинктом и разумом; когда они видят, что бабочка кружится над цветами, они скажут что бабочка думает, куда бы ей сесть; когда собака смотрит на хозяина, она что-то хочет сказать ему, и т. д. В. Бианки чудесно использует это свойство детской фантазии. Герои его книги — медведи, птицы, муравьи, кузнечики и даже деревья — думают, рассуждают, строят планы, ссорятся, обижаются друг на друга, разнообразно выражают свои чувства. Каждый из них имеет свой маленький и вполне реальный «характер». То это «надоедая» муха, которая досаждала всем, чтобы ей дали хвост; то ящерица, которая улыбается во весь рот и облизывает сухие губы тонким язычком; то маленький приветливый жаворонок, которому, когда он летал в вышине, всё «казалось... необыкновенно замечательным, красивым и милым»; то бедняга-муравьишко, зашибший себе ножки и еле поспевший домой... Или, например, какую непростую жизнь, полную тревог и забот, прожила семья куропаток в рассказе «Оранжевое горлышко», и сколько тяжёлых бед перенёс крохотный смешной мышонок Пик, пока не попал к детям.

Есть в книге В. Бианки случаи, когда это отношение к животным и птицам приобретает характер высокой поэтической образности, родственной народному творчеству. Так, в новый сборник включён подлинный шедевр В. Бианки — сказка «Люля»; в ней рассказывается о маленькой северной птичке, которая селится прямо на воде. Когда-то землю покрывало море, говорится в этой сказке, и звери жили очень неудобно, так как суши совсем не было. И тогда собрались звери и стали просить кита достать со дна моря немного земли. Кит не смог. Птичка Люля-нырец вызвалась помочь общей беде. Посмеялись звери над крошкой. Но Люля всё-таки ушла под воду. Три раза ныряла Люля; пузырьки, выскакивавшие на поверхность, становились розовыми, а потом красными от люлиной крови, но в последний раз, когда Люля вынырнула вверх лапками, чуть живая, с капелькой крови на кончике клюва, она всё-таки принесла с

собой щепоть земли. Наделали звери из неё островов, зажили вовсю. И как память о подвиге птички, осталась на кончике клюва у неё красная капелька. Это одна из самых поэтичных, одна из самых любимых сказок В. Бианки.

Но такой поэтический и «одушевлённый» мир животных и птиц, которым как бы доступны и мысли и переживания, соединяется в рассказах В. Бианки с очень серьёзным и тонким ознакомлением читателя с действительными законами природы и жизни всех существ. Все рассказы и сказки этого писателя, несмотря на такую волшебную разумность их лесных героев, ни в чём не противоречат жизни «прототипов» — живых зверей, птиц и мурашек.

Ни в чём они не заходят дальше того, что на самом деле дано им природой, но и этого бывает достаточно, чтобы придумать самые весёлые, интересные приключения. В. Бианки, таким образом, через детское поэтическое видение всего живого преподносит своим читателям как бы «научный» показ жизни природы, её обитателей, их бесчисленных приспособлений к среде, отношений разных групп животных и т. д. Перекладывая всё это на понятный детский лад, писатель тонко объясняет мир, учит всему искать естественные причины, пристально вглядываться в жизнь природы. В этом смысле интересен рассказик «Глупые вопросы». В нём девочка задаёт отцу «глупые вопросы»: «Отчего у сороки длинный хвост?», «Отчего чайки белые?» И оказывается, вопросы эти совсем не глупые. Отец рассказывает дочке сказочки, в которых действуют обычные «бианковские» герои — умные и разговорчивые птицы, и из их бесед между собой выходит, что всё у них действительно умно устроено. У сороки хвост длинный и плоский, чтобы рулить им, летая среди деревьев, и чайки совсем не зря белые. ...Таков, так сказать, метод В. Бианки.

Таким образом, поэтичность и анимизм волшебной сказки о животных у Виталия Бианки служат выражением и оформлением ценных начатков природоведения со всей его увлекательностью и реализмом. Юный читатель вместе со всем тем, что даёт ему эта весёлая и красивая книжка, получает массу неожиданных и новых сведений, знаний об окружающем его мире, где всё оказывается так интересно устроено; книга

наталкивает его на самостоятельное наблюдение и объяснение всех тех необыкновенных вещей, которые он видит в природе. Поэзия родной природы, нежное чувство Родины, которыми полны многие страницы В. Бианки, воспитывают из наших детей будущих патриотов; и получается это без помощи каких-либо видимых педагогических приёмов, наиболее естественно и доходчиво. Любовь к родному краю и знание его — таковы те добрые основы, на которых стоит весь настоящий, реальный и волшебный мир бианковской «сказки-несказки», как называет её сам автор.

Но мало того. В книге В. Бианки есть и свои положительные и отрицательные герои; она ещё и воспитывает читателей, хваля трудолюбие, смелость, защиту слабых, дружбу и порицая всякую злобу, тунеядство и разбой. Тут уж в мир животных и птиц привносятся чисто человеческие моральные оценки, симпатии и антипатии, соответствующие нашим понятиям о хорошем и дурном. И поскольку это нигде у В. Бианки не становится скучной дидактикой, это ещё более захватывает душу маленького читателя, который на понятных ему примерах из жизни мышат и синичек учится разбирать, «что такое хорошо, и что такое плохо». И подчас мы встречаем здесь на детском языке речь совсем о недетском. Вот хотя бы та же птичка Люля с кровинкой в носике — может быть, для маленького читателя это первые слова о беззаветном подвиге для других, во имя общего счастья. Один из особенно чуждых всему настроению книги В. Бианки образов — это кукушка. Автор не прощает ей «элегических ку-ку»; дети должны с начала жизни почувствовать, что тот, кто не заботится о других, кто живёт за чужой счёт, не воспитывает сам своих птенцов, не строит гнёзд, губит чужие слабые жизни, — недостоин никакой похвалы. И только о презренном кукушонке, который погубил всех птенцов в гнезде и остался там один жиреть, В. Бианки смог написать такую злую фразу: «Кукушонок дрыгнул ножками и слдох».

И ещё один явно «отрицательный персонаж» книжки. Это та «выдуманная птица» в рассказе «Глупые вопросы», которая не поймёт, для чего это всем другим её сородичам какис-то диковинные особенности — хвост-руль у сороки, яркая белизна опе-

рения у чаек... Этой неинтересной птице чайки говорят чудесные слова, которые так и хочется употребить в более широком и серьёзном смысле, обращаясь к неудачным персонажам иных литературных произведений:

«Да тебя и вовсе нет... ты кругом средненькая. Ты выдуманная. Таким под солнцем места нет. Посмотри-ка ты на себя в воду.

Посмотрела птица вниз. Там, в тихой речке, всё как в зеркале: и белые чайки кружат... и сорока прилетела — на кусту сидит, и стриж в небе мчится. А её — птицы — нет».

Живой и интересный зверинец в книжке Виталия Бианки! Некоторые из его миниатюр с их тонкой выписанностью каждой шерстинки зверька и каждой мшинки вокруг него или ювелирного кружевца на крыльях жучка, с их поэтичностью и острой характерностью чуть-чуть напоминают, пожалуй, шедевры старояпонской и китайской графики, знаменитые рисунки животных и птиц.

Ощущение жизни и особое обаяние придаёт «Рассказам и сказкам» их славный язык. В новой книге собраны вещи разных жанров, для разных младших возрастов. И соответственно стиль писателя меняется от лукавой, как будто сочинённой в народе коротенькой шутки-притчи до оживлённого повествования в циклах «По следам» и «Мой хитрый сыннишка» или совсем краткословного «дошкольного» языка в «Дневнике синички». Виталий Бианки «веселит» свою речь и звукоподражаниями, и крылатыми в сказочном роде определениями («Дятел пёстрый — нос вострый», «Белка — под дуплом сиделка» и т. д.), и чисто фольклорными оборотами, и даже всякими интересными выдумками (например, песня жаворонка в

«Оранжевом горлышке» или троекратное ритмическое «взад-вперёд», изображающее движение камыша под ветром, в «Первой охоте»). Очень хорошо «разговаривают» герои В. Бианки: человеческими словами, но прямо-таки «жужжит» надоедливая муха, жалобно и торопясь упрощает всех муравьишко, «ухает» сова, осторожно, «с оговорочкой» лепечет зайчишка, основательно и лениво басит медведь, звонко ликуя, поёт милый жаворонок, ровной скороговоркой изъясняются полевые курочки и т. д.

А насколько ярко и весело-ловко умеет В. Бианки отпечатать на странице своего рассказа живую картинку, говорит, например, такой отрывок: «Один раз лежу в траве на солнышке, — загорая. Вдруг — бац! — у меня перед носом села муха. На лист сирени. Да не простая муха — серая комнатная, а замечательно какая красивая. Майка на ней зелёная, тусы синие, всё яркое, блестящее, в обтяжку, как облитое. Бывают такие блестящие мухи». Право же, это написано каким-то особенно тонким и искусным пёрышком.

Всё это чудесное живописное приключенческое и познавательное содержание книги Виталия Бианки, посвящённой живой природе, требует, конечно, и достойного полиграфического и художественного оформления. Надо сказать, что «Рассказы и сказки», выпущенные Детгиздатом в Ленинграде, очень приветливо и разнообразно оформлены. Хорош и подбор иллюстраций (только досадно мало красочных) А. Курдова, А. Рылова, Е. Чарушина и И. Ризнича. Такое издание Виталия Бианки — хороший подарок советским детям, нашим младшим читателям.

М. ЦЕГЛОВ.

★

## „Её судьба“

**В** хорошей литературе все главные средства выражения неотделимы от содержания. Выбор темы и героев, язык произведения и сюжет — всё подсказано материалом, положенным в основу книги, жизнен-

ным опытом и мировоззрением писателя, его отношением к жизни.

Нет ничего более поверхностного и ошибочного, чем представление о творчестве, как об умелом и находчивом использовании готовых литературных приёмов, существующих для всеобщего употребления. Такое неправильное представление о литературе иногда сбивает с дороги и людей талантлив-

П. Дудочкин. «Её судьба». Роман. Калининское областное книжное издательство, 1953.

вых, серьёзно относящихся к своей писательской задаче, но не обладающих достаточным литературным опытом. Следы этого влияния наглядно выступают в повести молодого и, как нам кажется, способного писателя П. Дудочкина «Её судьба».

Сразу видно, что П. Дудочкин пришёл к литературной работе не с пустыми руками. Он знает действительность, породившую его книгу, крепко связан с нею. Он любит своих героев — мастеров и рабочих обувной фабрики, — владеет их языком, шуткой, пословицей, немало знает об их жизни.

Материал повести «Её судьба» взят из жизни работниц Кимрской обувной фабрики, овладевших в годы Отечественной войны тяжёлыми, «мужскими» профессиями. Книге предпослан эпиграф — стихи Исаковского:

Да разве об этом расскажешь,  
В какие ты годы жила!  
Какая безмерная тяжесть  
На женские плечи легла!

Заглавие и этот эпиграф предупреждают, что главная тема повести — тема судьбы работницы, много испытавшей, выросшей за годы войны. И действительно, в книге есть отдельные эпизоды, по которым можно судить о серьёзности авторского замысла и о близком знании конкретного жизненного материала. Но оттого, что в повесть вплетён необязательный в ней конфликт между отсталым директором и передовой работницей и внимание автора сосредоточилось на недооценивавшем женщин-работниц директоре и на том, как работницы опровергают его недоверие, — тема «её судьбы» отошла на задний план.

Характер главной героини — Катюши Хромцевой, молодой работницы, которую в конце повести выдвигают на пост директора, — её внутренний мир не изображены автором, и вместе с ними ускользнула от него и та живая, конкретная женская судьба, которой он намеревался посвятить повесть. Повесть неподвижна, большая её часть состоит из однообразных пререканий между действующими лицами.

В начале повести секретарь парторганизации Заботина объясняет директору, что для того, чтобы фабрика опять стала передовой, нужно улучшить бытовые условия работниц и организовать курсы для обучения их новым профессиям. «Дошло, — с удовлетворением подумала она, — резю-

мирует автор результаты беседы; но затем автор забывает об этом и продолжает рисовать директора человеком, ничего не понимающим, а положительных героев — повторяющими ему в середине и в конце повести те же самые советы, которые уже были высказаны в начале.

Кульминационная часть повести — глава о «трудовом бое», в котором сапожницы впервые выполнили норму. Описывая этот «бой», автор, вопреки собственному намерению — доказать, что женщины могут справиться с физически трудной работой не хуже мужчин, более оттеняет «безмерную тяжесть», лёгшую на женские плечи, чем способность женщин выдержать эту ношу. Он показывает страшное напряжение работниц, обморок одной из них — зятяницы тётки Паши, которая «со стоном, похожим на вопль, рухнула на пол». Нетрудно понять, зачем писатель стусил краски; он хотел показать, на какие жертвы способны его герои. Но сделано это безотносительно к изображаемой конкретной действительности, к идее произведения, взятой из этой действительности. Поэтому после такого описания «трудового боя» читатель скорее согласится с директором, что нужен и целесообразен перевод измученных женщин на другую, посильную для них работу.

Многие образы людей в повести лишены естественного внутреннего развития.

Вот директор обувной фабрики Игнат Петрович Столяров. Литературные способности автора позволили ему живо нарисовать внешний портрет директора. Но его биография составлена из отдельных черт, которые явно не связываются в единый и цельный образ.

Столяров — старый большевик, в недавнем прошлом один из лучших директоров области. Но, оставшись в первые месяцы войны без прежних рабочих, ушедших на фронт, он не сумел добиться выполнения плана с новыми кадрами, состоящими в основном из эвакуированных с Запада, незнакомых с профессией обувщика. Какую задачу ставит себе автор, рисуя Столярова? Может быть, это образ руководителя предприятия, преждевременно почившего на лаврах? Нет, ничто в рассказе о директоре не даёт для этого основания. Автор только считает своим долгом представить его — раз он намечен в «отрицательные» — в как можно более чёрном свете и, чтобы вернее достичь этого, отрывает настоящее



своего героя от его прошлого. Становится попросту непонятным, как мог этот человек, ещё недавно пользовавшийся общим уважением, стать столь неумным, упрямым и трусливым.

Даже родной сын директора произносит ему жестокий приговор: «Ограниченный ты человек. Очень ограниченный... Может быть, даже невежда. А невежда не менее спасен, чем враг». С характеристикой Столярова как опытного в политической жизни и в хозяйственном руководстве коммуниста всё это никак не вяжется.

Об исправлении некоторых отрицательных героев автор также рассказывает, не забывая о создании цельных образов. Сначала он рисует секретаршу Симу угодливой, ищущей тёплого местечка, а непутёвую Татьяну Хромцеву — бездельницей и неряшливой франтихой, презирающей «сапожников» и честный труд. А в конце он неожиданно сообщает, что Сима подала заявление о переводе её в цех, а Татьяна пошла работать на обувную фабрику. Как будто читателю нужно не изображение внутреннего процесса, вызвавшего эти перемены, а удостоверение, что отрицательные герои исправились!

Есть в повести персонажи совсем безличные: это начальник главка министерства, фронтовик Денис Столяров, секретарь парторганизации Заботина, секретарь комсомольской организации Удалова.

Символические фамилии Удаловой и Заботиной полностью определяют их функции в повести. Граня Удалова всегда воплощает в себе молодую удачу и инициативу, Заботина моментально появляется, как только кто-нибудь из героев нуждается в заботе. Кроме многократных утверждений, что Заботина заботлива, Удалова удала, мы ничего не узнаём об этих персонажах.

Вот Заботина решает переехать в общежитие эвакуированных, поселиться среди новых работниц фабрики. Сколько женских судеб и живых характеров мог бы провести перед нами писатель! Но П. Дудочкин, сообщив, что такое переселение состоялось, считает свою задачу уже выполненной.

Может быть, автор не нарисовал живых образов и эпизодов оттого, что плохо знает материал? Нет, неразработанное, но всё же, несомненно, живое описание посещения общежития директором опровергает такое сомнение: мы видим здесь талантливые наброски портретов и характеров, отрывки

правдивых разговоров, запоминающиеся споры и сцены. Но всё это оставлено неразвитым, случайным. Ни одна из запомнившихся нам в общежитии женщин ни разу затем не упоминается в повести. Если бы автор отнёсся к своей книге о женской судьбе творчески, то, несомненно, эпизоды в общежитии, сцена прощания уходящих на фронт обувщиков с родной фабрикой, портреты беженки и работниц — Тонкогубки, тётки Паши — стали бы фундаментом книги. Автор не мог бы недооценить значение этих образов и эпизодов, в которых отражена подлинная жизнь народа в дни войны. Именно заброшенность этого ценнейшего материала и открывает нам главную причину постигшей П. Дудочкина неудачи.

Если всмотреться, можно найти живые, своеобразные черты во многих персонажах повести; но эти живые черты заслоняются общими местами.

Как свежо звучит тот эпизод, где Катюша по-юношески жизнерадостно рассказывает любимому деду, старому сапожнику, прозванному Шпандырем, что при посещении соседней фабрики она очень скучала без привычного ей с детства запаха кожи («Воздух там пресный какой-то...»). Но тотчас после этого автор даёт читателю, ещё не забывшему правдивую ценку, описание «производственного» разговора новобрачной Катюши с Денисом — почти пародийное изображение молодожёнов-передовиков.

Дед Шпандырь — единственный человек в повести, в котором живые черты заметно преобладают. Написан он с отличным знанием меткого народного языка и симпатией к герою. Но и здесь автор, теряя свойственное ему чувство юмора, заставляет деда, «окутанного сумраком лунной ночи», похожего «на виденне», пробираться в спальню внучки, чтобы, соблюдая величайшие предосторожности, «при широком ещё серпе луны» знакомить её с новым способом шлифовки каблука.

Катюша и дед живут в одном доме, они отлично могли бы поговорить на эту тему и днём и вечером. В такой искусственной таинственной обстановке нет ни малейшей естественности.

Описывая природу, П. Дудочкин часто увлекается словами и перестаёт видеть то, о чём пишет. Вот он рассказывает, как «под вечер... работницы смены собрались у ворот фабричного склада», чтобы пойти на работу

оборонительные работы. Дело происходит в конце зимы, ребятишки ещё играют в снежки: «С крыш торопливо прыгали капли талой воды, стучали о лёд, образовавшийся на панелях. Каждая капля долбила свой котлованчик, наполненный водой, он сверкал на солнце, как хрустальная рюмка, полная искристого вина...» Вместо вечера — здесь солнечный полдень. И вино в хрустальной рюмке перенесено, конечно, сюда из быта и словаря совсем других людей.

А вот описание звезды: «Она переливалась цветами радуги: то вспыхнет белым лучистым огнём, то сразу засветится зелё-

ным, потом станет оранжевой, красноватой, как многогранный камень-изумруд, у которого каждая грань горит своим светом». Изумруд спутан с бриллиантом, ему приписано многоцветное преломление света, — а ведь это зелёный, одного и вполне определённого цвета камень. Главное же — ни бриллиант, ни изумруд здесь П. Дудочкину не были нужны.

Языковых неточностей и небрежностей в повести много, хотя автор, как мы уже отметили, умеет местами писать точно, образно и свежо.

**Н. МУРАВИНА.**



### За научную биографию Фёдора Волкова

Сборник материалов, выпущенный недавно издательством Академии наук СССР, называется «Ф. Г. Волков и русский театр его времени». В нём собраны документы, заключающие в себе ряд новых сведений о замечательном деятеле русского театра и о состоянии русского театрального искусства в середине XVIII века.

Роль Фёдора Григорьевича Волкова в истории нашей культуры определяется тем, что его трудами, упорством и мастерством в России был создан театр как государственное национальное учреждение. Создание национального театра стоит в одном ряду с такими важнейшими событиями в истории нашей Родины, как выпуск первой русской газеты, основание Академии наук, открытие Московского университета. Все эти события были выражением огромных творческих сил русского народа, формирующегося в великую нацию. Огромную роль в строительстве национальной культуры в России сыграли выходцы из народной среды, из демократических слоёв населения. Одним из них был купеческий сын Фёдор Волков.

Деятельность Ф. Волкова явилась, по словам В. Белинского, блестящим «проблеском народного духа». В Ф. Волкове, как и в М. Ломоносове, великий критик-патриот увидел блестящее опровержение лживой и реакционной теории, утверждавшей, что народ вообще — и русский народ в частности — неспособен к творческой деятельности. «Какое нелепое, пошлое мне-

ние! — восклицал с негодованием В. Белинский. — Как! А этот гениальный рыбак, это дивное явление, которому мало равных в истории человечества?.. А этот сын купца, пасынок кожевенного заводчика, отец русского театра?»

Как «отец русского театра» вошёл Ф. Волков в историю нашей культуры. Это не значит, конечно, что до него в России театра не существовало. Были народные игрища, было яркое самобытное искусство скоморохов, был школьный театр, были попытки организовать профессиональный театр как государственное учреждение. Однако эти попытки оканчивались неудачами. Театр при дворе Алексея Михайловича имел закрытый, дворцовый характер, а театр, устроенный в Москве по приказу Петра I, хотя и был общедоступным, но не был русским: руководили им немцы, а репертуар состоял из переводов. Для основания русского национального театра нужно было организовать такой театр, который был бы не любительским, а профессиональным, не придворным, а общедоступным и притом постоянно действующим. А главное, нужно было, чтобы этот театр имел свой национальный репертуар, чтобы он, обогатившись новейшими достижениями западноевропейского театрального искусства, сохранил живую связь с самобытным театральным искусством своего народа. Начало такому театру было положено Ф. Волковым и его группой.

Как организатор профессиональной актёрской труппы в Ярославле, как один из создателей и руководителей национального государственного общедоступного театра в

«Ф. Г. Волков и русский театр его времени». Сборник материалов. Издательство Академии наук СССР, 1953.

Петербурге, как «первый актёр» этого театра Ф. Волков является зачинателем новой эпохи в истории русского театрального искусства. В своём дальнейшем развитии русский театр опирался на традиции, им заложённые. «Волкову мы всем обязаны», — говорил знаменитый русский актёр Щепкин.

Однако, к сожалению, жизнь и деятельность гениального русского самородка известны нам лишь в самых общих чертах.

Многие важнейшие вопросы, возникающие даже при первом ознакомлении с жизнью человека, чьё имя является нашей национальной гордостью, не находят исчерпывающих ответов в работах, ему посвящённых. Так, например, мы знаем, что современники Ф. Волкова — Новиков, Фонвизин, Державин — с большим уважением отзывались о нём как о незаурядном деятеле, обладавшем исключительно глубокими и разносторонними знаниями. Однако неизвестно, где и какое образование получил Ф. Волков до того, как он организовал свою труппу и был вызван в Петербург. Читателю, заинтересованному судьбой своего великого соотечественника, естественно, хочется узнать, как родилась в Ф. Волкове любовь к театру, чей театральный опыт воспринял он, организуя свою труппу в Ярославле. Разноречивые и противоположные сведения получит он в ответ на этот вопрос из книг и статей о Ф. Волкове. Некоторые театроведы, ссылаясь на Я. Штелина, подчёркивают влияние на него немецкого театра, другие, опираясь на его биографию, составленную Новиковым, пишут о решающем значении для дальнейшей деятельности Ф. Волкова посещения им итальянского театра, третьи обращают внимание на школьный и городской демократический театр как наиболее естественную почву для возникновения театра Ф. Волкова.

Не узнает любопытствующий читатель, каков был первоначальный репертуар ярославского театра Ф. Волкова, чем занимался он после выступлений его труппы в Петербурге и до зачисления в Шляхетный корпус, то есть в 1753—1754 годах. Неясной останется для него роль Ф. Волкова в учреждении в 1756 году государственного общедоступного театра. Об облике Ф. Волкова как актёра читателю сообщат лишь, что, по словам Я. Штелина, у Ф. Волкова был бешеный темперамент и он с равной силой играл трагические и комические роли, а по словам Новикова, игра его «была только что

природная и не весьма украшенная искусством» и что, следовательно, Ф. Волков как артист не укладывается в каноны классицизма.

Дальше читателя ожидают ещё большие разочарования. С волнением прочтает он песню Ф. Волкова о златом веке человечества, в которой звучит заветная народная мечта о счастливой, свободной, зажиточной жизни, о всеобщем равенстве и братстве:

Землю в части тогда не делили,  
Ни раздоров, ни войны не знали.  
Не гордились и не унижались,  
Были все равны и благородны.  
Все свободны, все были богаты,  
Все служили, все повелевали.

Не только высокие, истинно человеческие идеи этих строк, но и их необычайно чистый и ясный для того времени язык поразят воображение читателя. Перед ним встанет образ человека, беспрельдно любящего свой народ, живущего его чаяниями и надеждами. Но тут же автор соответствующего труда хладнокровно сообщит, что ещё неизвестно, принадлежит ли эта песня перу Ф. Волкова, так как документально его авторство не подтверждается.

В книгах о Ф. Волкове читатель обратит внимание на слова Фонвизина, который, назвав великого русского артиста «мужем глубокого разума», заметил, что он «мог бы быть человеком государственным». Что послужило основанием для такого предположения Фонвизина? Некоторый свет на это проливают записки А. Тургенева, в которых мы читаем: «При Екатерине первый секретный, не многим известный деловой человек был актёр Фёдор Волков, может быть первый основатель всего величия императрицы. Он во время переворота и восшествия её на трон действовал умом. Екатерина, воцарившись, предложила Фёдору Григорьевичу Волкову быть кабинет-министром её, возлагала на него орден Андрея Первозванного. Волков от всего отказался».

Выходец из купеческой среды, актёр (а мы знаем, с каким презрением относилось к актёрам дворянское общество) и вдруг... «основатель всего величия императрицы», которая ему предлагала один из высших постов при своём дворе! Пусть тут многое недостоверно, преувеличено. Однако само участие Ф. Волкова в дворцовом перевороте 1762 года не вызывает сомнений. Оно

подтверждается документами, так же как и пожалование Ф. Волкова и его брата Григория дворянским званием. Дело об этом было начато, но осталось нерешённым, возможно, именно потому, что Ф. Волков от дворянского звания отказывался. Все эти материалы должны побудить исследователей приложить все усилия к тому, чтобы окончательно выяснить роль Ф. Волкова в событиях 1762 года.

О дальнейшей судьбе Ф. Волкова мы знаем только, что, когда в 1763 году в Москве происходили коронационные торжества, ему было поручено организовать уличный маскарад «Торжествующая Минерва» и он придал этому маскараду характер народного карнавала, широко используя средства народных скоморошских игрищ, причём хоральные куплеты, исполнявшиеся на маскараде, не столько воспевали новую императрицу, сколько осмеивали пороки дворянского общества того времени. Известно также, что в первоначальное либретто маскарада, составлявшееся, конечно, не без ведома Волкова, был включён «Хор ко превратному свету» А. Сумарокова, где в очень резкой форме обличались крепостнические порядки в тогдашней России.

Одним из наиболее достоверных документов о Ф. Волкове является известный его портрет кисти художника А. П. Лосенко. С этого портрета на нас глядит обаятельное, юное, открытое лицо. Серьёзный, немного печальный взгляд. Губы подёрнуты загадочной усмешкой. И хочется спросить его: какая цель озаряла твою жизнь, кому ты хотел служить своим высоким искусством, какую роль ты сыграл в трагических происшествиях, возведших на русский престол Екатерину II, чего ждал ты от неё и почему отказывался от всех почестей и дворянского звания?

Эти и многие другие вопросы встанут перед читателем, заинтересовавшимся яркой и необычной судьбой основателя нашего театра. Но в книгах и статьях о Ф. Волкове он или не получит ответа на свои вопросы или ответы будут даны в форме предположений, не имеющих под собой документальной почвы. И тогда он, естественно, задаст вопрос, почему наши специалисты по истории русского театра так мало знают об «отце русского театра». Ответить на это, конечно, можно так: мы располагаем очень незначительным количеством документов и материалов, содержа-

щих в себе сведения о жизни и деятельности Ф. Волкова.

Всё это, конечно, верно. И очень возможно, что многие моменты биографии Ф. Волкова так и не удастся восстановить. Однако верно и то, что замечательная фигура основателя русского национального театра не привлекла ещё к себе того внимания, которое она заслуживает. Достаточно сказать, что советскими театроведами написано о нём лишь около десятка статей и всего только две научно-популярные книжки, вышедшие в 1937 и 1938 годах и во многом сейчас устаревшие. Большинство этих работ появилось в связи с 175-летием со дня смерти Ф. Волкова и 200-летием ярославского театра. Но минувшее недавно 225-летие со дня рождения Ф. Волкова не было отмечено появлением новых посвящённых ему книг, статей или исследований.

Что же касается скудости документальных данных о Ф. Волкове, то одна из задач наших театроведов и заключается в том, чтобы расширять круг известных документов, находить новые. Можно сказать с полной уверенностью, что документы и материалы, относящиеся к жизни и деятельности Ф. Волкова, выявлены далеко ещё не полностью. Убедительным доказательством этого служит сборник «Ф. Г. Волков и русский театр его времени». Составителями его были просмотрены фонды 19 хранилищ Советского Союза. И результаты оправдали эту большую и кропотливую работу. Было обнаружено свыше 350 рукописных документов и более 100 иллюстраций, расширяющих наши сведения о Ф. Волкове и русском театре середины XVIII века.

В самом сборнике помещены только наиболее важные из этих документов. Кроме того, в нём перепечатан ряд документов из изданий, давно ставших библиографической редкостью. Материалы сборника распределены по тематическим разделам. В первых двух разделах собраны документы о ранних годах жизни Ф. Волкова и о заводах его отца Полушкина, перешедших после его смерти к братьям Волковым. В третьем и четвёртом разделах даются документы о частных городских демократических театрах в Москве, Петербурге и Ярославле и о кадетском театре Шляхетного корпуса. Пятый раздел составляют документы о вызове ярославского театра Ф. Волкова ко двору и о первых спектаклях его труппы в Царском селе и в Петербурге. Шестой раз-

дел посвящён обучению Ф. Волкова и его брата Григория, а также Дмитревского и Попова в Шляхетном кадетском корпусе. В седьмом разделе приводятся документы об учреждении и начале деятельности первого русского профессионального театра. В восьмой раздел вошли три документа, отражающие деятельность московского профессионального театра в первые годы его существования. В девятом разделе мы находим документы об устройстве Ф. Волковым маскарада «Торжествующая Минерва».

В приложениях к сборнику опубликованы произведения, которые, по свидетельству Новикова, были написаны Ф. Волковым. В приложениях даны также хоры к маскараду «Торжествующая Минерва» и его описание, тексты ролей, иггранных Ф. Волковым, его биография, написанная Новиковым, и таблицы спектаклей, шедших в Москве в годы пребывания в ней Ф. Волкова, и русских спектаклей в Петербурге и Москве в 1756—1763 годах. Сборник заканчивается перечнем выявленных и собранных, но не опубликованных в нём документов и библиографией по теме сборника.

Документы, найденные и опубликованные составителями сборника, дают ряд новых интересных сведений о Ф. Волкове и помогают прояснить некоторые вопросы, связанные с его жизнью и деятельностью. Так, например, в одном из этих документов содержится новые данные о годе рождения Ф. Волкова. До сих пор было принято считать, что он родился в 1729 году. Эта дата стояла на портрете Ф. Волкова, выгравированном его другом Е. Чесесовым в 1763 году. С тех пор она повторялась во всех работах по истории русского театра. Только П. Сумароков в статье «О российском театре» указал, что Ф. Волков родился в 1728 году. Публикуемая в сборнике выдержка из Костромской переписной книги подтверждает сведения, сообщённые П. Сумароковым. В ней сказано, что в 1744 году Фёдору Волкову было 16 лет, то есть, что он родился в 1728 году.

Новые сведения сообщаются в сборнике и об образовании, полученном Ф. Волковым. В доношении ярославского магистрата главному магистрату о просьбе отчима Волкова Ф. Полушкина перевести его пасынков в ярославское купечество приводятся слова самого Полушкина о том, что он «своих пасынков, «не щадя собственного своего капитала, содержа для обучения их при доме на

своём коште учителей, и обучал грамоте, и писать, и другим наукам, також заводским произвождениям и купечеству». Таково было образование, полученное Ф. Волковым дома. После этого он пополнял свои знания в каком-то московском учебном заведении. В выдержке из отчёта братьев Волковых о работе их заводов в 1739—1749 годах мы читаем, что, по свидетельству самого Ф. Волкова, «при заводах он, Волков, с 741 году по 748 год не был, а находился в Москве в науках». Выдержка эта представляет большой интерес не только потому, что она проливает новый свет на вопрос о том, какое образование получил Ф. Волков до своего зачисления в кадетский корпус, но также и потому, что она даёт возможность судить о том, откуда он черпал свои театральные впечатления. Спектакли гастролировавших в Москве в эти годы итальянских, французских и немецких трупп, постановки в театре при госпитале в Лефортове, представления, дававшиеся учащимися Московской славяно-греко-латинской академии, а главное — сатирической комедии и инсценировки светских повестей, исполнявшиеся в общедоступных театрах, организуемых московскими разночинцами, — всё это могло составлять ту почву, на которой росли и развивались театральные вкусы и интересы будущего создателя театра в Ярославле. О широком распространении в Москве в годы пребывания в ней Ф. Волкова демократических любительских театров свидетельствует ряд документов, помещённых в третьем разделе сборника. А в приложениях к нему дан репертуар московского театра этого времени.

О том, каковы были театральные вкусы Ф. Волкова, можно судить и по прошению его в канцелярию кадетского корпуса о выдаче денег на расходы. Он заявляет там, что ему «для научения трагедии надлежит ходить на немецкую комедию в каждой неделе по три раза». Прошение было написано в апреле 1754 года, и поэтому речь в нём идёт не о немецких артистах, которые играли в это время в Риге, а о помещении немецкой комедии, где выступала, наверно, какая-нибудь частная русская труппа. Следовательно, Ф. Волков с первых же дней своего пребывания в корпусе продолжал «для научения трагедии» изучать родное театральное искусство.

Более точные сведения получаем мы из публикуемых документов о вызове труппы

Ф. Волкова в столицу. Оказывается, ярославцы сначала были направлены в Царское село и выступали там перед императрицей в конце января 1762 года. Лишь после этого состоялись их спектакли в Петербурге. Некоторые из найденных составителями сборника документов дают основание утверждать, что в 1753—1754 годах Ф. Волков и его брат Григорий играли на сценах московских театров. Иначе нельзя объяснить, почему свои первые же прошения в канцелярию Шляхетного корпуса они подписывали — «московския комедианты Фёдор Волков, Григорий Волков», а также почему в документах канцелярии они именуются московскими комедиантами, в отличие от ярославских комедиантов Дмитревского и Попова.

В сборнике опубликован ряд не известных до сих пор документов о пожаловании Ф. Волкову и его брату Григорию дворянства и об организации Ф. Волковым маскарада «Торжествующая Минерва». Существенно новых сведений они не содержат, но дают более ясное представление о том, что представлял собой маскарад и какую роль играл в нём Волков. И, наконец, в примечании к документу о выдаче денег на похороны Ф. Волкова приводится выдержка из письма А. А. Марина к Л. М. Жемчужникову, где говорится, что Ф. Волков был похоронен в ограде Благовещенского собора в Петербурге, а не в Андроньевском монастыре в Москве, как до сих пор считали, основываясь на словах Новикова.

Таковы те наиболее важные новые сведения о Ф. Волкове, которые мы можем почерпнуть из сборника. В нём даются и другие, менее значительные сведения, например, о заводах Полушкина — Волковых, о родословной Ф. Волкова, о его успеваемости в корпусе и т. д. В общем, надо сказать, что сборник вносит много нового и ценного в изучение жизни и деятельности «отца русского театра». Если бы он был только сборником новых документов о Ф. Волкове и театре его времени, то у нас вряд ли возникли бы какие-либо претензии к его составителям. Но дело в том, что в нём (как мы уже сообщали) перепечатываются и некоторые документы, хорошо известные исследователям. Для чего это делается? Во-первых, как говорят составители, «в связи с тем, что издания, в которых они публиковались, стали библиографической редкостью». И, во-вторых, что самое главное, по-

тому, что составители, как они заявляют в предисловии к сборнику, ставили перед собой задачу «создания широкой документальной базы для изучения жизни и деятельности великого артиста и организатора первого русского постоянного профессионального театра Ф. Г. Волкова».

В свете этой задачи сборник вызывает ряд недоумений и критических замечаний. Хотя он и является самым полным собранием документов о Ф. Волкове, но всё же материал его не настолько богат, чтобы явиться широкой документальной базой для изучения жизни и деятельности Ф. Волкова. Самый принцип отбора материала не совсем понятен. Почему в нём, например, перепечатывается биография Ф. Волкова из «Опыта исторического словаря о российских писателях» Новикова, который был недавно опубликован в собрании его сочинений? Почему в то же время в сборнике не даются относящиеся к Ф. Волкову выдержки из работ Я. Штелина и П. Сумарокова? Почему не приводится в нём то интересное сообщение А. Тургенева об участии Ф. Волкова в дворцовом перевороте 1762 года, о котором мы уже говорили? Ведь и книга Я. Штелина, вышедшая в Риге в 1762 году, и статья П. Сумарокова, напечатанная в «Русской Талии» в 1825 году, и даже «Записки» А. М. Тургенева, появившиеся в 1887 году в «Русской старине», являются сейчас библиографической редкостью. А человек, изучающий жизнь и деятельность основателя русского национального театра, не обойдётся без того, чтобы обратиться к этим, да и ко многим другим материалам и документам.

Ещё более неясен принцип отбора документов, характеризующих состояние русского театра середины XVIII века. Понятен лишь подбор документов в разделе «Партикулярные театры». В нём довольно полно представлены те документы, которые свидетельствуют о широком распространении городских любительских театров в русских столицах в сороковых — пятидесятых годах XVIII века. Раздел «Кадетский театр» представляет интерес тем, что он сплошь состоит из документов, ранее не публиковавшихся. Что же касается разделов о русском театре в Петербурге и Москве, то, хотя в них наряду с не известными до сих пор документами перепечатывается много документов, уже публиковавшихся, эти разделы не могут всё же дать сколько-ни-

будь полную картину петербургского и московского театров в первые годы их существования. В разделе о московском театре помещены, например, всего лишь три небольших документа, несмотря на то, что их известно гораздо больше.

Таким образом, ценность сборника определяется не столько тем, что он является наиболее богатым собранием документов о Ф. Волкове и театре его времени, сколько тем, что новые материалы, в нём опубликованные, помогают решить некоторые вопросы биографии великого театрального деятеля России. Точно так же ценность вступительной статьи «Ф. Г. Волков и русский театр его времени», написанной В. Н. Всеволодским-Гернгроссом, заключается не в полноте освещения темы, а в том, что она вводит в научный обиход новые документы и материалы, а также в том, что характеристику Ф. Волкова автор строит на точных данных, не прибегая к произвольным вымыслам и догадкам. Он строго ограничивает круг привлекаемого материала. Порой, пожалуй, даже чересчур строго. Так, например, он отбрасывает ряд сведений о Ф. Волкове, которые сообщил Новиков, — о поездке Волкова в 1746 году в Петербург по делам отчима, во время которой он познакомился с находившимся тогда в русской столице итальянским театром, и поездке его в 1759 году в Москву «для учреждения там Российского театра». Поездку Ф. Волкова в Москву В. Н. Всеволодский-Гернгросс считает сомнительной, поскольку в Москве уже за два года до этого театр был учреждён университетом. Однако известно, что в 1759 году в Москве существовало два театра: театр университета, недоступный для широких кругов зрителей, и публичный театр Локателли, где выступала итальянская оперная труппа. Значит, публичного русского театра там фактически ещё не было. Поэтому нет ничего удивительного в том, что «первый комедиант Российского театра» Ф. Волков был послан в Москву для того, чтобы, использовав оба уже существовавших там театра, организовать русский публичный театр по примеру петербургского. Новиков сообщает, что Волков вернулся в Петербург, русский театр «установя совершенно». И действительно, в 1760 году университетский театр слился с театром Локателли, и Москва получила свой общедоступный русский театр.

По поводу поездок Ф. Волкова в Петербург и в Москву В. Н. Всеволодский-Гернгросс говорит, что они не подтверждаются документами. Но ведь известные нам документы и не опровергают этих сведений. Кроме того, биография Ф. Волкова из исторического словаря Новикова (современника Волкова) сама по себе является документом и может быть использована в той степени, в какой факты, в ней изложенные, не противоречат другим документальным сведениям. Произвольное отбрасывание данных этой биографии и некоторых других материалов оскудняет характеристику Ф. Волкова, в которой и без того много пробелов.

Статья В. Н. Всеволодского-Гернгросса начинается с краткого обзора литературы о Ф. Волкове. Он полезен, но неполон. В нём не упоминается даже книга М. Лучанского «Ф. Волков» (М., 1937)—одна из двух книг, написанных о Волкове советскими театроведами. Иногда автор не указывает на существенные недостатки некоторых работ. Так, например, о статье Н. Парийского «Творческий путь Ф. Г. Волкова» («Труды Ярославского пединститута», 1929, т. III, вып. I) не отмечено, что она написана с вульгарно-социологических позиций.

Статья В. Н. Всеволодского-Гернгросса в основном правильно рисует творческий и политический облик основателя русского национального театра. Но всё же ряд вопросов, связанных с его жизнью и деятельностью, несмотря на большое количество новых документов, остаётся нерешённым или решается лишь в самой общей форме.

Большое, трудное и нужное дело сделали составители сборника «Ф. Г. Волков и русский театр его времени». Но с его выходом дальнейшие разыскания не только не могут быть прекращены, но, наоборот, они должны усиливаться, ибо появление сборника говорит за то, что при желании, труде и умении можно найти ещё много материалов, которые пополнят наше представление о замечательном актёре, которому Россия обязана началом своего национального театра. И пусть перед глазами исследователей стоит советский читатель, кровно заинтересованный в том, чтобы как можно больше узнать о своём великом соотечественнике. Этот читатель должен наконец получить подробную, интересную, научную биографию Фёдора Волкова.

**М. КОЗЬМИН.**

## Пьер Гамарра и его роман «Розали Брусс»

В 1942 году двадцатитрёхлетний учитель Пьер Гамарра впервые выступил в печати как один из поэтов французского Сопротивления. В 1948—1954 годах были изданы две книги его стихов, пять романов, повесть и сборник рассказов. Этот глубоко демократический писатель с большой чуткостью, с пленительной чистосердечностью выражает чувства, близкие миллионам людей, и в своих лирических стихах и в своих прозаических произведениях (почти для всех них также характерен лиризм). Сюжеты романов и повести П. Гамарра связаны с важнейшими проблемами национальной жизни; действие их происходит в рабочем квартале Тулузы, в доме, населённом простыми людьми Парижа, в домиках крестьян. В творчестве П. Гамарра жизнеутверждающе звучит тема борьбы за мир и независимость родины. Десятки тысяч людей выходят на улицы Парижа, чтобы гневно сказать «Нет!» организаторам «европейской армии»; писатель узнаёт в этих людях потомков парижан, штурмовавших Бастилию («Сирень Сен-Лазара»). Он изображает новые черты в тружениках, воспитанных Коммунистической партией, способных руководить борьбой масс и глубоко понимать подлинные интересы родной страны («Дети нищеты»)<sup>1</sup>. В книгах П. Гамарра много рассказывается о детях простых людей. Мысль о детях неотделима от мысли о будущем: дети — будущее Франции, и народ должен добиться того, чтобы они жили в таком мире, где «не будут рокотать самолёты, выскивая, подобно ястребам, беззащитные гнёзда» («Дети нищеты»).

П. Гамарра в каждой из своих книг обращается к судьбам самых забытых, запуганных, политически отсталых тружеников; и они (подобно прачке Анжель в романе «Дети нищеты») встают в наши дни на защиту большого мира, потому что их охватывает тревога за будущее своего малого мира, своего счастья, тревога за жизнь своих детей.

С братской любовью изображая тружеников города и деревни, рассказывая о росте их сознания, П. Гамарра вместе с тем трезво оценивает и черты отсталости

в деревенской среде и мешанский индивидуализм у части трудящихся города («Сирень Сен-Лазара», «Розали Брусс»). Это критическое начало, подобное подводному течению в неторопливом потоке прозы П. Гамарра, как бы исподволь воздействует на сознание читателя. П. Гамарра, тесно связанный с рабочим классом Франции, стремится помочь ему в его борьбе за единство всех трудящихся людей.

Критика всех черт буржуазности и отсталости в психологии и быту трудящихся у П. Гамарра полемически противостоит изображению буржуазной литературой рабочих, крестьян, ремесленников, служащих как «маленьких людей», не разбирающихся в том, что происходит вокруг, не понимающих самих себя и живущих лишь инстинктами. Такой способ изображения тружеников нашему писателю враждебен. Он сам объяснил в своей статье о «Жатве» Николаевой, в чём он видит коренной порок буржуазных романов о крестьянах: жизнь деревни изображается в них вне связи с общенациональной жизнью, индивидуальные психологические черты не связываются с социальными, историческими проблемами. В другом своём высказывании П. Гамарра справедливо обвинил реакционных писателей в склонности эстетизировать уродливость «кидотизма» деревенской жизни при капитализме; наиболее отчётливо это стремление проявилось в книгах таких французских литераторов, как предатель Жионо (для него это уродство есть не только нечто вечное и неизбежное, но и «идеал»).

Роман П. Гамарра «Розали Брусс» французская прогрессивная критика признала одним из лучших произведений 1953 года. В этой небольшой по объёму книге писатель рассказал о жизни четырёх поколений одной семьи простых людей — с 1860 года по 1944 год. В лучших главах писатель искусно сочетает лаконизм с эпическим тоном повествования, который подчёркивает значительность изображённой в «Розали Брусс» истории «частной жизни» угнетённых тружеников деревни и города. Каждая страница художественной летописи, написанной П. Гамарра, показывает подлинно человеческую ценность труженика, в кото-

Pierre Gamarra. „Rosale Brousse“. Roman. „Les Editions Français Réunis“, Paris, 1953. (Пьер Гамарра. «Розали Брусс». Роман. «Объединение французских издателей», Париж, 1953.)

<sup>1</sup> Этот роман вышел на русском языке в Издательстве иностранной литературы.



ром господствующие классы видят только рабочую силу и пушечное мясо. И каждая страница книги показывает, что, борясь за своё счастье в одиночку, трудовые люди терпят поражение — либо гибнут, либо сблизчиваются и существуют действительно лишь как покорная «рабочая сила».

В первых главах романа писатель рассказывает о горестном уделе крестьянина Антуана Брусса. Издольная система аренды (сохранявшаяся до нашего времени в бассейне Гаронны, где происходит действие романа) является формой жесточайшей, кабальной эксплуатации крестьян землевладельцами. Взяв в аренду большой участок земли, Антуан работает не покладая рук, но он так же беден, как и раньше, когда был батраком. После смерти жены Антуан снова становится батраком. Через несколько лет он уходит со своей дочкой Розали на то суровое, «дикое» плато, где некогда жил его отец, Пьер Брусс, бежавший оттуда, чтобы не идти в наполеоновскую армию. Отдав накопленные гроши за развалины отцовской каменной лачуги и клочок заброшенной земли, Антуан, недоедая, без передышки, яростно работает на полях других крестьян, чтобы отстроить себе дом, скупить соседние заброшенные участки, победить злую судьбу, пустить корни в землю, обеспечить дочь.

Непосильная работа сломила Антуана, он тяжело заболел. Всё более ослабевая, он размышляет о труде, который его отец и он сам вложили в землю. Перед смертью он видит в бреду то, о чём страстно мечтал: повсюду, даже на скалах, растут хлеба...

Роман Пьера Гамарра полон горечи, но пессимизма в нём нет. Отказываясь от слащавой идеализации бедняка-крестьянина, писатель вместе с тем видит в упорном, самозабвенном труде Антуана частицу бессмертной энергии народа, которая в других общественных условиях будет творить чудеса.

М. Горький обвинял идеологов и моралистов господствующих классов в том, что они убивают в «маленьких» людях «сознание человеческого достоинства, сознание значительности «маленьких» в мире». П. Гамарра, писатель, близкий народу, показывает, что обездоленный крестьянин Антуан полон человеческого достоинства — не чувствует себя «маленьким» человеком.

По-иному складываются и жизнь и пси-

хология дочери Антуана — Розали. Её страшит трудная крестьянская жизнь. Она уговаривает своего мужа, Анри Брусса, поселиться в Тулузе. Они становятся слугами в доме рантье. Потом Анри идёт на железную дорогу чернорабочим.

У семьи Брусс появляется новый друг — старик-столяр по прозвищу Карамель<sup>1</sup>. П. Гамарра создал привлекательный образ французского мастерового, оптимиста, исельчака, ценящего своё ремесло как искусство, гордящегося тем, что он современник Парижской Коммуны. Когда Карамель с энтузиазмом поёт песни Парижской Коммуны и «Интернационал», когда он торжественно говорит о самом главном — о необходимости единства рабочих, читатель видит, в чём источник его нравственной силы. Но Анри Брусс равнодушно слушает Карамеля — «столяр говорил на языке другого мира». Розали, главная в семье, страшится этого «другого», большого мира: она страстно желает построить свой, малый мир, «выйти в люди». Для этого Анри должен дослужиться до пенсии, не ввязываясь в забастовки, безропотно повинаясь хозяевам. Розали настойчиво ограждает своего мужа и своего сына Пьера от влияния Карамеля и его друзей, от всего, что враждебно духу смирения, покорности.

Всё содержание второй половины романа, логика развития образов Розали, её мужа, сына разоблачают путь смирения как ложный путь, на котором трудящиеся становятся бессильными рабами. Несомненно, что разоблачение трусливого индивидуализма, превращающего людей в «рабов жизни» (М. Горький), является одной из важнейших задач прогрессивной французской литературы: ведь вожаки правых социалистов, профсоюзной организации «Форс увриер» пытаются насаждать в среде трудящихся дух смирения, неверия в силы рабочего класса.

Розали добивается своего: она «потихоньку» построила «свой мир». «Она почувствовала спокойствие и беззаботность. Пусть ветер и дождь обрушиваются на её домик! Ей казалось, что теперь бояться нечего». Но за часы спокойствия Розали заплатила десятилетиями трепета перед хозяевами. Вся её «благополучная» жизнь необычайно монотонна и бескрасочна, кругозор Розали ничтожно мал, она совер-

<sup>1</sup> Caramel — народный музыкальный инструмент.

шает ежедневный круг своих действий почти как автомат. Огромную настойчивость, цепкость проявила эта простая женщина, создавая «свой мир». Но мало, слишком мало радости выпало на её долю, с горечью признаётся Розали: она словно и не жила.

Свить гнездо на родной земле и радостно трудиться — вот к чему стремились четыре поколения семьи Брусс. Но отец Антуана, Пьер Брусс, покинул свой дом и бежал вглубь лесов. Бесплодными были усилия Антуана. Человек третьего поколения — Розали — обрекла себя и своего сына Пьера на жалкое существование. И только внук Розали, Роже, пошёл по новому пути. Когда гитлеровцы оккупировали Фрацию, Роже, студент медицинского факультета, присоединился к партизанам и стал врачом в отряде, который скрывался на том плато, где родился Антуан. Здесь, среди новых, смелых людей, борющихся за счастье народа, за мир, Роже думает: рад был бы прапрадед, старый Пьер, узнав, что его дом пригодился этим людям! Молодой партизан думает и о том, что недаром трудился его дед Антуан, подымая дом из развалин: в нём Роже спасает от смерти своих раненых товарищей — парижанина и испанца. Роже стал подлинным хозяином земли своих предков. А в кустах, которыми заросла эта земля, притаились партизаны, мужественные и бдительные товарищи Роже — крестьяне, рабочие, учителя: враг не захватит их врасплох!

Так в конце романа вновь возникает и торжественно звучит жизнеутверждающая тема национальной и интернациональной борьбы за свободу и мир, прежде связан-

ная с образом столяра Карамеля, наследника Парижской Коммуны. Роже, внук Розали Брусс, изображён в романе как потомок давным-давно умершего Карамеля; в наше время даже из душевного, тесного гнезда Розали, в котором царил дух отсталости и смирения, вылетел вольнолюбивый птенец.

Нельзя не пожалеть, что мотив, связанный с образом Карамеля, после смерти этого героя недостаточно развит в романе; в нём несколько приглушена тема исторической преемственности поколений борцов за свободу, за право французского народа на родную землю, на мирный труд. Как ни сильны были удары, нанесённые реакцией французскому освободительному движению после Коммуны, как ни труден был путь подлинного демократа и, тем более, революционера во Франции начала XX века, народная борьба не прерывалась ни на один год, а после Великой Октябрьской социалистической революции и образования Французской коммунистической партии она приобрела новое качество, получила несравненный с прежними десятилетиями размах. Современные борцы за свободу Франции и возглавляющая французское демократическое движение компартия вписали много славных страниц в историю своей страны.

Если бы писатель уделил больше внимания теме борьбы за свободу, он почувствовал бы, что необходимо сделать завершённым образ Роже, с которым эта тема входит в историю семьи Брусс и который лишь эскизно намечен в конце книги.

Я. ФРИД.

★

### Политика и наука

## Очерк истории Великой Отечественной войны

Скоро исполнится девять лет, как прогремел последний салют, которым столица нашей Родины ознаменовала великую победу советского народа. Страна залечила раны, нанесённые полчищами интервентов. Поднялись из руин города и сёла. Полностью восстановлена и далеко перешагнула довоенный уровень социалистическая промышленность. Заровнялись поля, изрытые траншеями.

Но в нашей памяти ещё долго будут жить воспоминания о героических днях, и каждая новая работа о Великой Отечественной войне всегда будет привлекать внимание советских людей.

Но в нашей памяти ещё долго будут жить воспоминания о героических днях, и каждая новая работа о Великой Отечественной войне всегда будет привлекать внимание советских людей.

Придёт время, когда историки напишут обстоятельные труды, посвящённые этому важнейшему периоду в жизни нашего го-

Ф. Д. Воробьёв и В. М. Кравцов. «Победа Советских Вооружённых Сил в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (краткий очерк)». Воениздат, 1953.

сударства, но уже сейчас назрела потребность в обобщающем очерке, который представил бы в совокупности начало, ход, развитие и завершение войны.

Книга полковников Ф. Д. Воробьёва и В. М. Кравцова «Победы Советских Вооружённых Сил в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» является первым опытом такого обобщения. Подобная работа нужна не только широким кругам «военных читателей», как указывают в предисловии авторы, она необходима преподавателям истории в школах и высших учебных заведениях, её с интересом прочтут советские люди и наши друзья за рубежом.

Основное содержание книги — простой, не претендующий на глубокое исследование рассказ о том, как сражались и побеждали советские войска в годы Великой Отечественной войны. Авторы поставили перед собой задачу — «дать краткое последовательное описание войны... показать решающую роль Советских Вооружённых Сил в деле разгрома фашистской Германии и империалистической Японии и вскрыть причины, обусловившие победы Советской Армии».

Книга состоит из пяти частей и завершается небольшим разделом, раскрывающим всемирно-историческое значение побед Советской Армии. В первой части показана роль СССР как защитника дела мира и безопасности народов и дано описание подготовки фашистской агрессии против Советского Союза. В остальных частях материал излагается соответственно основным этапам Великой Отечественной войны: с июня 1941 года до середины ноября 1942 года; затем следует второй период, который начался в середине ноября 1942 года контрнаступлением советских войск под Сталинградом и продолжался до конца 1943 года; далее идёт описание операций 1944 года, когда врагу были нанесены знаменитые десять сокрушающих ударов, и, наконец, — четвёртый период, связанный с окончательным разгромом немецко-фашистских вооружённых сил, полной и безоговорочной капитуляцией фашистской Германии, а вскоре и Японии.

Говоря о подготовке фашистской агрессии, авторы убедительно показывают, как реакционные круги США, Англии и Франции, не жалея сил и средств, помогали германским милитаристам, поощряя их к войне против Советского Союза. «Воз-

рождение германской тяжёлой промышленности,— говорится в книге,— и создание мощной военной индустрии, способной производить в огромных количествах самое различное вооружение новейших типов, стало возможным благодаря широкому финансированию со стороны империалистов Соединённых Штатов Америки и Англии».

В то время, как империалистические державы готовили мировое побоище, Советский Союз боролся за поддержание и сохранение мира, являясь так же, как и сейчас, оплотом и надеждой миролюбивых народов. Но, учитывая замыслы агрессоров, Коммунистическая партия и Советское правительство вели серьёзнейшую работу по укреплению обороноспособности СССР.

В книге показано, как в результате индустриализации страны у нас выросла мощная оборонная база, как перевооружалась и укреплялась Советская Армия. «Готовя страну и армию к отпору агрессии,— пишут авторы,— Коммунистическая партия и Советское правительство рассматривали оборону нашего государства не как пассивное отражение вражеского удара, а как сокрушительный отпор с перенесением войны на территорию противника с целью полного его разгрома».

Исторические рамки книги — это не только сама война, развитие военных действий, но и обзор событий, непосредственно ей предшествовавших. Хорошо описаны авторами подготовка и развязывание мировой войны в 1939—1940 годах, стратегические трюки фашистских заправил, «победоносные» марши по Европе гитлеровских полков, манёвры нацистского командования, готовившего себе тылы для нападения на СССР.

Хочется, однако, отметить, что, при правильном композиционном строении книги в целом, первая её часть имеет неправильную структуру, хотя бы по одному тому, что нельзя под общим наименованием объединять подготовку агрессии против Советского Союза и подготовку СССР к отражению агрессии.

Не следовало бы также отделять первую главу — «Подготовка империалистов к нападению на Советский Союз» — от третьей главы — «Подготовка немецкими фашистами войны против СССР», так как совершенно очевидно, что они представляют органически одно целое.

Вообще надо сказать, что в заголовках глав и разделов, в названиях схем авторы ошибочно исходят от действий гитлеровских вооружённых сил, как, например, «Третье наступление немецко-фашистских войск на Севастополь», «Срыв немецко-фашистских планов наступлений» и т. д. К сожалению, на многих схемах недостаточно отчётливо представлены срыв и провал немецкого наступления.

Будучи военно-историческим очерком, книга должна в какой-то степени носить характер произведения, отражающего специфику военного дела. Авторам удалось придать книге именно этот характер, отразить, хотя и недостаточно, основные черты советского военного искусства.

Рассказывая о первом периоде войны, Ф. Воробьёв и В. Кравцов показывают, как Советская Армия опрокинула гитлеровскую стратегию «блицкрига» и создала предпосылки для перехода к широким наступательным действиям. Общеизвестно, что центральным событием тогда были битва под Москвой и битва под Сталинградом. Тем не менее в книге им отведено лишь около одной пятой текста второй части.

Характеризуя военную сторону таких сражений, как Московское и Сталинградское, Ф. Воробьёв и В. Кравцов очень скупо отмечают черты военного искусства Советского командования. Так, например, говоря о сосредоточении стратегических резервов под Москвой, они правильно подмечают, что исходные районы для таких резервов определялись на флангах вклинившихся немецких группировок. Но ведь в этом решении и был заложен редко встречающийся в истории военного дела смелый, искусный контрхватающий манёвр. На это следовало обратить внимание читателей.

Неполно, к сожалению, охарактеризовано также и существо стратегического и тактического планов Сталинградского сражения, разработанных Командованием Советских Вооружённых Сил.

Для второго периода наиболее важными явились контрнаступление под Сталинградом и контрнаступление под Курском. Авторы лучше спланировали свой рассказ об этом как по изложению, так и по объёму. Однако и здесь хотелось бы найти более полное освещение вопросов военной теории.

В книге надо было подчеркнуть, что под Сталинградом гитлеровцы были побиты

именно тем способом (окружение), монопольным обладателем которого они считали только себя.

Касаясь исторической части повествования о событиях, известных под названием десяти ударов, можно отметить, что авторы дали всё необходимое. Но вот в отношении анализа особенностей военного искусства, присущих каждой операции, они ограничились только общими замечаниями о быстроте действий, высоких темпах и прочем. Известно, что, например, январское наступление под Ленинградом (первый удар) происходило в условиях преодоления мощных укреплений, причём в лесисто-болотистой местности. Второй удар — наступление первого и второго Украинских фронтов, — проведённый на Украине, в зимнюю распутицу января — марта 1944 года, требовал иного характера вождения войск, осуществлявших сложнейшие манёвры, например, в период «нового Сталинграда», каким была Корсунь-Шевченковская операция. Такие отличительные черты и следовало бы выявить при описании каждого удара.

Материалы, относящиеся к завершённому разгрому гитлеровской Германии, а затем империалистической Японии, даны в двух главах последней части.

Авторы, в общем, правильно излагают общеполитическую обстановку, сложившуюся к началу 1945 года. Однако в определении настроения гитлеровских солдат и офицеров они, на наш взгляд, не совсем правы, когда считают основной причиной ожесточённого сопротивления гитлеровских войск — страх перед ответственностью за совершённые злодеяния и жестокие репрессии внутри армии. Следует учитывать, что к этому времени среди части офицеров могла сказаться американская пропаганда о необходимости сдачи только союзным войскам, равно как и уверения приспешников Гитлера о возможности остановить наступление советских войск в надежде на раскол антигитлеровской коалиции. Нельзя забывать и о значении шовинистического и националистического угара, десятками лет распространявшегося среди немецкой воишинины.

Глава, посвящённая войне против Японии и событиям на Дальнем Востоке, перегружена сведениями, не имеющими непосредственной связи с темой. Кроме того, она весьма схематична и кратка. Недостаточно раскрыты в ней искусный план Со-

ветского командования и мастерское выполнение этого плана нашими войсками. Наступление через пустыни и горные хребты в самое неблагоприятное для манчжурского театра время года было образцовым.

Книга Ф. Д. Воробьёва и В. М. Кравцова написана доступным широкому читателю языком. Авторы немало потрудились, чтобы довольно сложные вопросы, связанные с чисто военной областью, сделать более общепонятными.

*Кандидат военных наук  
М. ГРЕЦОВ.*

★

### Энциклопедия современных знаний о Мировом океане

В начале марта этого года капитан-директор находившейся в водах Антарктики китобойной флотилии «Слава», действительный член Всесоюзного географического общества А. Н. Соляник, получил московскую почту. Вместе с многочисленной корреспонденцией здесь был и второй том Морского Атласа. В тот же день Соляник отправил в Москву радиограмму: он благодарил за эту посылку и отмечал, что Атлас является «не только великолепным справочным пособием», но и изданием, которое может быть «широко использовано в практике судовождения и в научно-исследовательской работе».

Примерно в то же время с содержанием Атласа ознакомились в Академии наук СССР, в Московском и Ленинградском университетах, во многих научно-исследовательских институтах. И всюду выход из печати второго тома Атласа встречался с неизменным удовлетворением, а его научный уровень и практическая ценность признавались исключительно высокими.

К оценке этого крупнейшего произведения советской науки специалисты подходили с различных точек зрения. Для экипажа флотилии «Слава», например, очень важным было то, что в Атласе даны обстоятельные карты распространения китообразных и ластоногих. Историки и географы были обрадованы тем, что в этом труде наглядно показаны история океанографических исследований и тот огромный вклад в географическую науку, который сделан нашими отечественными исследователями. Преподаватели физической географии полу-

чили в своё распоряжение прекрасное наглядное пособие. Внимание климатологов, как и капитанов дальнего плавания, очевидно, в первую очередь привлекут карты климатообразующих факторов и климатических элементов.

В предисловии к Атласу указывается, что он предназначен для широких кругов научных работников, офицеров Военно-Морских Сил и Советской Армии, капитанов и штурманов морского флота, для преподавателей и учащихся военно-морских училищ и других учебных заведений. Но безошибочно можно сказать, что контингент читателей, которые с пользой для себя обратятся к физико-географическому тому Атласа, будет значительно шире.

Создание Морского Атласа — это труд огромного коллектива. В нём приняли участие сотрудники Главной редакции Морского Атласа во главе с ответственным редактором профессором И. С. Исаковым, работники Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, Государственного океанографического института Гидрометеослужбы, Института океанологии Академии наук СССР и других научных учреждений.

Первый том Атласа — навигационно-географический — вышел в свет три года назад. На его листах скомпонованы карты и планы, на которых показаны характер морских берегов, глубины и навигационные опасности, основные средства навигационного оборудования, фарватеры и судоходные каналы, порты, рейды и якорные стоянки. Первый том содержит также имеющие навигационное значение сведения по гидрологии, характеристику главнейших портов мира и океанских путей между ними.

С выходом второго тома Морского Атласа советские люди получили новое фундаментальное произведение — энциклопедию современных знаний о Мировом океане и о нашей планете. На многочисленных красочных картах, графиках, схемах и диаграммах Атласа обобщены и наглядно представлены результаты многолетних и всесторонних исследований русских, советских и наиболее видных зарубежных учёных в области физической географии океанов и морей, а во многом также и всей поверхности Земли.

Во втором томе Атласа на 76 листах размещены 366 основных и дополнительных карт, 239 специальных и вспомогательных графиков, схем и планов. Содержание тома разбито по тематическому признаку на четыре раздела.

Первый раздел — «Важнейшие морские плавания и экспедиции» — является своеобразным введением. В нём даны сведения о роли отечественных мореплавателей и учёных в исследовании Мирового океана и его отдельных районов. На листах показано свыше 400 плаваний и экспедиций, проведённых с IX века и до наших дней. Здесь достойно отражены размах русских исследований и неоспоримый приоритет наших путешественников и учёных в ряде географических открытий.

Морские пути, пройденные нашими соотечественниками, пересекают центральную и южную часть Атлантического океана, районы Гавайских островов и Новой Зеландии; они подходят к островам Россияи в южной части Тихого океана и к побережью Аляски. Эти пути мы видим и у побережья Земли Франца-Иосифа в Ледовитом океане и у побережья Антарктиды. На одной из карт Атласа показаны важнейшие географические исследования, проведённые после Великой Октябрьской социалистической революции. Эти данные убедительно говорят о том, что советские моряки и учёные не только хранят, но и приумножают лучшие традиции русской географической науки.

Второй раздел Атласа посвящён основным отраслям океанографии. Здесь показаны рельеф дна океанов, основные характеристики берегов, температуры, солёности, плотности океанов и морей и водных масс Мирового океана, характер течений и приливов, а также приведены основные дан-

ные о животном и растительном мире океанов.

Не ставя перед собой цели рассказать о всех картах этого раздела и отсылая интересующихся его содержанием к оригиналу, остановимся лишь на рассмотрении некоторых листов, свидетельствующих о научной оригинальности и значимости картографических построений Атласа.

Интересны, например, диаграммы, на которых показаны размеры и соотношения площадей океанов и материков земного шара. Читатель увидит, что из 510 миллионов квадратных километров всей поверхности Земли на сушу приходится лишь 29,2 процента, а остальные 70,8 процента занимает вода. Характерным для всех приведённых здесь цифр является то, что они получены не путём механического переноса из других источников, а подсчитаны заново, причём, как это ни покажется странным, — впервые. Дело в том, что в большинстве атласов, учебников и монографий, издававшихся ранее, размеры площадей суши и поверхностей океанов исчислялись в различных границах (международных, законодательных или навигационных) и были почти не сопоставимы. Советские учёные приняли наиболее правильный признак районирования и определения границ и материков, и океанов, и морей — по их комплексным физико-географическим характеристикам. Если прежде подсчёты велись по многообразным картам и порознь для отдельных океанов и материков, то в Атласе это сделано по единой карте Мирового океана и математические результаты по каждому бассейну всесторонне согласованы между собой.

Таким же комплексным методом изучены и картографированы рельеф земной поверхности и рельеф дна Мирового океана. Задача составителей карт этой группы заключалась главным образом в выяснении закономерностей образования горных хребтов, подводных долин, впадин и приподнятостей, а также в критическом сопоставлении и проверке весьма разноречивых данных, указанных в специальной литературе.

Как известно, труды многих буржуазных учёных в этой области чаще всего посвящены исследованию преимущественно какой-либо одной проблемы. В Морском Атласе нет таких доминирующих направлений. Основной построения всех карт является мате-

реалистическое понимание единства формы земной поверхности и ложа океанов и единства причин, порождающих изменения рельефа суши и морского дна. Такой принцип изучения основных вопросов морфологии был применён впервые советской наукой и полностью оправдал себя.

Пользуясь этим методом, наши учёные научно обосновали, в частности, местоположение и характеристику африканско-антарктической поднятости, а также центрального подводного хребта в Индийском океане. Последующие измерения глубин в этих районах подтверждают достоверность выводов, сделанных составителями карт.

Большое значение имеет изучение явлений сейсмичности и вулканизма. Результаты научных трудов в этой области отражены на специальных картах Атласа.

По подсчётам учёных, на земном шаре ежегодно происходит одно-два катастрофических землетрясения, десять землетрясений, вызывающих большие разрушения, сто разрушительных толчков, несколько миллионов землетрясений, регистрируемых только приборами. Из имеющихся на нашей планете более пятисот действующих вулканов около семидесяти — подводные.

Читая пояснения к картам, мы узнаём, что подводные землетрясения вызывают огромные волны, высота которых при подходе к берегу иногда достигает 20—30 метров. Так, например, при землетрясении в районе Алеутских островов, происшедшем в апреле 1946 года, к побережью Гавайских островов подошла волна высотой 18 метров. Расстояние 4 150 километров она прошла со средней скоростью, превышающей 800 километров в час.

Много интересных сведений содержат листы, на которых отражены животный мир и растительность океана. Такие данные публикуются в атласах подобного рода впервые.

Советские учёные стремились выяснить прежде всего главные причины, под влиянием которых животные океана выбирают себе то или иное «местожительство». Специалисты исследовали состояние питательных ресурсов, находящихся в океанских водах. Тщательное изучение этих вопросов позволило вначале определить зоны размещения планктонов (мелкие, пассивно плавающие в толще воды организмы) и бентоса (донная фауна), а затем уже составить и карты распространения основных представи-

телей животного мира. Наша наука, раскрывая закономерность природных явлений, позволяет наиболее целесообразно наметить сроки, районы и объём рыболовного промысла, предотвратить возможность истребления тех или иных разновидностей морского зверя.

Оправданно большое место в Атласе занимает раздел «Климат». Органически связанный с предыдущим, он охватывает самостоятельную область физической географии и даёт обстоятельную картину пространственного распределения и изменений во времени различных гидрометеорологических элементов.

Основным фактором, влияющим на климат Земли, является солнечная радиация, представляющая собой разность между теплом, приходящим на Землю, и теплом, уходящим в атмосферу. Очевидно, что приход тепла и его расход должны балансироваться. Но попытки составить такой тепловой баланс долгое время не имели успеха. Пришлось подвергнуть многократным проверкам методику подсчётов, провести ряд дополнительных исследований. И в конце концов идеи, высказанные старейшим русским климатологом А. И. Воейковым и развитые академиком В. В. Шулейкиным, нашли своё подтверждение.

В результате тщательной и трудоёмкой работы виднейших советских учёных была подготовлена карта теплового баланса для океанов, явившаяся основой основ дальнейшего развития науки о климате. Теперь можно с достаточной точностью подсчитать, например, сколько тепла (в килокалориях на квадратный сантиметр) ежегодно отдаётся в атмосферу, определить его затраты на испарения, установить количество тепла, получаемого или теряемого поверхностью океана в связи с действием морских течений.

Несколько подробнее следует остановиться, в частности, на карте сезонного перераспределения воздушных масс, помещённой в этом разделе Атласа. Известно, что зимой над материками обычно формируются массы холодного тяжёлого воздуха и держится преимущественно высокое давление. Весной, по мере того как земная поверхность всё более нагревается, «зимние» массы воздуха постепенно начинают смещаться в сторону океанов, уступая место более тёплым и лёгким массам воздуха. Давление соответственно уменьшается. Если

учесть, что при изменении давления в метеорологических показателях всего лишь на 20 миллибар физически осязаемое давление на один квадратный километр суши уменьшается на 200 тысяч тонн, то будет очевидно, насколько большие «тяжести» перемешаются над поверхностью Земли со сменой сезонов. Анализируя эти процессы, учёные установили, что они отражаются на положении земной оси и вызывают существенные отклонения траектории движения полюсов Земли от их эллипсоидальных орбит.

Большой вклад в изучение этих явлений был внесён доктором физико-математических наук М. М. Будыко, членом-корреспондентом Академии наук СССР А. Я. Орловым. Конечно, ещё не всё здесь предельно ясно, и вопрос о характере влияния сезонного перераспределения масс воздуха на движение полюсов Земли продолжает вызывать теоретические споры и дискуссии. Но отраднее то обстоятельство, что эта интересная проблема впервые поставлена и разрешена с такой полнотой только нашей наукой.

Последний раздел второго тома Атласа посвящён астрономии, земному магнетизму, картографии и другим вопросам. Назначение приведённых в нём карт главным образом справочное. В материалах этого раздела можно найти диаметры планет и периоды их обращения вокруг Солнца, получить точные справки о положении магнитных полюсов Земли, о границах проливов и об объёме массы воды различных морей. Один из листов знакомит с основными понятиями математической картографии и содержит характеристики всех картографических проекций и приёмов построения карт, применявшихся как в СССР, так и за границей.

Советские картографы обосновали, теоретически разработали, а затем опробовали на практике множество различных приёмов построения карт, отобрав из них наиболее точные и целесообразные. Материалы Атласа дают тому наглядное подтверждение. И в этом также сказывается коренное различие задач и целей нашей и буржуазной науки. Картографы в капиталистических странах, в особенности в США, в настоящее время заняты преимущественно изысканиями, направленными на обеспечение агрессивных замыслов Пентагона. Картографические построения такого рода изображают «глобальные зоны обороны и наступления в атомной

войне» или «панораму развёртывания военно-морских и воздушных баз на южных границах Советского Союза». Ясно, что в них нет ничего научного, полезного для человечества.

Фактические данные, приведённые на картах и врезках, графиках и диаграммах Морского Атласа, характерны своей прикладной, практической ценностью, а также оригинальностью их трактовки. Они показывают весь комплекс элементов литосферы, гидросферы, атмосферы и биосферы во взаимной связи, то есть на единственно правильной материалистической основе. В этом их главное достоинство.

Сравнение Атласа с другими аналогичными отечественными и зарубежными изданиями даёт основание утверждать, что по полноте охвата отраслей физической географии, достоверности и точности помещённых материалов, наконец, по уровню полиграфического выполнения он является произведением, равного которому до сих пор не было создано ни в одной стране.

Достоинства столь фундаментального и объёмного труда, каким представлен физико-географический том Морского Атласа, бесспорны. Однако есть в нём и отдельные недочёты. Прежде всего следует отметить неправомерное отнесение схем и планов солнечной системы в самый конец тома. Казало бы, наиболее правильно дать их в начале, сопроводив общей пояснительной справкой (легендой) по основным вопросам, характеризующим место и раскрытые наукой нормы поведения Земли в солнечной системе. Это существенно облегчило бы понимание последующих коллекций карт.

Кстати сказать, в приведённом варианте изображения движения Земли и Луны вокруг Солнца допущена досадная неточность, создающая ложное впечатление, что по орбите движется не центр системы Земля — Луна, как это есть на самом деле, а центр Земли.

Недостатком Атласа, на наш взгляд, является также отсутствие на самих картах вспомогательных историко-сравнительных материалов, которые позволили бы видеть прогресс науки в изучении того или иного вопроса. Почему бы не показать, например, что представляли собой попытки климатического районирования Зупана (1879) или Маркуса (1930—1935), как выглядели карты вулканов и землетрясений, составленные в XV



или XVIII столетиях. Понятно, нет смысла в том, чтобы загромождать рабочую площадь карт излишними архивными данными, уже утратившими свою научную ценность. Однако использование сравнительного метода показа во многом сыграло бы положительную роль.

Этот «историзм» не отражён в должной мере и в пояснительных текстах. В них не всегда указаны даже такие необходимые сведения, как время последних наблюдений и изысканий, на основании которых составлены карты.

Недопустимым для такого ответственного издания является большое число опечаток и иных погрешностей: только редакцией их замечено около пятидесяти.

Не исключено, что будет высказано ещё немало критических замечаний и предложений по содержанию и компоновке Атласа. Но несомненным является то, что второй его том окажет советским людям большую помощь в познании географической среды, в отыскании новых путей её рационального использования в интересах общества.

Л. ЕРЕМЕЕВ.

★

### Родина картофеля

Небольшая книжка В. Н. Черкасова «Об истории картофеля» представляет собой критическое рассмотрение материалов по историографии одной из важнейших сельскохозяйственных культур. Тема, на первый взгляд, кажется довольно узкой, но читателя с первых же страниц захватывает разнообразие аргументов, привлечённых автором для решения вопроса. Политическая история, физическая география, ботаническая систематика, общая биология, частная агрономия, лингвистика — всё использовано им для выяснения подлинной истории происхождения и распространения растения. Несомненно, что работа В. Черкасова вызывает большие споры и не только в кругах специалистов по картофелю, и не только в СССР.

В самом деле, до сих пор считалось, что картофель — растение южноамериканское, завезённое в Европу то ли солдатами Филиппа II, то ли одним из английских мореплавателей — Френсисом Дрейком или Вальтером Ралеем. Первоначально его культивировали при королевских дворах, а уже отсюда оно распространилось по всему Старому свету.

Проникновение картофеля в Россию связывалось с путешествием Петра I по Голландии. В 1700 году он якобы выслал из Роттердама в Петербург графу Шереметеву мешок картофельных клубней. Одновременно царский курьер доставил приказ — распределить клубни между начальниками областей государства, «вменяя им в обязанность приглашать население заняться

разведением картофеля». Таким образом картофель распространился вначале среди знатных людей и иностранцев-колонистов, тогда как простой народ долго ещё называл его «чёртовым яблоком» и отказывался сажать. Крестьяне до того упорно уклонялись от возделывания картофеля, что на этой почве будто бы вспыхивали даже народные волнения («картофельные бунты»). Царским чиновникам силой приходилось убеждать несознательных крестьян в полезности новой сельскохозяйственной культуры, однако многие из них шли на каторгу, а разводить картофель, несмотря на все его достоинства, отказывались.

Всё это усвоено нами ещё со школьной скамьи как исторические истины. И хотя сегодня кое-что в них не может не показаться сомнительным, не согласующимся с другими известными фактами, могло ли кому-нибудь прийти в голову брать под сомнение всю версию в целом?

Именно это сделал В. Черкасов. Полтора десятка лет назад, будучи ещё преподавателем одной из подмосковных сельских школ, он принялся за критическое изучение русской и иностранной литературы, имевшей хоть какое-нибудь отношение к картофелю, придирчиво проверяя все основания, на которых покоились общепринятые положения его истории. За это время В. Черкасов успел стать научным сотрудником Института картофельного хозяйства, а из его отдельных замечаний, из вскрытых им несообразностей и противоречий в различных «свидетельствах истории», из сопоставления фактов и высказываний выросла целостная теория, не только довольно убедительно до-

казывающая полную несостоятельность старых взглядов, но также и намечающая контуры новой истории картофеля.

Вопросы, поднятые автором, отнюдь не чисто академические. Профессор А. М. Фаворов справедливо указывает в предисловии к книжке, что «для селекционеров, семеноводов, агротехников важно знать место происхождения сельскохозяйственных растений и их диких родичей или, по крайней мере, условия, в которых в течение длительного времени культивировались эти растения». Располагая нужными сведениями о родине той или иной культуры, гораздо легче построить правильную систему её агротехники.

Специалисты по картофелю давно задумывались, в частности, над тем, почему культура, считающаяся «выходцем» из Южной Америки, требует условий длинного светового дня, то есть таких условий, при которых сорта, завозимые отсюда в настоящее время, сплошь и рядом не могут даже завязать клубней. Подобная несообразность, не раз объявлявшаяся «ошибкой природы», устанавливается и в том, что южноамериканские сорта в северных районах очень быстро вырождаются, тогда как обычный европейский картофель чувствует себя здесь неплохо.

В. Черкасов подчёркивает, что картофель хорошо развивается, обильно цветёт и завязывает много ягод на шестидесятих градусах северной широты, где он приносит очень высокие урожаи клубней, а на юге начинает быстро вырождаться, поражается всевозможными болезнями, перестаёт давать урожай. Такое поведение растения, родина которого — юг, непонятно. Это противоречие, как и многие другие, автор объясняет тем, что наш, европейский картофель не является южной культурой. Мы вправе, заключает он, «видеть в картофеле растение, биологическая основа которого сложилась на севере».

Не из Южной Америки были завезены в Западную Европу и уже отсюда в Россию первые клубни растения. Всё происходило, по утверждению В. Черкасова, наоборот. Картофель от нас, из России, попал в западноевропейские страны.

В пользу этой точки зрения автор приводит самые различные доказательства. Вот, в частности, как рассматривается в книжке вопрос о введении картофеля в России. «Пётр I, будучи около 1700 года в Голлан-

дии (в 1697—1698 годах), в Роттердам не заезжал и, следовательно, никакого картофеля отсюда выслать не мог. В Петербург отправить картофель тогда вообще было невозможно: этот город основан позже, в 1703 году. Шереметев же, которому Пётр I якобы направил картофель, находился в то время в длительной поездке военно-дипломатического характера по странам Южной Европы, а это значит, что вручить тогда Шереметеву в России мешок картофеля вместе с царским приказом тоже было нельзя».

Автор отмечает далее, что «в самой Голландии картофель стал известен позже, именно в 1740 году», иначе говоря, уже после смерти Петра I, и приводит серьёзные доказательства того, что в Голландии до 1740 года «из клубнеплодных возделывали лишь топинамбур» (земляную грушу), а картофеля не было.

Методически анализирует В. Черкасов версии истории картофеля и сдну за другой сокрушает их своими фактическими справками, камня на камне не оставляя от хитросплетений старой историографии.

А как же «картофельные бунты» в сороковых годах XIX века? — спросит читатель. Но В. Черкасов напоминает: никаких «картофельных бунтов» не было, это давно уже установлено советскими историками.

«Если допустить, что причиной этих волнений было действительное нежелание крестьян сажать картофель, то становится непонятным, — пишет он, — почему именно в Пермской губернии население сопротивлялось его введению особенно упорно. Жители деревень этой части России были хорошо знакомы в те времена с картофелем. Они выращивали его и для себя и на продажу».

Приведённое утверждение подкрепляется неоспоримыми доказательствами, вроде выписки из «Хозяйственного Описания Пермской Губернии», составленного в 1802—1803 годах, почти за полвека до «картофельных бунтов».

Вот что говорится в «Описании» о картофеле: «Крестьяне употребляют оной печеной, вареной, в кашах и делают также из него с помощью муки свои пироги и шаньги (род пирожного); а в городах сдобривают им супы, готовят с жарким и делают из него муку для приготовления киселей. Деревенские жители довольно уже продают картофель в городе Перми...»

Точно так же убедительно показывает В. Черкасов, что рассказы о завозе картофеля в Сибирь в конце XVIII века не соответствуют действительности. Он приводит данные, свидетельствующие о том, что картофель был довольно широко известен в Сибири уже в XVII и, видимо, даже в XVI вв.

С интересом читается глава, посвящённая истории картофеля на Камчатке и на Аляске. Автор сопоставляет собранные им исторические свидетельства и сообщения путешественников и разбирает встречающиеся в их показаниях противоречия и неясности. Все они могут быть поняты и согласованы «только в том случае,— говорится в книжке,— если считать, что продвижение культуры картофеля на территории России совершалось не с запада на восток, а в обратном направлении — с востока на запад».

Вторая часть брошюры — «Об истории картофеля в Западной Европе» — подкрепляет выводы автора новыми доказательствами, сводящимися в конечном счёте к тому, что «картофель появился на Западе и вошёл там в состав сельскохозяйственных культур значительно позже, нежели о том говорится во всех сочинениях по истории этого растения. В XVI и даже в XVII веке никакого картофеля ни на испанских, ни на итальянских, ни на немецких, французских или английских огородах, а тем более на полях не существовало. Его не было и в садах любителей экзотических растений».

Да и могло ли быть иначе, если документы свидетельствуют, например, что уборка урожая картофеля, посаженного для опыта в окрестностях Парижа в конце XVIII века, стала событием, которое специально обсуждалось на заседании Королевского общества сельского хозяйства; если живший тогда же в Петербургской губернии помещик жаловался в письме своему другу на невыгодность разведения здесь картофеля, обильный урожай которого «вдруг продать не можно, ибо в само» то время везут его в город со всех сторон множество». Такие сопоставлений в книжке сделано немало.

Автор убедительно показывает, что упоминания о ранней культуре клубнеплодов в странах Запады касаются, не картофеля, а топинамбура. Отделяя правду от вымысла и бесспорное от предполагаемого, оперируя ссылками на исторические документы, В. Черкасов устанавливает, что первые

опыты разведения картофеля на Западе были сделаны не в Испании и Италии, а на противоположном конце Европы — в Швеции. Проследив путь его распространения, он формулирует общий вывод всего исследования: «В Азии картофель стали разводить раньше, чем в Европе, а в восточной части Европы — раньше, чем в западной».

Нельзя не отметить приводимые в книжке содержательные данные о селекции картофеля в дореволюционной России, в частности, о сортах селекции выдающегося оригинатора — ярославского крестьянина Ефима Андреевича Грачёва, получившего за них на различных выставках шестьдесят медалей. Достижения Е. А. Грачёва были отмечены также четырьмя наградами на международных выставках. Крестьянина-селекционера, избранного в 1877 году в члены Парижской академии сельского хозяйства, впоследствии забыли, и только в наше время трудами В. Черкасова воскрешается имя этого выдающегося предшественника И. В. Мичурина.

Автор утверждает, что «искажение исторической правды о картофеле обнаруживается главным образом в официальных правительственных публикациях XIX века»; что именно из министерства внутренних дел царского правительства «исходили ложные сведения об истории картофеля»; что постановление Безансонского (Франция) парламента о картофеле является «подложным и вымышленным».

Очень досадно, что В. Черкасов не прокомментировал данные факты и ограничился общим замечанием: «какие цели преследовало распространение в дореволюционной печати этих неверных сведений, остаётся неясным».

Книжка проигрывает и от того, что язык изложения местами неточен.

Но отдельные погрешности работы В. Черкасова не помешают ей сделать своё дело. Не может остаться незамеченной столь серьёзная попытка опровергнуть целый строй придуманных версий о происхождении картофеля.

А ведь сколько ещё есть сельскохозяйственных культур, история которых нуждается в столь же внимательной критической проверке!

Кандидат биологических наук  
И. ХАЛИФМАН.

## Уроки прошлого

Книга американского буржуазного историка, преподавателя Орегонского университета В. Вильямса хотя и названа автором «Американо-русские отношения. 1781—1947», но посвящена в основном анализу этого аспекта внешней политики США в период с 1917 по 1922 год, то есть в то время, когда рабочие и крестьяне, руководимые Коммунистической партией, свергли в России капиталистический строй, создали социалистическое государство и отстояли его независимость.

Какими путями и методами осуществлялось вмешательство американского империализма во внутренние дела нашей Родины, какова была его роль в организации иностранного военного вторжения, голодной блокады, контрреволюционных заговоров и мятежей? Наиболее полное освещение этих вопросов вызывает законный интерес советских людей. За последние годы у нас появился ряд работ, разоблачающих правящие круги США как вдохновителей интервенции против Советской России. Но, разумеется, ещё далеко не полностью вскрыты все интриги, которые плели против русского народа заокеанские империалисты.

В своих исследованиях советские историки вынуждены прорываться сквозь нагромождения лжи и фальсификации американских авторов. Прикрываясь маской ложной объективности, соревнуясь в искусстве подтасовки фактов, такие фальсификаторы истории, как Ф. Шуман, Л. Страховский, Д. Уайт, К. Мэннинг, усердно стараются скрыть историческую правду. Эти «исследователи» не отрицают участия Соединённых Штатов Америки в интервенции, но всячески скрывают их руководящую роль в попытке удушения молодой Советской России. Кроме того, признавая факт отправки Америкой своих войск на Дальний Восток и на Север, они из кожи вон лезут, стараясь доказать, что американские войска занимали якобы «особую позицию» и единственной их задачей была будто бы не борьба против русских рабочих и крестьян, а... «сдерживание» японцев.

William Appleman Williams. „American-Russian Relations. 1781—1947“. New York. (Вильям Эпплемен Вильямс. «Американо-русские отношения. 1781—1947». Нью-Йорк.)

Книга Вильямса, если оценивать её в целом, также не даёт правильного освещения затронутой проблемы. Однако в ней приведён ряд новых фактов, проливающих свет на агрессивные действия американских монополистов, есть некоторые любопытные обобщения. Автор имел в своём распоряжении широкий круг источников, главным образом неопубликованных: государственные архивы США, а также личные собрания документов крупных политических деятелей и заправил Уолл-стрита. Это дало ему возможность показать тесные связи между государственным департаментом и монополиями, выступившими уже в период первой мировой войны с претензиями на подчинение им всего мира.

Вильямс даёт фактический материал о проникновении американского капитала, и в первую очередь банковской группы Моргана, в помещичье-буржуазную Россию. Характерно название одного из разделов книги: «Революция бросает вызов дому Моргана». Действительно, победа социалистической революции означала крах попыток иностранцев закабалить нашу страну. Наиболее дальновидные из империалистов предчувствовали это ещё до Октябрьских событий и использовали пребывание у власти в России своего агента Керенского как для усиления влияния на русскую экономику (стоимость экспорта из США в Россию в 1917 году равнялась 659 миллионам долларов, то есть почти в тридцать раз больше, чем в 1912 году), так и для организации борьбы против дальнейшего развития русской революции.

В начале апреля 1917 года в Нью-Йорке произошло совещание двух воротил Уолл-стрита, тесно связанных с Морганом, — финансового магната Генри Дэвисона и горнорудного «короля» Вильяма Томпсона. Предметом обсуждения была проблема укрепления позиций Временного правительства в России. «Их беспокойство, — пишет автор, — было понятно, так как дом Моргана не только имел значительные вложения в русско-американскую торговлю и большие прямые инвестиции в России, но также огромные капиталы, судьба которых зависела от положения военных дел союзников».

После этого совещания бизнесменов русский вопрос переносится на рассмотрение

уже в государственный аппарат. Ставленники Уолл-стрита, президент США Вильсон и государственный секретарь Лансинг, принимают ряд мер, направленных на удержание России в орбите войны, на предотвращение социалистической революции (предоставление займов, посылка всякого рода комиссий, развёртывание проамериканской пропаганды). Материалы об этом были в своё время опубликованы в сборнике документов, изданном госдепартаментом.

Из книги же Вильямса мы узнаём, что параллельно с правительственными мероприятиями, имевшими целью закабаление русского народа, аналогичные действия предприняли американские миллиардеры в порядке, так сказать, личной инициативы. Банк Моргана, не довольствуясь той агентурой, которую он имел в лице так называемой Русско-американской торговой палаты, летом 1917 года снаряжает в Россию специальную экспедицию под видом миссии Красного Креста.

Для отвода глаз руководителем этой «благотворительной» экспедиции был поставлен чикагский физик Фрэнк Биллингс. «Бедный мистер Биллингс думал, что он стоит во главе научной миссии для оказания помощи России, — приводит Вильямс слова одного из тех, кто знал закулисную сторону дела. — ...В действительности он был нужен только для маскировки, вывеска Красного Креста также нужна была только для маскировки». Подлинным хозяином миссии был упоминавшийся выше миллионер Томпсон, заинтересованный в получении русских горнорудных концессий. Банк Моргана намеревался создать синдикат для эксплуатации природных богатств России, а значительная доля акций должна была принадлежать Томпсону. Это обстоятельство заставляло последнего принимать близко к сердцу судьбу буржуазного Временного правительства. Томпсон неоднократно встречался с Керенским, обсуждал с ним различные политические вопросы.

Американские разведчики из Красного Креста развернули в России широкую шпионско-диверсионную работу и антикоммунистическую пропаганду. Для финансирования этой деятельности Томпсон из личных средств перевёл миллион долларов и был готов, по его собственному заявлению, истратить в двадцать раз больше.

Известие о Великой Октябрьской социалистической революции произвело удру-

чающее впечатление на американские правящие круги. «Вашингтон был в ярости, замешательстве и гневе», — пишет автор. Буржуазный профессор Вильямс по вполне понятным причинам не рассказывает в своей книге о том, как реагировали на весть о победе русского пролетариата трудящиеся Соединённых Штатов. Но мы знаем, что на многочисленных митингах американские рабочие приняли резолюции, приветствовавшие рождение Советского государства. Вот что, например, говорилось в одной из таких резолюций, доставленных в Советскую Россию американскими моряками: «Приветствуем восторженно славный русский пролетариат, который первым одержал победу над капиталом, первым осуществил диктатуру пролетариата... Уверяем русских борцов за свободу, что мы им горячо сочувствуем, готовы им помочь и просим верить нам, что время недалеко, когда мы сумеем на деле доказать нашу пролетарскую солидарность».

Зная подобные настроения американских народных масс и стремясь оттолкнуть их от Советской России, правящие круги США в широких масштабах открыли наглую антисоветскую кампанию. Мутный поток клеветы на молодое социалистическое государство изливался со страниц сотен буржуазных газет, заполнял многочисленные речи и высказывания государственных деятелей США. Усердное участие во всём этом принял, в частности, американский посол в Петрограде Френсис.

В начале 1918 года Френсис направил в Вашингтон ряд «документов», которые якобы свидетельствовали о «связях» советской власти с германским генеральным штабом. Это была фальшивка — наглая и лицемерная, тем более, что, как сообщает в своей книге Вильямс, в прямой связи с германской разведкой находился сам Френсис. Оказывается, ещё по дороге в Россию он познакомился с некой де-Крэм. Эта немецкая шпионка постоянно бывала в посольстве, присутствовала при обсуждении важных политических вопросов; при ней зашифровывали и расшифровывали дипломатические депеши. Её влияние на Френсиса было столь велико, что работники американского посольства в конце концов поставили об этом в известность госдепартамент. Оттуда пришло указание прекратить сношения со шпионкой. «Френсис был разъярён, — читаем у Вильямса. — Он назвал тех, кто со-

общил об этом, «наглыми лжецами» и продолжал связь. Наконец Джедсон (военный атташе. — А. Г.), доведённый до бешенства, лично посетил посла. Джедсон перечислил ему все факты и даже показал досье паспортного бюро... Дело стало предметом сплетен в Вашингтоне, но Френсис продолжал связь в 1917 и в 1918 годах.

После провала попыток добиться свержения советской власти при помощи иностранных войск руководители стран Антанты предложили в начале 1919 года созвать конференцию «всех русских враждующих группировок» на Прицевых островах в Мраморном море, поставив при этом главное условие: прекратить военные действия. Тем самым империалисты стремились прежде всего задержать победоносное наступление Красной Армии, а затем намеревались сорвать конференцию, обвинив в этом Советское правительство. Достигнуть соглашения с Россией ни Вильсон, ни кто-либо другой из числа организаторов интервенции не собиравшись, о чём свидетельствовал и выбор американского делегата на предполагавшуюся конференцию. Это был некто Джордж Херрон, личный друг Милюкова и Врангеля, ярый враг Советского государства.

С явно разведывательными целями был направлен в Москву сотрудник госдепартамента Вильям Буллит. Главной целью миссии Буллита, подчёркивает Вильямс, было собрать информацию. Недаром его сопровождал капитан Петтит — офицер американской военной разведки.

В книге Вильямса имеются некоторые данные об антисоветской политике США в последние годы интервенции. После разгрома трёх походов Антанты американские правящие круги не оставили своих намерений уничтожить первое в мире социалистическое государство. С полным основанием Вильямс называет «активными интервенционистами» Чарльза Юза, занимавшего в то время пост государственного секретаря, и министра торговли Герберта Гувера.

1921 год принёс Советской России тяжёлое бедствие: на страну, ещё не оправившуюся после гражданской войны, обрушился голод. Американская администрация по оказанию помощи, так называемая «АРА», прикрываясь маской благотворительности, пыталась развернуть в нашей стране шпионско-диверсионную работу. Гувер, говорится в книге, формулировал свои надежды

так: «Мероприятия по оказанию помощи создадут ситуацию, которая в соединении с другими факторами поможет американцам взять в свои руки руководство реконструкцией России, когда настанет нужный момент».

Под «реконструкцией» Гувер понимал реставрацию капитализма. Именно это ставил он условием признания Советского государства и восстановления нормальных взаимоотношений между двумя странами. Юз также рассматривал деятельность «АРА» как средство для «американизации» России и, в частности, для получения шпионской информации «без риска, что возникнут осложнения».

В книге довольно подробно рассказывается о том, как США прилагали немалые усилия, чтобы завладеть Китайско-Восточной железной дорогой. Американское правительство оказывало грубый нажим на Китай, стремясь воспрепятствовать китайско-советским переговорам о КВЖД, с тем чтобы обеспечить собственное влияние. «Манёвры, имевшие целью установление контроля над КВЖД,— резюмирует Вильямс,— дают возможность увидеть резкий контраст между публичными декларациями и действительной политикой».

Заключительные разделы книги Вильямса посвящены весьма беглому обзору американо-советских отношений в последующее время. Здесь автор всё более и более удаляется от исторической правды, оперируя готовыми штампами официальной американской историографии и подменяя анализ, выражаясь его языком, «действительной политики» ссылками на «публичные декларации».

Сколько-нибудь последовательное изложение основных событий Вильямс доводит до 1939 года, отказываясь от рассмотрения более позднего периода под предлогом, что это якобы «дело невозможное».

Определённый интерес представляют выводы, завершающие книгу.

Подводя итоги своим рассуждениям и обобщая собранные им факты, Вильямс выступает против тех, кто проповедует превентивную войну и провоцирует обострение американо-советских отношений. Он разоблачает, в частности, такого матёрого поджигателя новой войны, как Дж. Кеннан, бывший американский посол в Москве, объявленный Советским правительством *persona non grata*.

В 1947 году Кеннан, по указанию официальных инстанций, опубликовал в журнале «Foreign Affairs» статью под заглавием «Источники советского поведения». Статья эта, как и последующие его писания, содержала разнузданную проповедь агрессии и политики силы, нагло клеветала на советскую внешнюю политику, отрицала возможность делового сотрудничества между США и Советским Союзом. Вильямс не согласен с Кеннаном, он против гонки вооружений и высказывается за нормализацию американо-советских отношений, от характера которых зависит, как он указывает, будущее мира. «Свобода,— говорит Вильямс,— не находит питательной среды в государствах, готовящихся к войне. Она может

расцвести в атмосфере взаимных уступок, достигнутой и закреплённой путём переговоров».

Таким образом, из истории краха антисоветской политики США в годы интервенции и гражданской войны в России Вильямс делает правильный вывод об опасных последствиях современного внешнеполитического курса государственного департамента и необходимости смягчения напряжённости в международных отношениях. Этот вывод, хотел того автор или не хотел, отражает настроения широких слоёв американского народа.

*Кандидат исторических наук  
А. ГУЛЫГА.*

★

### Путь предательства

**В** настоящее время ни один из спорных международных вопросов не может быть решён без участия Китайской Народной Республики. Тем не менее великий Китай до сих пор не занял своего, законно принадлежащего ему места в Организации Объединённых Наций. Это место, пользуясь поддержкой империалистов США и послушного им большинства в ООН, продолжает занимать один из членов гоминдановской клики, свергнутой китайским народом и навсегда изгнанной им из пределов страны.

Окопавшись на острове Тайвань, гоминдановцы не перестают вести оттуда подрывную деятельность, направленную против Китайской Народной Республики. В то же время эти наймиты американского империализма, не стесняясь, пытаются выдавать себя за представителей китайского народа. Однако история показывает, что гоминдановская клика не только никогда не имела с ним ничего общего, но всегда была ему глубоко враждебной, готовой вступить в стовор с любыми иностранными интервентами для совместной борьбы против трудящихся Китая.

Книга В. Н. Никифорова «Гоминдановские реакционеры — предатели Китая» — первая обстоятельная работа в нашей литературе, посвящённая разбору антинародной политики гоминдана и показывающая его

подлинное лицо. Главное достоинство книги — в тщательно подобранном фактическом материале, в привлечении большого количества китайских, японских и американских источников.

Книга охватывает период с 1931 по 1945 год — время, когда японский империализм начал захват Китая, когда широко развернулось национально-освободительное движение китайского народа.

В эти суровые годы Китаем правила партия гоминдан. Основанная в 1912 году выдающимся китайским революционером и мыслителем Сунь Ят-сеном как партия китайской национальной буржуазии, она ставила своей целью борьбу за независимость Китая и ликвидацию феодальных пережитков. Однако к описываемому периоду гоминдан, отказавшись от «трёх народных принципов» Сунь Ят-сена, превратился в партию крупных компрадоров и милитаристов.

Не пользуясь поддержкой народа, гоминдан держался у власти, опираясь на армию, четыре крупнейшие банка и группировки фашистского типа. Главари гоминдана, связанные с иностранным капиталом, видели свою задачу не в освобождении Китая от колониального гнёта, а в подавлении революционного движения трудящихся масс. Гоминдановская клика заливала Китай кровью рабочих и крестьян.

В ходе борьбы против гоминдановской клики, реакционного режима Чан Кай-ши родилась китайская Красная Армия, а в

**В. Н. Никифоров.** «Гоминдановские реакционеры — предатели Китая». Издательство Московского университета, М. 1953.

1931 году в городе Жуйцзине провинции Цзянси было создано временное Центральное рабоче-крестьянское демократическое правительство.

В книге В. Никифорова подробно рассказывается, как клика Чан Кай-ши продолжала свою предательскую деятельность и в тот момент, когда над страной нависла смертельная опасность. Японские милитаристы, осуществляя свой план захвата Китая, беспрепятственно оккупировали Маньчжурию, провинции Жэхэ, Чахар и двигались к Пекину.

В дни, когда на карту было поставлено самое существование Китая как независимого государства, гоминдан остался глух к призывам ЦК Коммунистической партии Китая объединиться для борьбы против общего врага. Только под давлением народных масс, требовавших активных выступлений против японцев и прекращения гражданской войны, Чан Кай-ши был вынужден согласиться на создание единого анти-японского фронта.

В июне 1937 года было достигнуто соглашение между гоминданом и ЦК Коммунистической партии Китая о совместных боевых действиях против японского империализма.

Однако Чан Кай-ши ни на минуту не переставал считать китайских коммунистов своими злейшими врагами. Отдавая приказ революционной армии, переименованной в 8-ю, двинуться на север, в Шаньси, Чан Кай-ши руководствовался тайной мыслью, что она потерпит разгром и, таким образом, руками японской военщины будет подавлено революционное движение китайского народа.

Автор убедительно показывает, как Чан Кай-ши и его клика, видя, что в ходе анти-японской войны силы и влияние коммунистической партии растут и крепнут, встали на путь прямого предательства. Гоминдановские войска, следуя указаниям своих руководителей, начали совершать вероломные нападения на 8-ю и Новую 4-ю армии, героически сражавшиеся против японцев. Настроения, господствовавшие среди гоминдановцев, ясно видны из телеграммы генерала Ху Цзун-наня высшему командованию, в которой прямо говорилось: «Надо прежде всего истребить коммунистов. Пусть даже это отразится на антияпонской войне — тогда мы сможем в крайнем случае

прибегнуть к политике «кривой линии спасения родины».

Эта политика — яркий пример предательства национальных интересов ради классовых — нашла своё выражение в том, что гоминдановские генералы с благословения Чан Кай-ши открыто переходили на сторону японцев для совместной борьбы против китайских коммунистов. Когда гоминдановский генерал Чай Энь-бо перешёл на сторону японцев, Чан Кай-ши был представлен следующим беспримерным по цинизму доклад: «Чай Энь-бо... для сохранения живой силы и практического осуществления идеи «кривой линии спасения родины» уже вступил в контакт с японскими разбойниками. Японцы назначили его уполномоченным по истреблению бандитов (китайских патриотов, сражавшихся в тылу японских войск. — И. К.) в центральном Хэбэй. Хотя он внешне перешёл на сторону неприятеля, на деле он попрежнему осуществляет эту идею, организует сопротивление врагу (1) и строительство государства».

Ненависть к народным массам Китая определила позицию Чан Кай-ши в анти-японской войне. В то время как гоминдановские войска часто выступали против японцев, имея одну винтовку на трёх солдат, на складах скапливалось огромное количество вооружения, которое Чан Кай-ши намеревался пустить в ход против китайских коммунистов после окончания войны.

Видя главную опасность для своего режима в росте сознания трудящихся масс, Чан Кай-ши искал случая заключить мир с японцами, высказывая полную готовность отдать им значительную часть территории Китая. В годы проведения США и Англией мюнхенской политики поощрения агрессора Чан Кай-ши выступал как поборник «Дальневосточного Мюнхена», хотя осуществление этого предательского курса означало бы для Китая тогдашнюю, «мюнхенскую» судьбу Чехословакии.

Реакционная сущность гоминдана, фактически являющегося агентурой иностранного империализма, проявилась и в его враждебном отношении к Советскому Союзу — единственной стране, неуклонно проводившей по отношению к Китаю миролюбивую политику, основанную на принципах равноправия. Главари гоминдана, продолжая называть себя учениками Сунь Ят-сена, на деле предали забвению его политическое завещание — крепить союз с Советской



Россией. Вместо этого они активно участвовали в любых авантюрах, направленных против страны социализма. Бандитские нападения на КВЖД, провокации на советских границах, бешеная антисоветская кампания в Синьцзяне в 1942 году и концентрация там отборных войск, прекращение всяких боевых действий против японских войск в тот момент, когда японская военщина готовилась к нападению на Советский Союз, — вот далеко не полный перечень позорной деятельности гоминдана в этом направлении.

Со страниц книги ярко выступает образ самого Чан Кай-ши, человека, не обладающего самостоятельным умом и, по словам видного лидера американской республиканской партии, умевшего лишь «обирать чужие мозги». Самодур, заботящийся больше всего о личной власти, Чан Кай-ши был готов ради неё вступить в союз с империалистами любой иностранной державы. Своё положение Чан Кай-ши использовал для собственного обогащения, награбив за годы своего правления колоссальное состояние, большую часть которого он предусмотрительно хранит в зарубежных банках.

Под стать Чан Кай-ши выступает и его окружение — политиканы и генералы, занимавшиеся грызнёй за «тёплые места» и различными тёмными махинациями. Автор приводит много фактов, иллюстрирующих коррупцию, столь характерную для гоминдановского руководства. Установленный в стране «государственный контроль» гоминдана над народным хозяйством привёл к передаче всей китайской экономики в руки кучки монополистов. «Четыре больших семейства» — Чан Кай-ши, Кун Сян-си, Сун Цзы-вень и братья Чэнь — сосредоточили в своих руках за счёт ограбления широких народных масс громадные богатства, оценивавшиеся почти в 20 миллиардов американских долларов. Капиталы, награбленные гоминдановцами, умножались на спекуляциях, скупке земель, ростовщичестве.

В книге подробно разбирается и неблагоприятная деятельность покровителей гоминдановской клики — американских империалистов, стремившихся направить японскую агрессию против Советского Союза. Даже в годы войны с Японией войска Соединённых Штатов ограничивались сражения-

ми за небольшие, разбросанные на Тихом океане островки, но не вступали в бой с главными японскими сухопутными силами, расположенными на территории Китая. Зато американские «советники» и «специалисты» усердно помогали гоминдановцам осуществлять блокаду освобождённых районов, развёртывать террор против китайских коммунистов. В застенках «Китайско-американского технического бюро» — американско-китайской контрразведки — были замучены тысячи китайских патриотов.

Американские империалисты стали оказывать Китаю более или менее серьёзную поддержку деньгами и оружием только в конце второй мировой войны, когда разгром японского империализма был уже очевиден. Эта «помощь» должна была быть использована для борьбы Чан Кай-ши против китайской демократии.

Известно, что американская «помощь» не спасла насквозь прогнивший гоминдановский режим, а оружие, посланное Чан Кай-ши, сослужило бойцам Народно-освободительной армии неплохую службу в боях за освобождение Китая от гоминдановских предателей.

Крах гоминдановского режима и образование Китайской Народной Республики означали для империалистов США крушение их планов превращения Китая в американскую колонию и плацдарм для нападения на Советский Союз.

В. Никифоров проделал большую исследовательскую работу, но при изложении материала оказался в плену фактов. В результате книга перегружена деталями, цифрами, датами, именами, которые делают её растянутой, а иногда и утомительной. Думается, что если бы автор более тщательно отобрал самое интересное из собранного материала, книга значительно выиграла бы и, не потеряв своей научной ценности, была бы более публицистичной. Но и в настоящем её виде книгу В. Никифорова следует признать удачей молодого учёного.

Хочется упрекнуть издательство за крайне бедное оформление издания. Положение спасают только выразительные и политически острые китайские карикатуры и рисунки.

**И. КОЖЕВНИКОВА.**

## Разоблачение феодальной реакции в Египте

«Отсюда начнём!» — так озаглавил свою работу египетский журналист Халед Мухаммед Халед. Книга его, изданная в Каире на арабском языке, вызывает тем больший интерес, что она принадлежит перу человека, вышедшего из среды улемов — учёных духовного университета «Аль-Азхара» — и пытающегося стать на прогрессивные позиции.

Первоначально книга называлась «Чья страна?» и находилась в наборе, когда цензура запретила её. М. Халед добился разрешения на новое издание, но оно вторично было конфисковано, теперь уже полицией. В 1950 году дело М. Халеда слушалось в каирском суде, который был вынужден признать, что книга не является противозаконной и нарушающей египетскую конституцию, а мысли, высказанные в ней автором, давно провозглашаются с трибуны парламента и в прессе. Только после этого решения книга М. Халеда увидела свет.

Что же заставило египетскую реакцию — от полиции до руководителей духовного учебного заведения — ополчиться против молодого публициста?

В послевоенный период рабочие и студенты Каира, Александрии и других египетских городов неоднократно проводили совместные демонстрации единого фронта, требуя национального освобождения и демократизации страны. Движение протеста против иноземного империалистического гнёта и внутренней реакции в Египте нашло свой отклик в борьбе феллахов за землю. В 1951—1952 годах оно вылилось в форму партизанской войны трудящихся масс Египта против английских захватчиков в зоне Суэцкого канала.

Книга М. Халеда и отражает этот рост национального самосознания широких народных масс Египта, их ненависть к средневековым, феодальным институтам.

Ревнители ислама из Аль-Азхара и ассоциации «Братьев мусульман» хотят сохранить власть религии над массами, пронизать ею всю общественную и государственную жизнь. Отвергая их доводы о том, что правление в Египте, как мусульманской стране, должно быть теократическим, М. Халед пишет, что эпоха смирения прошла безвозвратно. Цитируя хедисы, припи-

сываемые пророку Мухаммеду и требующие от масс покорности, а от богатых — раздачи милостыни бедным и нищим, автор заявляет, что нет необходимости применять их к современному обществу. Ведь имеются и другие хедисы, говорит М. Халед, обращаясь к представителям господствующего класса, по которым «мы должны были бы давно конфисковать ваши земельные латифундии в деревне и ваши крупные вклады в банках».

Народ страдает под тяжестью обременительных налогов, пишет автор, большая часть населения страны гола, голодна и невежественна; им же проповедуют милостыню и подачки как средство «социальной справедливости», призывают «к бедности и покорности», защищая в то же время интересы кучки богачей и чужеземных колонизаторов.

Книга разоблачает реакционные круги Египта, отстаивающие так называемую «самобытность Востока». Духовная и светская реакция в Египте пытается отвлечь внимание народа от аграрной проблемы, от раздела помещичьих земель, призывая «уповать на бога».

Духовенство, пишет М. Халед, «стремится монополизировать воздействие на умы народа и отгородить его от мира сего железной завесой». Ему вторят и некоторые египетские писатели. Среди части молодых литераторов, отмечает автор, родилась довольно отсталая идея о том, что Восток якобы создан быть «постоянным источником духовного возрождения». Отсюда их призыв — «долгой материализм, да здравствует застойный Восток и его духовная миссия», означающий не что иное, как боязнь прогресса и стремление сохранить прогнивший социальный строй.

Все эти проповедники лживой и гнилой морали, указывает М. Халед, являются виновниками отсталости народов Востока. Их поддерживают невежественные муллы, которые своими проповедями в деревенских мечетях восстанавливают крестьян против городской цивилизации, натравливают деревню на город, разжигают ненависть крестьян к горожанам, не раскрывая различия между владельцами предприятий и миллионами городских тружеников.

М. Халед выступает против политики голода, проводимой по отношению к народ-

ным массам, против крупных землевладельцев, закабаливших феллахов. Он с негодованием отмечает обвинения «в коммунизме», предъявляемые патриотам за то, что они протестуют против засилия иностранных империалистов и требуют коренных социальных реформ. Автор обрушивается и против частнособственнической эксплуатации, выступая «за устранение огромных имущественных различий между классами», за изменение экономических условий и за «умеренный социализм».

Взгляды автора, несомненно, наивны: реформированный капитализм он принимает за социализм. Но не это является основным в его книге, хотя обращение к понятию о социализме, как к выходу из тупика, в котором очутились народы Ближнего Востока, само по себе характерно. Главное—в материале, которым оперирует автор.

М. Халед приводит характерное высказывание Ихсана Абдалъ-Каддуса, напечатанное в журнале «Роза эль Юсеф»: «Египетский бюджет ежегодно финансирует крупных землевладельцев в размере 1,5 миллиона египетских фунтов тем, что облагает их налогом всего в 4,7 миллиона, а ассигнует на орошение их земель 6,2 миллиона фунтов. Эта огромная сумма, жертвуемая ежегодно в пользу помещиков, берётся у народа из косвенных налогов на табак, на ситец, продукты питания, на жизненно-необходимые товары народного потребления. Миллионер Бадрави Ашур незаметно присваивает, отбирает у египетского пролетария-рабочего и феллаха по две затяжки из каждой выкуриваемой ими сигареты. С каждой рубахи египетского бедняка взимается косвенный налог в пользу процветания и расширения имени миллионера Абуд-паши. Все эти цифры вопят о том, что восстание против существующего экономического строя закономерно».

Комментируя эту цитату, М. Халед заявляет, что «Ихсан не русский, а египтянин, не бедняк, непосредственно испытывающий на себе эти страдания, а просто честный патриот, выполняющий свой гражданский долг».

В книге показано лицемерие западных империалистов, рядящихся в тогу «защитников Востока», но пекущихся только о расширении сфер влияния и увековечении колониального порабощения народов Востока.

Монополисты США, пишет М. Халед, «эксплуатируют нашу простоту, пугают нас

войной, мобилизуют для своей пропаганды сонм близоруких слуг, топят и заглушают в истерическом крике голоса честных людей!» Они «прикидываются друзьями и призывают правительства стран Среднего Востока поднять жизненный уровень народов, а сами всеми средствами мешают прогрессу народов Востока». Автор призывает отбросить надежду на «западных друзей» и взяться за разрешение наболевших вопросов. «Мы должны сами заняться перераспределением богатства наших стран, поднять жизненный уровень народа, а сокровища наших недр, на которые зарятся империалистические шакалы, разрабатывать самим с тем, чтобы превратить их в грозную силу, которая будет способна заставить серых волков империализма уважать нас и наш суверенитет».

В Египте, констатирует автор, царит вопиющая несправедливость в распределении жизненных благ. Народ влечит жалкое существование: живёт в духоте и грязи, не видя чистого воздуха и света, сытной пищи и добротной одежды, умирает с голоду, в то время как знает утопает в роскоши.

Выразительны данные, приводимые в книге. Девять десятых пахотной земли принадлежит 100—200 семействам. В Ираке, например, имеются феодалы, во владении которых находится до ста тысяч федданов земли. Такая же картина в Сирии, Ливане, Йемене и Хиджасе. Крестьяне в Египте платят помещику за аренду феддана земли по 40—50 египетских фунтов, а собираемый с неё урожай не только не даёт возможности прожить, но и не покрывает долгов арендатора. В некоторых провинциях помещики нанимают подёнщиков за пять пиастров в день, тогда как за наём ослика уплачивают 10 пиастров. «Мы говорим,— пишет М. Халед,— у нас нет социальной справедливости, давайте уничтожим эти вопиющие неравенства, а нам отвечают: «вы — русские коммунисты!» Но мы спрашиваем: разве справедливость русская по происхождению и марксистская по крови?»

Автор выступает в защиту прав женщин, отстаивает их равенство с мужчинами; он оправдывает бедняков, упрятанных в тюрьму за то, что они пытались протестовать против нищеты и голода.

Книга М. Халеда содержит богатейший фактический материал, разоблачающий феодальную реакцию в Египте. Те социальные преобразования, которые произошли

после её выхода в свет в результате военного переворота 1952 года (принятие закона о земельной реформе и провозглашение республики), коснулись только поверхностных явлений, а не существа социальных проблем, затронутых автором. Земельная реформа, проводимая ныне в Египте, не изменила отношений в деревне: помещицья земля в основном осталась нетронутой, феллахи попрежнему являются в своей массе малоземельными и безземельными арендаторами-издольщиками.

Положительной стороной книги М. Халеда является смелое разоблачение автором

ханжества духовенства, обмана и гнёта трудящихся масс Египта, вскрытие поразительных социальных контрастов. Правда, в упрек молодому автору можно поставить его непоследовательность, его промахи и путаницу во взглядах на социализм и не критическое отношение к пресловутой теории мальтузианства в вопросе о росте народонаселения Египта. В остальном же ему удалось довольно удачно вскрыть корни зла современного египетского общества.

*Кандидат исторических наук*  
**А. СУЛТАНОВ.**

★

### Создатель современной физической химии

Среди многих зарубежных и русских учёных долгое время господствовало мнение, что инициатива выделения физической химии в самостоятельную дисциплину принадлежит якобы немецкой школе Оствальда, читавшего с 1880 года этот курс в Лейпциге.

Профессор А. И. Беляев в книге «Николай Николаевич Бекетов — выдающийся русский физико-химик и металлург» на основании документальных данных опровергает эти взгляды.

Ещё в середине XVIII века Ломоносов развивал мысль о том, что химию необходимо изучать при помощи физики и объяснять химические явления на основе физических. Эту свою идею Ломоносов положил и в основу курса химии, который он начал преподавать студентам с 1752 года. Замечательный русский учёный даёт ясное и чёткое определение новой дисциплины, которое по существу не отличается от современного. «Физическая химия, — писал он, — наука, объясняющая на основании положения и опытов физических причину того, что происходит через химические операции в сложных телах».

После смерти Ломоносова никто не читал физическую химию в России. Только в середине XIX века профессор Н. Н. Бекетов возрождает забытое начинание своего великого предшественника. В 1860 году (за 20 лет до Оствальда) он ведёт курс «Отношение физических и химических явлений

между собой», а в 1865 году — курс, названный им «Физико-химия».

Таким образом, истоки физической химии восходят к её основоположнику М. В. Ломоносову, взгляды которого значительно опередили свой век. Создателем же современной физической химии как самостоятельной научной дисциплины является Н. Н. Бекетов.

Автор книги рассказывает о жизненном пути Бекетова, знакомит с его творческими исканиями, показывает учёного не только как талантливое продолжателя Ломоносова, но и как выдающегося термехимика, исследования которого сыграли большую роль в развитии русской металлургии.

Научный облик Бекетова сложился в эпоху 60-х годов XIX века, в период подъёма революционно-демократического движения в России, бурного развития русской науки и искусства. Большое влияние на формирование научных взглядов Бекетова имели «дедушка русской химии» А. А. Воскресенский, Н. Н. Зинин, открывший способ получения анилина, и К. К. Клаус, нашедший в отходах уральской платины новый элемент — рутений.

Будучи питомцем казанской школы химиков-органиков, Бекетов всё же в отличие от своих коллег и наставников избрал иной путь. Его не столько интересовали новые химические соединения, сколько желание разгадать механизм реакций. Поэтому большая часть трудов учёного посвящена изучению природы химического сродства, исследованию условий протекания реакций под влиянием температуры.

**А. И. Беляев. «Николай Николаевич Бекетов — выдающийся русский физико-химик и металлург. 1827—1911». Металлургиздат, М. 1953.**

Крупнейшей работой Бекетова явилась его докторская диссертация «Исследования над явлениями вытеснения одних элементов другими». В ней учёный рассматривает вопросы химического сродства в тесной связи с их физическими свойствами и атомно-молекулярным строением. В этой работе особенно ярко проявилось восприятие Бекетовым основных идей Ломоносова в области физической химии. Подобно Ломоносову, он отмечает важность приложения математики к химическим реакциям.

Докторская диссертация Бекетова сыграла значительную роль в развитии физической химии. «Она предвосхитила те широкие обобщения, — пишет автор, — которые вылились впоследствии в периодическую систему элементов Д. И. Менделеева. В своей диссертации Н. Н. Бекетов подошёл к формулировке закона действующих масс. Установленный им «вытеснительный ряд металлов» впоследствии в точности совпал с электрохимическим рядом напряжений».

В 1864 году в Совет физико-математического факультета Харьковского университета Бекетовым была представлена докладная записка, в которой подробно обосновывалась необходимость создания специального физико-химического отделения. «По своей цели — изучение общих свойств и строения материи, — писал он, — по своему исключительно опытному методу, наконец по литературе, физика и химия вполне отделяются от так называемых естественных наук. С другой стороны, связь между химией и физикой с каждым днём увеличивается. Особенно в последнее время сведения наши обогатились рядом исследований, одинаково относящихся к обеим наукам». Предложение Бекетова приняли, и отделение, где наряду с химией преподавались также математика, механика и теоретическая механика, было создано. За время его существования было подготовлено много выдающихся химиков. Из учеников Бекетова можно назвать таких русских учёных, как А. Эльтеков, Ф. Флавицкий, И. Осипов, А. Чириков и другие.

В книге А. Беляева дана краткая характеристика работ Бекетова, проведённых им в Петербурге («О взаимном обмене

галодидных солей в расплавленном состоянии», «Об энергии элементов» и т. п.). Автор останавливается на важнейших открытиях исследователя в области металлургии, которые послужили позднее основой для создания новых технологических процессов получения алюминия, магния, кальция.

С чувством гордости за отечественную науку узнаёт читатель о первом в мире способе получения алюминия из криолита, разработанном Бекетовым. Однако в условиях царизма это замечательное открытие не получило широкого распространения, тогда как за рубежом России было очень быстро подхвачено. В течение многих лет по этому способу работали крупнейшие алюминиевые заводы во Франции и Германии.

Автор отмечает, что Бекетовым, почти за 30 лет до немецкого химика Гольдшмидта, были разработаны основы важнейшей отрасли современной металлургии — алюминотермии, то есть восстановления металлов с помощью алюминия. В настоящее время алюминотермические процессы применяются для восстановления тугоплавких металлов: хрома, ванадия, молибдена, марганца. Алюминотермией пользуются при сварке железных деталей, для получения ферросплавов.

В заключительной части книги автор, подчёркивая исключительные заслуги Бекетова в создании современной физической химии, рассказывает и о других отечественных учёных, сыгравших видную роль в развитии этой молодой отрасли науки: В. В. Петрове, Д. И. Менделееве, Н. С. Курнакове, И. А. Каблукове, В. А. Кистяковском.

К числу недостатков книги А. Беляева следует отнести отсутствие разбора многолетней переписки между Бекетовым и Бутлеровым, хотя автор сам отмечает, что она оказывала большое влияние на работы Бекетова. Книга написана простым, доступным языком.

Её с интересом прочтёт массовый читатель, она послужит полезным пособием при изучении истории отечественной химии.

*Кандидат химических наук*

**Б. РОЗЕН.**



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ГОСПОЛИТИЗДАТ

Об увеличении производства зерна в 1954—1955 годах за счёт освоения целинных и залежных земель. В Совете Министров СССР и Центральном Комитете КПСС. 16 стр. Цена 20 к.

**В. М. Молотов.** Выступления на Берлинском совещании Министров иностранных дел СССР, Франции, Англии и США. 156 стр. Цена 3 р. 50 к.

О государственном бюджете СССР на 1954 год. Доклад и заключительное слово Министра финансов СССР депутата А. Г. Зверева на первой сессии Верховного Совета СССР четвёртого созыва 21 и 26 апреля 1954 г. — Закон о государственном бюджете Союза Советских Социалистических Республик на 1954 год. 48 стр. Цена 50 к.

**С. И. Висков.** Антивоенная коалиция народов. 152 стр. Цена 1 р. 80 к.

**Д. Ф. Вирнык.** Украинская ССР. 184 стр. Цена 1 р. 75 к.

**В. А. Голобуцкий.** Освободительная война украинского народа под руководством Хмельницкого. 160 стр. Цена 2 р.

**В. Горин.** Борьба партийных организаций за высокую производительность труда в промышленности в годы четвёртой пятилетки. 136 стр. Цена 1 р. 60 к.

**А. И. Демиденко.** Расизм на службе империализма. 112 стр. Цена 1 р. 30 к.

**А. Д. Емельянов.** Механизация производства в СССР и методы определения её эффективности. 160 стр. Цена 2 р. 50 к.

**А. И. Козаченко.** Борьба украинского народа за воссоединение с Россией. 296 стр. Цена 6 р.

**В. К. Козлов.** Что такое нации буржуазные и нации социалистические. 56 стр. Цена 50 к.

**Г. В. Козлов.** Товар и деньги при капитализме. 120 стр. Цена 1 р. 45 к.

**А. А. Нестеренко.** Очерки истории промышленности и положения пролетариата Украины в конце XIX и начале XX в. 308 стр. Цена 5 р. 20 к.

**К. Островитянов.** О предмете политической экономии. 36 стр. Цена 40 к.

**А. Панкратова.** Союз рабочего класса и крестьянства — незыблемая основа советского общества. 104 стр. Цена 1 р. 20 к.

**М. Позолотин.** Борьба болгарского народа за свободу и независимость в период

второй мировой войны. 152 стр. Цена 1 р. 85 к.

**В. Прокофьев.** Религия — враг науки и прогресса. 64 стр. Цена 60 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**С. Бытовой.** На счастливой реке. 360 стр. Цена 6 р. 70 к.

**Былины.** (Библиотека поэта. Малая серия). 332 стр. Цена 7 р. 50 к.

**Николай Панов.** Морские повести. 432 стр. Цена 7 р. 90 к.

**Н. Рыбак.** Переяславская Рада. 830 стр. Цена 15 р.

**М. Рыльский.** Воля народа. 132 стр. Цена 2 р. 50 к.

**Илья Северцев.** Наши будни. Повести и рассказы. 220 стр. Цена 4 р. 5 к.

**Г. Троепольский.** Прохор Семнадцатый и другие. Записки агронома. 192 стр. Цена 3 р. 70 к.

**Яков Ухсай.** Дед Кельбук. Поэма. Перевод с чувашского. 168 стр. Цена 3 р. 25 к.

### ГОСЛИТИЗДАТ

**Демьян Бедный.** Собрание сочинений в пяти томах. Том 4. Стихотворения, басни, поэмы, повести. 1930—1940. 411 стр. Цена 10 р.

**Роберт Бёрнс в переводах С. Маршака.** Издание 3-е, дополненное. 344 стр. Цена 3 р. 65 к.

**Ванда Василевская.** Собрание сочинений в шести томах. Перевод с польского. Том 1. Облик дня. Повесть. — Родина. Роман. 519 стр. Цена 9 р. 50 к. Том 2. Земля в ярме. Роман. — Радуга. Повесть. 459 стр. Цена 9 р. 50 к.

**Расул Гамзатов.** Стихотворения и поэмы. Перевод с аварского. 300 стр. Цена 6 р. 60 к.

**И. А. Гончаров.** Собрание сочинений в восьми томах. Том 6. Обрыв. Роман. Части третья — пятая. 455 стр. Цена 9 р.

**Б. Горбатов.** Донбасс. Роман. 367 стр. Цена 8 р. 5 к.

**В. В. Ермилов.** Драматургия Чехова. 340 стр. Цена 8 р. 10 к.

**В. В. Иванов.** Избранные произведения. Том 1. 464 стр. Цена 9 р. Том 2. 568 стр. Цена 10 р. 95 к.

**В. Г. Короленко.** Собрание сочинений в десяти томах. Том 3. Рассказы и очерки. 468 стр. Цена 10 р. 50 к.

**Вилис Лацис.** Собрание сочинений в шести томах. Перевод с латышского. Том 1. Бескрылые птицы. Роман. 720 стр. Цена 11 р. 50 к. Том 2. Сын рыбака. Роман. 524 стр. Цена 11 р. 50 к.

**Л. М. Леонов.** Собрание сочинений в пяти томах. Том 4. Дорога на океан. Роман. 511 стр. Цена 9 р. 50 к.

**Джек Лондон.** Белый клык. Перевод с английского. 184 стр. Цена 3 р. 90 к.

**Д. Н. Мамин-Сибиряк.** Собрание сочинений в восьми томах. Том 2. Приваловские миллионы. Роман. — Рассказы. 592 стр. Цена 12 р.

**Ги де Мопассан.** Жизнь. Роман. Перевод с французского. 216 стр. Цена 2 р. 25 к.

**Элиза Ожешко.** Сочинения в пяти томах. Перевод с польского. Том 2. Низины. Дзюрдзи. Хам. Романы. 508 стр. Цена 10 р.

**Натан Рыбак.** Переяславская Рада. Роман. Авторизованный перевод с украинского. Том 1. 624 стр. Цена 11 р. 50 к. Том 2. 839 стр. Цена 14 р. 95 к.

**Сабир.** Сатиры и лирика. Перевод с азербайджанского. 296 стр. Цена 4 р. 25 к.

**А. А. Сурков.** Сочинения в двух томах. Том 1. Стихотворения, песни, переводы. 340 стр. Цена 7 р. 55 к. Том 2. Стихотворения. 368 стр. Цена 7 р. 85 к.

**Л. Н. Толстой.** Полное собрание сочинений. (Юбилейное издание. 1828—1928). Том 29. Произведения. 1891—1894. 452 стр. Цена 18 р.

**А. Н. Толстой.** Повести и рассказы. 304 стр. Цена 5 р. 40 к.

**Украинские повести и рассказы.** В трёх томах. Перевод с украинского. Том 1. 673 стр. Цена 11 р. 35 к. Том 2. 662 стр. Цена 10 р. 40 к. Том 3. 711 стр. Цена 11 р.

**Алимкул Усенбаев.** Моя земля. Перевод с киргизского. 52 стр. Цена 2 р. 40 к.

**Н. Филимон.** Старые и новые мироеды. Роман. Перевод с румынского. 236 стр. Цена 4 р. 50 к.

**Гюстав Флобер.** Воспитание чувств. История одного молодого человека. Перевод с французского. 458 стр. Цена 7 р. 40 к.

**С. Щипачёв.** Стихотворения и поэмы. 302 стр. Цена 6 р. 30 к.

### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Михаил Брагин.** Ватутин. Путь генерала. 1901—1944. («Жизнь замечательных людей»). 360 стр. Цена 5 р. 65 к.

**Н. Горчаков.** Спектакль художественной самодеятельности. 120 стр. Цена 4 р. 5 к.

**Л. Зайцев, Г. Скульский.** В далёкой гавани. Роман. 544 стр. Цена 9 р. 70 к.

**И. Костенко, Э. Микиртумов.** Летающие модели. 88 стр. Цена 3 р. 60 к.

**Э. Мурзаев.** Непроторёнными путями. Записки географа. 390 стр. Цена 9 р. 75 к.

**Пионерское лето.** Сборник. 480 стр. Цена 9 р. 50 к.

**А. Скрябина.** Моя работа с юннатами. 71 стр. Цена 1 р. 5 к.

**Маргарита Яровая.** День начинается. 159 стр. Цена 3 р. 80 к.

### ДЕТГИЗ

**В. Банькин.** Весной в половодье. Повесть. 80 стр. Цена 2 р. 25 к.

**Будьте здоровы!** Стихи С. Острового. 16 стр. Цена 70 к.

**В. Бычко.** Светлые дни. Стихи. Перевод с украинского. 64 стр. Цена 1 р. 70 к.

**Н. Венгров, М. Эфрос.** Жизнь Николая Островского. Повесть. 192 стр. Цена 4 р.

**Марко Вовчок.** Народные рассказы и сказки. Перевод с украинского. 272 стр. Цена 4 р. 90 к.

**К. Гордиенко.** На заработках. Повесть. Авторизованный перевод с украинского. 184 стр. Цена 3 р. 80 к.

**И. Груздев.** Молодые годы Максима Горького по его рассказам. 176 стр. Цена 3 р. 65 к.

**Н. Забила.** Под ясным солнцем. Стихи, поэмы, сказки. Авторизованный перевод с украинского. 160 стр. Цена 3 р. 45 к.

**А. Иванов.** У синих гор. Повесть. 192 стр. Цена 3 р. 25 к.

**В. Инбер.** Книга и сердце. Стихи и поэмы. Вступительная статья Ан. Тарасенкова. 168 стр. Цена 3 р. 5 к.

**А. Кардашова.** Мальчик Роб. Стихи. 32 стр. Цена 70 к.

**С. Михалков.** Разговор с сыном. Стихи. 24 стр. Цена 1 р. 40 к.

**И. Нехода.** Ребята с нашей улицы. Стихи, поэмы, сказки. Перевод с украинского. 200 стр. Цена 3 р. 65 к.

**От мрака к свету.** Сборник. 360 стр. Цена 7 р. 65 к.

**Рассказы и сказки русских писателей.** 160 стр. Цена 2 р. 70 к.

**Рассказы украинских писателей-классиков.** 454 стр. Цена 8 р. 25 к.

**Сань Шан-фэй.** Десять маленьких друзей. Перевод с китайского. 13 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Стрелок и его друзья.** Сказки народов СССР. 32 стр. Цена 45 к.

**Товарищи.** Рассказы современных украинских писателей. Перевод с украинского. 320 стр. Цена 8 р. 85 к.

**Леся Украинка.** Избранное. Перевод с украинского. 368 стр. Цена 5 р. 25 к.

**Украинские народные сказки.** Под редакцией и с вступительной статьёй М. Рыльского. 208 стр. Цена 12 р.

**Б. Чалый.** Про нас и наших друзей. Перевод с украинского. 64 стр. Цена 75 к.

**Т. Г. Шевченко.** Стихотворения и поэмы. Перевод с украинского. 352 стр. Цена 8 р. 95 к.

### ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

**К. А. Багинян.** Нарушение империалистическими государствами принципа невмешательства. 143 стр. Цена 5 р. 60 к.

**Вопросы истории религии и атеизма.** Сборник статей. 454 стр. Цена 18 р. 20 к.

**Вопросы использования водных ресурсов Средней Азии.** 167 стр. Цена 9 р. 90 к.

**В. В. Егоров.** Засоленные почвы и их освоение. 111 стр. Цена 2 р. 5 к.

**А. И. Компанец.** Борьба Н. А. Умова за материализм в физике. 127 стр. Цена 5 р.

**Концентрированные рубки в лесах Севера.** Сборник статей. 247 стр. Цена 10 р. 30 к.

**Н. М. Меланхолин, С. В. Грум-Гржимайло.** Методы исследования оптических свойств кристаллов. 191 стр. Цена 13 р. 10 к.

**Н. Н. Семёнов.** О некоторых проблемах химической кинетики и реакционной способности. 348 стр. Цена 14 р. 50 к.

**А. А. Хачатуров.** Социально-экономические преобразования в народно-демократической Чехословакии. 88 стр. Цена 3 р. 50 к.

**В. В. Церлинг, И. Г. Важенин.** Применение удобрений на дерново-подзолистых почвах. 205 стр. Цена 3 р. 25 к.

### ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**В. Т. Гайковой.** Прыжки в воду. 75 стр. Цена 1 р. 10 к.

**В. М. Иванов, М. Н. Катханов.** Русская артиллерия на закрытых позициях. (Из истории стрельбы с закрытых огневых позиций). 61 стр. Цена 1 р.

**С. Н. Козлов.** Вооружение армии — один из постоянно действующих факторов, решающих судьбу войны. 47 стр. Цена 60 к.

**И. Никитинский.** Коварные методы подрывной работы империалистических разведок. 88 стр. Цена 1 р. 10 к.

**И. Ф. Побежимов.** Устройство Советской Армии. (Краткий исторический очерк). 143 стр. Цена 2 р. 80 к.

**А. Пунченко.** У вас всё впереди. Повесть. 176 стр. Цена 3 р. 10 к.

**А. К. Селяничев.** Кронштадт — крепость русской морской славы. 32 стр. Цена 40 к.

**В. Чепраков.** Милитаризация стран Северо-атлантического блока. 96 стр. Цена 1 р. 25 к.

**А. Шатилов.** Народная Республика Албания. 112 стр. Цена 1 р. 75 к.

### ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Рассказы турецких писателей. Перевод с турецкого. 212 стр. Цена 6 р. 85 к.

### «ИСКУССТВО»

**Голоса друзей.** Сборник. 168 стр. Цена 3 р. 60 к.

**В. Одноралов.** Декоративная отделка скульптур и художественных изделий из металла. 228 стр. Цена 12 р. 90 к.

**И. Радунский.** Записки старого клоуна. 158 стр. Цена 10 р. 10 к.

**М. Румянцев.** На арене советского цирка. 144 стр. Цена 8 р. 5 к.

**Л. Тарасов.** А. А. Попов. 36 стр. Цена 1 р. 35 к.

**Леся Украинка.** Драматические произведения. 403 стр. Цена 10 р. 90 к.

**В. Фалеева, Е. Кокуина.** Пособие по вышивке. 61 стр. Цена 4 р. 60 к.

### ГОСКУЛЬТПРОСВЕТИЗДАТ

**В. Ф. Воробьев.** Электрификация социалистического сельского хозяйства. 56 стр. Цена 1 р. 10 к.

**Дом-музей А. П. Чехова в Ялте.** 104 стр. Цена 2 р.

**Пл. Кунина.** Парижская Коммуна 1871 года. 40 стр. Цена 80 к.

**Б. Ф. Соловьёв.** Передовой опыт создания прочной кормовой базы. 56 стр. Цена 1 р.

**Д. Д. Слободчиков.** Подготовка семян и новые способы сева зерновых культур. 36 стр. Цена 60 к.

**В. Тер-Оганезов.** Солнечные и лунные затмения. 128 стр. Цена 2 р. 80 к.

**А. Чеховская.** Глава семьи. 32 стр. Цена 50 к.

### «МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

**П. Акинфиев.** Опыт работы на картофеле-сажалке СКГ-4. 23 стр. Цена 30 к.

**В. Г. Белинский.** Избранное. 552 стр. Цена 10 р. 70 к.

**Д. Дягилев.** Великая дружба. 62 стр. Цена 75 к.

**В. Лагутенко.** Жилые здания из крупных панелей. 117 стр. Цена 2 р. 85 к.

**Е. Ломако.** Техническое образование на заводе. 29 стр. Цена 45 к.

**В. Люкшин.** Что даёт размещение овощей на поиме. 38 стр. Цена 50 к.

**И. Молотков.** Соревнование рабочих смежных профессий. 38 стр. Цена 60 к.

**Опыт передовых картофелеводов.** Сборник. 93 стр. Цена 1 р. 10 к.

**Памятные места Московской области.** Краткий путеводитель. 352 стр. Цена 6 р. 20 к.

### МУЗГИЗ

**Э. Гельман.** Педализация. 114 стр. Цена 5 р. 90 к.

**Д. Кабалевский.** Б. В. Асафьев (Игорь Глебов). 76 стр. Цена 1 р. 50 к.

### СЕЛЬХОЗГИЗ

**К. Г. Никишин.** Уход за плодоносящим садом. 104 стр. Цена 1 р. 35 к.

**Т. В. Олейникова, Т. Ф. Титов.** Выращивание семян люпина в северо-западной зоне СССР. 40 стр. Цена 50 к.

**Освоение целинных и залежных земель под зерновые культуры (в восточных и юго-восточных районах).** Сборник статей. 184 стр. Цена 2 р. 50 к.

### ТРАНСЖЕЛДОРИЗДАТ

**М. С. Арлазоров.** В поисках новых дорог. 148 стр. Цена 3 р. 70 к.

**Л. Г. Бегам.** Лесонасаждения для защиты железнодорожных соединений от вредных воздействий водных потоков. 128 стр. Цена 5 р. 60 к.

**Опыт работы машинистов-тяжеловесников.** 168 стр. Цена 9 р.

**А. М. Фролов.** Меры обеспечения устойчивости земляных масс и сооружений. Том 2. 320 стр. Цена 9 р.



## ГОСЭНЕРГОИЗДАТ

**И. Р. Баженов, П. Ф. Благодер, В. В. Поляков.** За комплексную экономию топлива и электроэнергии на электростанции. Издание 2-е, 45 стр. Цена 1 р.

**М. Д. Ганзбург.** Как проверить и наладить радиоприёмник. 54 стр. Цена 1 р. 45 к.

**В. В. Гульденбалк, А. А. Каменский, Д. В. Рабинович, И. И. Рапутов.** Сооружение линий электропередачи 35—220 кв. 360 стр. Цена 8 р. 70 к.

**М. Я. Муляров.** Электролучевые приборы. 248 стр. Цена 9 р. 80 к.

## «АЗЕРНЕСР»

**Н. Бабаев.** Бакинские куранты. Стихи. 96 стр. Цена 2 р. 25 к.

## «ЗАРЯ ВОСТОКА»

**И. К. Ениколопов.** Грибоедов в Грузии. 160 стр. Цена 5 р.

## КРЫМИЗДАТ

**В. Ланина.** Крым Маяковского. 104 стр. Цена 1 р. 70 к

## ЛЕНИЗДАТ

**П. Кобраков.** Родной край. Стихотворения. 56 стр. Цена 1 р. 60 к.

**А. Стороженко.** Огни под землёй. Повесть. 328 стр. Цена 5 р. 35 к.

## МАРИЙСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**М. Шкетан.** Жизнь зовёт. Рассказы. Перевод с марийского. 232 стр. Цена 5 р. 25 к.

## НОВОСИБИРСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**Агротехника сельскохозяйственных культур в Новосибирской области.** 312 стр. Цена 5 р. 25 к.

## «РАДЯНСКИЙ ПИСЬМЕННИК»

**В. Баграновский.** Дорога призвания. Роман. 528 стр. Цена 10 р. 45 к.

**В. Киселёв.** Большие заботы. Повесть. 299 стр. Цена 6 р.

## ЧИТИНСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**О. П. Смирнов.** На восточном рубеже. Стихи. 64 стр. Цена 1 р. 10 к.

**И. Чернев.** Мой великий брат. Роман. 500 стр. Цена 10 р. 95 к.



Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**С. П. Антонов, А. Г. Дементьев** (зам. главного редактора),

**В. П. Катаев, С. С. Смирнов** (зам. главного редактора),

**С. Б. Сутоцкий, К. А. Федин, М. А. Шолохов**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).  
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Сдано в набор 27/V-54 г.

Подписано к печати 12/VI-54 г.

А 04661. Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. 9 бум. л. — 24,66 печ. л. Тираж 140.000. Заказ № 1434

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»  
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 7 руб.